

А.Е. Пресняков

РОССИЙСКИЕ
САМОДЕРЖЦЫ



А.Е. Пресняков

РОССИЙСКИЕ
САМОДЕРЖЦЫ

МОСКВА
КНИГА
1990

ББК 63.3(2)4
П 73

Редактор А. Н. Казакевич
Составитель, автор предисловия и приложения
доктор исторических наук А. Ф. Смирнов
Художник Б. А. Лавров

П 0503020200-066 Без объявл.
002(01)-90

ISBN 5-212-00489-6

© Составление, предисловие, приложение. Смирнов А. Ф., 1990

Более тысячи лет державе Российской; всё было на многострадальной земле: и горе, и радости; и взлеты, и падения. «Река времени в своем течении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей», — писал Г. Р. Державин.

Забвения все же нет. Скорее наоборот — историческая память хранит много поучительного, как бы повторяющегося на каждом витке спирали исторического процесса; наивно и ненаучно представлять этот процесс в виде непрерывного движения вперед и выше к «сияющим вершинам, которые уже видны». В жизни, в отличие от утопических книжек и рифмованных лозунгов, все иначе (не скажешь, конечно, что проще, скорее сложнее). Приходится вновь и вновь обращаться к опыту прошлого; вопрошая прошлое, мы глубже понимаем настоящее и, наверное, становимся умнее, обогащенные опытом пращуров, даже пытаемся вопрошать грядущее; нельзя же великому народу, подымая целину истории, совершенно не знать конечных целей движения. Изучение прошлого и помогает расставить вешки на избранном пути. Великие исторические события и лица, в них задействованные, к которым мы обращаемся, — к сожалению, только в дни торжеств и горестей народных, отмечая славные годовщины, праздничные юбилеи, памятные даты, — дают немало поучительного в этом отношении. ...Ибо наши дни отмечены быстрым нарастанием интереса к истории. Интерес этот вполне понятен. Не находя в сухих академических фолиантах живых исторических лиц, получив лишь головную боль от бесконечных рассуждений о действии объективных законов, сопровождаемых перечислением пудов чугуна и стали, исчислением рогов и копыт крупного и мелкого скота, читатель так и не находит ответа на тревожащие его вопросы. Он ищет живое, образное описание прошлого, чтобы разобраться с привлечением опыта предков в собственных жизненных наблюдениях, своих сомнениях и надеждах. Становятся понятными такие явления наших дней, как тяга к исторической беллетристике (и документам, мемуаристике, старой (классической) исторической литературе. Общеизвестен интерес широких читательских кругов к романам Пикюля, Балашева, других мастеров историко-художественного жанра. Но историческая беллетристика, удовлетворяя любопытство, не дает и не может дать того, что надобно для серьезного

изучения прошлого. Не вдохновенный полет фантазии нам нужен, не игра живого воображения, ибо в этом плане стирается грань между фантастикой и утопией, а ведь последнюю часто нам подавали как последнее слово науки... Довольно мы насмотрелись и наслушались подобных фантастических замыслов, по которым перекраивали жизнь. Нужен серьезный анализ исторического опыта народа, и особенно — опыта управления, накопленного нашими предками.

Мы долго не признавали наличия постоянных, рождаемых самой жизнью противоречий между управляющими и управляемыми. В привычку вошло упование, надежда на мудрость «верхов», справедливость «сильной руки». Теперь на нас лавиной обрушилась информация о кровавых тиранах, палачах, сотворителях «застойных времен» и «революционных ситуаций», небывало возрос интерес к истории аппарата управления Отечеством, его отдельным органам и особенно лиц, в них задействованных. В прессе развернулся полемика об авторитарном управлении, вновь проявляется тоска о «сильной руке» (справедливом «отце народов»).

Старая историческая литература лучше многих современнейших многотомников может удовлетворить эту любознательность, эту нашу потребность разобраться в историческом опыте управления державой, накопленном нашими дедами и прадедами.

Наше время именуют периодом перестройки, эпохой национального возрождения. Мы все же в долгу перед своим прошлым, из которого не извлекли надлежащих уроков, многое, слишком многое было предано забвению или грубо искажено. Более всего пострадали как раз наиболее поучительные его страницы, в том числе опыт управления державой, экономикой, производством, культурой. При господстве черно-белых или бело-красных формул в освещении истории более всего пострадали как раз эти страницы. Карающий меч жаждал искоренения любых проявлений монархизма (часто надуманного), и он более всего прошелся по этим местам истории и жизни. Исключение (особенно после 1945 г.) делают только для нескольких государей-полководцев, организаторов народных сил для отпора иноземным захватчикам (Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр Великий), и некоторых их соратников. А с другой стороны, становление и развитие отечественной государственности освещалось крайне односторонне: все сводилось к восхвалению сильной централизованной власти, а все, что вставало на ее пути, — осуждалось, искажалось, замалчивалось.

В тысячелетних спиралях российской истории поучительна последняя ее треть: гибель одной династии — Рюриковичей, избрание по соборному волеизъявлению новой — династии Романовых, ее царствование и истребление; появление на развалинах старой державы в 1917 г. новой государственности, воплотившей, как нас уверяли,

весь опыт веков всего человечества. Это живое воплощение единственно верной научной теории, — и тем не менее вновь трагедии, кризисы, кровь.

Миллионы человеческих жизней, положенные в основу нового Храма, не были ли напрасной жертвой?? Была ли альтернатива избранному пути?! Великие трагические вопросы. Пока эти вопросы решаются средствами публицистики. Ее заслуги несомненны. Статьи, особо полюбившиеся читателям, иногда становятся пропуском в парламент. Но проклятые вопросы не поддаются решению и в Кремле. Что делать? И самое главное: с чего начать? Великие вопросы, неоднократно встававшие перед русским умом, вновь сегодня тревожат нас. Правильные ли ответы дает публицистика? Отдавая ей должное, приходится признать, что у «героев одной статьи» наиболее уязвимым местом являются как раз исторические экскурсы, тут, как говорится, мертвые тащат живых. Весьма распространен в этих экскурсах тезис о нации рабов, отсутствии демократических традиций; иные народные витии утверждают в своем самомнении, что «русский народ — павоз истории». Но давайте поразмыслим, какой век российской истории не был бунтарским, сколько великих смут разыгралось (во имя сокрушения самовластья, во имя поправленной справедливости) на русской земле, сколько верховных правителей погибло в ходе смут и переворотов? Сколько было веревок и гвардейских шарфов, часто заменявших удавку? Во всем этом надобно разобратся, прежде чем разгрести «навоз истории».

Старая русская историческая мысль содержит ценнейший опыт анализа прошлого, и в том числе — опыт управления государством. Причем поддобирались к правителям, какой-либо апологетики Рюриковичей, а тем паче Романовых, у мастеров нашей историографии нет и следа. Прочную основу здесь заложили труды трех патриархов отечественной историографии: Карамзина, Соловьева, Ключевского. Даже в высочайше одобренных трудах, в многотомных биографиях царей, составленных Шильдером, Татищевым, Бильбасовым, вел. кн. Николаем Михайловичем, Ольденбургом и др., которые принято именовать официозными, можно найти не только интереснейший фактический материал, но и объективный его анализ, осмысление подлинной роли личности в истории; встречаются там и критические замечания, порою довольно резкие, например о душевном кризисе, «маразме» Александра I в последние годы жизни, о фрунтмании Павла I и всех его сыновей и прочих потомков и т. п. К этой традиции относятся и труды С. Ф. Платонова — учителя А. Е. Преснякова. К тому же старая историческая литература имеет ряд и других достоинств, которых нет в новейших многотомных изданиях: старую литературу интересно читать, ибо создатели ее могли не только исследовать прошлое, но и образно воссоздавать его, они

Пресняков) указывали на эти особенности русской истории. Позже, однако, зачарованные централизаторским самовластьем «корифей всех наук и отца всех народов», историки как-то особо «мудро», а временами и убедительно смогли опрокинуть в прошлое политику «корифей». Были преданы анафеме бояре, удельные князья, новгородские посадники, рязанские и тверские и прочие «сепаратисты». Это уже особая тема, однако нельзя в связи с этим все же не отметить, что вечевые традиции, уходящие своими корнями в глубокие пласты жизни (и не только в историческом ее срезе), питали русскую общественную мысль и властно заявляли о себе в самых различных формах и в разные эпохи. Начиная от борьбы за созыв земского собора — проходит красной нитью эта тенденция от XVI до XX в., через всю нашу историю.

По-видимому, не случайно и первые Советы как форма подлинно народной власти, совершенно свободной от всех «татаро-немецких настроений», появились впервые в самом центре Руси, в 1905 г., в древнейших Владимирских землях («ядре державы Российской»), ныне именуемых Нечерноземьем. Нельзя также не сказать, что и другая «великая крестьянская поруха» (более известная под наименованием «коллективизация») имела те же черты сокращения хозяйственных и культурных особенностей, исторически сложившегося своеобразия регионов, краев, градов наших, подавления местной инициативы и особенно отстаивания этих местных особенностей. «Великий отец народов» прямо призывал к созданию крупных зерновых фабрик с посевами на ста и более тысяч гектаров земли. Такие колхозы и совхозы-гиганты должны были охватывать целые районы и области; при такой гигантомании, естественно, возникало стремление сокрушить, перетряхнуть старую Русь («косо-пузую Рязань», «толстопятую Пензу»). Следы былого величия отдельных земель бесцеремонно разрушались, а потом обьявлялись «унылыми развалинами», «скучными даже для историков». И совсем, конечно, не случайно в правдивых художественных полотнах (например, у Бориса Можасева), посвященных этим «веколомным» трагедиям, герои, творившие «сплошное раскрестьянивание», то и дело уходили в своих рассуждениях во времена Грозного, черпали, так сказать, в том дополнительную силу. Созданные крупные промышленные гиганты, попутно (а следовательно, напрасно) сокрушали промыслы, ремесла, нарушая естественно-исторические соотношения крупного, среднего и мелкого производства. А ныне, вытоптав, вырубив подлесок, удивляемся, почему сохнут корабельные сосны.

Были ли протесты? Вновь и вновь встает этот вопрос, в значительной мере надуманный, от неведения идущий. (40—60 миллионов, как полагают, погелло в попытках остановить молох «преобразований».) Это были разрозненные, неорганизованные попытки. Но они

были. Сталин сам ощущал это нарастающее сопротивление производству и со свойственным ему цинизмом заговорил об обострении классовой борьбы, объявил народный протест контрреволюцией, вылазками недобитых классовых врагов. История нашей духовной культуры, словесности нашей отразила эту сторону жизни и страданий народных.

Законмерно в этой ситуации и обращение Шолохова к истории казачества, уход писателя в глубины народного прошлого, быта, традиций, нравов казаков как огромной части нашего крестьянства. Это была защита исторически выработанных норм и форм жизни, смелая, продуманная защита их и, наверное, вполне сознательный, выстраданный (в том числе и собственным опытом, активным участием в раскрестьянивании) протест против волюнтаризма. В этом плане уход Шолохова в историю представляется таким же национально значимым и нравственно великим, как «пострижение» Карамзина в историки.

При господстве волюнтаристских умонастроений, основанных на абсолютизации преимуществ крупного машинного производства, механическом подходе к земле, человеку, вселенной (при одновременно внеисторической, вульгарно-социологизированной оценке прошлого), у историков и публицистов уже не находилось места для общечеловеческих критериев, никак не оценивались поступки исторических лиц в категориях добра, любви к ближнему, милосердия, благотворительности. Нравственность вообще игнорировалась, но декларировалась какая-то чудодейственная рассудочность, «разумный эгоизм», «потребность наслаждений» как высшая цель, при одновременном поругании всей старой «дворянской» культуры и морали. И совсем не случайно действия Грозного или Петра I оправдывались «высшими соображениями»: мол, душа Грозного рвалась к морю, ему грезилась единая могучая держава и так далее и тому подобное. Но и к морю нельзя прорваться, громоздя по дороге трупы (так и не прорвался Иоанн), а единство державы палачи не создают (рухнула ведь держава в эпоху Смуты).

Усиление великокняжеской, царской власти — централизации, как это определяют наши историки, явилось одновременно и средством и средством мобилизации всех сил нации — создания военных дружин как особого сословия витязей, людей служилых (поместных дворян), неразрывно с властью этой связанных в ходе многовековой борьбы с кочевыми народами, волнами накатывавшими на Русь из глубин Азии через «ворота» между Каспием и Уралом. Издавна шла у нас борьба за выживание этноса, решался вопрос, быть нам или не быть; вспомним призывы, запечатленные летописцами: «Встаньте за землю Русскую!», «Загородите ворота Полю!» Кровавые столкновения протянулись через всю историю. Но то, что на за-

паде было исключением (например, противоборство гуннам), на востоке Европы стало правилом. Войны, которые велись в Западной Европе, тоже иногда растягиваясь на многие десятилетия, сопровождалась жестокостями, но все же там шла борьба за грады, замки, за возделанные нивы, сады, парки, их перераспределение. Материальные, культурные ценности, земледельцы-мастера — их создатели были основной добычей и причиной борьбы. На востоке же Европы, на безбрежных ее просторах, граничащих с Азией, разыгрывались иные драмы. Здесь борьба шла между оседлыми, земледельческими народами, с одной стороны, и кочевниками-скотоводами — с другой. Последние имели другую систему ценностей, рассматривали захваченные территории прежде всего как необходимые им пастбища (и превращали их в таковые, разрушая все, что мешало этому). Полон к тому же давал рабов-пастухов. Огромным массам всадников, вломившихся в русские земли и прочно осевшим здесь со времен Батыя, не удалось сразу противопоставить соответствующую мощь. Ее постепенно наращивали, собирая силы земли Русской, исподволь шла консолидация национальных сил, и руководителем ее, олицетворением выступила великокняжеская власть — вершина военно-бюрократической системы, ядром которой являлись служилые люди (дворянство), восходящие своими истоками к княжеской дружине.

Огромное напряжение сил создавало в стране соответствующую атмосферу — атмосферу осадной крепости, чрезвычайного положения, наделявшего военного вождя диктаторскими полномочиями. Пресняков прямо говорит, что эта гигантская работа по обеспечению безопасности границ требовала не меньшего напряжения сил, чем военная кампания, и воспринималась как нечто кошмарное. По мере роста могущества князя, дружины, особого служилого сословия теряло все более свою роль как военная сила народное (земское), городское ополчение, возглавлявшееся тысяцкими. Летописи донесли, а Карамзин, опираясь на них, отметил этот процесс, сопровождавшийся и прямыми столкновениями князей с тысяцкими при Андрее Боголюбском и Дмитрии Донском. Князь опирался на дружину, пестовал, укреплял, увеличивал ее; в конечном счете дружина выросла в особое сословие поместного дворянства, всецело зависящего от князя-государя. Ему служилые были обязаны всем. Государь могли казнить, могли одарить щедро, пожаловать кубок вина, кафтан и шубу с царского плеча, доспехи, меч, огромное поместье... Сложился и окреп в этой практике соответствующий кодекс чести, основанный на принципе личной преданности, верности присяге, долгу, в которой князь-государь выступал как олицетворение родной земли, отцов-дедов — Отечества.

Веками длившаяся мужественная борьба с захватчиками поро-

дана мощную военно-бюрократическую систему, которая не смогла ужиться с древними печенгмй, республиканскими институтами: выборностью, ответственностью перед согражданами своими (а не только перед особой одного князя). Этому древнему миру народоопетия, народопластия были присущи и свои моральные ценности. ощущение неразрывной связи личности, ее слитности с вечем, градом, «миром», этносом — отсюда неиссякаемый источник стойкости и самоотверженности: «На миру и смерть красна!» Символом родного града выступала не особа князя, а вечевой колокол, святая София Новгородская, Полоцкая и иная. Отсюда особое внимание князей к этим печеным атрибутам и, «когда надо», — их уничтожение, как несовместимых с великокняжеской (царской) практикой, порожденной ею системой нравственных ценностей (верность государю). Исторически сложившийся кодекс чести был отражением практики и сыграл великую роль в делах ратных. Лежащий в его основе принцип личной преданности князю-государю («за государем не пропадет!») был не только источником воинской доблести, геройства, но и одновременно лакейского лицемерия, подлого прислужничества придворных, всех и вся развращавшего, требовавшего постоянного лицедейства, демонстрации чувств «высоких», коих и кумир и воскурители фимиама могли и не испытывать.

Уже в новое время складывался и креп другой нравственный кодекс: «Честь выше присяги!» Достоинство, долг гражданский выше верности царю, ибо Отечество не сводится к особе государя! В России эта новая система нравственных ценностей возникла на основе идеологии Просвещения, национально-патриотического подъема, возрождения древнереспубликанских, вечевых, традиций.

От времен Московского царства, нелюбимому, с подлинно гражданским мужеством изображенных Пресняковым, нас отделяют несколько веков; много видела с тех пор Русская земля величественных, сиятельных героев, видела и совсем не превосходных их и просто Пришибеевых. Последние, как правило, сея иллюзии, объявляли себя защитниками народными, спасителями «сеятеля и хранителя», объявляя его пьяницей, невеждой, лентяем, ни к чему путному не способным, с пустой головой (да, да, читатель, и в наши дни находятся «инженеры душ» и публицисты, именно так определяющие русского крестьянина. Изобретаются ныне все новые рецепты спасения бедолаг, срочно изготавливаются новые хомуты на мужицкую шею, старые и новые опекуны так озабочены его судьбой, что не заметили почти полного исчезновения предмета их заботы). В ход пускались вычитанные из сомнительных книжек теории, как лучше повернуть (перевернуть) «Рассю». Теории книжные эти не очень соотносились с жизнью. Но... тем хуже для жизни! Ее насильно укладывали в прокрустово ложе догматов. Приходится

и в наши дни слышать и читать, что в России, с таким народом, все возможно сделать только сверху, что есть, мол, даже такая социологическая закономерность и называется она «верхушечная революция», что только она-де позволяет уразуметь смысл всего прошлого и настоящего русского народа. Авторы этих статей или участники какого-либо «круглого стола» часто делают смелые исторические экскурсы, не утруждая себя глубоким изучением теоретического наследия классиков отечественной исторической мысли. Все еще в ходу модное слово «кризис» — старой (читай: реакционной помещицкой и так далее) культуры, исторической мысли и так далее. Удобное словечко, пущенное в ход еще в годы полного господства вульгарно-социологических псевдоноваторских схем и конструкций, продолжает служить и в наши дни. Пресловутый «кризис» подается как фатальная неизбежность, предопределенная экономическими факторами.

Они, конечно же, есть. Но давно установлено, что со времен Рюрика и вплоть до XX в. господствовали в России земледелие и связанное с ним натуральное крестьянское хозяйство, державшееся на конном инвентаре и почти не изменившихся за тысячелетия орудиях труда (соха, позже плуг, борона и так далее). Позже сеялки, веялки, конные грабли и сноповязалки вытеснили серп, косу, но не вызвали и не могли вызвать коренного переворота в производстве, в образе жизни, основой которого оставалось то же натуральное хозяйство. Коренные изменения на карте мира в те времена («древней и средневековой истории», как говаривал еще Карамзин) в большей мере определялись политическими, географическими факторами, на поверхности событий выступал очень ярко субъективный фактор.

И тем более этот субъективный фактор или, яснее говоря, роль личности проявлялась в русской истории в условиях беспрестанных войн, иноземных нашествий, социальных потрясений. А между тем наша история под пером современных историографов представляла и предстает перед читателем как безличный процесс, в котором ученые менее всего старались выделять его основных действующих лиц, и в первую очередь правителей государства. Эта, так сказать, деперсонификация русской истории была особенно заметной на фоне советской историографии Западной Европы и Америки, которая несравненно лучше освещала жизнь и деяния государственных деятелей этих регионов. Прямо скажем — жизнеописания правителей земли Русской, ее самодержцев (если не считать биографических очерков об Иване Грозном и Петре Великом и полуобличительного эссе М. Касвинова о Николае II) появлялись лишь в энциклопедиях, рассчитанных отнюдь не на широкого читателя. Поэтому мы решились восполнить этот досаднейший пробел, представив очерки русского историка Александра Евгеньевича Преснякова (1870—1929) о некоторых государях из дома Романовых — Михаиле Феодорови-

че, Алексе Михайловиче, Александре I, Николае I. Не случаен наш выбор этих очерков А. Е. Преснякова. Ведь до революции 1917 г., да одно время и после — появлялось много исследований и разного рода эссе; но одни представляли собою многотомные штудии (о которых уже говорилось выше), иные же, обладая приличествующей вроде бы для настоящего сборника краткостью, не могли дать правдивой картины существовавшей действительности и — главное — ее создателей. Недостатков этих лишены публикуемые очерки, впервые переиздаваемые.

...Ибо А. Е. Пресняков, как писал в некрологе ему учитель его С. Ф. Платонов — выдающийся исследователь Смутного времени начала XVII в., «пытливо всматривался в явления окружающей жизни, благожелательно шел навстречу всему тому, в чем видел зерно грядущего развития и силы. Это свойство его натуры, в соединении с необычайным добродушием и спокойной *объективностью*, делало Преснякова привлекательнейшим человеком».

И объективность эта вырабатывалась обширнейшей эрудицией. А. Е. Пресняков являлся автором фундаментальных исследований о русских летописях XV—XVI вв., их публикатором, автором исследований о княжеском праве Древней Руси и об образовании Великорусского государства, о Правительствующем Сенате времени царствования Елизаветы Петровны. Именно эта объективность, выработанная эрудицией, не позволила ему в очерках о государях Михаиле Феодоровиче и Алексее Михайловиче (вышедших в 1913 г., когда отмечалось 300-летие династии Романовых) вознестись к безудержному восхвалению, а в 1918, 1924, 1925 гг. — именно в это время выходили его очерки об Александре I и Николае I, Московском царстве — опуститься до уровня тех, кто с революционным пылом занимался обличением царизма и царей.

Надеемся, что публикация этих очерков возбудит у современного читателя интерес к деятелям отечественной истории, будет способствовать появлению новых трудов и художественных произведений, способствующих воскрешению духа отцов в неблагодарных сынах.

А. Ф. Смирнов

Царь
Михаил Феодорович

Царь Михаил Феодорович

I. Родители царя Михаила Феодоровича, его личная и семейная жизнь (1596—1613—1645)

Избрание царя советом всей земли поставило у кормила власти государя-юношу, которому не исполнилось еще и 17 лет. Михаил Феодорович вырос в тяжелых и тревожных условиях Смутного времени, поразившего семью бояр Романовых рядом грозных бурь, чтобы вознести ее затем на ту высоту, у подножия которой стояли отец и дед царя Михаила. Известно, что на брата первой своей царицы, Никиту Романовича Захарьина-Юрьева, оставил свое государство Грозный-царь. Не сломил боярина Никиту преждевременная смертная болезнь, едва ли бы мог разыграться тот правительственный, династический кризис, который составил государственную сторону Смуты. Но Никита Романович сошел с житейской сцены раньше, чем окрепло для преемства по нему во влиянии и значении его цветущее семейное гнездо — пять его сыновей, пять братьев Никитичей; никто из этой молодежи не успел еще в момент смерти отца достигнуть боярского сана. Главою семьи, сильной связями в боярской среде и популярной в народе, остался старший из Никитичей, Феодор, отец будущего государя. Даровитый и энергичный боярин выступил соперником Бориса Годунова по соисканию осиротевшего престола московских Даниловичей. Но час его еще не пришел, а за разрыв «завещательного союза дружбы» между Романовыми и Годуновыми Никитичам и их родне и друзьям довелось поплатиться царской опалой. Царь Борис не забыл бурных столкновений избирательной борьбы 1597 г. Пытаясь обезоружить Романовых признанием их высокого боярского положения, он в то же время окружил их недоверчивым надзором, а когда почуял, что не тверда почва под его престолом, не колебался, где искать корней опасности для своей власти и своих династических планов: в 1601 г. взята была под стражу и на розыск вся семья бояр Романовых. Гласно их обвинили

в колдовстве, будто бы найдя у одного из них, Александра Никитича, какое-то «коренье». Братьев Никитичей с семьями и нескольких представителей других боярских фамилий, связанных с ними узами родства и дружбы, постигла ссылка. Истинный смысл дела заключался в обвинении, что Романовы «хотели царство достать». Всего суровее обрушилась царская опала на Феодора Никитича. Семья его была разбита; сам боярин испытал обычный московский прием удаления опасных людей с политического поприща — насильное пострижение — и стал иноком Филаретом в далеком Антониевом-Сийском монастыре; его жена, Ксения Ивановна, пострижена была под именем инокини Марфы и сослана в глухой Толвуйский погост в Заонежье, а пятилетний Михаил, разлученный с родителями, отдан, вместе с сестрой Татьяной, на попечение тетки, кн. Марфы Никитичны Черкасской, и разделял ее ссылку сперва на Белом озере, потом в селе Клине, Юрьевского уезда, вотчине Романовых. Сюда в следующем же году прибыла с разрешения царя Бориса и мать Михаила, инокиня Марфа, с тех пор не разлучавшаяся с сыном. Но отца он увидал не скоро. Только скоропостижная кончина царя Бориса освободила инока Филарета из монастырского заточения. Заняв московский престол, самозванец поспешил призвать в Москву своих мнимых свойственников, возвел Филарета на митрополичью кафедру ростовскую и сына его пожаловал в стольники.

Надежды Филарета Никитича на возвращение к силе и влиянию на Москве, какие он так смело высказывал в своем далеком монастыре, пока шла борьба Годунова с самозванцем, не оправдались. Они лишь свидетельствовали, что поневоле носимый клобук не смирил его духа. Большое честолюбие, яркий политический темперамент и выдающиеся государственные способности манили по-прежнему к видной и широкой деятельности. По форме цель этих стремлений неизбежно должна была измениться. Не царский, а патриарший престол мог теперь стать крайним пределом личной мечты Филарета. С падением самозванца, воцарением Василия Шуйского он близко подошел к этой новой цели, стал «нареченным патриархом», но волею судеб и политических отношений не переступил последней ступени, а вернулся на свою ростовскую митрополию. По-видимому, даже патриаршество не могло бы примирить Филарета

с воцарением Шуйского. Смутные вести говорят о движении против нового царя, разыгравшемся на Москве в то время, как нареченный патриарх ездил в Углич с поручением перевезти в столицу мощи св. царевича Димитрия; московские слухи приписали почин движения митрополиту Филарету, новая опала постигла близких ему людей, а сам он покинул Углич для возвращения в Ростов; патриархом же стал Гермоген. Михаил остался с матерью в Москве, изредка покидая столицу для богомольных поездок по монастырям. Тут мать и сын пережили бурные впечатления времен царя Василия и междуцарствия, ряд событий, в течение которых постоянно выясняется общественно-политическая роль ростовского митрополита.

Филарет Никитич остался и под монашеским клобуком главою тех общественных элементов, связь с которыми служила опорой для значения боярского дома Романовых и выдвинула их на первое и притом бесспорное место, когда назрел вопрос о восстановлении разрушенной хранины Московского государства. В противоположность Шуйскому, первому среди княжеских фамилий московского боярства, Филарет и по личным свойствам, и по семейной традиции был центральной фигурой среди той придворной знати, которая опиралась не на наследие удельных времен, а на службу царям и сотрудничество с ними в деле государственного строительства. К этому нетитулованному служилому боярству тянули высшие слои служилого сословия, московские дворяне и дети боярские; крепче и устойчивее были его связи с приказным людом и дворянством провинциальным, со всеми непримиримыми врагами владычества княжат, дорожившими зато государственною работою, которую совершили цари XVI в. и преемник их заветов царь Борис. Представителями этих средних слоев служилого класса окружен митрополит Филарет, когда — вольно или невольно — играет роль патриарха при «царе Димитрии», тушинском самозванце; их руками расчищен ему путь к власти низложением царя Василия, и трудно сомневаться, что Филарет, не будь на нем пострижения, явился бы сильнейшим кандидатом на престол в наставшее безгосударное время. Теперь же рядом с именем кн. В. В. Голицына, представителя родословной знати, выступает имя другого кандидата на царский венец — юноши Михаила.

Михаил Феодорович был слишком молод, чтобы чем-нибудь себя заявить, особенно в столь бурные годы. Русские люди, скорбевшие о разрухе, постигшей Московское государство, останавливали мысль свою на нем, конечно, не ради его самого. Но молодой боярин оказывался единственным возможным кандидатом той среды, которая была носителем традиций московского государственного строительства. Рядом с ним стоял его отец, который среди полного упадка авторитета и популярности остального боярства сильно поднял свое значение мужественной ролью защитника национальной независимости и территориальной неприкосновенности Московского государства в переговорах с королем Сигизмундом об условиях избрания на царство королевича Владислава. Ссылка главы земского посольства в польский плен за твердое стояние окружила его имя большим почетом и способствовала успеху мысли об избрании в цари его сына, рядом с которым станет сам Филарет, как патриарх всея Руси.

Крупная фигура Филарета Никитича, естественно, отодвигала в тень облик его юного сына. «Властительный», сильный деятельною волей, политическим опытом и государственным умом, Филарет Никитич после возвращения из польского плена стал в сане святейшего патриарха вторым «великим государем», который на деле «всякими царскими делами и ратными владел» до своей кончины. Официально на первом месте стоял, конечно, царственный сын. Филарет Никитич с тех пор, как получил извещение о его избрании, неизменно титулует его государем. В отношении отца и сына вступает торжественная струя сознания важности их высокого положения. Отец стал патриархом, сын — царем, и оба никогда этого не забывали в личном общении. До нас дошла довольно обширная их переписка, в которой тщательно будем искать той свободы в выражении личного чувства, которая придает такое обаяние письмам царя Алексея Михайловича. Патриарх Филарет письма к сыну начинает полным царским титулом, называет его «по плотскому рождению сыном, а о Святем Дусе возлюбленнейшим сыном своего смирения», царь Михаил пишет «честнейшему и всесвятейшему отцу отцем и учителю, прежь убо по плоти благородному нашему родителю, ныне же превосходящему святителю, великому господину и государю, святейшему Филарету Никитичу,

Божиею милостью патриарху московскому и всея Руси. Лишь очень редко удастся современному читателю уловить сквозь условные формы языка этих грамот проявления более простых и сердечных отношений; но они чувствуются в заботливых сообщениях о здоровье, в обмене подарками, в отдельных оборотах речи, вкрапленных светлыми точками в чинную внешность царских и патриарших грамот. Отношения царя Михаила к отцу-патриарху полны глубокой, можно сказать, робкой почитательности. Речь Филарета звучит властно, как речь человека, уверенного, что его советы и указания будут приняты с должным благоговением не только к сведению, но и к исполнению. Современники замечали, что царь Михаил побаивался отца-патриарха. Во всяком случае, он ни разу не вышел из его воли, а в делах правления признавал, что «каков он государь, таков и отец его государев великий государь, святейший патриарх: их государево величество нераздельно».

Немудрено, что мы мало знаем лично о царе Михаиле Феодоровиче. Не только в государственной, но и в дворцовой, личной его жизни рядом с ним стояли лица, несравненно более энергичные, чем он, руководили его волей, по крайней мере его поступками. Он и вырос, и большую часть жизни своей прожил не только под обаянием властной натуры отца, но и под сильнейшим влиянием матери. А Ксения Ивановна была достойною по силе характера супругой своего мужа. Происходила она из неродословной семьи костромских дворян Шестовых, но браком с Ф. Н. Романовым была введена в первые ряды московского общества, пережила с мужем царскую опалу, но ни ссылка, ни подневольное пострижение и ее крепкой натуры не сломили. Резкие, выразительные черты ее лица, сохраненные нам ее портретами, показывают, как и данные ее биографии, что она едва ли уступала супругу во властности и упорстве нрава. Все, что мы о ней знаем, заставляет полагать, что она всей душой разделяла честолюбивые мечтания и стремления Феодора-Филарета и сумела взять в свои руки власть, когда совершилось, в отсутствие отца, томившегося в польском плену, избрание их сына на царский престол. Инокния Марфа ведет переговоры с посольством земского собора, свидетельствующие, что она со своими советниками сумела вполне понять положение и овладеть им. Она выясняет все трудности, какие

встретит новое правительство на своем пути, вызывает представителей «совета всей земли» на ряд обещаний, которые руководители юного царя затем обратили в обязательства, требуя от земского собора деятельной государственной работы для восстановления сил и средств верховной власти. Ее воля решает согласие Михаила принять венец царский, и недаром читаем мы в грамотах, оповещавших о вступлении на престол нового государя, что он «учинился на великих государствах по благословению матери своей, великия государыни, старицы инокини Марфы Ивановны». Ее опекающее руководство имело большое значение в жизни Михаила Феодоровича не только до 1618 г., когда ему удалось «батюшку своего из Литвы к Москве здраво выручить», но и позднее. Влияние «великой старицы» охватывало, однако, лишь узкую сферу дворцового быта и личных придворных отношений, только косвенно отражаясь на более глубоких государственных интересах. Собственно руководство делами правления осталось вне кругозора инокини Марфы, и если современникам казалось, что она стоит в центре нового правительства, «поддерживая царство со своим родом», то лишь потому, что ее воля царила первые годы в царском дворце и определяла состав правящей среды покровительством ее родне и близким людям Романовского круга. Старица Марфа стала «великой государыней». Ее имя, как позднее имя патриарха Филарета, появляется в царских грамотах рядом и вместе с именем ее царственного сына, по формуле: «Божией милостью мы, великий государь, и мать наша, государыня великая, старица инокиня Марфа»; жалованные грамоты дает «великая старица» и особо, своим именем. Быстро слагается новый придворный круг своих людей, укрепляет свое положение должностными назначениями и земельными пожалованиями. В его центре — любимые племянники Марфы Ивановны, Салтыковы, за ними другие родичи, свойственники и приятели. Эта среда и стала во главе возрождавшейся администрации в соединении с приказными дельцами, руководителями текущих дел правления. Предоставив доверенным людям ведать государство, старица Марфа Ивановна крепко держала дворец, его быт и интересы, выступая подлинно государыней. Еще с пути к столице царь указал приготовить к своему приезду Золотую палату царицы Ирины Федоровны, а для ма-

тери своей — бывшие хоромы супруги царя Василия Шуйского. Но московское разоренье сделало царский указ неисполнимым: указанные хоромы оказалось «вскоре поделати не мочно и нечем; денег в государеве казне нет и плотников мало, а полаты и хоромы все без кровель, и мостов в них, и лавок, и дверей, и окон нет, делать все наново, а леса такова, каков на ту поделку пригодится, ныне вскоре не добыть». Так доносили из Москвы и пока распорядились по-своему. Для государя изготовили старые царские хоромы, где жилал царь Иоанн Васильевич и где был терем царицы Анастасии Романовны, а для государыни — матери царской — хоромы, где живала царица Марфа Нагая, в Вознесенском монастыре. В Москве, видно, полагали, что «великой старице» надо приготовить монастырское помещение; и старица Марфа осталась жить в нем, хотя первоначально отвечено было, что в этих хорамах царской матери жить негоже, придав всему своему быту характерную двойственность. Связь с монастырем оттеняла ее принадлежность к «чину ангельскому», но, как великая государыня, Марфа Ивановна стояла вне монастырского начала, окруженная людным штатом боярын и прислужниц — мирянок и стариц — инокинь. К ней перешло все, что осталось из казны и ценной рухляди прежних цариц, а работа восстановленной царицыной мастерской палаты и ее ремесленных слобод скоро восстановила дворцовый обиход государевой матери.

С большим трудом и понятной постепенностью возрождалось из полной разрухи благолепие царского дворца. Вскоре приступлено было к сооружению новых больших государевых хором; постройка закончена в 1614 г., следующий год пошел на внутреннюю отделку их росписью работы иконописцев братьев Моисеевых; литой вызолоченный потолок парадной Серебряной палаты был готов только в 1616 г., и тогда царь справил свое новоселье. Этот дворец оказался недолговечным и почти погиб в пожаре 1619 г.; отстроенный в 1619 г. и только что отделанный заново, он опять сгорел в пожаре 1626 г., пришлось в третий раз «рубить государю новые деревянные хоромы». Огромный московский пожар 1626 г. имел большое влияние на дальнейший ход строительного дела в столице. Сравнительно быстро идет с тех пор развитие каменного строительства, но состояние казны государевой позволило только в 30-х гг.

приступить к сооружению каменных жилых покоев для царской семьи, так называемого Теремного дворца, отделка которого была закончена в 1637 г.

Поустроившись, насколько позволяли средства разоренной столицы, соответственно достоинству царского дворцового чина и обихода, Марфа Ивановна не замедлила отдаться иной, важнейшей заботе. Ее царственному сыну «приспело время сочетаться законным браком». Дело было вдвойне важное: предстояло упрочить новую династию и притом ввести в семью царскую новый элемент, который необходимо было сохранить в согласии с дворцовой средой, подобранной по воле и хотению «великой старицы». Марфа Ивановна остановила свой выбор на Марье Ивановне Хлоповой, из семьи, близкой Романовым, когда они еще жили ссыльными в своей Юрьевской вотчине, в Клину, да и по матери Хлопова была из рода их сторонников, Желябужских. В 1616 г. Хлопова взята на житье к старице Марфе, а затем ее объявили царской невестой и переименовали — согласно допускавшемуся тогда изменению имени — Анастасией в память покойной царицы. С царской невестой возвышалась ее родня: Хлоповым велено служить при государе и «быть при нем близко». На этой почве разыгралась тяжелая драма царской избранницы. Милостивое отношение царя Михаила, видимо привязавшегося к невесте и ее близким, вызвало ревность Салтыковых; с дядей невесты, Гаврилой Хлоповым, у Михайлы Салтыкова вышла ссора в присутствии царя, и царицыны племянники поспешили воспользоваться случайным нездоровьем Марьи Ивановны, чтобы приписать ей какую-то неизлечимую болезнь, злонамеренно скрытую ее родичами. Царскую невесту со всей семьей сослали в Тобольск, отняв данное ей почетное имя. Дело это было пересмотрено в 1623 г. патриархом Филаретом; Салтыковы заплатились опалой и ссылкой за то, что «государевой радости и женитьбе учинили помешку», а Марья Ивановна снова стала царской невестой Анастасией, но ненадолго. Крушение Салтыковых так огорчило старицу Марфу Ивановну, что она наотрез отказала в своем согласии на брак сына, и бывшая невеста осталась в Нижнем Новгороде в почетной ссылке на царском иждивении.

Дело царского брака сильно затянулось. Патриарх Филарет увлечен был мыслью о женитьбе сына на ино-

странной принцессе. Мысль о том, что государю надлежит искать супругу в равной себе среде владетельных фамилий, а не среди подданных, была, как известно, довольно популярна в высшем обществе московском еще в XVI в.; даже брак царя Иоанна с Анастасией Захарьиной вызвал в свое время нарекания среди знатного боярства, посклидывавшего: «Как нам своей сестре служить!». По-видимому, и патриарх Филарет считал нужным большее выделение царского рода из боярской среды. Он начал переговоры о женитьбе сына на одной из племянниц датского короля Христиана, затем на сестре королевы шведской, бранденбургской принцессе Екатерине. Но с московской стороны настаивали не только на принятии невесты православия, а и на совершении над нею вновь св. крещения, согласно с воззрениями на этот вопрос самого патриарха Филарета, не признававшего силы таинства крещения по католическому или протестантскому обряду, так как «у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают». Такие требования оборвали переговоры в самом начале.

Во всех этих планах роль самого царя Михаила была, по-видимому, совершенно пассивна. Современники передают, что он был сильно огорчен делом Хлоповой и на родительские проекты иного брака отвечал: «Обручена ми есть царица, кроме ее иные не хочу пояти», но, несмотря даже на желание отца-патриарха, чтобы этот брак состоялся, верх взяла воля великой старицы Марфы, и царь «презре себе Бога ради, а матерня любовь не хоте презрети», смирился перед нею и послал в Нижний Новгород извещение, что Марью Хлопову государь «взять за себя не изволили».

Царю Михаилу исполнилось уже 29 лет, когда мать выбрала для него новую невесту, княжну Марью Владимировну Долгорукову, дочь князя Владимира Тимофеевича; тот же летописец сообщает московское мнение, что царь вступил в этот брак «аще и не хотя, но матери не преслушав». В июне 1623 г. состоялся сговор, и в сентябре, во время брачных торжеств, молодая царица занемогла, а в январе 1624 г. скончалась. В Москве, под свежим впечатлением дела Хлоповой, заговорили, что царицу Марью Владимировну «испортили» и что произошло это от «зверообразных человек», которые не хотели «в послушании пребывати» у своего государя, а стремились «своевольни быть». Так тяжело складывалась

судьба царского брака. Быть может, эти перипетии привели к тому, что новый выбор невесты для государя произошёл, по преданию, в форме «смотрин», на которых царь Михаил избрал Евдокию Лукьяновну Стрешневу, дочь незначительного рядового дворянина, Лукьяна Степановича. 5 февраля 1626 г. состоялось царское бракосочетание, создавшее наконец личную семью царя Михаила. Но и эта новость в царском быту не умалила дворцового господства великой старицы Марфы Ивановны. Царица-невестка, видимо, подпала под полную зависимость от свекрови. При ней состоял тот же духовник, что при старице Марфе, ее делами ведает дьяк «великой старицы», при внуках-царевичах и внучках-царевнах — боярыни-мамки по выбору старицы Марфы. Мать государева сопровождала царя и царицу на всех их «богомольных походах» или ездила одна с царицей по монастырям. В дворцовом обиходе по-прежнему всюду чувствуется ее твердая рука.

В начале 30-х гг. государев «верх» вдруг осиротел. Великая старица Марфа Ивановна давно носила в себе серьезную болезнь; из горьких испытаний Смуты она вышла бодрая духом, но подверженная каким-то болезненным припадкам. Тем не менее кончина постигла ее неожиданно для окружающих 27 января 1631 г., а через три года, 1 октября 1634 г., сошел в могилу и патриарх Филарет Никитич. После стольких тяжелых впечатлений детства и юности, мягкая натура царя Михаила не могла не быть удручена этими потерями. Но ими не кончились испытания, назначенные ему судьбой. В семейной жизни царь испытал еще ряд ударов. 17 марта 1629 г. родился, после нескольких детей женского пола, желанный первенец: царевич Алексей; в 1634-м — второй сын, Иван, но он умер пятилетним ребенком, и в том же 1639 г. скончался, «немного пожив», новорожденный царевич Василий. Следующие годы были отравлены осложнениями, какие вызвал проект брака старшей дочери царской, Ирины Михайловны, с Вольдемаром, принцем датским, третьим сыном короля Христиана. Принца вызвали в Москву в 1643 г., хотя знали, что король ставит неприемлемые условия: свободу вероисповедания для королевича и его двора, сохранение западных бытовых навыков иноземной свиты, какую он сохранит при себе. Пошли долгие пререкания о перемене веры, причем царь Михаил пытался лично убедить Вольдемара,

что ему необходимо вторично принять св. крещение. Тицетно просил принц отпустить его домой, пытался даже бежать: его отпустил только царь Алексей Михайлович летом 1645 г.

Царь Михаил Феодорович скончался в ночь с 12 на 13 июля 1645 г., оставив о себе память необычайно мягкого и доброго человека, который был так милостив к окружающим, что «любляше и миловаше их и вся подаваше им, яко они прошаху», хотя за добро ему часто платили заносчивой непокорностью и своеволием; предание сохранило одну черту, дополняющую этот облик: большую любовь к цветам. Царь Михаил много тратил казны на выписку из-за границы редких растений для своего сада; для него впервые ввезены в Россию садовые розы, красота и аромат которых не были до него у нас известны. Видно, что крутая энергия родителей, как часто бывает, наложила печать мягкой, созерцательной пассивности на его натуру. К тому же царь Михаил никогда не отличался крепким здоровьем, а вторую половину жизни так «скорбел ножками», что часто не мог ходить, а возили его в возке. От «многого сиденья» организм слабел, нарастала лимфатическая вялость. Под конец жизни царя врачи отмечали в нем «меланхолию, сиречь кручину».

В «государевом и земском деле» московский царь Михаил не был личным участником. Восстановление государства из «великой разрухи» творилось при нем энергией его отца-патриарха и трудами деятелей, окружавших престол, которые и завершили большое дело в дни царя Алексея.

II. Московское государство под державой царя Михаила

Царь Михаил принял верховную власть в момент, когда ее органы были разбиты событиями последних лет. Боярской думы не существовало. Вместо нее во главе дел управления стоял совет ополчения, с князьями Трубецким и Пожарским во главе. Организовавшись еще в Ярославле, этот совет взял на себя функции государственной власти, завязал отношения с иностранными державами, распоряжался делами внутреннего управления и, опираясь на земский собор, сохранил значение временного правительства в первые годы по из-

брании царя. Ради умиротворения страны земский собор примирился с боярами, слишком долго державшимися польского лагеря, но «кн. Мстиславский с товарищи» не участвовали в делах, пока не выяснились отношения между ними и царем. Но только на первых порах царь обращает свои требования и веления к земскому собору; уже с начала апреля 1613 г. его указы идут к «боярам нашим, князю Ф. И. Мстиславскому с товарищами». Бояре, запятнанные в мнении широких общественных кругов изменой, вернулись к власти и стали во главе воскресшей боярской думы. Дело примирения, начатое земским собором, завершилось царской амнистией. Мы не знаем, в какой произошла она форме. Но можно предполагать, что царь обещал боярам не карать их опалами за прежнее и держать их в чести и достоинстве. По крайней мере, на такое предположение наводят смутные толки о какой-то «записи», взятой боярами с царя, близкой по содержанию к той, на которой некогда целовал крест царь Василий Шуйский, — записи, сулившей боярам, что государь не будет их казнить, «аще и вина будет преступлению их». Много споров было в нашей исторической литературе по вопросу об «ограничении» власти царя Михаила; но ни условия, в каких находилось боярство при его воцарении, ни характер источников, сообщающих о «записи», не дают оснований признать существование даже попытки такого важного политического новшества.

Примирение с боярами было естественным моментом политики «совета и соединения». Новое правительство сложилось вообще из личного состава, какой казался пригодным, без счетов с политическим прошлым отдельных лиц. Царь, вступив в управление, нашел центральную администрацию приказов уже восстановленной. Она образовалась из уцелевших в Москве обломков старых приказов и из новых, устроенных для ведения текущих дел при ополчении кн. Пожарского. На работу в ней сошли приказные дельцы, служившие прежде разным господам — и в Москве, и в Тушине. В то же время при дворе царском слагался свой правительственный кружок из родни и близких людей молодого царя и его семьи. Давние и широкие связи боярского дома Романовых давали возможность ввести на разные степени администрации своих доверенных людей. И еще во время «государева похода» из Костромы к Москве последовал ряд

имевших этот смысл назначений на должности. Свойство, родство и простая близость к царствующему дому больше чем когда-либо стали основанием придворной и служебной карьеры. Развеянное погромами Грозного и Смутой старое боярство быстро заменялось новой знатью, иного типа и происхождения. Под ее верховодством постепенно и с трудом восстанавливалась деятельность приказного управления.

Руководители молодого царя понимали всю трудность принятой на себя задачи. Неторопливый, с долгими стоянками поход государя к Москве дал возможность оглядеться и подробнее рассмотреть положение государства. К царю со всех сторон стекались жалобы и доношения о грабежах, насилиях и разорении от бродивших повсюду воровских шаек; не говоря уже об окраинах, центральные и северные области страдали от хищных набегов казаков и «литовских людей», оставшихся после ликвидации сил второго самозванца; в последней судороге разрухи эти шайки хлынули из разоренных местностей туда, где больше оставалось для них добычи, проникали под самую Москву и все дальше к северу. К царю являлись служилые люди, стрельцы и казаки, бить челом о жалованье, потому что им ни служить, ни жить не с чего. Москва оказывалась временно отрезанною от подвоза припасов, и в столице всяких запасов была большая скудость. Дворцовые земли и черные волости были разорены, расхищены и розданы в частные руки, денег и хлеба собирать было не с кого. Видя все это, царь с пути пишет собору с большими укоризнами: «Вы де нам били челом и говорили ложно всего Московскаго государства ото всех чинов людей, что всякие люди перестали ото всякаго дурна и учинились в соединенье, и междоусобная кровь крестьянская перестала литься»; царь требовал, чтобы собор изыскал средства для восстановления безопасности и порядка, «чтоб на Москве и по городам и по дорогам никому ни от кого грабежей и убивства не было»; требовал «полнаго приговора» о способах содержания военной силы и всяких служилых людей. Царь ожидал от земского собора восстановления государственных средств и порядка, чтобы принять государство в свое управление. Руководители собора делали, что могли, но всем собором били государю челом, чтобы он сам «шел к Москве вскоре»; в нем видели все тот необходимый центр, во-

круг которого только и может сложиться правильная государственная работа. Не прошло двух месяцев со дня избрания, и соборное правительство уступило место царской думе, а земский собор стал распадаться; отдельные элементы его потянулись к царю, и прежде всего московские служилые люди — стольники, стряпчие, дворяне большие, а за ними весь «из городов выбор» дворянский уже в апреле собрался при государе; иные разъехались по деревням. Постепенно ряд дел — назначение воевод, раздача поместий и др. — начинает вершиться государем в походе. Царское правительство вступало в управление. По прибытии царя в столицу — 2 мая — и особенно после царского венчания, которое состоялось 11 июля, обычный порядок казался восстановленным.

Крайняя трудность положения вызывала на чрезвычайные меры и чрезвычайные приемы действий. Значительны были внешние опасности и бедствия. На западных границах шли военные действия. Новгород Великий был в шведских, Смоленск и Северщина — в польских руках. Королевич Владислав продолжал титуловаться московским царем, и польское правительство не желало признавать царя Михаила. Надо было готовиться к борьбе за русские области и за свое международное положение, надо было создать силу для самозащиты и для наступления. Но всякая органическая работа была до крайности затруднена внутренним состоянием страны. Заруцкий с казаками, Мариной Мнишек и ее сыном от второго самозванца, Иваном, двинулся к югу. Из Москвы против него послали воеводу кн. Одоевского, но Заруцкий, грабя по пути, ушел в Астрахань и засел там, собирая к себе «вольных казаков» и подымая на Москву волжских казаков, донцов и поволжских инородцев. Татары заволжские, ногаи, черемисы волновались и грабили русские области. Много казацких отрядов бродило по внутренним областям государства, а с ними и без них насильничали «воры, боярские люди и всякие безыменные люди». «Литовские люди» и казаки украинские кружили по стране, громя села и города; особенно много вреда причинил отряд наездника Лисовского. При попытке правительства восстановить сбор податей «чинились сильны» жители городов и уездов, и приходилось иной раз признать, что навики Смуты сказывались в поведении сборщиков, которые грабили

и притесняли население. Экономический кризис, начавшийся в последние десятилетия XVI в., усиленный Смутой, продолжал нарастать и после ее политического завершения.

Исход второго десятилетия XVII в. был моментом наибольшего упадка хозяйственного благосостояния центральных областей Московского государства. Казна была пуста, хлебных и денежных запасов собирать было не с кого. Нужны были чрезвычайные усилия, чтобы одновременно восстанавливать порядок и безопасность в стране и создавать средства, необходимые для этой работы.

Государственная власть могла найти выход только в поддержке объединенных земских сил. У нового правительства не было налаженного административного механизма для управления делами в столь тяжкие времена; оно не было уверено и в своем авторитете, который еще предстояло утвердить. Дело земского собора представлялось еще далеко не законченным, его авторитет был необходим для воздействия на население. Его осведомленность и опыт должны были указать пути разрешения насущных задач, непосильных для неокрепшей еще власти. Под его знаменем должно быть доведено до конца замирение страны, объединение ее разрознившихся элементов, подавление всех явлений, враждебных мирному порядку. Его влиянием необходимо было поддерживать проявившуюся в народной массе готовность на чрезвычайные личные и имущественные жертвы ради защиты национальной независимости, общественной безопасности и законного порядка. И земский собор остается при царе около двух лет, а затем новые созывы «всех чинов Московского государства» следуют в столь краткие промежутки и столь длительна их деятельность, что возможно говорить о непрерывном сотрудничестве земского собора с царскою властью в первое десятилетие царствования Михаила Феодоровича и сравнивать роль в это время выборных людей при центральной власти с годованьем по трехлетиям дворянского «из городов выбора» в XVI в.

В первое время нового царствования собор — теперь вместе с царем — продолжает дело умиротворения. Посольства и грамоты от всех чинов призывают казаков и всех, от «воровства» не отставших, покинуть злые дела, служить земле и государю; всем, кто «придет в чув-

ство», обещано полное прощение, принятие в службу, жалование по службе, крепостным людям сулилась свобода, если они отстанут от «воровства». Призывы эти имели свое влияние, разлагая силы врагов порядка. Соборные воззвания, подкрепленные посылкой милостивых грамот, денежного и иного жалования от царя, укрепляли в верности Москве волжских и донских казаков; самому Заруцкому предлагали прощение, если он отложится от «Сендомирской дочери Маринки». Где уговоры не помогали, наряжалась военная сила; царские воеводы преследовали и разгоняли воровские отряды, ведя с ними нелегкую борьбу. В то же время само население продолжало свою местную самооборону: строило укрепления, нанимало стрельцов, «берегучи свои головы», снабжало военную силу по городам денежным и хлебным жалованьем. Работа над земским делом велась земскими силами и чрез несколько лет, ценою изнурительных жертв, достигла завершения. Главный внутренний враг, Заруцкий, был сломлен также твердостью местных сил в стремлении восстановить земский мир. На него поднялись астраханцы, а добились его «терские люди», всем миром с своим воеводою пославшие на него с Терека стрелецкого голову с военной силой. Выбитый из Астрахани, Заруцкий потерял значение и был выдан властям с Мариной и ее сыном; атаман был посажен на кол, несчастный «воренок» повешен, Марина вскоре кончила бурную и несчастную свою жизнь в коломенской темнице. Подавление внутренней смуты шло при деятельном участии земского собора, на обсуждение которого царь ставил все вести о состоянии страны и, по-видимому, неизменно следовал «соборным приговорам». Постепенно успех в этом деле развязывал руки для более органической правительственной работы.

С первых дней нового царствования на очередь стала жгучая забота о восстановлении финансовых средств власти. Вопрос об этом был поставлен со всею настоятельностью уже в переговорах с соборным посольством, принесшим избрание молодому царю, а затем и в переписке царя с собором во время похода к столице: В этом деле царское правительство особенно нуждалось в содействии земского собора, так как приходилось немедленно изыскивать средства для дела государева и земского. Земский собор поначалу применил ту практику, которая обеспечила расходы нижегородского ополчения

в 1611—1612 гг.: сбор добровольных пожертвований, переходивший по мирскому приговору в принудительный налог из определенной доли «животов и промыслов».

Попытки получить обычные платежи и за прошлые годы были безнадежны; многие приказные книги и документы были утрачены, часто прежние оклады оказывались вовсе неизвестными, да и применять их на деле стало невозможно, так как слишком изменилась в событиях последних лет хозяйственная действительность. А средства требовались большие, чем когда-либо. Одним из первых совместных действий царя и собора была рассылка грамот к торговым людям о сборе сполна денежных доходов за прошлые годы и за нынешний год, по книгам и отписям, с просьбой «помочь, не огорчаться», ратным людям дачею взаем денег, хлеба, рыбы, соли, сукон и всяких товаров; «хотя теперь и промыслов убавьте, — читается в грамоте к Строгановым, — а ратным людям жалованье дайте, сколько можете»; правительство внушало, что временное умаление не дохода только, а и капитала, вложенного в дело, не должно останавливать торговых людей, ибо если они теперь себя пожалеют, то доведут страну и себя до нового «конечного разорения» и «именья своего всего отбудут». В следующем году «по всей земли приговору» правительство от займов по доброй воле перешло к первому назначению «пятой деньги» с торговых людей, обещая пятое одним уплатить, когда будет возможно, другим — начесть в недоимку или будущие платежи. В том же 1614 г. власть настолько поустроилась, что уже без участия собора могла назначить два прямых налога: сбор хлебных запасов и денег на жалованье ратным людям, а в начале 1615 г. также назначен был сбор даточных людей на усиление войска. Эти сборы совпали с принудительным займом пятины по приговору собора, причем пятину полагалось брать со всех, не исключая освобожденных от тягла «тарханщиков и льготчиков». Таковы были первые шаги к восстановлению правительственных средств; несколько наладилось также и собирание обычных старых налогов. Но этим нужда была покрыта недостаточно. В 1615 г. последовало новое назначение «пятинных денег», по-видимому, тоже без участия земского собора; с пятиной с высших слоев торгово-промышленного люда соединен сбор посошной подати с крестьян и подворной — с мелких посадских людей.

Еще через год решили превратить пятину в чрезвычайный налог со всего населения, устраняя из нее черты займа. Но для такого шага правительство прибегло уже к земскому собору. Соборный приговор постановил собрать по определенным окладам сошные деньги на посадах и в уездах со всяких людей, а, кроме того, «пятую деньгу» с тех, «кто сверх своих пашен торгует». Этот налог, как и позднейшие чрезвычайные («запросные») сборы, сохраняя название пятинны, далеко отошел от первоначального ее типа, приближаясь все более к обычной московской системе. Исходным пунктом его исчисления служила необходимая для правительства сумма, которую земский собор распределял между отдельными городами, устанавливая для каждого определенный оклад. Вместе с характером займа отпал постепенно и долевого порядок исчисления, и оклады устанавливались применительно к результатам сборов предыдущих пятинных денег, а не по сошному письму.

В 1618 г. наступление Владислава на Москву вызвало опасения, что может ожить недавно побежденная «измена». Царь Михаил обратился к земскому собору с воззванием, чтобы люди всех чинов Московского государства стояли за веру и за царя, «а на королевичеву и ни на какую прелесть не покушались». По городам от собора разосланы были грамоты ко всему населению с сообщением, что распорядок военных действий против врага установлен государем на соборе, и с призывом к усердной службе и радению, чтобы Московскому государству помощь учинить: служилые должны быть сами готовы к походу, следить за исправностью друг друга и за сбором даточных людей без укрывательства, а духовенство, торговые и посадские люди «дать взаймы денег и в запрос, сколько кому дать доведется». В тяжкую годину для «государева дела» недостаточно было простой исполнительности населения, нужен был добровольный подъем усердия к «делу земскому» и готовность нести жертвы ради него; авторитет земского собора должен поднять настроение общества, в котором, чего доброго, не совсем еще исчезли отголоски былого «шатания».

Земские соборы в первые годы царя Михаила имели огромное значение, как моральный общественный авторитет, поддерживавший власть еще неокрепшего правительства. Наряду с этим личный состав собора оказы-

для власти ценные услуги своею осведомленностью, знанием положения дел в стране, в разных ее областях, советами по различным отраслям «государева и земского дела». Не всегда вопросы, требовавшие обсуждения, обращались государем ко всему земскому собору. Так, при отражении Владислава, хотя и установлен «приговором государя с властями, и с бояры, и всяких чинов с людьми Московского государства», но выработан был мир с «освященным собором, и с бояры, и со всякими служилыми и жилецкими людьми»; точно так же, порешив в 1618 г. отмену местнических счетов на два года, по совету с освященным собором и боярской думой, государь повелел говорить о том на соборе только с московскими и городовыми служилыми людьми. Это зависело от тех или иных соображений общественно-политического или практического удобства.

Мы видели, что вопросы, особенно близко интересовавшие правящие круги, как назначение на должности и упорядочение служилого землевладения, были взяты государем в свои руки еще до прибытия его в Москву. Окружавшие его люди стали овладевать влиянием и материальными благами, связанными с властью. Верхи этой среды образовали дворцовую знать, которая закрепила свое положение высокими чинами и должностями и приобретением, по царской милости, крупных земельных имуществ. Раздача дворцовых земель «большим боярам» и высшим разрядам столичного служилого люда начата была еще временным правительством 1612 г. Она расширилась в 1613 г., когда началось устройство новой придворной знати: по ее рукам вскоре разошлось до 50 тысяч десятин населенной дворцовой земли. На смену старому боярству выступали новые группы крупных землевладельцев, среди которых видим, наряду со знатными людьми, выдающихся приказных дельцов, влиятельных дьяков. Не одни пожалования были источником новых богатств. Тушинская распущенность сказалась в нравах деятелей, теперь поднявшихся к власти. Их вымогательства и хищения вызывали ропот: в приказах «дела мало вершились», а брали с ходатаев много, потворствуя тем, «за кого заступы великие», в народе осуждали бояр, которых древний враг-дьявол «возвысил на мздоимание», на расхищение царских земель и утеснение народа; иноземцы полагали, что такое прав-

ление, «если останется в теперешнем положении, долго продолжаться не может». Руководители приказного управления сеяли недовольство, назначая на воеводства и в приказы своих людей, действовавших так же, как они. Но, к счастью для возрождавшегося из развалин государства, темные стороны новой правительственной среды не исчерпывали ее деятельности. Рядом с беззащитными проявлениями корыстолюбия и лицеприятия, шла и деловая работа, как бы то ни было восстановившая строй администрации и военные силы государства. Ближайшими органами центральной власти стали по-прежнему боярская дума и приказы. Возобновилась правительственная работа над устройством, управлением и защитой государства. Достижение этих целей было труднее, чем когда-либо, и более, чем когда-либо, требовалось огромное напряжение личных и материальных сил населения на нужды «государева дела». Расстройство этих сил после Смуты, их чрезвычайная недостаточность ставили еще напряженнее, чем в XVI в., задачу создания такой организации управления, которая обеспечила бы власти возможность сосредоточить распоряжение ими в своих руках. Тенденция к усилению власти и ее большей централизации являлась естественным последствием сложившихся условий. Центральное приказное управление стремится теперь поставить свои местные органы ближе к заведованию делом государственного управления в областях и, несмотря на то значение, какое получили местные самоуправляющиеся миры в эпоху восстановления государственного порядка, ищет опоры не в них, а в усилении приказного областного управления.

Форма для этого была создана боевыми обстоятельствами Смутного времени. С начала внутренней Смуты получила широкое развитие должность воеводы. Прежде только в пограничные города назначались воеводы, соединявшие в своих руках военную команду с управлением, финансовым и полицейским, с судом и расправой над целым уездом и по отношению ко всем разрядам населения. Полномочия воевод были чрезвычайными полномочиями для заведования окраинами, на которых была постоянная опасность от врага и от скопления беспокойных выходцев из областей внутренних. В Смуту такие же боевые и общественные условия разлились по всей стране, и воеводы появились в городах

московского центра. Во время земского движения они нередко являлись для него готовым руководящим органом. Правительство царя Михаила сохранило новое значение воеводской должности и сделало ее повсеместным учреждением; этим удовлетворялась потребность усилить правительственное воздействие на ход местного управления. По идее воевода, ведая всеми делами своего уезда, должен был быть не самостоятельным наместником, а исполнителем подробных наказов и частых отдельных предписаний, полученных им от столичных приказов; он являлся представителем административной централизации. Но в то же время запутанность дел, неосведомленность высшей власти и общее расстройство порядка заставляли давать воеводам полномочия столь же широкие, сколь и неопределенные, предписывая им принимать меры, «смотря по тамошнему делу», как окажется «пригоже». Воевода не был «кормленщиком», казенные доходы ведал он не на себя, а на государя, не получал от населения уставных кормов; но он не получал и жалованья по должности, а «добровольные» дары в благодарность не осуждались ни правительством, ни нравами, и воевода кормился со всем своим приказным людом «от дел». Понятно, какой широкий простор такая постановка должности открывала для лихоимства, вымогательства, произвола и казнокрадства. Нравственный уровень администрации, отравленной навыками «разрухи», был невысок, а общая ее организация, при отсутствии контроля и ответственности, не ставила сколько-нибудь действительных сдержек. Население скоро стало роптать на воеводскую власть, возненавидело приказных людей, а прежние органы местного самоуправления оказались вполне подавленными этой новой силой и превратились в подчиненных исполнителей ее распоряжений, неся черную административную работу. Дурная трава «тушинских навыков» не была выброшена «из поля вон» ни в центре, ни в областях, а выросла на поле и заглушила добрые ростки управления земского с помощью выборных людей, «добрых, разумных и постоянных», питая в областях раздражение против администрации нового правительства. Тяжкая нужда и горькие воспоминания Смуты, сознание национальной опасности и влияние земских соборов сдерживали, до поры до времени, эти настроения, и при всех серьезных своих недостатках правительственная машина

работала, устраняя шаг за шагом наиболее резкие последствия пережитой разрухи.

Налаживая с помощью земских соборов финансы, правительство в то же время заботилось об устройстве военных сил и упорядочении служилого землевладения. Тут многое приходилось начинать заново. Сбитый событиями Смутного времени со своих поместий и вотчин, служилый класс и по личному составу и по имущественному обеспечению представлял поистине «рассыпанную храмину». Надо было его набирать, организовывать и пополнять, наделяя землями, с которых ему возможно было бы жить и служить. Правительство шло в этом вопросе старыми путями. Выясняя состав и состояние своих служилых людей, оно широко развивало практику «верстанья» и «испомещения». По нужде пришлось отступить от той разборчивости в составлении служилого класса, какую пытались установить при Борисе Годунове и первом самозванце и которая восторжествовала несколько позднее: верстали в службу дворянскую годовых людей, не считаясь с их «отечеством», даже из казаков, «которые от воровства отстали». Земельный фонд на поместную раздачу был, по видимости, значителен, так как Смута обогатила его большим количеством опустелых и заброшенных земель. Но запустение делало эти земли мало пригодными, по крайней мере на первых порах, для обеспечения служилых землевладельцев. К тому же западные окраины — один из главных прежде районов служилого землевладения — были еще слишком не обеспечены от вражеских нападений, чтобы скоро возродились тут условия мирного хозяйства. С 1614 г. идет наделение провинциальных служилых людей поместьями из дворцовых и черных земель, обращенных на усиление поместного фонда, преимущественно в более безопасных и менее опустошенных северо-восточных уездах Замосковского края. Интересы военной силы заставляли жертвовать не только частью дворцового богатства, но и усилить процесс уничтожения крестьянского волостного землевладения в пользу землевладения служилого. Черные крестьянские земли почти вовсе исчезали в центральной части государства и сохранились на Поморском севере. Этот рост служилого землевладения не был, конечно, временным явлением. Когда замирение западной и южной границ открыло возможность восстановить и там в более широ-

ких размерах «испомещения» служилых людей, результатом было лишь значительное общее расширение территории служилого землевладения, сравнительно с XVI столетием. Притом много земель роздано было не в поместье, а в вотчину, а нужда в деньгах побудила и к продаже в вотчину части поместных земель; этим путем они расходились, по-видимому, преимущественно по рукам приказных дельцов, которые стремились поместить в земельные имущества свое «неправедное стяжание».

Так стало оправляться от разгрома служилое землевладение. Помещики и вотчинники устремились на возобновление разоренного хозяйства — и снова поднялся тяжкий вопрос о крестьянских рабочих руках. Возвращение на старые места населения, сбитого с них в Смуту, приводило его в прежнюю зависимость. «Людие же, — сообщает книжник, живший интересами простого народа, — начаша оставшаяся собиратися в Руси по градом, исходя от плену от Литвы и Немец и начаша населятися; они же (владущие) окаянии, аки волци тяжци восхитающе, емляху их к себе, понеже страх Божий преобидиша и забыша свое прежнее безвремение и наказание, что над ними Господь за их насилиство сотвори, от своих раб разорени быша». Снова поднимают землевладельцы вопрос о трудности розыска беглых в указанный пятилетний срок, и Троице-Сергиев монастырь первый выхлопотал себе в 1614—1615 гг. льготу вывозить обратно своих беглых крестьян за 9 и за 11 лет со времени побега. Дворяне и дети боярские роптали на эту привилегию и домогались если не отмены ее, то хотя продления срока «урочных лет» для сыска беглых. На первых порах правительство царя Михаила не решалось круто усилить крестьянскую крепость, отчасти, вероятно, из опасений раздражить народную массу, отчасти под давлением землевладельческой знати, умевшей заполнять свои вотчины чужими крестьянами. Во всяком случае, в 1642 г. срок урочных годов продлен до 10 лет.

Так слагалась в первые годы нового царствования внутренняя политика; она преследовала, по существу, те же задачи, какие были поставлены московскими государями XVI в. и их продолжателем Борисом Годуновым. Правительственная среда сложилась из элементов, для которых эти традиции были и привычны и близки. Но во главе ее стояли люди, неспособные вести ее работу по систематичному и твердому плану и еще менее

способные внести в дело государственного управления идею долга и строгую дисциплину. Опытные и умелые, но корыстные дельцы и случайные люди, возвышенные одною только близостью к царскому дворцу, принесли с собой господство интриги и произвола, которое даже иностранцев заставляло ждать с нетерпением возвращения из польского плена митрополита Филарета. «Он один, — писал, напр., голландец Исаак Масса, — был бы в состоянии поддерживать достоинство великокняжеское».

Однако усилиями первых лет были достигнуты наиболее необходимые результаты. Наиболее резкие остатки «великой разрухи» внутри страны были подавлены, восстановлено государственное властвование московского центра над всей территорией. Новгород вернулся под власть Москвы, и со шведами заключено «мирное окончание». В 1618 г. отбито нашествие Владислава, а затем состоялись Деулинское перемирие и обмен пленными. Возвращение в Москву митрополита Филарета было крупным событием. Давно нареченный в патриархи, он занял теперь святительский престол при исключительных условиях. Поставление его в патриархи совершалось с особою торжественностью, благодаря прибытию в Москву иерусалимского патриарха Феофана, который 24 июня в Успенском соборе и исполнил чин посвящения. С той поры и до кончины своей 1 октября 1633 г. Филарет управлял и церковью и государством. Как правитель русской церкви, патриарх, чуждый церковно-богословской книжности, являлся прежде всего властным и искусным администратором. Церковь была для него учреждением, требующим устройства на началах строгой дисциплины и иерархического господства, и он целиком перенес в свое патриаршее управление формы приказного заведования делами. Суд в патриаршем Судном приказе был «в духовных делах и в смертях и в иных во всяких делах против того же, что и в царском суде». Казенный приказ ведал доходы патриаршей области — дань с дворов духовенства и сборы с церковных доходов за требы, за пользование пахотой, угожьями и др.; для этого производились тщательные переписи церквей и приходов, равно как и всего тяглого духовенства.

Получив патриаршество столько же по каноническому избранию, сколько по естественному праву, как отец государя, Филарет был «великим государем» не только

для духовенства — таким же «великим государем» выступил он и в делах управления государственным; дела докладывались обоим государям и грамоты писались от имени их обоих. Царь Михаил пояснял, что «каков он государь, таков и отец его государев великий государь, святейший патриарх, и их государское величество нераздельно», а современники не колебались, кого считать действительным правителем государства: патриарх, говорили они, «нравом опальчив и мнителен, а властитель таков, яко и самому царю его бояться; бояр же и всякаго чина людей царскаго синклита зело томяше заключениями и иными наказаньями». Филарет достиг теперь власти, которой добивался в течение всей своей жизни, и с его приездом в делах правления почувствовалась твердая и сильная рука. Но сколько-нибудь существенных изменений ни в личном составе центральной администрации, ни в том, что можно назвать программой внутренней политики, с приездом его не произошло; явился только энергичный и суровый руководитель придворной и приказной среды и земского собора. Отдельные лица, как царские свойственники Салтыковы и несколько видных приказных дельцов, подверглись при нем опале, возвысились новые лица, но это не меняло общего склада и характера правящей среды. Филарет пошел у власти своих людей, среду, с которою давно был связан, и с нею продолжал правительственную работу. Но он ввел в эту работу больше системы и энергии, пытаясь в то же время бороться против злоупотреблений не только отдельными опалами, но и общими мерами. Филарет и под монашеским клобуком остался государственным человеком, деятельным и честолюбивым. Пережитая борьба закалила его деспотическую натуру и обогатила его сильный ум разнообразным житейским и политическим опытом. Но гениальной широты, способной на смелое и содержательное творчество, в нем не было; он был умный администратор, умевший понять обстоятельства и очередные задачи текущей государственной жизни, но он не был преобразователем, который бы владел даром не только пользоваться данными условиями, но и творчески их изменять.

Внимание Филарета привлечено было, прежде всего, разного рода непорядками и злоупотреблениями в сборе податей. С одной стороны, вся старая система обложения была в полном расстройстве. Попытки выяснить

действительное состояние платежных сил путем «дозора», т. е. описи подлинного экономического положения тяглых хозяйств, далеко не были закончены и сами послужили поводом для многих злоупотреблений. С другой стороны, немало плательщиков разными способами уклонялось от тягла, усиливая тем самым тяготу для остальных. Подати с одних взимались по писцовым книгам, с других — по дозорным, «и иным тяжело, а другим легко»; дозорщики одним за посулы мирволили, а других «писали и дозирали тяжело», и оттого всяким людям Московского государства была «скорбь конечная». На земском соборе по предложению патриарха решили начать дело заново, послать писцов во все города, не потерпевшие от разорения, а дозорщиков в разоренные местности, для правильного распределения тягла по действительной «силе»; гарантией успеха должны были быть выбор дозорщиков «добрых», их крестное целование и «полные им наказы»: мысль русских финансистов того времени не шла дальше попыток наладить дело старыми приемами. А между тем усложнение государственных потребностей и расстройство народного хозяйства требовали новых приемов описания, новых, более пригодных единиц обложения; к попыткам податной реформы деятели XVII в. пришли, однако, лишь много позднее. В царствование же Михаила Феодоровича надеялись еще одолеть затруднения улучшением техники старых приемов и стремлением привлечь к общей тяготе всех, кто умел ее «избыть». Посадские многие люди, «льготя себя, чтоб им в городех податей никаких не платить», покидали насиженные места, где записаны были в тягло, уходили в Москву и другие города, выбывая из счета. Другие плательщики, «посадские и уездные люди», закладывались «в закладчики за бояр и за всяких людей», уйдя из-под власти правительственной на частную службу и под покровительство новых господ. Чтобы вернуть эти платежные силы, государь с собором решили вести розыск таких беглецов, возвращать их на прежнее жительство, чтобы «быть им по-прежнему, где кто был наперед сего». Обеспечение податной исправности населения требовало по-старому, и в еще большей степени, прикрепления тяглецов к месту и к той местной организации, куда они зачислены в писцовых книгах. Прошло 20 лет, и в 1638 г. возник особый Сыскной приказ для повсеместного сыска за-

кладчиков и возвращения их на старые места особыми «свозчиками», под надзором которых они обязаны были соорудить себе на посаде «дворовое строение». Кому из них не находилось «поручников в житье и двореком строении», тех обязывали «жить и строиться» под угрозой ссылки в Сибирь.

К той же цели — овладеть всеми силами и средствами населения, чтоб никто в избытках не был, и теми же средствами прикрепления к месту и повинностям — шло правительство в вопросах, касавшихся служилых людей и крестьянства. Заботы об устройстве служилого класса, раздача ему поместий и пополнение его новыми верстанями в службу не прекращались в правление Филарета. Указное законодательство этих лет по поместным делам весьма обильно, и в 1636 г. особое «поместное уложение» подвело ему некоторый итог. Поместная система и организация службы представлялись настолько обеспеченными, что правительство пошло навстречу желанию служилых людей и стало постепенно расширять их право распоряжаться поместьями: разрешало мену поместьями, сдачу поместья другому лицу, отдачу их в приданое за дочерьми. В то же время правительство продолжало политику ограничения права распоряжаться вотчинами, особенно жалованными и выслуженными, которых много роздано было в первую половину царствования. Общая тенденция этой эволюции служилого землевладения подготавливала слияние поместий и вотчин в один разряд недвижимых дворянских имений, вотчинных по отношению к владельцу, но всецело подчиненных служилым его обязанностям регламентацией его прав с точки зрения правительственного интереса. Устраивая служилых людей на землях, верховная власть требовала от них постоянной готовности к исправной службе. Экономический кризис, разросшийся в результате Смуты, ставил эти требования в непримиримое противоречие с хозяйственным положением служилых земель. Мелкие поместья и вотчины служилого люда были повсеместно почти разорены, главным образом по недостатку рабочих рук. Даже из более зажиточных, московских дворян иные остались при шести, даже при трех крестьянах на имение. Вопрос этот был настолько острым, что при Михаиле Феодоровиче размер обязательной службы определяется не по площади земельного владения — «со 100 четей доброй и угодной земли че-

ловек на коне и в доспехе полном», как при Иоанне Грозном, а по количеству крестьян у служилого человека — с 15 крестьян. Сами служилые московские дворяне полагали, что нести походную службу «без государева жалованья» может только тот, за кем числится по крайней мере 50 крестьян, и что менее состоятельные нуждаются в денежной помощи. Тягость службы создавала в дворянской среде явления, аналогичные тем, с какими правительство боролось, разыскивая беглых посадских людей: дворяне уклонялись от призыва в поход, оказывались «в нетях», а то и вовсе бросали свои поместья и, «не хотя государевы службы служить и бедности терпети», укрывались, подобно посадским закладчикам, за бояр, поступая к ним в «добровольные холопы»; с этим последним явлением правительство боролось самыми решительными мерами.

Все эти явления и мероприятия правительства, ими вызванные, показывают, что удовлетворение настоятельных потребностей обширного государства, только что пережившего тяжелый кризис и изнуряемого внешней борьбой, было едва по силам его населению. Несоответствие средств и потребностей вело к тому, что государство все более и более властвовало над народной жизнью, а самостоятельность земская быстро замирала.

Верховная власть, под твердым руководством патриарха Филарета, окрепла и достигла полной, неограниченной силы не в принципе только, а на деле. Но и он продолжает работать при частом обращении к земским соборам. Однако в новых условиях значение соборов не могло быть тем же, что в первые годы царя Михаила. Филарету собор нужен был не для того, чтобы поддержать перед обществом слабый правительственный авторитет: в его руках собор — орудие для изучения действительного положения дел, средство узнать его недостатки, вскрыть существующие беспорядки и злоупотребления. На земский собор созываются выборные от разных чинов Московского государства, «которые бы умели рассказать обиды и насильства и разоренья», чтобы обоим великим государям, царю и патриарху, «всякие их нужды, и тесноты, и разоренья, и всякие недостатки были ведомы». Царь и патриарх обещают, что обсудят с ними, как «устроить бы Московское государство, чтобы пришло в достоинство», и, «советовав по их челобитью, учнуть о Московском государстве промыслиати, чтобы

во всем поправить, как лутче». Однако по вопросам чрезвычайного обложения правительство и при Филарете не могло обойтись без собора. И собор, на котором в делах финансовых главную роль играли торговые люди, должен был в особо трудные минуты вызывать их на «вспоможенье ратным людям» пятою деньгой «с животов и с промыслов вправду», а остальные чины — на дачу, смотря «по пожиткам, кому что мочно». Под контроль собора ставился выбор сборщиков из торговых людей разных разрядов: «пересмотр» выбора на соборе должен был обеспечить добросовестность постановки всего дела. Финансовые результаты этих чрезвычайных усилий были сравнительно малы. Пятинные и запросные деньги заняли далеко не первое место в ряду источников дохода правительства царя Михаила, тем более что заметно понижали доходы косвенные.

В первые годы царствования правительство искало выхода из нужды напряжением прямого обложения, постоянного и чрезвычайного, но его тягость, несомненно, затронула народный капитал: производство и торговля сильно сократились. С 20-х гг. эти результаты финансовой политики уже ясны и роль в ней земских соборов становится все менее важной и значительной. Чем дальше, тем громче жалобы на невыносимую тяготу; чрезвычайных жертв столько уже было принесено, что народные силы казались исчерпанными. Вслушиваясь в эти жалобы, Филарет изыскивал меры к пресечению тех зол, какие в них раскрывались. Тягота тягла и службы не могла быть облегчена; напротив, она неизменно нарастала; достичь хотя бы ее равномерного распределения не умели. Оставалось бороться с частичными несовершенствами и нарушениями существующего порядка и преследовать злоупотребления. Власть это и делала по мере сил и умения. Проявляя неустанную деятельность в упорядочении, хотя бы самыми крутыми мерами, тягла и службы, правительство пыталось создать какой-либо контроль над «сильными людьми», о произвол и влияние которых разбивались усилия установить прочный и законный порядок. Назначались по жалобам многих людей доверенные лица из ближних бояр государевых для сыска «про сильных людей во всяких обидах». Такие судебно-разыскные комиссии назывались иногда «приказами Сыскными, что на сильных бьют челом», но стояли выше обычных приказов, откуда к ним

поступали дела как в высшую инстанцию. Не доверяя своей администрации и не решаясь начать ее реформу, правительство передавало наиболее острые вопросы особым комиссиям доверенных лиц, примыкавшим к ближней думе царской по личному составу и доверенности. Эта практика весьма характерна для царской власти XVII в., понявшей, что на нее падает ответственность за действия ее полномочных и если не безответственных, то фактически бесконтрольных органов. Внимательно выслушивая жалобы населения и даже вызывая их на земских соборах, правительство столь же внимательно относилось к челобитьям, поднимавшим вопросы о местных нуждах или потребностях отдельных групп населения, прислушивалось, наконец, к доносам и «изветам», раз в них обличались нарушения государственного интереса или безопасности политической; процессы — в особом порядке производства — по поводу «слова и дела государева» возникли в дни царя Михаила. Народное представление о царе — блюстителе высшей справедливости побуждало население прибегать со своими нуждами и за обороной от всяких обид к престолу, к личной власти государевой, а на земские соборы смотреть как на форму такого же обращения. Общественная масса сходилась в этом воззрении с представлениями носителей верховной власти; московская средневековая монархия вырастала на народном корню.

Политические успехи новой династии, ее укрепление во главе национального государства в значительной мере связаны с личностью Филарета Никитича. Сама властная натура патриарха и его сан содействовали поднятию авторитета власти. Когда 1 октября 1633 г. патриарх Филарет умер, он оставил Московское государство окрепшим настолько, что ни тяжелая борьба с соседями, ни внутренние язвы народного хозяйства и государственного быта уже не могли расшатать воздвигнутого из развалин политического здания. С кончиной патриарха ничто по существу не изменилось, несмотря на несомненное ослабление правительственного центра. В Москву вернулись опальные члены придворной знати и приказной среды, но никто не заменил Филарета в преобладающем государственном влиянии. Московское правительство плыло по сложившемуся течению, не проявляя сколько-нибудь крупного почина. И за три года до конца жизни и царствования Михаила

Феодоровича его правительству привелось подвести своего рода итог состоянию государства на земском соборе, созванном для обсуждения вопроса о взятии казаками Азова. Донские казаки захватили Азов и просили его от них принять и послать туда воевод с ратными людьми. На обсуждение собора поставлен был вопрос: разрывать ли из-за Азова с Турцией и Крымом? А если идти на большую войну, то как обеспечить нужные средства? Все чины соборные должны были «помыслить о том накрепко» и государю о том «мысль свою объявити на письме». Люди служилые ясно сознавали важность приобретения: в русских руках Азов парализовал крымскую орду и мог стать опорным пунктом для уничтожения ее силы. Но рассуждения о средствах обороны Азова и ведения войны обратились в сплошную жалобу на несправедливости, непорядки и оскудение. Чины столичные и придворные норовили свести защиту Азова к поддержке казаков «охочими вольными людьми» на денежном жалованье, без общего похода. Дворяне городовые выражали готовность на войну, но указывали на неравномерность распределения военных и денежных повинностей. Они советовали государю хлебные запасы брать «со всех без выбора» и «рать строить» по тем уравнительным правилам, какие установлены были при царях Иоанне и Феодоре, взять пеших и конных ратных людей с бояр и ближних людей, которые пожалованы многими поместьями и вотчинами, хотя бы в виде исключения «для такого басурманского нахождения» и в таком размере, какой государь укажет, а также с дьяков и подьячих, которые не только пожалованы поместьями и вотчинами, но сверх того обогатели у государевых дел неправедным мздоимством, накупили себе вотчин и понастроили таких домов, каких при прежних государях и у великородных людей не бывало; их справедливо обложить и деньгами «против домов их и пожитков» на жалованье ратным людям; с «государева богомолья» — церковных вотчин — взять даточных людей не по устарелым данным писцовых книг, и тем более, не «против заступленья», а по числу крестьян; с служащих по московскому списку и столичных чинов, которые на льготной службе «отяжелели и обогатели», взять даточных людей, а с их пожитков — деньги. Службу вообще необходимо упорядочить, выяснив, сколько за кем из служилых и приказных людей числится крестьян, и уста-

новить новым уложением, со скольких крестьян служить без денежного жалованья, а за лишек владенья брать деньги; рядовых служилых людей, «беспоместных, пустоместных и малопоместных», поддерживать поместным верстаньем и денежным жалованьем. Финансовые средства на войну пополнить, взяв «лежащую домовую казну» у духовенства и обложив торговых и черных людей по их торгам, промыслам и пожиткам, но собирать эти доходы гостям и торговым людям, а приказных людей счесть по приходным книгам, «чтобы государева казна без ведомости не терялась», — от такой ревизии приказного хозяйства служилые люди ожидали несомненной прибыли для казны. Про себя рядовые служилые люди говорили, что готовы «работать государю головами своими и всею душою», но «разорены пуще турских и крымских басурманов московскою волокитою и от неправд и от неправедных судов». Торговые люди также жаловались на новые приказные порядки, утверждая, что «в городех всякие люди обнищали и оскудали до конца от воевод», и вспоминали с сожалением, как «при прежних государях в городех ведали губные старосты, а посадские люди судились сами промеж себя, а воевод в городех не было»; они указывали на свое обеднение, на остановку торгов, на разорение от тяглых служб и податей, от конкуренции иностранных торговцев, которым покровительствовало правительство. Выслушав все эти заявления, правительство решило отказаться от Азова и отступить перед опасностью продолжительной и тяжелой войны. Соборные «сказки» 1642 г. характерно обрисовывают и настроение, и положение тех средних слоев населения, которые были главной общественной силой при восстановлении государства из великой разрухи в ополчении 1612 г., на соборе, избравшем царя Михаила, и на ряде соборов первых лет его правления. Глубокое недовольство усилением приказной системы управления, корыстной и бесконтрольной, усугублялось тем, что ей на счет ставилось общее расстройство экономического быта и государственной силы, хотя она была, конечно, не причиной их, а порождением. Острое раздражение вызывали и новые общественные верхи, обогатившие царскою милостью и собственным мздоимством и отяжелевшие в своем льготном положении. Силы и средства страны казались общественной массе большими, но неправильно распределенными, так что слыш-

ком значительная часть их ускользает от служения государеву и земскому делу и пропадает втуне. Над этим упрощенным пониманием положения не возвышалась, впрочем, и мысль государственных людей первой половины XVII в. Усилиями первого царствования новой династии государство было восстановлено на старых основаниях, на которых покоилась и политика таких строителей царства, как Грозный и Годунов. Достигнутыми результатами в значительной мере осуществлялись намеченные ими цели. Но традиционные приемы управления оказались недостаточными для разрешения задач более сложных. Правительственная работа, направленная исключительно на организацию и эксплуатацию народных сил и средств для государева и земского дела, спасла государство от внешнего и внутреннего разгрома, но не вывела страны из состояния расстройств и надрыва этих сил и средств. Побеждены были губительные проявления Смуты, корни же ее не были вырваны из русской жизни. Это сказалось при сыне царя Михаила новыми тревогами и серьезными волнениями.

III. Внешняя политика при царе Михаиле Феодоровиче

С утверждением на престоле новой династии Московскому государству пришлось строиться вновь не только во внутренних, но и во внешних отношениях. Москва в эпоху Смуты потеряла слишком значительную и ценную часть государственной территории и утратила свое прежнее международное значение. На западной границе она оказалась отброшенной назад ко временам, предшествовавшим деятельности Иоанна III: потерял Новгород, закрыт путь к западному морю; потерял Смоленск, утрачена земля Северская, отрезаны пути в Поднепровье. Соседи стремились закрепить за собой захваченные области и до конца использовать создавшиеся условия, отказываясь признать совершившийся факт — восстановление на Москве царского престола. Внутренняя Смута слишком тесно сплелась с отношениями к западным соседям; не уладив их, было невозможно одолеть и внутреннюю Смуту. Смута проложила путь иностранному вмешательству в русские дела, и оно поддерживало врагов восстанавливаемого порядка. Борьба была неизбежна; она и не была прервана избранием

Михаила. Шведы держали северо-запад, и король Густав-Адольф даже мечтал, захватив Псков и Холмогоры или Соловки, отрезать Москву от обоих морей. В 1614 г. он лично явился на театр войны, взял Гдов; в следующем году осадил Псков, но, потерпев здесь неудачу, согласился на переговоры. Долгие пререкания представителей обеих сторон закончились заключением 27 февраля 1617 г. «вечного мира» в Столбове, на реке Сяси. Москва по этому договору уступала шведам Ивангород, Ям, Копорье, Орешек с уездами и уплачивала 20 000 рублей. Шведский король, стремившийся к господству Швеции на Балтийском море, был весьма доволен этим результатом, тем более, что царь отказался от всяких притязаний на Лифляндию и Корелу. Но и в Москве были рады миру, вызволившему Великий Новгород. Теперь были развязаны руки для дела еще более настоящего — борьбы с королем польским. Московское правительство возобновило ее еще в марте 1613 г., послав ратную силу на оборону и очищение западных областей. Но сил на энергичное наступление не хватало, война тянулась вяло. По счастью, и противник, отвлеченный турецкой опасностью и раздорами короля со шляхтой, лишь отстаивал захваченное и даже не был в силах отбить ничтожные силы русских воевод, тщетно стоявших полгода под Смоленском. Безрезультатно тянулись с конца 1614 до начала 1616 г. и переговоры о мире. Летом 1616 г. царь Михаил сделал попытку наступления, не давшую сколько-нибудь прочных последствий. Королевич Владислав, который продолжал титуловать себя царем московским и настаивать на своих правах, получил согласие сейма на поход к Москве. Но в Польше московская авантюра дома Вазы далеко не пользовалась популярностью в широких общественных кругах; насколько приобретение Смоленской и Северной земель представлялось делом необходимым для обеспечения Великого княжества Литовского, настолько утверждение на московском наследственном престоле польского королевича казалось политической опасностью и — во всяком случае — династической затеей, не заслуживающей жертв со стороны Речи Посполитой. Только летом 1617 г. вступил Владислав в московские пределы, но прошел еще целый год, пока он получил возможность более решительных действий. Польское войско, не достаточное, чтобы взять сколько-нибудь зна-

чительную крепость, раздраженное неполучением платы, несколько месяцев разоряло русские области, возобновив для западных уездов горькие времена Смуты. Наконец Владислав осенью 1618 г. решил двинуться к Москве, чтобы чем-нибудь кончить: сейм дал ему небольшую сумму денег с обязательством закончить поход до конца года. С юга шла к нему серьезная помощь — гетман Конашевич-Сагайдачный с 20 000 казаков, чем силы королевича утраивались. Но и этих сил все-таки было недостаточно ни для взятия Москвы штурмом, ни для правильной осады. Однако Москва была еще так слаба, что могла только защищаться, отставив укрепленные пункты и уклоняясь от решительной встречи. Обе стороны одинаково нуждались в мире. Переговоры в с. Деулине, близ Троицкой лавры, привели к перемирию на 14½ лет, причем Речь Посполитая удерживала свои завоевания — Смоленскую и Северскую земли, — а вопрос о правах Владислава на московский престол был «положен на суд Божий» и не получил формального решения. Но и в такой форме перемирие было благодетельно для Москвы, занятой трудною внутренней работой.

В первые годы царствования Михаила Феодоровича московские политики сделали усилия связать свои дела с отношениями держав в Западной Европе. Еще из Ярославля кн. Пожарский с товарищами предпринял шаги к возобновлению сношений с венским императорским двором, а летом 1613 г. отправилось посольство к императору Матфею. Московское правительство желало посредничества императора для замирения с Сигизмундом; однако скоро пришлось убедиться, что император не будет желательным посредником; участие императорского посла Ганзелиуса в русско-польских переговорах оставило впечатление, что он «доброхотает королю»; венское правительство явно не было заинтересовано в успокоении Московского государства. Больше реальных оснований было искать соглашения с Турцией, давним врагом Польши. Сношения Москвы с султаном сильно тревожили польское правительство. Эти опасения, может быть, влияли на готовность окончить московскую войну, но до активных действий со стороны турок дело не дошло.

Более существенных результатов достигло правительство, затронув интересы англо-русской и русско-голландской торговли. Просьбы о помощи против шве-

дов и Польши не имели успеха: ни у Голландии, ни у Англии не было мотивов вступать в войну. Но замещение Московского государства было существенно важно для их торговых интересов, а окупить дипломатическую услугу приобретением от правительства царя Михаила льгот и покровительства значило расширить свои рынки и открыть себе новые торговые пути. Во время переговоров, которые привели к Столбовскому миру, посредниками, усердно улаживавшими трения между представителями Москвы и Швеции, явились уполномоченный от английского короля, Джон Мерик, и послы голландские. Летом 1617 г. русское посольство просило короля Иакова содействовать, чтобы Дания, Швеция и Нидерланды пришли на помощь Москве против Швеции и поддерживали русских денежной субсидией. Король прислал крупную сумму — 20 000 рублей; их вернули через год, так как Деулинское перемирие прервало польскую войну. В те же годы впервые завязались у Москвы прямые сношения с Францией: в 1615 г. московское посольство извещало короля Людовика XIII о вступлении на престол царя Михаила и искало помощи Франции против поляков и шведов; первое французское посольство появилось в Москве лишь много позднее — в 1629 г.

Далекая Московия напоминала о себе державам Западной Европы, пытаясь поставить свои отношения к ближайшим западным соседям на общеевропейскую почву. Но еле оправлявшаяся от полного упадка Москва не вызвала на западе политического интереса. Зато ее значение как рынка для приобретения сырья и для сбыта европейских товаров и как страны, владеющей путями в Азию, особенно же в богатую шелком Персию, неизменно росло в сознании западного коммерческого и политического мира. В переговорах о помощи и посредничестве московские послы должны были сулить торговые привилегии, за оказанные услуги надо было платить жалованными грамотами на торговлю. Больше всех получили англичане: они приобрели право свободного и беспошлинного торгового оборота; голландцы выхлопотали себе ту же льготу лишь на 3 года (с 1614 г.), а затем платили половинные пошлины; ряд специальных привилегий получили отдельные торговые люди-иноземцы за те или иные услуги московскому правительству. Попытка Франции заключить договор о свободной торговле и о пути в Персию не имела успеха, как и домогательства

о том же англичан. Во всяком случае, навстречу московским посольствам, которые стремились заинтересовать Западную Европу в судьбах своего государства как члена семьи народов христианской культуры и союзника в борьбе с мусульманством — этот аргумент русско-европейских связей обычен в посольских наказах времен Михаила Феодоровича, — шло стремление западноевропейских народов включить Московию в свой торговый оборот и эксплуатировать ее транзитные пути на восток. Со стороны царского правительства покровительство иноземной торговле вызывалось не одной обязанностью расплачиваться за политические услуги: англичане обязывались поставлять в царскую казну сукно и другие продукты западной промышленности по ценам, какие были на месте в Англии. Ничтожество своей промышленности вызывало большую нужду в западных товарах. Параллельно шло расширение вызова иноземных промышленников для насаждения на Руси лучшей и более интенсивной разработки минеральных богатств, заводского и фабричного дела. С каждым десятилетием XVII в. связи Московского государства с Западной Европой становились сложнее и глубже.

Но сознательная и более последовательная работа в этом направлении была еще не по силам Москве в первую половину столетия. Тяжелое внутреннее положение страны и неизбежная затрата сил и средств на внешние отношения поглощали эти силы до дна. Отношения к Польше не были сколько-нибудь прочно улажены Деулинским перемирием. Новое разграничение вызывало непрерывные пограничные столкновения, наезды и набег, нескончаемые споры из-за перебежчиков и т. д. Дипломатические сношения были очень затрудняемы непризнанием за Михаилом Феодоровичем царского титула. Худой мир то и дело грозил перейти в прямой разрыв, когда в августе 1621 г. появился в Москве посланник султана Фома Кантакузин с предложением наступательного союза против Польши. Но Москва чувствовала себя слабой и нуждалась в довольно большом времени, чтобы подготовиться к новой борьбе. Ввиду ее московское правительство заводит (с помощью иноземцев-инструкторов) полки «иноземного ратного строя», солдат и рейтар, затрачивая на них немалые средства. Кончина Сигизмунда, смуты бескорольевы казались в 1631 г. моментом удобным, чтобы возобновить

борьбу за Смоленск. Война началась удачно; был взят ряд укрепленных пунктов; воевода Шеин осадил Смоленск. Но исход кампании был плачевный. Союзники-турки не открыли своевременно военных действий и двинулись тогда, когда под Смоленском все было кончено. Осада этого города затянулась, а в августе 1633 г. Владислав, избранный королем, пришел под Смоленск с значительными силами и осадил осаждавших в их окопах. Русскому войску пришлось капитулировать на унижительных условиях. В Москве главных воевод — Шеина и Измайлова — осудили за измену и казнили; других постигла опала и ссылка. Но этим не исчерпывался урок смоленского похода. Он резко выяснил отсталость русского военного строя. Слабость московской артиллерии, незначительность новых регулярных сил и боевая беспомощность дворянской конницы громко требовали энергичных мер к улучшению военного дела. Правительство после смоленской катастрофы усиленно комплектуется «прибором» новые части регулярных полков, увеличивает артиллерию, напрягая, как могло, свои финансовые средства. Впрочем, успехи поляков пленением Шеина и кончились. У короля средств также не хватало, а вести о наступлении турок заставили его поспешить с переговорами о примирении. Летом 1634 г. заключен был Поляновский мир; он дал Москве только отказ Владислава от прав на московский престол. Осталась прежняя напряженность пограничных отношений, питаемая с московской стороны сознанием тягости потери Смоленска и Северской земли. Но до кончины царя Михаила вооруженных столкновений между обоими государствами не было.

Тем напряженнее шла работа по обороне и укреплению других границ. Смутное время и западные войны остановили развитие военной колонизации и расширение укреплений на юге, со стороны степной Украины. Но южная граница по-прежнему требовала постоянного наблюдения и охраны. Против набегов из Крыма приходилось по-старому ежегодно выдвигать к ней обсервационные отряды, и эта постоянная «полковая» служба поглощала много сил. По заключении Поляновского мира правительство возвращается к сооружению на юге укрепленной черты, к постройке городов и заселению пограничной полосы военно-служилыми поселенцами. В 1636 г. построены Козлов, Тамбов, Верхний и Нижний

Ломовы. В конце 30-х и в 40-х гг. идет усиленное строительство, которое при царе Алексее было завершено соединением городов и рассыпанных между ними мелких острогов непрерывною линией укреплений и засек и крепкую Белгородскую пограничную черту. Это было большое дело; оно потребовало, правда, крупных средств — и материальных и личных, но зато закрепляло восстановление государственной территории и ее безопасность. После этого в южных областях стали появляться новые поселенцы не только из великорусского центра, но и из-за польского рубежа: в 1638 г. после усмирения казацкого восстания целый полк гетмана Остраницы поселился у Чугуева городища. Казаков наделили землей, денежным и хлебным жалованьем и назначили к сторожевой пограничной службе. Однако эта первая волна малорусского переселения, получившего столь широкое развитие во вторую половину XVII в., скоро схлынула обратно. Большая часть казаков ушла в 1643 г. назад в Польшу от нелегкой московской службы и от московских воевод.

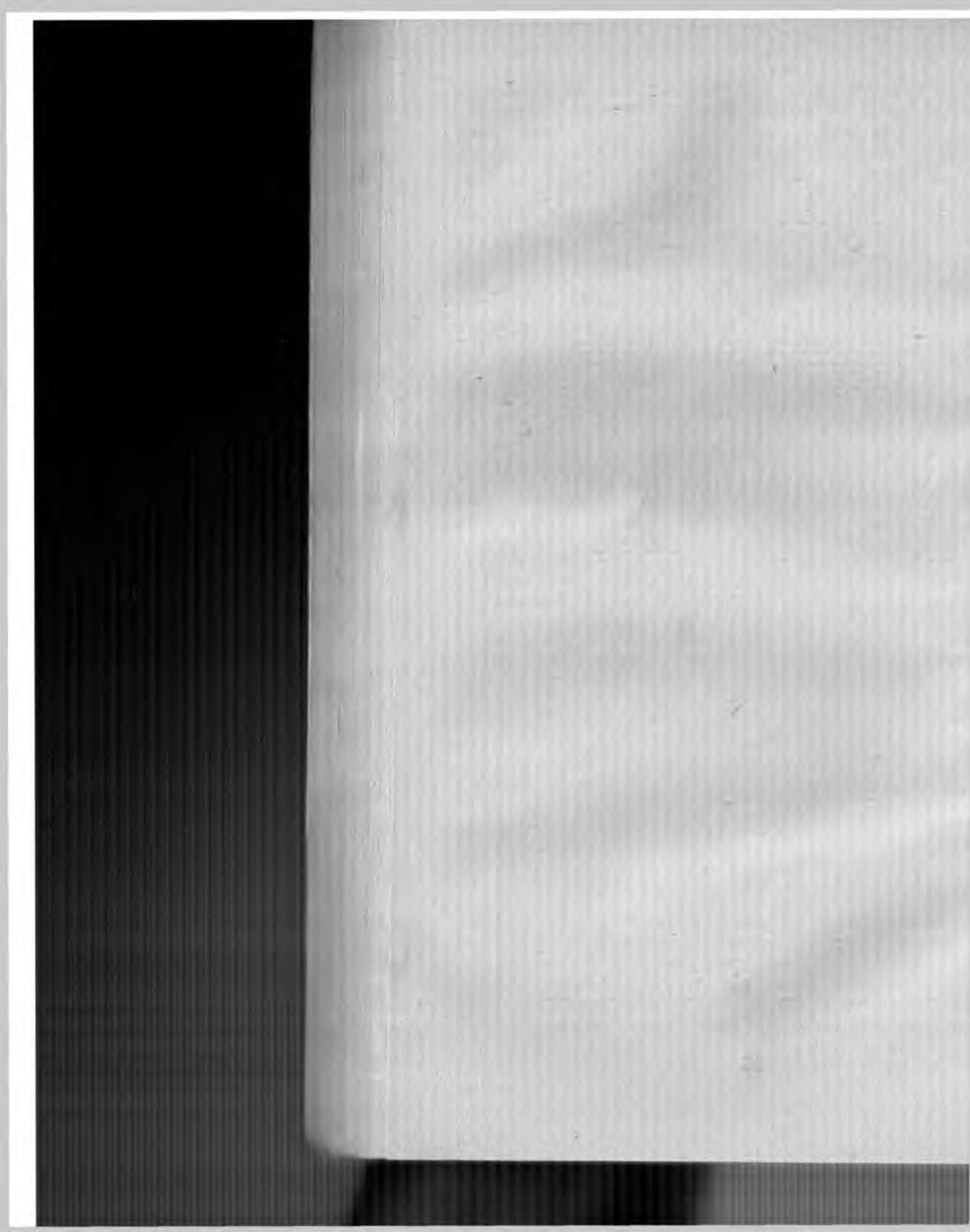
Восстанавливалось, хотя медленно, и русское колониационное движение в Поволжье, приобщавшее все новые области к русской гражданственности и московской государственности. В первую четверть XVII в. мирная колонизация двинулась за Каму и устраивалась тут в многоземельных местах, не требуя правительственной поддержки. Но в 30-х гг. восточная окраина увидела новую силу — калмыков, перекочевывавших из Азии. В 40-х гг. началась постройка укреплений за Камою «для обереганья от приходу калмыцких людей», в 50-х она завершилась организацией Закамской черты. Под защитой новых укреплений усилилось в начале царствования Михаила Феодоровича заселение «прихожими людьми разных городов» Самарской луки и берегов вниз по Волге. Впрочем, в этом направлении развитие русской колонизации за всю первую половину XVII в. весьма незначительно. Но русскую силу неудержимо привлекали на восток богатые промысловые угодья и свободные земли. Пионеры этого движения достигли в царствование Михаила Феодоровича берегов Охотского моря и начали заселение берегов Енисея и Лены. В 1619 г. возник Енисейск, опорный пункт подчинения тунгусов, в 1620-х гг. Красноярск, центр господства над инородцами верхнего Енисея. Отсюда поступательное

движение русских направилось на подчинение тунгусов и бурят. Самочинными действиями сибирских казаков захвачены были пункты по Лене, и Якутский острог, построенный в 1672 г., как и ряд других укрепленных пунктов, намечал этапы этого движения и исходные точки его дальнейшего развития. В 40-х гг. русские люди стали уже твердой ногой в Анадырском краю, в Забайкалье и проникли на Амур. Разбросанные на огромных пространствах Сибири русские городки и остроги намечали, так сказать, вчерне будущее освоение этой территории русской колонизацией и русским государством. На юге укрепленная граница определила лишь временный этап русского векового движения к Черному морю. На востоке — граница, неопределенная, расплывающаяся в неисследованных пространствах, беспокойная вследствие частых столкновений с инородческими племенами, манила ясаком, промысловыми богатствами, легкой добычей для предприимчивости населения и казны государственной. На западе — два «вечных» мира с обоими вековыми врагами, принудившие отказаться от давних и важных приобретений — морского берега и западных украин, — служили не столько гарантией покоя, сколько напоминанием о неизбежном возобновлении борьбы за культурные и торговые пути в Западную Европу и за национальное господство объединенной народности в Восточно-Европейской равнине.



Царь
Алексей Михайлович





Царь Алексей Михайлович

1. Общая характеристика

1

Далеко ушло то время, когда наши ученые и публицисты считали XVII в. в русской истории временем спокойной косности и объясняли необходимость Петровской реформы мертвящим застоєм московской жизни. Теперь мы уже знаем, что эта московская жизнь в XVII в. была сердитым ключом и создала горячих бойцов как за старые, колеблемые ходом истории идеалы, так и за новый уклад жизни. Боевые фигуры протопопа Аввакума и Никона более знакомы нам, чем тихие образцы преподобного Дионисия и «милостивого мужа» Федора Михайловича Ртищева; но и последние, как первые, отдали свою энергию на поиски новых начал жизни для того, чтобы ими осветить и облагородить серую московскую действительность. Явись среди взбаламученного московского общества середины XVII в. такой культурный вождь, каким был Петр Великий, — культурный перелом в Московской Руси мог бы обозначиться раньше, чем это произошло на самом деле. Но такого вождя не явилось. Напротив, во главе Московского государства стоял тогда любопытный и приятный, но более благородный, чем практически полезный правитель. Иначе не можем определить знаменитого царя Алексея Михайловича.

Не такова натура была у царя Алексея Михайловича, чтобы, проникнувшись одной какой-нибудь идеей, он мог энергично осуществлять эту идею, страстно бороться, преодолевать неудачи, всего отдать себя практической деятельности, как отдал себя Петр. Сын и отец совсем несходны по характеру: в царе Алексее не было той инициативы, какая отличала характер Петра. Стремление Петра всякую мысль претворять в дело совсем чуждо личности Алексея Михайловича, мирной и созерцательной. Боевая, железная натура Петра вполне противоположна живой, но мягкой натуре его отца.

Негде было царю Алексею выработать себе такую крепость духа и воли, какая дана Петру, помимо приро-

ды, впечатлениями детства и юности. Царь Алексей рос тихо в тереме московского дворца, до пятилетнего возраста окруженный многочисленным штатом мам, а затем по шестому году переданный на попечение дядьки, известного Бориса Ивановича Морозова. С пяти лет стали его учить грамоте по букварю, перевели затем на часовник, псалтырь и апостольские деяния, семи лет научили писать, а девяти стали учить церковному пению. Этим, собственно, и закончилось образование. С ним рядом шли забавы: царевичу покупали игрушки; был у него, между прочим, конь «немецкаго дела», были латы, музыкальные инструменты и санки потешные — словом, все обычные предметы детского развлечения. Но была и любопытная для того времени новинка — «немецкие печатные листы», т. е. гравированные в Германии картинки, которыми Морозов пользовался, говорят, как подспорьем при обучении царевича. Дарили царевичу и книги; из них составила у него библиотека числом в 13 томов. На 14-м году царевича торжественно объявили народу, а в 16 лет царевич осиротел (потерял и отца и мать) и вступил на московский престол, не видев ничего в жизни, кроме семьи и дворца. Понятно, как сильно было влияние боярина Морозова на молодого царя: он заменил ему отца.

Дальнейшие годы жизни царя Алексея дали ему много впечатлений и значительный житейский опыт. Первое знакомство с делом государственного управления; необычные волнения в Москве в 1648 г., когда «государь к Спасову образу прикладывался», обещая восставшему «миру» убрать Морозова от дел, «чтоб миром уголилися»; путешествие в Литву и Ливонию в 1654—1655 гг. на театр военных действий, где царь видел у ног своих Смоленск и Вильну и был свидетелем военной неудачи под Ригою, — все это развивающим образом подействовало на личность Алексея Михайловича, определило эту личность, сложило характер. Царь возмужал, из неопытного юноши стал очень определенным человеком, с оригинальною умственной и нравственной физиономией.

2

Современники искренно любили царя Алексея Михайловича. Самая наружность царя сразу говорила в его

пользу и влекла к нему. В его живых голубых глазах светилась редкая доброта; взгляд этих глаз, по отзыву современника, никого не пугал, но одобрял и обнадеживал. Лицо государя, полное и румяное, с русою бородой, было благодушно-приветливо и в то же время серьезно и важно, а полная (потом чересчур полная) фигура его сохраняла величавую и чинную осанку. Однако царственный вид Алексея Михайловича ни в ком не будил страха: чувствовалось, что не личная гордость царя создала эту осанку, а сознание важности и святости сана, который Бог на него возложил.

Привлекательная внешность отражала в себе, по общему мнению, прекрасную душу. Достоинства царя Алексея с некоторым восторгом описывали лица, вовсе от него не зависимые, — именно далекие от царя и от Москвы иностранцы. Один из них, например, сказал, что Алексей Михайлович — «такой государь, какого желали бы иметь все христианские народы, но немногие имеют» (Рейтенфельс). Другой поставил царя «наряду с добрейшими и мудрейшими государями» (Коллинс). Третий отзывался, что «царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями»; «он покориł себе сердца всех своих подданных, которые столько любят его, сколько и благоговеют перед ним» (Лизек). Четвертый отметил, что, при неограниченной власти своей в рабском обществе, царь Алексей не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь (Мейерберг). Эти отзывы получают еще бо́льшую цену в наших глазах, если мы вспомним, что их авторы вовсе не были друзьями и поклонниками Москвы и москвичей. Совсем согласно с иноземцами и русский эмигрант Котошихин, сбросивший с себя не только московское подданство, но даже и московское имя, по-своему очень хорошо говорит о царе Алексее, называя его «гораздо тихим».

По-видимому, Алексей Михайлович всем, кто имел случай его узнать, казался светлою личностью и всех удивлял своими достоинствами и приятностью. Такое впечатление современников, к счастью, может быть проверено материалом более прочным и точным, чем мнения и отзывы отдельных лиц, — именно письмами и сочинениями самого царя Алексея. Он очень любил писать и в этом отношении был редким явлением своего времени, очень небогатого мемуарами и памятниками

частной корреспонденции. Царь Алексей с необыкновенною охотой сам брался за перо или же начинал диктовать свои мысли дьякам. Его личные литературные попытки не ограничивались составлением пространных, литературно написанных писем и посланий. Он пробовал сочинять даже вирши (несколько строк, «которые могли казаться автору стихами», по выражению В. О. Ключевского). Он составил «Уложение сокольничья пути», т. е. подробный наказ своим сокольникам. Он начинал писать записки о польской войне. Он писал деловые бумаги, имел привычку своеручно поправлять текст и делать прибавки в официальных грамотах, причем не всегда попадал в тон приказного изложения. Значительная часть его литературных попыток дошла до нас, и притом дошло по большей части то, что писал он во времена своей молодости, когда был свежее и откровеннее и когда жил полнее. Этот литературный материал замечательно ясно рисует нам личность государя и вполне позволяет понять, насколько симпатична и интересна была эта личность. Царь Алексей высказывался очень легко, говорил почти всегда без обычной в те времена риторики, любил, что называется, поговорить и пофилософствовать в своих произведениях.

3

При чтении этих произведений прежде всего бросаются в глаза необыкновенные восприимчивость и впечатлительность Алексея Михайловича. Он жадно впитывает в себя, «яко губа напояема», впечатления от окружающей его действительности. Его занимает и волнует все одинаково: и вопросы политики, и военные религии, и смерть патриарха, и садоводство, и вопрос о том, как петь и служить в церкви, и соколиная охота, и театральные представления, и буйство пьяного монаха в его любимом монастыре... Ко всему он относится одинаково живо, все действует на него одинаково сильно: он плачет после смерти патриарха и доходит до слез от выходок монастырского казначея: «До слез стало! видит чудотворец (Савва), что во мгле хожу», — пишет он этому ничтожному казначею Саввина монастыря. В увлечении тем или иным предметом царь не делает видимого различия между важным и неважным. О поражении своих войск и о монастырской драке пишет он

с равным одушевлением и вниманием. Описывая своему двоюродному брату (по матери) А. И. Матюшкину бой при г. Валке 10 июня 1657 г., царь пишет: «Брат! буди тебе ведомо: у Матвея Шереметева был бой с немецкими людьми! И дворяне издрогали и побежали все, и Матвей остался в отводе и сорвал немецких людей. Да навстречу иные пришли роты, и Матвей напустил и на тех с небольшими людьми, да лошадь повалилась, так его и взяли! А людей наших всяких чинов 51 человек убит да ранено 35 человек. И то благодарю Бога, что от трех тысяч столько побито, а то все целы, потому что побежали; а сами плачут, что так грех учинился!.. А с кем бой был, и тех немец всего было две тысячи; наших и болши было, да так грех пришел. А о Матвее не тужи, будет здоров, вперед ему к чести! Радуйся, что люди целы, а Матвей будет по-прежнему». Царь сочувствует храброму Шереметеву и радуется, что целы, благодаря бегству, его «издрогавшие» люди. Позор поражения он готов объяснить «грехом» и не только не держит гнева на виновных, но душевно жалеет их. Ту же степень внимания, только не сочувственного, царь уделяет и подвигам упомянутого саввинского казначея Никиты, который стрелецкого десятника, поставленного в монастыре, зашиб посохом в голову, а оружие, седла и зипуны стрелецкие велел выметать вон за двор. Царь составил Никите послание (вместо простой приказной грамоты) «от царя и великаго князя Алексея Михайловича всей Русии врагу Божию и богоненавистцу и хриstopродавцу и разорителю чюдотворцова дома (т. е. Саввина монастыря) и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Никите». В этом послании Алексей Михайлович спрашивал Никиту: «Кто тебя, сиротину, спрашивал над домом чюдотворцовым да и надо мною, грешным, властвовать? кто тебе сию власть мимо архимандрита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих Михайловских бить?» Так как Никита счел себе бесчестьем, что стрельцы расположились у его кельи, то царь, обвиняя монаха в сатанинской гордости, восклицал: «Дорого добре, что у тебя, скота, стрельцы стоят! лучше тебя и честнее тебя и у митрополитов стоят стрельцы по нашему указу!.. дороги ль мы пред Богом с тобою и дороги ль наши высокосердечные мысли, доколе отвращаемся, доколе не всею душою и не всем

сердцем заповеди Его творим?..» За самоуправство царь налагал на монаха позорное наказание: с цепью на шее и в кандалах Никиту стрельцы должны были свести в его келью после того, как ему «пред всем собором» прочтут царскую грамоту. А за «роптанье спесивое» царь грозил монаху жаловаться на него чудотворцу и просить суда и обороны пред Богом.

Так живо и сильно, доходя до слез и до «мглы» душевной, переживал царь Алексей Михайлович все то, что забирало его за сердце. И не только исключительные события его личной и государственной жизни, но и самые обыкновенные частности повседневного быта легко поднимали его впечатлительность, доводя ее порою до восторга, до гнева, до живой жалости. Среди серьезных писем к А. И. Матюшкину есть одно, все сплошь посвященное двум молодым соколам и их пробе на охоте. Алексей Михайлович с восторгом описывает, как он «отведывал» этих «дикомытов» и как один из них «безмерно какво хорошо летал» и «милостию Божией и твоими (Матюшкина) молитвами и счастьем» отлично «заразил» утку: «как ее мякнет по шее, так она десятью перекинулась» (т. е. десять раз перевернулась при падении). В деловой переписке с Матюшкиным царь не упускает сообщить ему и такую малую, например, новость: «Да на нашем стану в селе Танинском новый сокольник Мишка Семенов сидел у огня да, вздремав, упал в огонь, и ево из огня вытащили; немного не згорел, а как в огонь упал, и того он не слышал...» Во время морового поветрия 1654—1655 гг. царь уезжал от своей семьи на войну и очень беспокоился о своих родных. «Да для Христа, государыни мои, оберегайтесь от заморнова ото всякой вещи, — писал он своим сестрам, — не презрите прошения нашего!» Но в то самое время, когда война и мор, казалось, сполна занимали ум Алексея Михайловича и он своим близким с тоскою в письмах «от мору велел опасатца», он не удержался, чтобы не описать им поразившее его в Смоленске весеннее половодье. «Да будем вам ведомо, — пишет он, — на Днепре был мост 7 сажен над водою; и на Фоминой неделе прибыло столько, что уже с моста черпают воду; а чаю, и поймать (мост)...» Рассказывают, будто бы однажды в докладе царю из кормового дворца было указано, что квасы, которые там варили на царский обиход, не удались: один сорт кваса вышел так плох, что

разве только стрельцам спойть. Алексей Михайлович обиделся за своих стрельцов и на докладе раздраженно указал докладчику: «Сам выпей!»

Мудрено ли, что такой живой и восприимчивый человек, как царь Алексей, мог быть очень вспыльчив и подвижен на гнев. Несмотря на внешнее добродушие и действительную доброту, Алексей Михайлович, по живости духа, нередко давал волю своему неудовольствию, гневался, бранился и даже дрался. Мы видели, как он бранил «сиротину» монаха за его грубые претензии. Почти так же доставалось от «гораздо тихого» царя и людям высших чинов и более высокой породы. В 1658 г., недовольный князем И. А. Хованским за его местническое высокомерие и за ссору с А. Л. Ординым-Нащокиным, Алексей Михайлович послал сказать ему царский выговор с такими, между прочим, выражениями: «Тебя, князя Ивана, зыскал и выбрал на эту службу великий государь, а то тебя всяк называл дураком, и тебе своею службою возноситься не надобно... великий государь велел тебе сказать имянно, что за непослушание и за Афанасия (Ордина-Нащокина) тебе и всему роду твоему быть разорену». В другой раз (1660), сообщая Матюшкину о поражении этого своего «избранника» князя Хованского Тараруя, царь виною поражения выставлял «ево безпутную дерзость» и с горем признавался, что из-за военных тревог сам он «не ходил на поле тешиться июня с 25 числа июля по 5 число, и птичей промысл поизмешался». Несмотря, однако, на безпутную дерзость и «дурость» князя Хованского, Алексей Михайлович продолжал его держать у дел до самой кончины: вероятно, «тараруй» (т. е. болтун) и «дурак» обладал и положительными деловыми качествами. — Надобно вспомнить, что в ужасные дни стрелецкого бунта 1682 г. правительство решилось поставить именно этого тараруя во главе Стрелецкого приказа. Еще крепче, чем Хованскому, писал однажды царь Алексей Михайлович «врагу креста Христова и новому Ахитофелу князю Григорью Ромодановскому». За малую, по-видимому, вину (не отпустил вовремя к воеводе С. Змееву) царь послал ему такие укоры: «Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанинскую службу!.. И ты дело Божие и наше государево потерял, потеряет тебя самого Господь Бог!.. И сам ты, треокаянный и безславный ненавистник».

рода христианского — для того, что людей не послал, — и нам верный изменник и самого истинного сатаны сын и друг диаволов, впадешь в бездну преисподнюю, из неяже никто не возвращался... Вконец ведаем, завистниче и верный наш непослушниче, как то дело ухищренным и злопронырливым умыслом учинил... Бог благословил и передал нам, государю, править и рассуждать люди свои на востоке и на западе, и на юге и на севере вправду; и мы Божии дела и наши государевы на всех странах полагаем — смотря по человеку, а не всех стран дела тебе одному, ненавистнику, делать, для того: невозможно естеству человеческому на все страны делать, один бес на все страны мещется...» Но, отругав на этот раз князя Г. Г. Ромодановского, царь в другое время шлет ему милостивое «повеление» в виде виршей:

«Рабе Божий! дерзай о имени Божии
И уповай всем сердцем: подаст Бог победу
И любовь и совет великой имей с Брюховецким,
А себя и людей Божих и наших береги крепко» и т. д.

Стало быть, и Ромодановский, как Хованский, не всегда казался царю достойным хулы и гнева. Вспыльчивый и бранчливый, Алексей Михайлович был, как видим, в своем гневе непостоянен и отходчив, легко и искренно переходя от брани к ласке. Даже тогда, когда раздражение государя достигало высшего предела, оно скоро сменялось раскаянием и желанием мира и покоя. В одном заседании боярской думы, вспыхнув от бестактной выходки своего тестя боярина И. Д. Милославского, царь изругал его, побил и пинками вытолкал из комнаты. Гнев царя принял такой крутой оборот, конечно, потому, что Милославского по его свойствам и вообще нельзя было уважать. Однако добрые отношения между тестем и зятем от того не испортились: оба они легко забыли происшедшее. Серьезнее был случай со старым придворным человеком, родственником царя по матери, Родионом Матвеевичем Стрешневым, о котором Алексей Михайлович был высокого мнения. Старик отказался, по старости, от того, чтобы вместе с царем «отворить» себе кровь. Алексей Михайлович вспылил, потому что отказ представился ему высокоумием и гордостью, и ударил Стрешнева, а потом не знал, как задобрить и утешить почитаемого им человека, просил мира и слал ему богатые подарки.

Но не только тем, что царь легко прощал и мирился, доказывается его душевная доброта. Общий голос современников называет его очень добрым человеком. Царь любил благотворить. В его дворце, в особых палатах, на полном царском иждивении жили так называемые верховые (т. е. дворцовые) богомольцы, верховые нищие и юродивые. Богомольцы были древние старики, почитаемые за старость и житейский опыт, за благочестие и мудрость. Царь в зимние вечера слушал их рассказы про старое время — о том, что было «за тридцать и за сорок лет и больше». Он покоил их старость так же, как чтит безумие Христа ради юродивых, делавшее их неумытными и бесстрашными обличителями и пророками в глазах всего общества того времени. Один из таких юродивых, именно Василий Босой, или Уродивый, играл большую роль при царе Алексее, как его советник и наставник. О «брате нашем Василии» не раз встречаются почтительные упоминания в царской переписке. Опекая подобный люд при жизни, царь устраивал богомольцам и нищим торжественные похороны после их кончины и в их память учреждал «кормы» и раздавал милостыню по церквям и тюрьмам. Такая же милостыня шла от царя и по большим праздникам; иногда он сам обходил тюрьмы, раздавая подавание «несчастливым». В особенности пред «великим» или «светлым» днем св. Пасхи, на «страшной» неделе, посещал царь тюрьмы и богадельни, оделял милостынею и нередко освобождал тюремных «сидельцев», выкупал неоплатных должников, помогал неимущим и больным. В обычные для этой рутинные формы «подачи» и «корма» нищим Алексей Михайлович умел внести сознательную стихию любви к добру и людям.

Не одна нищета и физические страдания трогали царя Алексея Михайловича. Всякое горе, всякая беда находили в его душе отклик и сочувствие. Он был способен и склонен к самым теплым и деликатным дружеским утешениям, лучше всего рисующим его глубокую душевную доброту. В этом отношении замечательны его знаменитые письма к двум огорченным отцам: князю Никите Ивановичу Одоевскому и Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину — об их сыновьях. У кн. Одоевского умер внезапно его первенец, взрослый сын, князь Михаил, в то время, когда его отец был в Казани. Царь Алексей сам особым письмом известил отца о горькой

потере. Он начал письмо похвалами почившему, причем выразил эти похвалы косвенно — в виде рассказа о том, как чинно и хорошо обходились князь Михаил и его младший брат князь Федор с ним, государем, когда государь был у них в селе Вешнякове. Затем царь описал легкую и благочестивую кончину князя Михаила: после причастия он «как есть уснул; отнюдь рыдания не было, ни терзания». Светлые тоны описания здесь взяты были, разумеется, нарочно, чтобы смягчить первую печаль отца. А потом следовали слова утешения, пространные, порою прямо нежные слова. В основе их положена та мысль, что светлая кончина человека без страданий, «в добродетели и в покаянии добре», есть милость Господня, которой следует радоваться даже и в минуты естественного горя. «Радуйся и веселися, что Бог совсем свершил, изволил взять с милостию своею; и ты принимай с радостью сию печаль, а не в кручину себе и не в оскорбление». «Нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, — и прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать!» Не довольствуясь словесным утешением, Алексей Михайлович пришел на помощь Одоевским и самым делом: принял на себя и похороны: «На все погребалныя я послал, — пишет он, — сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал и проведal про вас, что, опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня, никого у вас нет», — между тем несомненно, что семья Одоевских далеко не была бедной. В конце утешительного послания царь своеручно приписал последние ласковые слова: «Князь Никита Иванович! не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надежен!»

Горе А. Л. Ордина-Нащокина, по мнению Алексея Михайловича, было горше, чем утрата кн. Н. И. Одоевского. По словам царя, «тебе, думному дворянину, болше этой беды вперед уже не будет: болше этой беды на свете не бывает!» У Ордина-Нащокина убежал за границу сын, по имени Воин, и убежал, как изменник, во время служебной поездки, с казенными деньгами, «со многими указами о делах и с ведомостями». На просьбу пораженного отца об отставке царь послал ему «от нас, великаго государя, милостивое слово». Это слово было не только милостиво, но и трогательно. После многих похвальных эпитетов «христоробцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу» Афанасию Лаврентьевичу царь

тепло говорит от своим сочувствии не только ему, Афанасию, но и его супруге в «их великой скорби и туге». Об отставке своего доброго «ходатая и желателя» он не хочет и слышать, потому что не считает отца виноватым в измене сына. Царь и сам доверял изменнику, как доверял ему отец: «Будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и соглашение твое ему! и он, простец, и у нас, великаго государя, тайно был, и не по одно время, и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова простоумышленного яда под языком его не видали!» Царь даже пытается утешить отца надеждою на возвращение не изменившего якобы, а только увлекшегося юноши. «А тому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хочет создания Владычня и творения руку Его видеть на сем свете; якоже и птица летает сею и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспоманет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святаго Духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится!» Какая доброта и какой такт диктовали эти золотые слова утешения в беде, больше которой «на свете не бывает»! И царь оказался прав: Афанасьев «сынишка Войка» скоро вернулся из дальних стран во Псков, а оттуда в Москву, и Алексей Михайлович имел утешение написать А. Л. Ордину-Нащокину, что за его верную и рачительную службу он пожаловал сына его, вины отдал, велел свои очи видеть и написать по московскому списку с отпуском на житье в отцовские деревни.

Живая, впечатлительная, чуткая и добрая натура Алексея Михайловича делала его очень способным к добродушному веселью и смеху. Склонностью к юмору он напоминает своего гениального сына Петра; оба они любили пошутить и словом, и делом. Среди писем к Матюшкину есть одно, написанное «тарабарски», нелегким для чтения шифром, и сочиненное только затем, чтоб подразнить Матюшкина шутливым замечанием, что когда его нет, то некому царя покормить плохим хлебом «с закалою». «А потом будь здрав», — милостиво заключает царь свой намек на какую-то кулинарную оплошность его любимца. Другое письмо к Матюшкину, все сплошь игриво. Царь пишет из «похода» и начинает поручением устроить маленький обман его сестер-царе-

нен: «Нарядись в ездовое (дорожное) платье да съезди к сестрам, будто ты от меня приехал, да спросай о здорьевьи». Матюшкину, стало быть, приказано просто лгать царевнам, что он лично прибыл в Москву из того подмосковного «потешного» села, где тогда жил государь. Вслед за этим поручением царь Алексей сообщает Матюшкину: «Тем утешаюся, что столльников беспрестани купаю ежеутр в пруде... за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю!» Очевидно, эта утеха не была жестокою, так как стольники на нее, видимо, напрашивались сами. Государь после купанья в отличие звал их к своему столу: «У меня купальщики те ядят вдоволь, — продолжает Алексей, — а иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так де и нас выкупают, да и за стол посадят. Многие нароком не попевают». Так тешился «гораздо тихий» царь, как бы преобразуя этим невинным купаньем стольников жестокие издевательства его сына Петра над вольными и невольными собутыльниками. Само собою приходит на ум и сравнение известной «книги, глаголемой Урядник сокольничья пути», царя Алексея с не менее известными церемониалами «всешутейшаго собора» Петра Великого. Насколько «потеха» отца благороднее «шутовства» сына и насколько острый цинизм последнего ниже целомудренной шутки Алексея Михайловича! Свой шутливый охотничий обряд, «чин» производства рядового сокольника в начальные, царь Алексей обставил нехитрыми символическими действиями и тарабарскими формулами, которые не многого стоят по наивности и простоте, но в основе которых лежит молодой и здоровый охотничий энтузиазм и трогательная любовь к красоте птичьей природы. Тогда как у царя Петра служение Бахусу и Ивашке Хмельницкому приобретало характер культа, в «Уряднике» царя Алексея «пьянство» сокольника было показано в числе вин, за которые «безо всякие пощады быть сослану на Лену». Разработав свой «потешный» чин производства в сокольники и отдав в нем дань своему веселью, царь Алексей своеручно написал на нем характерную оговорку: «Правды же и суда и милостивыя любви и ратнаго строя николиже позабывайте: делу время и потехе час!» Уменьше соединять дело и потеху заметно у царя Алексея и в том отношении, что он охотно вводил шутку в деловую сферу. В его переписке не раз встречаем юмор там, где его не ждем. Так, сообщая в 1655 г. свое-

му любимцу «верному и избранному» стрелецкому голове А. С. Матвееву разного рода деловые вести, Алексей Михайлович, между прочим, пишет: «Посланник приходил от шведского Карла короля, думный человек, а имя ему Уддеудла. Таков смышлен: и купить его, то дорого дать что полтина, хотя думный человек; мы, великий государь, в десять лет впервые видим такого глупца посланника!» Насмешливо отозвавшись вообще о ходах шведской дипломатии, царь продолжает: «Тако нам, великому государю, то честь, что (король) прислал обвестить посланника, а и думнаго человека. Хотя и глуп, да что же делать? така нам честь». В 1656 г. в очень серьезном письме сестрам из Кокенгаузена царь сообщал им подробности счастливого взятия этого крепкого города и не удержался от шутивно-образного выражения: «А крепок безмерно: ров глубокой — меньшей брат нашему кремлевскому рву, а крепостию — сын Смоленску-граду: ей, чрез меру крепок!» Частная, не деловая переписка Алексея Михайловича изобилует такого рода шутками и замечаниями. В них нет особого остроумия и меткости, но много веселого благодушия и склонности посмеяться.

Такова была природа царя Алексея Михайловича, впечатлительная и чуткая, живая и мягкая, общительная и веселая. Эти богатые свойства были, в духе того времени, обработаны воспитанием. Алексея Михайловича приучили к книге и разбудили в нем умственные запросы. Склонность к чтению и размышлению развила светлые стороны натуры Алексея Михайловича и создала из него чрезвычайно привлекательную личность. Он был один из самых образованных людей московского общества того времени: следы его разносторонней начитанности, библейской, церковной и светской, разбросаны во всех его произведениях. Видно, что он вполне овладел тогдашней литературой и усвоил себе до тонкости книжный язык. В серьезных письмах и сочинениях он любит пускать в ход цветистые книжные обороты, но вместе с тем он не похож на тогдашних книжников-риторов, для красоты формы жертвовавших ясностью и даже смыслом. У царя Алексея продуман каждый его цветистый афоризм, из каждой книжной фразы смотрит живая и ясная мысль. У него нет риторического пустословия: все, что он прочел, он продумал; он, видимо, привык размышлять, привык свободно и легко выска-

зывать то, что надумал, и говорил притом только то, что думал. Поэтому его речь всегда искренна и полна содержания. Высказывался он чрезвычайно охотно, и потому его умственный облик вполне ясен.

Чтение образовало в Алексее Михайловиче очень глубокую и сознательную религиозность. Религиозным чувством он был проникнут весь. Он много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы. Его главным духовным интересом было спасение души. С этой точки зрения он судил других. Всякому виновному царь при выговоре непременно указывал, что он своим проступком губит свою душу и служит сатане. По представлению, общему в то время, средство ко спасению души царь видел в строгом последовании обрядности, и поэтому очень строго соблюдал все обряды. Любопытно прочесть записки дьякона Павла Алеппского, который был в России в 1655 г. с патриархом Макарием антиохийским и описал нам Алексея Михайловича в церкви и среди клира. Из этих записок всего лучше видно, какое значение придавал царь обрядам и как заботливо следил за точным их исполнением. Но обряд и аскетическое воздержание, к которому стремились наши предки, не исчерпывали религиозного сознания Алексея Михайловича. Религия для него была не только обрядом, но и высокой нравственной дисциплиной: будучи глубоко религиозным, царь думал вместе с тем, что не грешит, смотря комедию и лаская немцев. В глазах Алексея Михайловича театральное представление и общение с иностранцами были не грехом и преступлением против религии, но совершенно позволительным новшеством — и приятным и полезным. Однако при этом он ревниво оберегал чистоту веры и, без сомнения, был одним из православнейших москвичей; только его ум и начитанность позволяли ему гораздо шире понимать православие, чем понимало его большинство его современников. Его религиозное сознание шло, несомненно, дальше обряда: он был философ-моралист, и его философское мировоззрение было строго религиозным. Ко всему окружающему он относился с высоты своей религиозной морали, и эта мораль, исходя из светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухим кодексом отвлеченных нравственных правил, суровых и безжизненных, а звучала мягким, прочувствованным, любящим словом, сказывалась полным ясного житейского смысла

теплым отношением к людям. Склонность к размышлению и наблюдению, вместе с добродушием и мягкостью природы, выработала в Алексее Михайловиче замечательную для того времени тонкость чувства; поэтому и его мораль высказывалась иногда поразительно хорошо, тепло и симпатично, особенно тогда, когда ему приходилось кого-нибудь утешать. Высокий образец этой трогательной морали представляет упомянутое выше письмо царя к князю Н. И. Одоевскому о смерти его старшего сына, князя Михаила. В этом письме ясно виден человек чрезвычайно деликатный, умеющий любить и понимать нравственный мир других, умеющий и говорить, и думать, и чувствовать очень тонко. Та же тонкость понимания, способность дать нравственную оценку своему положению и своим обязанностям, сказывается и замечательном «статейном списке», или письме, Алексея Михайловича к Никону, митрополиту новгородскому, с описанием смерти патриарха Иосифа. Вряд ли Иосиф пользовался действительною любовью царя и имел в его глазах большой нравственный авторитет. Но царь считал своею обязанностью чтить святителя и относиться к нему с должным вниманием. Поэтому он окружил больного патриарха своими заботами, посещал его, присутствовал даже при его агонии, участвовал в чине его погребения и лично самым старательным образом переписал «келейную казну» патриарха, — «с полторы недели ежедень ходил» в патриаршие покои как душеприказчик. Во всем этом Алексей Михайлович и дает добровольный отчет Никону, предназначенному уже в патриархи всея Руси. Надобно прочесть сплошь весь царский «статейный список», чтобы в полной мере усвоить его своеобразную прелесть. Описание последней болезни патриарха сделано чрезвычайно ярко, с большою реальностью, причем царь сокрушается, что упустил случай по московскому обычаю напомнить Иосифу о необходимости предсмертных распоряжений. «И ты меня, грешного, прости, — пишет он Никону, — что яз ему не вспомянул о духовной и кому душу свою прикажет». Царь пожалел пугать Иосифа, не думая, что он уже так плох: «Мне молвить про духовную-ту, и помни: вот-де меня избывает!» Здесь личная деликатность заставила царя Алексея отступить от жестокого обычая старины, когда и самим царям в болезни их дьяки поминали «о духовной». Умершего патриарха вынесли в церковь,

и царь пришел к его гробу в пустую церковь в ту минуту, когда можно было глазом видеть процесс разложения в трупе («безмерно пухнет», «лицо розно пухнет»). Царь Алексей испугался. «И мне прииде, — пишет он, — помышление такое от врага: побегу де ты вон, тотчас де тебя, вскоча, удавит!.. И я, перекрестясь, да взял за руку его, света, и стал целовать, а во уме держу то слово: от земли создан, и в землю идет; чего бояться?.. Тем себя и оживил, что за руку-ту его с молитвой взял!» Во время погребения патриарха случился грех: «Да такой грех, владыко святой: погребли без звону!.. а прежних патриархов с звоном погребали». Лишь сам царь вспомнил, что надо звонить, так уж стали звонить после срока. Похоронив патриарха, Алексей Михайлович принялся за разбор личного имущества патриаршего с целью его благотворительного распределения; кое-что из этого имущества царь и распродал. Самому царю нравились серебряные «суды» (посуда) патриарха, и он, разумеется, мог бы их приобрести для себя: было бы у него столько денег, «что и вчетверо цену ту дать», по его словам. Но государя удержало очень благородное соображение: «Да и в том меня, владыко святой, прости, — пишет царь Никону, — немного и я не покусился иным судам, да милостию Божью воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыко святой, ни маленькому ничему не точен!.. Не хочу для того: се от Бога грех, се от людей зазорно, а се какой я буду приказник: самому мне (суды) имать, а деньги мне платить себе ж!» Вот с какими чертами душевной деликатности, нравственной щекотливости и совестливости выступает перед нами самодержец XVII в., боящийся греха от Бога и зазора от людей, подчиняющийся христианскому чувству свой суеверный страх.

То же чувство деликатности, основанной на нравственной вдумчивости, сказывается в любопытнейшем выговоре царя воеводе князю Юрию Алексеевичу Долгорукову. Долгорукий в 1658 г. удачно действовал против Литвы и взял в плен гетмана Гонсевского. Но его успех был следствием его личной инициативы: он действовал по соображению с обстановкою, без спроса и ведома царского. Мало того, он почему-то не известил царя вовремя о своих действиях, и, главным образом, об отступлении от Вильны, которое в Москве не одобрили. Выходило так, что за одно надлежало Долгорукого хва-

лить, а за другое порицать. Царь Алексей находил нужным официально выказать недовольство поведением Долгорукого, а неофициально послал ему письмо с мягким и милостивым выговором. «Похваляем тебя без вести (т. е. без реляции Долгорукого) и жаловать обещаемся», — писал государь, но тут же добавил, что это похвала только частная и негласная: «И хотим с милостивым словом послать и с иною нашею государевою милостию, да нельзя послать: отписки от тебя нет, неведомо, против чего писать тебе!» Объяснив, что Долгорукий «сам то себе устроил безчестье», царь обращается к интимным упрекам: «Ты за мою, просто молвить, милостивую любовь ни одной строки не писывал ни о чем! Писал ко друзьям своим, а те — ей-ей! — про тебя же переговаривают да смеются, как ты торопишься, как и иное делаешь...» «Чаю, что князь Никита Иванович (Одоевский) тебя подбил; и его было слушать напрасно: ведаешь сам, какой он промышленник, послушаешь, как про него поют на Москве... Но одновременно с горькими укоризнами царь говорит Долгорукому и ласковые слова: «Тебе бы о сей грамоте не печалиться: любя тебя, пишу, а не кручинясь; а сверх того, сын твой скажет, какая немилость моя к тебе и к нему...» «Жаль, конечно, тебя: впрямь Бог хотел тобою всякое дело в совершение не во многие дни привести... да сам ты от себя потерял!» В заключение царь жалует Долгорукого тем, что велит оставить свой выговор в тайне: «А прочтя сию нашу грамоту и запечатав, прислать ее к нам с тем же, кто к тебе с нею приедет». Очень продуманно, деликатно и тактично это желание царя Алексея добрым интимным внушением смягчить и объяснить официальное взыскание с человека хотя и заслуженного, но формально провинившегося.

Во всех посланиях царя Алексея Михайловича, подобных приведенному, где царю приходилось обсуждать, а иногда и осуждать поступки разных лиц, бросается в глаза одна любопытная черта. Царь не только обнаруживает в себе большую нравственную чуткость, но он умеет и любит анализировать: он всегда очень пространно доказывает вину, объясняет, против кого и против чего именно погрешил виноватый и насколько сильно и тяжело его прегрешение. Характернейший образец подобных рассуждений находим в его обращении к князю Григорию Семеновичу Куракину с выговором за то,

что он (в 1668 г.) не поспешил на выручку гарнизонам Нежина и Чернигова. Царь упрекнул Куракина в недомыслии, в том, что он «притчею не промыслит, что будет» следствием его промедления. «То будет (объясняет царь воеводе): первое — Бога прогневает... и кровь напрасно многую прольет; второе — людей потеряет и страх на людей наведет и торопость; третье — от великаго государя гнев примет; четвертое — от людей стыд и срам, что даром людей потерял; пятое — славу и честь, на свете Богом дарованную, непристойным делом отгонит от себя и вместо славы укоризны всякия и неудобныя переговоры восприимет. И то все писано к нему, боярину (заключает Алексей Михайлович), хотя добра святой и восточной церкви и чтобы дело Божие и его государево свершалось в добром полководстве, а его, боярина, жалую и хотя ему чести и жалея его старости!» Наблюдения над такими словесными упражнениями приводят к мысли, что царь Алексей много и основательно размышлял. И это размышление состояло не в том только, что в уме Алексея Михайловича послушно и живо припоминались им читанные тексты и чужие мысли, подходящие внешним образом к данному времени и случаю. Умственная работа приводила его к образованию собственных взглядов на мир и людей, а равно и общих нравственных понятий, которые составляли его собственное философско-нравственное достояние. Конечно, это не была система мировоззрения в современном смысле; тем не менее в сознании Алексея Михайловича был такой отчетливый моральный строй и порядок, что всякий частный случай ему легко было подвести под его общие понятия и дать ему категорическую оценку. Нет возможности восстановить, в общем содержании и системе, этот душевный строй прежде всего потому, что и сам его обладатель никогда не заботился об этом. Однако для примера укажем хотя бы на то, что, исходя из религиозно-нравственных оснований, Алексей Михайлович имел ясное и твердое понятие о происхождении и значении царской власти в Московском государстве как власти богоустановленной и назначенной для того, чтобы «рассуждать людей вправду» и «безпомощным помогать». Уже были выше приведены слова царя Алексея князю Г. Г. Ромодановскому: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке, и на западе, и на юге,

и на севере, вправду». Для царя Алексея это была не случайная красивая фраза, а постоянная твердая формула его власти, которую он сознательно повторял всегда, когда его мысль обращалась на объяснение смысла и цели его державных полномочий. В письме к князю Н. И. Одоевскому, например, царь однажды помянул о том, «как жить мне, государю, и вам, боярам», и на эту тему писал: «А мы, великий государь, ежедневно просим у Создателя... чтобы Господь Бог... даровал нам, великому государю, и вам, бояром, с нами единодушно люди его, Световы, разсудили вправду, всем равно». Взятый здесь пример имеет цену в особенности потому, что для историка в данном случае ясен источник тех фраз царя Алексея, в которых столь категорически нашла себе определение, впервые в Московском государстве, идея державной власти. Свои мысли о существовании царского служения Алексей Михайлович черпал, по-видимому, из чина царского венчания или же непосредственно из главы 9-й «Книги Премудрости Соломона». Не менее знаменательным кажется и отношение царя к вопросу о внешнем принуждении в делах веры. С замечательною твердостью и смелостью мысли, хотя и в очень сдержанных фразах, царь пишет по этому вопросу митрополиту Никону, которого авторитет он ставил в те годы необыкновенно высоко. Он просит Никона не томить в походе монашеским послушанием сопровождавших его светских людей: «Не заставляй у правила стоять: добро, государь владыко святой, учить премудра — премудре будет, а безумному — мозолне ему есть!» Он ставит Никону на вид слова одного из его спутников, что Никон «никого-де силою не заставит Богу веровать». При всем почтении к митрополиту, «не в примере святу мужу», Алексей Михайлович, видимо, разделяет мысли несогласных с Никоном и терпевших от него подневольников-постников и молитвенников. Нельзя силою заставить Богу веровать — это, по всей видимости, убеждение самого Алексея Михайловича.

При постоянном религиозном настроении и напряженной моральной вдумчивости Алексей Михайлович обладал одною симпатичною чертою, которая, казалось бы, мало могла уживаться с его аскетизмом и склонностью к отвлеченному наставительному резонерству. Царь Алексей был замечательный эстетик — в том смыс-

ле, что любил и понимал красоту. Его эстетическое чувство сказывалось ярче всего в страсти к соколиной охоте, а позже — к сельскому хозяйству. Кроме прямых ощущений охотника и обычных удовольствий охоты с ее азартом и шумным движением, соколиная потеха удовлетворяла в царе Алексее и чувству красоты. В «Уряднике сокольничья пути» он очень тонко рассуждает о красоте разных охотничьих птиц, о прелести птичьего лёта и удара, о внешнем изяществе своей охоты. Для него «его государевы *красныя* и славныя птичьи охоты» урядство или порядок «устанавливает и объявляет красоту и удивление»; высокого сокола лёт — «*красносмотрителен* и радостен»; копцова (т. е. копчика) добыча и лёт — «*добровиден*». Он следит за красотой сокольничьего наряда и оговаривает, чтобы нашивки на кафтанах была «золотная» или серебряная, «к какому цвету какая пристанет»; требует, чтобы сокольник держал птицу «подъявительно к видению человеческому и ко *красоте* кречатьей», т. е. так, чтобы ее рассмотреть было удобно и красиво. Элемент красоты и изящества вообще играет не последнюю роль в «урядстве» всего охотничьего чина царя Алексея. То же чувство красоты заставляло царя увлекаться внешним благочестием церковного служения и строго следить за ним, иногда даже нарушая его внутреннюю чинность для внешней красоты. В записках Павла Алеппского можно видеть много примеров тому, как царь распоряжался в церкви, наводя порядок и красоту в такие минуты, когда, по нашим понятиям, ему надлежало бы хранить молчание и благоговение. Не только церковные церемонии, но и парады придворные и военные необыкновенно занимали Алексея Михайловича с точки зрения «чина» и «урядства», т. е. внешнего порядка, красоты и великолепия. Он, например, с чрезвычайным усердием устраивал смотры и проводы своим войскам перед первым литовским походом, обставляя их торжественным и красивым церемониалом. Большой эстетический вкус царя сказывался в выборе любимых мест: кто знает положение Саввина-Сторожевского монастыря в Звенигороде, излюбленного царем Алексеем Михайловичем, тот согласится, что это — одно из красивейших мест всей Московской губернии; кто был в селе Коломенском, тот помнит, конечно, прекрасные виды с высокого берега Москвы-реки в Коломенском. Мирная красота этих мест — обычный

тии великорусского пейзажа — так соответствует характеру «гораздо тихого» царя.

Соединение глубокой религиозности и аскетизма с охотничьими наслаждениями и светлым взглядом на жизнь не было противоречием в натуре и философии Алексея Михайловича. В нем религия и молитва не исключали удовольствий и потех. Он сознательно позволял себе свои охотничьи и комедийные развлечения, не считал их преступными, не калялся после них. У него и на удовольствия был свой особый взгляд. «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальные, — пишет он в наставлении сокольникам, — будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою... да не одолеют вас кручины и печали всякие». Таким образом, в сознании Алексея Михайловича охотничья потеха есть противодействие печали, и подобный взгляд на удовольствия не случайно соскользнул с его пера: по мнению царя, жизнь не есть печаль, и от печали нужно лечиться, нужно гнать ее — так и Бог велел. Он просит князя Одоевского не плакать о смерти сына: «Нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно — да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать». Но если жизнь — не тяжелое, мрачное испытание, то она для царя Алексея и не сплошное наслаждение. Цель жизни — спасение души, и достигается эта цель хорошей, благочестивою жизнью; а хорошая жизнь, по мнению царя, должна проходить в строгом порядке: в ней все должно иметь свое место и время; царь, говоря о потехе, напоминает своим сокольникам: «Правды же и суда и милостивыя любви и ратнаго строя николиже позабывайте: делу время, и потехе час». Таким образом страстно любимая царем Алексеем забава для него все-таки только забава и не должна мешать делу. Он убежден, что во все, что бы ни делал человек, нужно вносить порядок, «чин». «Хотя и мала вещь, а будет по чину честна, мерна, стройна, благочинна, — никтоже зазрит, никтоже похулит, всякий похвалит, всякий прославит и удивится, что и малой вещи честь и чин и образец положен по мере». Чин и благоустройство для Алексея Михайловича — залог успеха во всем: «Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепитя; безстройство же теряет дело и восставляет безделье», — говорит он. Поэтому царь Алексей Михайлович очень заботился о порядке во всяком большом и малом деле. Он только

тогда бывал счастлив, когда на душе у него было светло и ясно и кругом все было светло и спокойно, все на месте, все по чину. Об этом-то внутреннем равновесии и внешнем порядке более всего заботился царь Алексей, мешая дело с потехой и соединяя подвиги строгого аскетизма с чистыми и мирными наслаждениями. Такая непрерывно владевшая царем Алексеем забота позволяет сравнить его (хотя аналогия здесь может быть лишь очень отдаленная) с первыми эпикурейцами, искавшими своей «атараксии», безмятежного душевного равновесия, в разумном и сдержанном наслаждении.

До сих пор царь Алексей Михайлович был обращен к нам своими светлыми сторонами, и мы ими любовались. Но были же и тени. Конечно, надо счесть показным и неискренним «смирением паче гордости» тот отзыв, какой однажды дал сам о себе царь Никону: «А про нас изволишь ведать, и мы, по милости Божии и по вашему святительскому благословению, как есть истинный царь христианский наричюся, а по своим злым мерзким делам недостоин и во псы, не токмо в цари!» Злых и мерзких дел за царем Алексеем современники не знали, однако они иногда бывали им недовольны. В годы его молодости, в эпоху законодательных работ над Уложением (1649), настроение народных масс было настолько беспокойно, что многие давали волю языку. Один из озлобленных реформами уличных озорников Савинка Корепин болтал на Москве про юного государя, что «царь глуп, глядит все изо рта у бояр Морозова и Милославского: они всем владеют, и сам государь все это знает, да молчит; чорт у него ум отнял». Мысль, что царь «глядит изо рта» у других, мелькает и позднее. В поведении коломенского архиепископа Иосифа (1660—1670) вскрывались не раз его беспощадные отзывы о царе Алексее и боярах. Иосиф говаривал про великого государя, что «не умеет в царстве никакой расправы сам собою чинить, люди им владеют», а про бояр, что «бояре — Хамов род, государь того и не знает, что они делают». В минуты большого раздражения Иосиф обзывал Алексея Михайловича весьма презрительными бранными словами, которых общий смысл обличал царя в полной неспособности к делам. Встречаясь с такими отзывами, не знаешь, как следует их истолковать и как их можно примирить со многими свидетельствами о разуме и широких интересах Алексея Михайловича. «Го-

раздо тихий» царь был ведь тих добротой, а не смыслом; это ясно для всех, знакомых с историческим материалом. Только пристальное наблюдение открывает в натуре царя Алексея две такие черты, которые могут осветить и объяснить существовавшее недовольство им.

При всей своей живости, при всем своем уме царь Алексей Михайлович был безвольный и временами малодушный человек. Пользуясь его добротой и безволием, окружавшие не только своевольничали, но забирали власть и над самим «тихим» государем. В письмах царя есть удивительные этому доказательства. В 1652 г. он пишет Никону, что дворецкий князь Алексей Михайлович Львов «бил челом об отставке». Это был возмутительный самоуправец, много лет безнаказанно сидевший в приказе Большого Дворца. Царь обрадовался, что можно избавиться от Львова, и «во Дворец посадил Василья Бутурлина». С наивною похвальбою он сообщает Никону: «А слово мое ныне во дворце добре страшно, и (все) делается без замотчанья!» Стало быть, такова была наглость князя Львова, что ему не страшно казалось и царское слово, и так велика была слабость государя, что он не мог сам избавиться от своего дворецкого! После этого примера становится понятным, что около того же времени и ничтожный приказный человек Л. Плещеев мог цинично похвастаться, что «про меня де ведает государь, что я зерщик (т. е. игрок)!.. у меня-де Москва была в руке вся, я-де и боярам указывал!». В упоминании государя Плещеевым мелькает тот же намек на отсутствие страха пред государевым именем и словом, как и в наивном письме самого государя. Любопытно, что придворные и приказные люди не только за глазами у доброго царя давали себе волю, но и в глаза ему осмеливались показывать свои настроения. В походе 1654 г. окружавшие Алексея Михайловича, по его словам в письме кн. Трубецкому, «едут с нами отнюдь не единогодушием, наипаче двоедушием, как есть облака: иногда благопотребным воздухом и благонадежным и уповательным явятся; иногда зноем, и яростью, и ненастьем всяким злохитренным, и обычаем московским явятся; иногда злым отчаянием и погибель прорицают, иногда тихостью и бедностью лица своего отходят лукавым сердцем... А мне уже, Бог свидетель, какво становится от двоедушия того, отнюдь упования нет!». При отсутствии твердой воли в характере царя

Алексея он не мог взять в свои руки настроение окружающих, не мог круто разделаться с виновными, прогнать самоуправца. Он мог вспыхнуть, выбранить, даже ударить, но затем быстро сдавался и искал примирения. Он терпел князя Львова у дел, держал около себя своего плохого тестя Милославского, давал волю безмерному властолюбию Никона — потому, что не имел в себе силы бороться ни с служебными злоупотреблениями, ни с придворными влияниями, ни с сильными характерами. Не истребить зло с корнем, не убрать непригодного человека, а найти компромисс и паллиатив, закрыв глаза и спрятав, как страус, голову в куст, — вот обычный прием Алексея Михайловича, результат его маловолия и малодушия. Хуже всего он чувствовал себя тогда, когда видел неизбежность вступить открыто в какое-либо неприятное дело. Малодушно он убегал от ответственных объяснений и спешил заслониться другими людьми. Сообщив Никону в письме о неудовольствиях на него, существующих среди его окружающих, царь сейчас же оговаривается: «И тебе бы, владыко святой, пожаловать — сие писание сохранить и скрыть втайне!.. Да будет и изволишь ему (жалобщику) говорить, и ты, владыко святой, говори от своего лица, будто к тебе мимо меня писали (о его жалобах)». Желание стать в стороне стыдит, по-видимому, самого Алексея Михайловича, и он предлагает Никону отложить объяснение с недовольным на него боярином до Москвы: «Здесь бы передо мною вы с очей на очи переведались», предлагает он, разумеется, в надежде, что время до очной ставки уничтожит остроту неудовольствий и смягчит врагов. Душевным малодушием доброго государя следует объяснить его вкус к письменным выговорам: за глаза можно было написать много и сильно, грозно и красиво; а в глаза бранить — трудно и жалко. В глаза бранить кого-либо царю Алексею было можно только в минуты кратковременных вспышек горячего гнева, когда у него вместе с языком развязывались и руки.

Итак, слабость характера была одним из теневых свойств царя Алексея Михайловича. Другое его отрицательное свойство легче описать, чем назвать. Царь Алексей не умел и не думал работать. Он не знал поэзии и радостей труда и в этом отношении был совершенно противоположностью своему сыну Петру. Жить и наслаждаться он мог среди «малой вещи», как он назы-

пал свою охоту и как можно назвать все его иные потребности. Вся его энергия уходила в отправление того «чина», который он видел в вековом церковном и дворцовом обиходе. Вся его инициатива ограничивалась кругом приятных «новшеств», которые в его время, но независимо от него стали проникать в жизнь московской знати. Управление же государством не было таким делом, которое царь Алексей желал бы принять непосредственно на себя. Для того существовали бояре и приказные люди. Сначала за царя Алексея правил Борис Иванович Морозов, потом настала пора князя Никиты Ивановича Одоевского; за ним стал временщиком патриарх Никон, правивший не только святительские дела, но и царские; за Никоном следовали Ордин-Нащокин и Матвеев. Во всякую минуту деятельности царя Алексея мы видим около него доверенных лиц, которые правят. Царь же, так сказать, присутствует при их работе, хвалит их или спорит с ними, хлопочет о внешнем «урядстве», пишет письма о событиях — словом, суетится кругом действительных работников и деятелей. Но ни работать с ними, ни увлекать их властною волею боевого вождя он не может. Малый пример из нашей современности наглядно покажет, что и такие люди могут считаться нужными. Нам довелось видеть, как по овражистым берегам Быстрой Сосны везли большой тяжести машину в сельскую экономию. Везли кони, и с ними билось на подъемах и тащило груз много народа. И народ спрашивал: «А кто ж нам кричать будет?» Необходим казался крик из праздного горла, чтобы давать ритм общей мускульной работе. Вот в общем государственном деле XVII в. царь Алексей и был таким человеком, который сам не работал, а своєю суетою и голосом давал ритм для тех, кто трудился.

Добродушный и маловольный, подвижный, но не энергичный и не рабочий, царь Алексей не мог быть бойцом и реформатором. Между тем течение исторической жизни поставило царю Алексею много чрезвычайно трудных и жгучих задач и внутри и вне государства: вопросы экономической жизни, законодательные и церковные, борьба за Малороссию, бесконечно-трудная, — все это требовало чрезвычайных усилий правительственной власти и народных сил. Много критических минут пришлось тогда пережить нашим предкам, и все-таки бедная силами и средствами Русь успела выйти победи-

тельницей из внешней борьбы, успевала кое-как справляться и с домашними затруднениями. Правительство Алексея Михайловича стояло на известной высоте во всем том, что ему приходилось делать: являлись способные люди, отыскивались средства, неудачи не отнимали энергии у деятелей: если не удавалось одно средство — для достижения цели искали новых путей. Шла, словом, горячая, напряженная деятельность, и за всеми деятелями эпохи во всех сферах государственной жизни видна нам добродушная и живая личность царя Алексея. Чувствуется, что ни одно дело не проходит мимо него: он знает ход войны; он желает руководить работой дипломатии; он в думу боярскую несет ряд вопросов и указаний по внутренним делам; он следит за церковной реформой; он в деле патриарха Никона принимает деятельное участие. Он везде, постоянно с разумением дела, постоянно добродушный, искренний и ласковый. Но нигде он не сделает ни одного решительного движения, ни одного резкого шага вперед. На всякий вопрос он откликнется с полным его пониманием, но устранился от его разрешения; от него совершенно нельзя ждать той страстной энергии, какою отмечена деятельность его гениального сына, той смелой инициативы, какой отличался Петр.

Вот почему мы не вполне согласимся с отзывом сенатора князя Якова Долгорукого, который, по преданию, сказал однажды Петру Великому: «Государь! в ином отец твой, в ином ты больше хвалы и благодарения достоин. Главные дела государей — три: первое внутренняя расправа и главное дело ваше есть правосудие; в сем отец твой больше, нежели ты, сделал!..» Петр, конечно, сделал очень много; Алексей же только по-своему помогал делать тем, кого своею властью ставил к делам.

II. Власть и население

1

Царю Алексею Михайловичу пришлось стоять во главе Московского государства в сложное время борьбы различных течений русской жизни, в эпоху перестройки всего ее государственного и общественного уклада, ломки привычных воззрений и бытовых навыков. Об-

лаченный огромной властью, он находился в центре крупнейших национальных интересов и очередных задач внешней и внутренней политики, исключительных по исторической значительности, бурных столкновений старых традиций с новыми веяниями в жизни церкви и московского общества. До глубин своих всколыхнулась в XVII в. Московская Русь в поисках новых путей дальнейшего исторического развития своей национальной силы. Даровитая натура царя Алексея вскормлена содержанием этих исканий и по-своему чутко на них откликалась. Но весь духовный склад царя, более совершенный и впечатлительный, чем боевой и творческий, сделал его типичным представителем тех поколений «переходного» времени, которые плывут по течению, не руководя им, и если не запутываются безнадежно в противоречиях отмирающей старины и нарастающих новых явлений в общественной и духовной жизни народа, то примиряют их в условном компромиссе личных позрений, проходя мимо наиболее острых проблем переживаемого исторического момента.

Судьба послала царя Алексея из замкнутого быта царского «верха» на престол в такую пору, когда на «верху» могло казаться, что власти предстоит мирная и благодарная задача завершить строительную работу предыдущего поколения, закончить умиротворение государства. Бури Смуты давно миновали. Государственный порядок восстановлен и успел окрепнуть. Глухие раскаты отголосков «великой разрухи», постепенно слабея, затихли. Царь-юноша спокойно принял власть по благословию отца и по прежнему крестному целованию всех чинов Московского государства, которые, избрав на престол Михаила Феодоровича, целовали ему крест и «на детях его, каких ему, государю, Бог даст». Москва присягнула новому царю наутро по смерти его отца, 13 июля 1645 г., а царское венчание произошло 28 сентября, с особой торжественностью. По рассказу Котошихина на это венчание созван был собор, где, кроме «всего духовного чина», бояр, окольничих и думных людей, были все ближние люди и дворцовые чины, московские служилые люди, гости и сотенные люди торговые, а также провинциальные дворяне и дети боярские и посадские люди «по два из города», и всем собором, при участии черни — народной толпы московской, — «обрали» царя Алексея на царство и учинили «короно-

ванне» в соборной церкви. В осложнении обряда царского венчания торжественным провозглашением царя, его всенародным «обраньем», можно видеть стремление закрепить за первым преемником родоначальника новой династии сочувствие населения и признание нового династического права, но само это право создано не «обраньем» 1645 г., а избранием 1613 г. Устроителю торжества, царскому воспитателю Б. И. Морозову, современники приписывали некоторую спешку с венчанием на царство своего питомца, так что «не все в стране, кто желал, могли явиться для присутствия на нем»; но это суждение Олеария — единственный намек на какое-то политическое нервничанье государева «верха», не совсем понятное в данных условиях.

Царь Алексей возложил на себя венец, как государь прирожденный, и вступил в управление «делом Божиим и своим государевым и земским» в сознании данного ему свыше права и в твердой надежде на «милость Всемогущаго Бога и свое государское счастье».

Правительствующая среда не претерпела существенных изменений с началом нового царствования. Ближе к власти и престолу стали люди, связанные тесными личными отношениями с кругом деятелей времен царя Михаила. Первое место занял Б. И. Морозов, ревниво окружавший царя своими людьми, проводя их и на важные административные должности. Обморок, поразивший дочь Федора Всеволожского, когда царь на «смотри-нах» избрал ее своей невестой, был использован, чтобы устранить возвышение, по свойству с царем, новых людей; Всеволожскую с родней сослали в Сибирь, обвинив в сокрытии падучей болезни, и только много позднее, в 1653 г., позволили им жить в дальних поместьях. Царю нашли невесту в своем кругу — Марию, дочь Ильи Даниловича Милославского, который приходился племянником влиятельному думному дьяку Ивану Грамотину; а вскоре после царского брака Морозов женился на ее сестре, Анне. Милославские, в согласии с ним, заняли видное положение при дворе и в администрации. На правительственных верхах стала сплоченная группа дельцов, не блиставшая ни государственными дарованиями, ни бескорыстием, и омрачила начало нового царствования безудержным служением тому, что царь Алексей позднее с горечью назвал однажды «злохитренным московским обычаем»: волоките и несправедно-

му суду, вымогательствам и произволу. При них «дела́ мало вершились», а если «вершились», то в пользу тех, за кого «заступы большие» и кто больше посула даст; челобитчики изнемогали по приказам от «издержек великих подьячим и людям дьячим и сторожам», чтобы пройти через них до больших дьяков и бояр; но и этим надо было платить немалые суммы, ублажая высших сановников, чем кто любит: кн. А. М. Львова «сижками свирскими», Б. И. Морозова — лебедями. Словом, жила и крепла «злохитренная» традиция, на которую так громко жаловались всякого чина люди на земском соборе 1642 г., говоря, что разорены «пуще турецких и крымских бусурманов московскою волокитою и от неправд и от неправедных судов».

Все громче стал раздаваться народный ропот. В Москве особенно ненавидели клеветников царского тестя — Траханиотова, ведавшего Пушкарским приказом, думного дьяка Назара Чистого да судью Земского приказа Леонтия Плещеева, по имени которого москвичи называли разгул чиновничьего произвола «плещеевщиной». Про молодого царя поговаривали, что он того не ведаёт, что его именем творится, а то и так, что царь «глядит все изо рта бояр, они всем владеют: он всё видит, да молчит». Царь Алексей не мог ничего поделывать не только по юности. Привязчивый и доверчивый, он чтит воспитателя своего как второго отца и невольно стеснялся перед ним и своим тестем с их близкими, доверенными людьми; позднее, когда он был окружен людьми его личного выбора, недовольные повторяли укор, что царь «не умеет в царстве никакой расправы сам собою чинить, люди им владеют»; но тогда властное влияние, за исключением царской родни — Милославских, — находилось в руках и чистых и дельных: царь Алексей умел чутко расценивать людей и ставить им высокие нравственные требования и лишь достойных дарил своим доверием, когда не был связан личными дворцовыми отношениями, перед которыми сдавалась его мягкая натура. Но в начале царствования свойства правящей среды были таковы, что должны были стать вразрез и с потребностями государства и с настроениями государя.

Напряженная работа по восстановлению государственного порядка и государственной силы, выполненная в царствование Михаила Феодоровича, настоятельно требовала завершения, и есть основания думать, что на

соборе, созванном к царскому венчанию, всяких чинов люди били государю челом не только о нуждах своих и обидах, но и об утверждении крепком его государевым уложением праведного и безволокитного вершения всех дел. О таком уложении по отдельным вопросам не раз бывали челобитья и на прежних соборах и вне их от разных общественных групп. Задача пересмотра и законодательного определения отношений и порядков, сложившихся по мере успокоения страны от разрухи Смутного времени, действительно назрела. И такая задача, по крайней мере в ее формальной, кодификационной стороне, как нельзя более соответствовала личным настроениям царя Алексея. Сознательная религиозность и нравственная вдумчивость внушала ему искреннее стремление выполнить призвание власти, данной от Бога, — «люди Его, Световы, рассудити вправду, всем равно», и оно сходилось с эстетическими склонностями его натуры, требовавшей, чтобы «никакой бы вещи без благочиния и без устроения уряженного и удивительного не было», в мечте так «государево царственное и земское дело утвердити и на мере поставить», чтобы «московского государства всяких чинов людям, от большого до меньшого чину, суд и расправа была во всяких делах всем ровна», а государево уложение о них «впредь было прочно и неподвижно». Воспитанный в традициях чинного обряда государевой жизни, комнатной и выходной, большой знаток и любитель благолепного чина церковного, царь Алексей находил, что и малая всякая вещь должна быть «по чину честна, мерна, стройна, благочинна», для чего надо, чтобы «всякой вещи честь, и чин, и образец писанием предложен был». Тем более был он сторонником регламентации по уставному уряженью всего быта церковного и государственного. Подобный строй чувств и воззрений в применении к делам правления отвечал, в значительной мере, потребности утверждения в государственном быту законного порядка и большей определенности отношений, прав и обязанностей населения. Но жизнь русская, терзаемая внутренними противоречиями, так резко сказавшимися в Смуту и еще не побежденными с подавлением «разрухи», нуждалась не только в уставном итоге выполненной строительной работы. Она требовала серьезных и коренных преобразований в области государственного хозяйства и управления, социальных отношений, требова-

ли развития национальных средств, материальных и культурных. Однако сознание, что состояние страны действительно требует значительного расширения творческих задач власти, лишь постепенно пробуждалось в государственных деятелях XVII в., и правительство царя Алексея пришло к опытам преобразования в отдельных вопросах управления только путем практического опыта, откликаясь на очередные нужды, указанные самою жизнью. Во главе этого правительства стоял государь, отнюдь не созданный для роли деятельного и смелого преобразователя, а окружавшие его вершители судеб Московского государства шли к новым приемам управления ощупью, попутно разрешая затруднения, встреченные на практике. Одним из главных источников сведений о положении дел и нуждах государства служили соборные «сказки» и челобитные, с какими обращались к верховной власти различные общественные группы. Всего ярче раскрывали эти ходатайства глубокое расстройство финансовой системы, крайнюю неравномерность обложения по «сошному письму», устарелому, не согласованному ни с экономической действительностью, ни с назревшей потребностью единства в государственном хозяйстве и управлении. Еще при царе Михаиле на земских соборах не раз делались указания на крайнюю необходимость финансовой реформы, для уравнивания податной тяготы, для установления ее равномерности и всеобщности. Указано было и средство: обложение всякого чину людей, владевших землей, не по «сошному письму», а по количеству крестьянских хозяйств каждого имения «поворотно» или «подворно». Этим достигалось бы, с одной стороны, освобождение плательщиков от «навалънаго сошнаго письма» за участки земли, лежащие «в пусте», с другой — большая «ровность» разверстки с усилением обложения крупных землевладельческих хозяйств, лучше обеспеченных крестьянским трудом. Служилые землевладельцы мелкие и средней руки давно хлопотали о таком уравнивании тягла, соединяя с ним требование отмены «урочных лет» для сыска беглых крестьян и стремление к полному прикреплению всего земледельческого населения к тем поместьям и вотчинам, где оно записано по переписи; для податной реформы, следовательно, предстояло выяснить состав крестьянской рабочей силы каждого имения и закрепить его законодательным актом общего значе-

ния. В 1646 г. правительство царя Алексея приступило к новой переписи — подворной, обещая землевладельцам установить, что «по тем переписным книгам крестьяне и бобыли и их дети и братья и племянники будут крепки и без урочных лет». Перепись была закончена в два года, и отмена урочных лет, как и закрепление по поместьям и вотчинам, по дворцовым селам и черным волостям всего сельского люда, были осуществлены Уложением 1649 г. Но податная реформа на основании новых переписных книг не осуществилась; подворное обложение восторжествовало только в связи с финансовыми преобразованиями 1679—1681 гг., а пока правительство использовало его лишь для раскладки новых экстренных сборов, не взамен, а сверх старого тягла по сошному письму. Тем временем, в том же 1646 г., оно увлеклось мыслью увеличить свой доход и разрешить задачу равномерного и всеобщего обложения иным способом: сделана была попытка заменить дробные и запутанные прямые налоги одним косвенным, именно крупным налогом на соль; рассчитывали, что «та соляная пошлина всем будет равна и в избылых никто не будет», а «платить всякий станет без правежу, собою». На деле повышение раза в полтора цены одного из продуктов первой необходимости легло несносной тяготой на беднейшие разряды населения; соляная пошлина не оправдала надежд и была отменена через два года, только усилив общую нужду и народное раздражение.

Издавна накапливалось это раздражение против «владущих», питаемое памятью о том их «безвремении», когда они «от своих раб разорени быша». Громко раздавались жалобы на «сильных» людей во все царствование царя Михаила, доходя подчас, как на земском собрании 1642 г., до протеста против усиления приказной власти и сожалений о минувшей старине, когда местное управление было в руках выборных людей. В 1648 г. «смятение в мире» прорвалось наружу, прежде всего в Москве. 2 июня толпа окружила царя, возвращавшегося с богомольного похода к Троице, била ему «всею землею» челом на земского судью Плещеева за «великую налогу» от его «разбойных и татинных дел», а затем, когда царь «того дни всей земле его, Левонтья, не выдал», поднялась на «заступников» Плещеева, боярина Морозова, окольного Траханиотова, думного дьяка Чистого и на многих их единомышленников; «домы их

миром разбили и разграбили», а Чистого «до смерти прибили». Три дня бушевала Москва; стрельцы отказались ударить на толпу, волновались и другие служилые люди; чтобы удержать от бунта военную силу, царь велел и тем и другим выдать двойное денежное и хлебное жалованье. Уступили толпе Плещеева и Траханиотова; первого царь белел вести на казнь, но толпа отняла его и сама умертвила; второго сначала выслали из Москвы, а потом вернули и казнили. К народу московскому царь выслал популярных бояр, дядю своего Никиту Ивановича Романова и кн. Д. М. Черкасского с духовенством, обещая отстранить от всех дел Морозова и других ненавистных народу «владущих», но мир утился только после личных объяснений царя, который со слезами умолял толпу пощадить его дядьку, с тем чтобы ему впредь и всему роду его, Морозовым, у государевых дел не бывать. «И на том государь царь к Спасову образу прикладывался», и на том «всею землею государю царю челом ударили и в том во всем договорились».

Прямой бунт улегся, но тревожные толки не прекращались. Чужалось, что «весь мир качается». Беспокойные головы мечтали найти вождей и покровителей в Н. И. Романове и кн. Черкасском, выдвинуть их в делах правления против постылой морозовской клики. Подымаясь бунтом против лихих царских советников, москвичи самого царя Алексея мыслили солидарным со своей «правдой». «Нынеча, — толковали они, — государь милостив, сильных из царства выводит». Московские события не замедлили найти отклик и в провинции. Проснулась надежда, что есть, наконец, управа против насильников. В Сольвычегодске, в Устюге народ поднялся боем и разграблением на воевод. Неспокойно прошли 1648 и 1649 гг. А в начале 1650-го возникли и еще более серьезные беспорядки в Пскове и Великом Новгороде. Псковичи увидели явную «измену» бояр в посылке крупного хлебного и денежного транспорта в Швецию, хотя отправлялся этот транспорт по соглашению о переселенцах из-за рубежа, которых царское правительство не считало возможным выдать; народ погромил его, не слушая ни в чем воеводу, выбрал себе «начальных людей»; подняли и новгородцев, которые также устроили у себя выборное управление, мимо своего воеводы и митрополита Никона. К царю восставшие послали челобитья на

и именников бояр и приказных; заступника и предстателя себе они искали в том же боярине Н. И. Романове, просили ему поручить сыск по их делу, били через него челом о восстановлении прежнего порядка, когда воеводы и дьяки судили по правде с земскими старостами и выборными людьми. Раздражение против приказных злоупотреблений разрасталось в протест против усиленной бюрократизации управления.

В Москве челобитчики получили суровую отповедь: «Холопы де государевы и сироты великим государям никогда не указывали... а того никогда не бывало, чтоб мужики с боярами, окольными и воеводами у неправных дел были, и впредь того не будет». На усмирение Новгорода и Пскова отправили ратную силу с кн. И. Н. Хованским. Новгород смирился без сопротивления, отчасти благодаря энергии митрополита Никона, но псковичи покорились только после безнадежной попытки сопротивления. Правительство действовало осторожно, видя в происшедшем признак «шатости» не только местной. Псковское дело было в июле 1650 г. сообщено собору, на котором участвовали служилые люди московские и городовые, торговые люди — гости, старосты сотен гостиной и суконной, сотские от сотен черных. Как высказалось общественное мнение столицы, мы не знаем — приказное делопроизводство не сберегло этих соборных «сказок», но, насколько настроение и тут не было спокойным, видно из царского указа, сказанного сотским сотен московских в Посольском приказе тотчас после собора, чтобы они без утайки извещали государю о всяких «воровских» речах, какие проявятся в народе.

2

Так тревожно было настроение Московского государства в те годы, когда вырабатывалась и вступала в жизнь знаменитая «Уложенная книга» 1649 г. Лица, враждебные новинам этого Уложения, как, напр., Никон, имели повод утверждать: «И то всем ведомо, что собор был не по воле, боязни ради и междоусобия от всех черных людей, а не истинная правды ради». Но для подобного рода жалоб был именно только повод, а не основание. Потребность в упорядочении всего накопившегося законодательного материала и в определе-

нии заново ряда законодательных вопросов была слишком глубока и настоятельна, чтобы сводить ее удовлетворение к «боязни междоусобия». Но едва ли подлежит сомнению, что в постановке на очередь и в энергичном выполнении большой законодательной работы играл свою роль и политический мотив, желание утвердить прочно и «впредь ничем нерушимо» основания того социального строя, на какой опиралась московская государственность, и тех правовых устоев, шатание которых могло стать гибельным для нее. В этом смысле Уложение царя Алексея является подлинным завершением работы над восстановлением государства Московского из пережитой им «великой разрухи».

Конечно, не постановка этой задачи вызывала осуждение Уложения суровыми критиками, а способ ее выполнения при участии земского собора и с большим вниманием к иным из возобладавших на нем течений. Таким властным людям, как Никон, да и некоторым другим многое в Уложении казалось вынужденною уступкой общественному настроению, направленному против «владущих верхов». Официально-приказные источники для истории Уложения и самый текст его немного дают для выяснения таких настроений. Но тщательное изучение данных, часто слишком отрывочных для удовлетворения интереса к столь крупному явлению в истории Московского государства, как Уложение, дает некоторую возможность разглядеть за спокойным, бесстрастным ликом законодательного памятника следы напряженной борьбы разнородных интересов и домогательств.

16 июня 1648 г. царь Алексей по совету с патриархом Иосифом, всем освященным собором и со своей государственной думой, решил приступить к большому делу пересмотра, пополнения и кодификации действующего права с тем, чтобы «государево царственное и земское дело» утвердить и «на мере поставить». Составление проекта Уложения возложено было на комиссию из пяти лиц: бояр кн. Никиты Ивановича Одоевского и кн. Семена Васильевича Прозоровского, окольничего кн. Ф. Ф. Волконского и двух дьяков, Гаврилы Леонтьева и Федора Грибоедова. Но к участию в деле обновления законодательных норм призван был и земский собор, притом такого состава, что преобладание на нем оказалось за средними разрядами населения, служилы-

ми и гллыми людьми. Чины дворцовые и московские дворяне призваны были не погловно, как бывало прежде, а через представителей «из чину по два человека». Их представители тонули в массе провинциального люда, из которого было призвано до 150 служилых и до 100 тяглых людей. Земских выборных призывали к осуждению «великих дел», какие предстояло определить государевым указом и соборным уложением: на земских соборах XVII в. они, со времен патриарха Филарета, выступают преимущественно как ходатаи-челобитчики своих доверителей-избирателей, чтобы великим государям «всякия их нужды и тесноты и разоренья и всякие недостатки были ведомы», а носители власти могли, «советовав по их челобитью, о Московском государстве промыслати, чтобы во всем поправить, как лучше». Состав представительства 1648 г. тем лучше отвечал этой задаче, что, по-видимому, строже прежнего был выдержан его сословный характер: среди подписей под «Уложенной книгой» не заметно выступления духовных лиц и служилых людей «в посадских и уездных людей место», что раньше бывало.

«Новые статьи» Уложения отражают на себе, в весьма значительной степени, влияние соборных челобитий. Их общий смысл подводит некоторый итог той сословной политике, которая так характерна для государственного строительства XVI в. и нашла себе продолжение в деятельности сперва Бориса Годунова, затем патриарха Филарета Никитича, — политике, направленной на организацию и обеспечение интересов средних разрядов служилого класса и торгово-промышленного тяглого люда как главной опоры военных и финансовых сил государства. Верховная власть берет их интересы под защиту против сильных конкурентов — боярства и церкви, узаконяет отношения, сложившиеся в их пользу, тем самым не только укрепляя, но и расширяя значение этих отношений. Выполнена в Уложении отмена «урочных лет» для сыска беглых крестьян, а эти «урочные лета» являлись одним из способов заполнения рабочей силой крупных вотчин, боярских и монастырских, за счет служилых поместий и мелких вотчин; возобновлен запрет церковным иерархам и монастырям приобретать вотчины, чтобы не уменьшался фонд служилого землевладения. По челобитью всех соборных чинов государь повелел впредь на все духовенство, от митрополитов

и до причта церковного и рядовой братьи монастырской, и на всех слуг и людей церковных «во всяких исцовых исках суд давати в Монастырском приказе», вновь учрежденном светском судебном месте; этим дополнялось общее упорядочение в Уложении процессуальных порядков, проникнутое тенденцией, чтобы «Московского государства всяких чинов людям от большого и до меньшого чину суд и расправа была во всяких делах всем ровна».

Уложение установило, как было уже упомянуто, вечную крепость всего сельского населения землевладельцам по писцовым и переписным книгам — вместо прежней крепости одних дворохозяев; внутренний смысл этой «крепости» сильно огрубел с XVI в., и Уложение уже рассматривает крепостных крестьян то как имущественную ценность, предписывая, в случае невозможности вернуть беглых, брать у провинившегося в приеме их «таких же крестьян» для отдачи потерпевшему, то как господских людей, на которых можно возложить и личную ответственность за господина, подвергая их в известных случаях «правежу» за него. Наконец, Уложение отнеслось с большим вниманием к поземельному праву служилых людей, расширяя их права на поместья разрешением мены поместий и регулировкой обеспечения осиротевшей семьи помещика из его поместной дачи и тщательно разработав ряд вопросов по праву распоряжения вотчинами и наследования их.

Не меньше внимания со стороны законодательной власти встретили челобитья посадских общин. Царь вступился за своих тяглецов и велел взять за себя в тягло и в службы бесповоротно слободы патриаршие и всех духовных владельцев, боярские и все частновладельческие, потому что жившие там торговые и ремесленные люди промышляли всякими торговыми промыслами, подрывая своей конкуренцией благосостояние посадских тяглецов, а ни государевых податей с ними не платили, ни служб не служили; они были «устроены в ряд с тяглыми людьми», в посадское тягло, равно как и те вотчины, села и деревни разных владельцев, которые находились около посадов. Уложение вообще обеспечило посадских людей от конкуренции лиц, не положенных в посадское тягло, которые до того времени часто владели по городам лавками и вели торговлю. Чтобы сохранить платежные силы посадских общин, оно объ-

явило посады замкнутыми, не разрешая тяглецам выходить из них. Не только те, кто ушел в «закладчики» к богатым людям, «избывая тягла», подлежали возвращению на прежние свои посадские места, но запрещен и переход из одной тяглою общины в другую. Посадские тяглецы стали крепки своему посаду. Об этом хлопотала более зажиточная часть посадского населения — «лучшие» люди посадские, в руках которых сосредоточивались главное влияние на раскладку податей и повинностей и выбор на должности старост и сотских, а вместе с тем и ответственность за податную исправность посада. Замкнутость посада связывала не их, а прежде всего меньших людей, маломочных, которые, чтобы избежать тягла, норовили заложиться за сильного человека, а то и в холопы уйти к богатому владельцу. Те же руководящие слои торгово-промышленного класса принесли на собор свои давние жалобы на развитие льгот иноземным купцам и добились серьезного ограничения этих льгот, вредно отражавшихся на торговых оборотах русского купечества.

Не без борьбы были добыты эти результаты, шедшие вразрез с интересами влиятельных общественных верхов — боярства, приказного люда, патриарха, всей церковной иерархии и монастырских властей. Законченное Уложение, утвержденное царем в соединенном заседании освященного собора и боярской думы, было «чтено» выборным людям, «которые к тому общему совету выданы на Москве и из городов», для того «чтобы то все Уложение впредь было прочно и недвижно». Государь повелел патриарху и всему освященному собору, боярской думе и всему земскому собору «закрепить» уложенный список своими руками, а потом списать Уложение в книгу, за скрепой дьяков Леонтьева и Грибоедова, с той книги напечатать многие книги, разослать их по приказам и по городам и впредь «всякие дела делать по тому Уложению».

Подпись всех членов собора на уложенном списке возлагала на них ответственность за его содержание перед русским обществом. И выборные люди, прибыв на собор челобитчиками о нуждах своих сословных групп и родных гнезд, разъезжались смущенные и не без тревоги. Они чувствовали, что на местах их встретят неудовольствием и раздражением за те «указные грамоты», которые они везли домой «с соборного уложения».

Уложение в своих установлениях стояло на точке зрения государственного интереса, которому должны подчиняться все частные и общественные интересы; если в борьбе разных интересов оно стало в ряде вопросов на сторону определенных общественных групп, то лишь постольку, поскольку интересы этих групп отвечали нуждам «государева и земского дела». И государю пришлось принимать меры, чтобы «выборных людей в городах воеводы от городских людей ото всякова дурна оберегали для того, что у его государева у соборнова Уложения по челобитью земских людей не против всех статей его государев указ учинен». Расхождение между правительством и обществом в оценке отвергнутых челобитий характерно сказалось в одной государевой грамоте о защите выборного человека от его избирателей, недовольных, что «не о всех их нуждах государев указ учинен»; тут причина их «шума» объяснена так: «Что он на Москве разных их прихотей в Уложение не исполнил». К сожалению, наши источники не сохранили содержания ходатайств, вызвавших столь различную оценку. Но важнее другая черта этих отношений: они показывают, что призыв выборных представителей к столь важному делу, как пересмотр действующего права, был связан в сознании тех общественных слоев, которые на соборе играли главную роль, с мыслью о влиятельном участии выборных в законодательной работе, об их обязанности перед избирателями отстаивать интересы своих доверителей и добиваться их удовлетворения. Проявления такой политической притязательности не замедлили вызвать отпор в правящей среде, тем более что момент политический осложнялся недовольством общественных верхов, боярских и церковных, против уступок, какие им пришлось сделать в пользу средних слоев населения, поступившись частью своих преимуществ. Совокупность этих впечатлений от земского собора 1648—1649 гг. должна была получить особую остроту в связи с тем «всего мира качанием», какое характерно для общественного настроения тех лет; проявления социальной розни и оппозиционного духа в земской среде на соборе естественно было связать с тревожным положением дел по городам, где происходили вспышки прямого бунта. Выше было упомянуто, как, по-видимому, неудачно окончилась попытка правительства царя Алексея найти в соборе 1650 г. опору для подавления псковского мятежа. После

того верховная власть только дважды созывает земский собор по общегосударственному вопросу: принять ли в подданство Малороссию и воевать ли за нее с Польшей? По сохранившимся данным, собственно обсуждения дела на этих соборах и не было. В 1651 г. царь Алексей повелел «вычесть королевские неправды» перед собором и получил от духовенства заявление, что буде король не даст удовлетворения, то церковь благословит царя на разрыв мирного докончания. А в 1653 г., судя по соборному акту, выборные, опрошенные «по чинам — порознь», только повторили то решение боярской думы, какое было им сообщено. В дальнейшей практике правительство предпочитает не соединять «все чины Московского государства», а обращается порознь то к служилым, то к торговым людям, притом лишь по вопросам специальным, для решения которых нужна профессиональная опытность. О том, что тут действовали мотивы более сложные, чем простое практическое удобство, свидетельствуют события, разыгравшиеся в 1660-х гг. в связи с тяжелым экономическим кризисом, который был вызван неудачной финансовой политикой правительства.

3

Попытки приступить к преобразованию податной системы не дали благоприятных результатов ни в начале царствования царя Алексея, ни во все его течение. Отступив перед перестройкой прямого обложения на основе подворной переписи, потерпев неудачу с соляной пошлиной, правительство в 50-х гг. сделало лишь две решительных попытки упорядочить косвенное обложение. В 1652 г. отменены были винные откупа и продажа вина в кружечных дворах стала строгой казенной монополией в заведовании верных голов и целовальников; через год сделан был опыт объединения ряда мелких таможенных сборов, с какими связана была внутренняя торговля, и замены их одной пошлиной в 10 % с продажной цены; но провести в жизнь эту меру и развить ее полнее удалось лишь много позднее в Новоторговом уставе 1667 г. Государственное хозяйство оставалось в состоянии весьма хаотичном, а между тем начало продолжительной борьбы за Малороссию потребовало чрезвычайного финансового напряжения. Тогда правительство ре-

нилось прибегнуть к монетной операции, которая показала способною доставить значительные средства. Не удовлетворяясь искусственным курсом серебряных ефимков, которые стоили 40—42 копейки, а переливались в рубли или получали клеймо, придававшее им ценность рубля, в 1656 г., по проекту, который приписывают боярину Ф. М. Ртищеву, прибегли к выпуску медных денег, по форме и величине равных серебряным; за ними признана была и номинальная стоимость серебряных. Это было своеобразной кредитной операцией, ничем, однако, не обеспеченной, тем более что само правительство недолго принимало новые деньги в уплату казенных сборов, а скоро стало при таких уплатах требовать серебра, частью или даже полностью. Серебро люди начали копить, а еще быстрее уходило оно в руки иностранцев. Увлечение выпуском медной монеты, которая на первых порах пошла успешно в ход, и чрезвычайное развитие легкой подделки, которая производилась на самом государевом монетном дворе, бывшем в ведении тестя царского И. Д. Милославского, чеканившего много денег для себя лично, скоро привели к панике и невероятному росту цен на все товары и такому упадку медной монеты, что к 1663 г. за 12—15 рублей медных неохотно давали рубль серебра. Тяжелый кризис поразил русскую торговлю, острая нужда переживалась всеми, кто имел на руках новую, обесцененную монету. Весною 1662 г. московская толпа поднялась на тех, кого считали виновниками всех бед, на Милославских и Ртищева.

Опять, как в 1648 г., возбужденная толпа пошла в подмосковное село Коломенское, где находился тогда царь, бить челом на «изменников». Он сам вышел к народу, обещал прибыть в Москву и разобрать дело, даже по рукам ударил с одним из «гилевщиков». Но в столице начался уже погром, толпа вернулась к царю, сугубо возбужденная, и дело кончилось разгромом ее оружием царских стрельцов; началась суровая расправа, многих казнили и сослали. Москва утихла, но медлить с разрешением дела о новых деньгах было невозможно. Искать выхода правительство начало задолго до бунта. Оно обращалось за советом к торговым людям московским, но тут встретило единодушный ответ: «О том мы ныне одни сказать подлинно недоумеемся, — для того, что то дело всего государства, всех городов и всех чинов, и о том у великаго государя милости просим, чтобы пожаловал

великий государь, указал для того дела взять из всех чинов на Москве и из городов лучших людей по 5 человек, а без них нам одним того великого дела на мере поставить невозможно». Им вторили люди суконной сотни, черных сотен и слобод московских; все находили, что без собора «изо всяких чинов и из городов» нельзя им «о медных деньгах сказать и их на мере поставить, что им быть или переменить», потому что «то дело всего государства». Однако правительство царя Алексея не нашло нужным собирать земский собор, видимо, не разделяя мысли, что дело собора — «поставить на мере» важный государственный вопрос, вызвавший столько волнений и тяжелой нужды. Оно само ликвидировало дело решительным признанием банкротства: запретило обращение медных денег, предоставляя их владельцам либо переливать их в простую медь, либо сбывать в казну по 10 денег за рубль, то есть за одну двадцатую их нарицательной стоимости, что, конечно, весьма многих разорило и глубоко пошатнуло народное хозяйство.

4

Роль земских соборов в истории московской государственности оказалась временной и подчиненной. В XVI в. они сменили прежние совещания великих князей, куда в особо важных случаях призывались, кроме духовного чина и думных людей, все, сравнительно с ними второстепенные, служилые люди, занимавшие должности по великокняжескому управлению; сменили в ту пору, когда новая организация управления при царе Иоанне Васильевиче передала заведование силами и средствами страны в руки «чинов» служилого и торгово-промышленного, разделенных на разряды по степени их государственной полезности. Призыв «всех чинов Московского государства» к разрешению важнейших государственных вопросов имел смысл совещания верховной власти с органами, управлявшими «делом государевым и земским», но получил особое значение в «безгосударное» время Смуты, когда общественное содержание «чиновной» структуры служилого и тяглого населения взяло верх над ее служебно-административным назначением. Старая форма послужила органом общественной самодеятельности при восстановлении государства и общественного поряд-

ка. При новой династии усиление воеводской власти быстро разрушает живую силу местных организаций, объединением которых были «советы всей земли». В центре земские соборы остаются опорой власти в созидательной работе и выяснении положений страны; но их выборные элементы быстро сходят до положения «сведущих людей» и челобитчиков о нуждах своих сословных групп. Правительство обсуждает с ними способы упорядочить службы, повинности и платежи населения, укрепить имущественное положение разных его разрядов, ради исправности их перед требованиями «государева и земского дела». Но эти вопросы неразрывно связаны с основными задачами всего государственного управления, и по логике вещей перед земскими соборами власть верховная ставит важнейшие проблемы законодательства и внешней политики. Однако в XVII в. смысл этих совещаний иной. В царствование Михаила Феодоровича резкое усиление приказной власти в центральном и областном управлении противопоставило «чинам Московского государства» крепкую систему бюрократических органов верховной власти, отодвинув их от практических задач государственного управления. На земских соборах 40-х гг. XVII в. раздается критика приказного управления и деятельности правящих верхов, слышатся заявления сословных требований, замечается стремление к законодательной инициативе, потому что постановка «на мере» государственного дела сознается как «дело всего государства и всех городов и всяких чинов людей». Судьба земских соборов была решена той точкой зрения московской власти, какую внушал официальный ответ псковским челобитчикам 1650 г.: «Холопы государевы и сироты великим государям никогда не указывали».

Так, земский собор 1648—1649 гг., созданный для великого дела умиротворения страны, начатого избирательным собором 1613 г., привел к выяснению глубоких политических и социальных противоречий, обусловивших тревожную историю дальнейших десятилетий. А социальные результаты его законодательной работы лишь углубили причины брожения закрепощаемой народной массы, которую отдали в жертву интересам служилого землевладения. Результатом государственного строительства первой половины XVII в. оказывался крайне напряженный строй общественных отношений. Соборное Уложение завершило развитие этого строя, охватившего

«крепостью» все разряды населения. Работа над укреплением распятого государственного порядка в соединении с упорной, почти непрерывной борьбой с внешними врагами требовала огромного напряжения народных сил, а страна, разоренная, скудная и материальными и культурными средствами, могла удовлетворять требования «государева и земского дела» лишь с крайними усилиями. Сосредоточение всех этих сил и средств в распоряжении неограниченной власти определилось как политическая необходимость для Московского государства XVII в. не в меньшей степени, чем в XV и XVI столетиях, в эпоху созидания этого государства Рюриковичами. И то же основное противоречие средств и потребностей государственных обусловило закрепощение трудовой народной массы государеву тяглу и служилому землевладельцу, являвшемуся социально-экономической базой всего московского государственного здания. Общественные низы, на которых все тяжелее ложилась тягота этого строя, всколыхнулись в Смутное время, выбитые из суровой бытовой колен экономическим кризисом и государственной разрухой. Восстановление порядка возвращало их в прежнее состояние зависимости и кабалы, но проводимое строже и осложненное полной безвыходностью. Но в то же время заново открылся путь в вольный простор Поволжья и Дона. Правда, колонизационное движение на востоке и юго-востоке было соединено с большими трудностями. В 30—40-х гг. XVII в. за Волгой неспокойно от калмыков и ногаев; но в 50-х — сооружена укрепленная Закамская черта и заселение закамских земель быстро увеличилось; такую же роль колонизационной опоры сыграла на правом берегу черта Симбирская. В 60-х гг. новые поселки идут все смелее на юг от нее и на запад; как центр обороны тут возникает Пенза. Колонизация всех этих местностей идет при деятельном участии московской власти, которая раздает тут земли служилому люду, русскому и даже инородческому; «крепость» землевладельческая и тягло государево нагоняют переселенца. Но все-таки на новых местах легче сидеть на льготе, легче и уйти дальше на юг, куда властная рука не достает. Крестьяне, холопы, посадские меньшие люди, уходя «на низ», создают быстрый рост поволжской вольницы в царствование царя Алексея, а Дон оказывается даже перенаселенным, в результате чего является размножение «голутвенного» казачества донского.

Сюда, на Дон и нижнюю Волгу, ушли остатки «воровских» шаек из Московского государства, когда возрождавшаяся государственность вытеснила их с севера. Сюда принесли они беспокойную память о том, как можно было «тряхнуть Москвой». Тут с году на год накапливалось все больше горючего материала, и в 70-х гг. вспыхнул грозный бунт Разина.

Бунт Степана Разина начался воровским походом казачьей «голытьбы», который только размерами и смелостью размаха отличался от частых разбойничьих предприятий такого рода. Начав с разбоя на Волге, Разин прошел в Каспийское море, пограбил персидские берега и вернулся на Дон с добычей и славой лихого атамана. Набравшись силы и влияния, Разин поднял толпу беглой голытьбы на бунт против московских властей. Этот лозунг и дал ему ту силу, которая сделала его имя столь популярным в народной массе. Захват Астрахани в 1670 г., затем всего Поволжья до Симбирска обратил бунт в крупное и грозное явление. Истребляя воевод и приказных людей, помещиков и всяких «владущих», бунтовщики сжигали с проклятием бумаги приказного делопроизводства, как москвичи в 1648 г. уничтожали с особой яростью купчие и всякие крепостные акты в разграбленных боярских домах. На место воеводского управления Разин ставил управление казацкого типа. Все это придавало его бунту характер движения, направленного против ненавистного народной массе приказного управления и крепостного строя. По мере успехов Разина силы его росли от притока крестьянской и посадской земщины, поднялись и волжские инородцы. Имя Разина стало повторять чернь по городам внутренних областей, в самой столице слышались снова воровские речи. Но Разин остался казаком, которому течение условий исторического момента навязало роль вождя социального движения, по существу ему чуждого. Не случайно удача покинула его, как только он оказался во главе не казачьих шаек, а значительной земской силы. При первом поражении от войск кн. Барятинского, далеко не решительном, он бросил крестьян-бунтарей на произвол судьбы, а сам бежал с казаками на Дон и был выдан Москве домовитым казачеством, которое не прочь было снабжать голытьбу боевыми припасами и поделить с нею добычей, но и боялось ее. После казни Разина движение стало затихать и было подавлено, оставив по

себе память в народных песнях и преданиях Поволжья. Размах этого бунта показал наглядно, как много еще предстоит организационного труда для водворения русской государственности и гражданственности на всем юго-востоке. Боевое положение московской власти на этих окраинах долго еще поглощало немало сил, отвлекая их от спокойной внутренней работы и увеличивая сложность и напряженность ее задач.

5

Общее состояние Московского государства делает понятным то направление, в каком шло при царе Алексее развитие государственной власти. Московское самодержавие переживает при нем время своего расцвета накануне перехода в обновленную иными влияниями императорскую власть его великого сына. Высоко стояла царская власть в сознании ее венчанного носителя и общества московского над страной, взволнованной сложными противоречиями своего быта и строя. Долго шедшая об руку с родословным боярством и связанная обычной стариной и пошлинной, власть царская освободилась от этих связей в бурные годы царя Иоанна и «великой разрухи». Возрожденная силами средних разрядов населения, людей служилых и тяглых — посадских, она в середине XVII в. отделяет свое понимание «государева и земского дела» от их «земского совета». Открыт путь для установления чистого абсолютизма, опирающегося в делах управления на приказную бюрократию, орган личной царской власти. 50-е гг. XVII в. — время, когда деятельность царя Алексея определенно вступает на этот путь.

Царь Алексей Михайлович вынес нелегкий опыт из первого пятилетия своего царствования. Он видел хищную корысть доверенных лиц, испытал жуткую и обидную встречу с раздраженной толпой. Мужества на разрыв со средой, запятнавшей себя лихоимством и произволом, у него не хватило: Милославские остались в силе, да и не они одни. Но царь ищет теперь новых сотрудников, умеет поддержать кн. Н. И. Одоевского, А. Л. Ордина-Нащокина и др., направлявших государственную работу на более содержательный и творческий путь. Во-

круг него нет готового правительственного круга; ему и возможно, и нужно самому подбирать сотрудников.

Аристократический уклад боярской думы был сломен бурями эпохи казней и Смутного времени. Новая династия сама себе создавала свой боярский совет, лишь отчасти по традиции считаясь с вниманием к «родословным» людям. Царь Алексей был воспитан в уважении этих традиций и вполне признавал, что боярская честь *по отечеству* — честь вечная, но суть ее, для него, не в каких-либо особых правах, а в долге «родословных» людей отличаться от «худых, обышных людишек» «в страхе Божиим и государевом». Бояре более других «государевы люди», и боярская честь «совершается на деле в меру служебной заслуги; бывает и так, что иные, у кого родители в боярской чести, а сами и по смерть свою не приемлют этой чести; другие же, много лет прожив без боярства, под старость взводятся в ту боярскую честь. Непристойно поэтому боярам хвалиться, что та их честь породная, и крепко на нее надеяться, а благодарить надо Бога, если Он за их службу обратил к ним сердце государево во всякой милости.

Эта теория, развитая царем Алексеем в переписке с близкими ему лицами, вполне отвечала действительным отношениям его времени. Боярство XVII в. ближе по типу к вельможным верхам «случайных» людей XVIII столетия, чем к своим историческим предкам времен старой династии. Мало в его рядах кровной знати. Зато оно доступно не только людям «меньших родов», но даже приказным дельцам и простым провинциальным дворянам, вовсе не родословным, но возвышенным царскою милостью и собственною выслугой. Боярская дума царей Михаила и Алексея — чиновный и сановный совет при государе, далекий от того, чтобы иметь собственный общественный вес, свои традиции и притязания. Лишенная какого-либо определенного отпечатка, она — покорное орудие верховной власти. Современники отметили упадок влияния боярской думы при царе Алексее: «Какия великия и малыя своего государства дела похочет по своей мысли учинити, — пишет Котошихин, — с боярами и с думными людьми, спрашивается о том мало; в его воле: что хочет, то учинити может». Падает и значение боярского сана. Цари XVII в. раздают его гораздо щедрее, чем бывало в старину. Боярство растет количественно, но теряет в политическом и социальном весе.

Оно уже не является настолько определенной общественной группой, чтобы собрание «бояр всех» оставалось фактором государственной жизни. Его созывают на торжественные церемонии дворцового обихода, на земские соборы, но значение государева совета перешло в годы царя Алексея к более тесному кругу «ближней думы». Ее полный состав — «бояре комнатные все» — то учреждение, которое создает «боярские приговоры» XVII в.; само ее название «комнатной» оттеняет ее характер придворного, личного царского совета, где, по словам Котошихина, «бывают те бояре и окольные ближние, которые пожалованы из спальников или которым приказано бывает приходить». Но царь Алексей далеко не все дела обдумывал и решал даже с этой «ближней», «комнатной» думой. Возле него видим постоянно отдельных лиц, доверенных наперсников, по своему чину даже не думных людей, с которыми он думал свою «тайную» думу. Подвижная и увлекающаяся натура часто толкала царя на личное вмешательство не в общие только вопросы государственной жизни, но и в детали того или иного дела, крупного или мелкого, государственного или частного, церковного или дворцового; личная деятельность царя была настолько обширна и разнообразна, что в 50-х гг. возник для нее специальный орган — Приказ великаго государя тайных дел. Этот приказ вырос из личной канцелярии государя и до конца носил черты того, что в XVIII в. называли бы Кабинетом Его Величества. Известно, как царь Алексей любил писать, лично излагать свои мысли и намерения, поддерживал много оживленных сношений. Его обширная переписка не всё автографы, иной раз грамотки писались подъяческой рукой, а царь правил и приписки делал. Содержание этой переписки то чисто личное, частное, то она служит средством царского воздействия на бояр, воевод, представителей церкви в вопросах государственного правления. Царская канцелярия постепенно выросла в целый приказ, занявший особое, исключительное положение в государственной администрации как орган личной верховной власти. Он остался учреждением дворцовым, помещаясь в «царских хоромаш». Сохраняя заведование личной перепиской царя, он так разросся в своей деятельности, что она пестрыми и разнообразными нитями вплелась в общий ход управления. Значительна была его роль в дворцовом хозяйстве, тем более что царь Алек-

сей и любил, и умел хозяйничать. Тайный приказ ведал его личные расходы и управление «собинными» имениями государя, его «потешными» и иными селами, выделенными особым интересом и вниманием Алексея Михайловича из общей массы дворцового землевладения; приказ этот ведал некоторыми из царских заводов и промысловых предприятий, закупкой и продажей царских товаров, делами царской благотворительности. Приказ по всем этим делам стоял под непосредственным руководством государя, у которого был в его «палатах» свой «стол»; личный состав приказа был хорошо известен царю Алексею, подбирался по испытанному доверию. Естественно стал этот приказ центром всех отношений, какие вытекали из воззрений московского общества и самого царя Алексея на личную роль государя в государственной жизни. По воззрениям этим царь стоит не во главе правительственной администрации, а вне ее и над ней. Как помазанник Божий, он призван быть источником не права только, а всякой правды, милости и справедливости. Устанавливая своей властью законы и распоряжения, которым все обязаны безусловно повиноваться, сам он руководит деятельностью государственного механизма, не связанный ее формальным строем и внешними нормами. Пусть сам он в человеческой ограниченности недостоин быть на земле «солнцем великим или хотя малым светилом», но «сердце царево в руце Божией», и в деле «Божием и государевом», когда нужно, «Бог царя известит». И сам он, и его подвластные обязаны крепко верить в особое руководство царской волей, государевым смотрением свыше. Развитие приказной системы управления только по видимости давало в руки носителя верховной власти орган, предназначенный быть покорным исполнителем царских предначертаний. Учреждения приказного типа росли и по числу, и по значению, получая характер самостоятельной силы, со своими интересами и традициями, к которым и население и царь Алексей Михайлович одинаково относились с справедливым негодованием. С резким укором поминал царь Алексей «московскую волокиту» и «злехитренныя московкия обычья, в корень искажавшие царское «разсуждение в правду». Он стремился быть не главою только, а и душой управления и видел и чуял, что оно идет своими путями, ускользая от его подлинного руководства и наблюдения. Оставалось одно: опираться на преданных,

хорошо знакомых надежных людей и давать своею властью, личным вмешательством вне порядков приказного строя опору нарушенной правде и государственной пользе. Царь Алексей берет на себя, по отношению к боярам, природным слугам своим, роль наставника, воспитателя и ищет в них сотрудников, на которых можно бы положиться, потому что они с ним связаны искренней духовной связью; не формальной службы требует он от них, а преданности личной, сердечной; всего дороже ему «их нелицемерная служба и послушание и радость к нему», и он «с милостью не вскоре прирастет» к тому, кто ему «не со всем сердцем станет работать»; не только личные послания, но и официальные грамоты царя к боярам и воеводам обильны религиозно-нравственными наставлениями, нарушение которых — по убеждению царя — источник всех неудач в делах и несправедливого их течения.

На себя царь Алексей часто берет рассмотрение и вершение, наблюдение и постановку разных дел, вне обычного установленного порядка, по личному своему усмотрению. Круг таких дел, поступавших в Тайный приказ, в личное ведение царя и его доверенных людей, определялся весьма разнообразными мотивами. В их состав могло войти всякое дело, которое стало известно царю тем или иным путем и привлекло к себе его живое внимание. Во время польской войны и всего малороссийского дела Тайный приказ иногда конкурировал с Разрядом и приказом Посольским в получении «отписок» о ходе дел и сообщении царских распоряжений и инструкций; иногда новшества, вводимые на Руси по иноземному образцу, ведались в Тайном приказе, пока царь лично следил за их развитием; такова была, напр., судьба «гранатных дворов», впервые налаживавших изготовление гранат, или организация почтового сообщения с Западом через Литву и Курляндию; через Тайный приказ проявлялся царский почин в вызове из-за границы мастеров-рудознатцев и направление розысков разной руды и залежей ценных горных пород. В эпоху исправления церковных книг интерес царя Алексея к этому делу сказался в том, что в Тайном приказе сосредоточен был значительный запас книг новой печати для раздачи по монастырям и церквам и даже отдельным лицам в виде царского пожалования.

Обширнее и цельнее по характеру своему была дея-

тельность Тайного приказа, вызванная непрерывным притоком челобитий и изветов, обращенных к государю. Воззрение на царя как на верховного блюстителя правды и справедливости побуждало многих тянуться к нему со своими обидами и просьбами, призывая его к вмешательству в свое дело, либо безнадежно запутанное «московской волокитой» и произволом «сильных» людей, либо попавшее в положение, которое не соответствовало интересам данного лица и его понятиям о справедливости. Недоверие населения к приказным учреждениям сильно тормозило утверждение производства всех дел в установленном порядке с соблюдением соответственных инстанций. Тщетно грозило Уложение батогами или тюрьмой всем, кто нарушит правило: «Не бив челом в приказе, ни о каких делах государю никому челобитен не подавати». Направить дело мимо приказов и их «волокидного» порядка было главной задачей челобитчиков. В Тайном приказе дела велись «без мотчания», самые формы письменного производства были в нем короче и проще, а часто оно заменялось устными сношениями; действуя царским именем, приказ умел торопить и других, требуя «отписок» и исполнения, «не замотчав и часу, без московской волокиты». Рассылаемые из Тайного приказа указы писались обычно «государевым именем» и имели силу царских повелений. Кроме того, челобитья «выписывались» на доклад самому царю, который в решениях не был стеснен буквой закона. Правда, царь Алексей обычно основывал их на Уложении и указных статьях или на бывших «примерах». Но принципиально формального отношения к основанию «вершения» не предполагалось, раз в дело вступала царская власть. Перед нею — по воззрениям самого царя Алексея — никто ни на что прав и не имел; их признание и осуществление — дело царской милости и усмотрения. Можно было получить отказ на справедливое домогательство, если оно принимало вид обиженной требовательности: «Хотя и довелось было дать жалованье, — гласила в таком случае резолюция, — а за то, что бил челом невежливо и укором, отказать во всем». Можно было, затронув чувства царя-вершителя, и милость неуказную снискать вне общего порядка и какого-либо предварительного производства. По временам частные случаи, вскрытые в челобитных, указывали на общие недостатки установленного порядка, на неполноту или несправедливость существу-

ющих указов и вызывали царя на издание указов общего значения, в отмену, изменение и развитие прежних. В этом отношении рядом с челобитными действовали «изветы», получившие большое распространение в XVII в. Верховная власть относилась к ним с большим вниманием, как только они давали указания на «поруху» государственного интереса, на злоупотребления должностных лиц, на провинности против государственной чести и безопасности. Изветы вызывали царя то на указную деятельность, то на прямое руководящее вмешательство — личное или через доверенных людей, то на строгий розыск. Из Тайного приказа не только исходили предписания, но посылались и полномочные лица для расследования, собирания сведений, выполнения предписанных мероприятий. Иные дела брались из ведения приказных учреждений в Тайный приказ и тем направлялись в исключительном порядке производства; другие ставились под его бдительное наблюдение. Значительна была розыскная деятельность приказа, то в форме прямого назначения следствия и руководства им, причем дело и вершилось по докладу государю, то в виде частичного вмешательства по делам, которые производились в других учреждениях. Так разнообразная и пестрая работа Тайного приказа отражала личные интересы и настроения царя Алексея, служа ему средством надзора, руководства и почина в деле управления, суда и законодательства. Переkreщиваясь различными путями с деятельностью общих государственных учреждений, она по существу ничем ее не нарушала, если не считать течения отдельных вопросов и процессов. Тайный приказ стоял в полной мере вне общего административного строя, как орган личной царской власти.

В этой сфере царь работал с небольшим кругом более доверенных лиц. А рядом, под тем же, но менее активным и действительным царским руководством, развивалась деятельность центральных приказов по текущим приказным делам, административным, финансовым и челобитчиковым. Чем дальше, тем больше вырабатывается самодовлеющий строй этих приказных учреждений и выясняется положение боярской думы более широкого, чем комнатная государева дума, состава, как вершины этого строя. Уложение определяет «бояром и окольничим и думным людям сидети в палате и по государеву указу государевы всякия дела делати вместе»

По докладам из приказов, а в 1669 г. определены и дни, когда какому приказу «к бояром в Золотую палату дела яносить к слушанию и вершению». Притом уже во времена царя Алексея заметна тенденция этой большой думы боярской к дифференциации на ряд специальных органов верховного управления, своего рода комитетов-приказов, уполномоченных ведать определенные группы судебных и административных функций, — тенденция, заметно усилившаяся к концу столетия. Этим двум порядкам верховного управления, личному и бюрократическому, предстояло долгое развитие; сложная борьба их начал наполняет XVIII в. и всю первую половину XIX в., определяя своим взаимоотношением историю русской государственной администрации. В идее обе системы должны были служить одной и той же задаче верховной власти: опеке над народной жизнью и творческому воздействию на нее. Общее состояние страны и государства ставило много острых вопросов, неуклонно толкая государственную власть по пути большого расширения ее задач. Эта черта русской жизни XVII в. привела в конце концов, после ряда частичных и несмелых опытов, к всеобъемлющей преобразовательной деятельности Петра Великого. Но ни личные свойства его отца, ни культурно-исторический момент, которого царь Алексей был питомцем и выразителем, не соответствовали задачам широкой и боевой реформы, хотя острота пужд государственных и в то время уже звала на искание новых и творческих путей властного руководства судьбами страны. В ряды искателей новизны в постановке государственных задач и приемов управления этих «предшественников Петра Великого» нельзя поставить царя Алексея. Его мировоззрение завершает идеологию русского средневековья, согрел его и оживив искренностью сердечного убеждения и вдумчивую личную мысль. В нем эта идеология Московского царства, освобожденная при новой династии от прежней примеси удельно-вотчинных принципов, развернулась богато и содержательно, но уже в ту пору, когда рушились основы вскормившей ее культуры, а русская жизнь бродила, бурно пробиваясь к иному будущему. Царь Алексей боролся с частичными проявлениями бытового зла, которое всегда выступает особенно резко и грубо в эпохи общественных кризисов, но мечтал одолеть его, поставив «на мере», «прочно и неподвижно» основы сложившихся поряд-

ков и отношений. Гарантий живому достоинству этих «мерности» и «благочиния» он искал в преобразовании не порядка, а людей, призывая своих «владущих» слуг «внутри себя притти», к «чистоте сердечной» и «радостному послушанию». Глубокая религиозность была одной из основных черт его натуры, и назревшее в его время стремление к церковной реформе нашло у него горячий отклик и сознательную поддержку. В установлении строгой и чинной обрядности, соединенной с искренним чувством веры и осмысленным пониманием художественных символов обряда, в углублении связи религиозно-нравственных идей церковного учения с житейской практикой — словом, в идеалах современных «ревнителей благочестия» царь Алексей нашел опору, а частью — и источник тех воззрений, какими осмыслялась для него вся жизнь, и личная и общественная. С другой стороны, весь склад его понятий о достоинстве и призвании царской власти побуждал его к деятельному участию в делах церкви и обусловил большую сложность отношений между духовной и светской властями в годы его правления.

III. Дела церковные при царе Алексее Михайловиче

Строители Московского царства в XVI в. и книжники их времени опирали то представление о православном Московском царстве, которое заняло столь большое место в мировоззрении царя Алексея, на определенной мысли о значении Москвы в истории человечества. Москва — третий Рим, последняя столица христианской мировой монархии, последнее хранилище истинной вселенской веры; она будет стоять до страшного дня судного, ее падение возможно только в связи с теми апокалипсическими бедствиями, какие предсказаны на последние времена жизни мира сего. Эта прегордая национальная мечта подверглась тяжкому испытанию в годину Смуты, когда вообще русским людям пришлось пережить перелом многих привычных воззрений. Смута в жизни государственной и общественной неизбежно сопровождалась смутой в мыслях и чувствах московских людей, выбитых из привычного уклада политических и бытовых отношений. Мысль, возбужденная резкими впечатлениями переживаемых событий, упорно искала ответа на

вопрос об их причинах и, по всему укладу тогдашней духовной жизни, приходила к выводу о каре Божьей, которою Господь наказует грешных людей Московского государства, исчерпавших своими сквернами Его долготерпение. Покаянное и обличительное настроение охватило широкие общественные круги. Русские люди «измалодушествовались», потеряли уверенность в устоях своего быта и поведения, видя «разруху» привычного строя всей своей общественной жизни. Москва разорена, унижена, попала в руки врага, предалась ему. Пал третий Рим, и жуткая мысль, что настают «времена последние», охватила взбаламученную совесть и сбитые с привычных путей умы. Карающая десница Господня слишком тяжко опустилась на русских людей, чтобы могли они усомниться в тяжести греховной вины своей и не задуматься над ее проявлениями в своем общественном и частном быту. Отсюда два течения московской мысли XVII в., определившие ряд ее исканий в церковной жизни и в быту общественном.

Когда миновала «великая разруха», пришло время восстановления не только внешнего порядка. В общественной жизни московской поднялся ряд церковных и религиозно-нравственных вопросов, сильно волновавших особенно те поколения, которые выступают на сцену с 30-х гг. XVII в.

К тому времени церковное управление было восстановлено, подобно государственному, и в том же духе усиления центральной власти и ее приказных органов. «Великий государь», святейший патриарх Филарет создал систему патриарших приказов, по образцу светских, сосредоточил в них суд и расправу над всем духовенством и всеми церковными людьми, установил нелегкую систему тягла приходского духовенства, платившего пошлыны и подати с земель, с треб и со всякого дохода в патриарший Казенный приказ. Высоко поднял патриарх Филарет значение патриаршего сана, как отец государя и его соправитель, управляя властно церковными и земскими делами. Но и в области церковной жизни, как в государственной, внешнее восстановление организации сопровождалось сознанием необходимости пересмотреть и уяснить ряд вопросов, в которых старые традиции уже не соответствовали новым условиям, старые отношения — назревшим потребностям. Испытания Смутного времени в значительной мере пошатнули ста-

рую московскую самонадеянную исключительность, и перед русской церковью стал, в связи с ее внутренним состоянием и отчасти с международными делами, вопрос об ее отношениях к православным церквям Греции и юго-западной Руси. Постепенно готовилось то сближение с ними, которое в дни царя Алексея окончательно взяло верх над острым недоверием к чистоте их вероисповедной и церковной традиции. К такому сближению приводили разные мотивы. С одной стороны, самый идеал Московского царства издавна побуждал дорожить ролью покровителей православия на греко-турецком Востоке, тем более что она переплеталась с давними культурными отношениями к южному славянству; в официальных кругах оживило с новою силой представление об этой «вселенской» роли Москвы, и его усердно поддерживали греки — ходатаи о милостыни царской. Так, в 1649 г. иерусалимский патриарх Паисий, приехав в Москву, приветствовал царя Алексея пожеланием, чтобы Бог сподобил его «восприяти превысочайший престол великаго царя Константина», а патриарха Никона «освящати соборную апостольскую церковь Софию»; вторили ему и другие, поддерживая в царе Алексее мечту о византийском наследстве, которая была так родственна его воззрениям на свое царство как на орудие Божьего правления на земле. По отношению к южной Руси в том же направлении действовали, наряду с церковно-религиозными и национальными, мотивы политические, но в малороссийском вопросе царь Алексей особенно резко выдвигал вероисповедную тенденцию против тех из своих советников, кто удерживал от борьбы с Польшей за Украину.

Живое сознание связи Москвы со всем славянским и православным миром питало стремление углубить ее церковные отношения к вселенской восточной церкви, столь сильно ослабевшие в XVI в. Но в жизни русской церкви была и другая сторона, приводившая к тому же результату. Московское общество вышло из Смуты с сознанием слабости своих культурных сил, и это сознание только утверждалось по мере роста затруднений в работе над очередными задачами государственной и общественной жизни. Как в других ее областях, так и в церковных делах все яснее выступает недостаточность старых источников и приемов просвещения, отсутствие подготовленных людей для важного и нужного дела.

Московская Русь потянулась за знаниями, сведениями и материалами более развитой книжной премудрости туда, где они были, в Киев и к грекам. Но многое тут смущало, и не без основания. Ближе были, по языку и народности, киевляне. Но их образованность почерпнута от католического Запада, пропитана не только его приемами мысли, но и элементами латинских воззрений. Прилив церковной письменности из юго-западной Руси встретили в Москве с большим недоверием, подвергали ее произведения бдительной цензуре и находили там то и дело «латинския мудрования» в темах богословских. У греков собственное просвещение было в упадке, жило старыми соками и все больше воспринимало те же западные влияния; самые книги церковные печатались для греков на Западе, преимущественно в венецианских типографиях, и не были свободны от погрешностей, вольных и невольных. Наконец, моральный уровень греков, приходивших в Москву просить о материальной поддержке и старавшихся угождать милостивцам лестью и интригами, был не таков, чтобы поднять их авторитет. Трудно было москвичам разбираться в этих смущающих впечатлениях и, отделив их от существа большого дела, использовать новые средства церковного просвещения, притом в духе единения в нем всего православного Востока. Однако неотложная нужда двинула эти иекания в определенном направлении. Еще при патриархе Филарете им служил с редкой вдумчивостью и теплым убеждением кружок церковных деятелей, почитателей памяти Максима Грека, группировавшийся около троицкого архимандрита Дионисия. Против гонителей своего дела они нашли поддержку в иерусалимском патриархе Феофане, который приезжал в Москву в 1619 г. и посвятил Филарета в патриархи всея Руси. Феофан обратил внимание русских иерархов на отличия московского и греческого церковных обрядов, добился частичного их согласования в некоторых деталях, а главное, поучал о необходимости «православныя греческия книги писать и глаголать и философство греческих книг ведать»: несмотря на всю важность греческой богословской школы для православия, «до сего Феофана патриарха во всей России редкие по-гречески глаголаху». По-видимому, от Феофана идет и воззрение, что только путем исправления русских книг и обрядов по тем, которые приняты в современном греческом церковном обиходе, достигнет

русская церковь возможности «единомудрствовать, о еже держатися старых законов греческаго православия и древних уставов четырех патриаршеств не отлучатися». Во всяком случае, воззрение это стало постепенно крепкой традицией на иерархических верхах московской церкви и в царском дворце, хотя по существу страдало большой односторонностью: многие из обрядовых отличий московских от греческого образца имели основание в греческой уставной старине, изменившейся с течением времени. Оно возобладало в силу идейной ценности единства, а для царя Алексея имела немалое значение сама эстетика выработанной и богатой обрядности греческой церкви и византийского царского обихода. Недаром выражал он просьбу, чтобы патриарх антиохийский Макарий молился о нем Богу, дабы ему уразуметь эллинский язык, и выписывал с Афона *Чиновник* византийских царей — «всему их царскому чину». Но греки, сами по себе, мало могли послужить работой на русскую церковь, по незнанию славянского языка. В патриаршество Иосифа обратились поэтому к южнорусским монахам, «которые эллинскому языку навичны и с эллинского языка на словенскую речь перевести умеют и латинскую речь достаточно знают». В 1649—1650 гг. по царскому призыву прибыли Арсений Сатановский, Епифаний Славенецкий, Дамаскин Птицкий и, принявшись за дело книжного исправления, поставили его по-новому и притом на таких началах, которые вскоре вызвали немало споров и раздоров: они стали руководствоваться в исправлении текстов не столько старыми славянскими рукописями, а более современными печатными изданиями, греческими и южнорусскими. С них началось сильное влияние выходцев из Малороссии на московскую церковную жизнь, непопулярное среди великорусского духовенства и общества, тем более что ученость киевская, за редкими исключениями, носила печать заметной односторонности. «Наши киевляне, — жаловался сам Епифаний, — учились и учатся только по-латыни и чтут книги только латинские и оттуда мудрствуют, а гречески не учились и книг греческих не чтут и того ради истины не ведают». С усилением значения малорусской образованности в московскую культуру проникала струя латинского просвещения. Типичным ее представителем был, например, наставник царских детей влиятельный Симеон Полоцкий, который почти не знал греческого языка, а книгу его, знаменитый

«Жезл правления», составленную по поручению собора 1667 г. в обличение раскольников, пришлось очищать от «латинского мудрования»; ученик же его, Сильвестр Медведев, поднял несколько позднее целую смуту, защищая католическое толкование учения о времени пресуществления св. Даров. Такова была постановка отношений, когда Никон вступил на патриарший престол.

Но к тому же времени вполне определилось и другое течение московской церковной жизни, также выросшее из потребности ее коренного обновления. Подобно тому как в деле государственного строительства почин выяснения различных нужд и указания средств их удовлетворения исходил, на первых порах, преимущественно от заинтересованных общественных групп, так и задача упорядочения современного церковного быта и общественной нравственности была поставлена «ревнителями» из среды белого духовенства и светских людей. Проявления этих настроений шли из разных мест, но сильнейший центр нашли в Нижнем Новгороде, откуда вышел ряд деятелей церковной жизни XVII в. В 1636 г. девять нижегородских приходских священников подали патриарху Иосифу челобитную «о мятежи церковном и о лжи христианства», обличая леность и нерадение поповское, неуставный порядок богослужения, пение «поскору» и «голосов в пять и в шесть и более», бесчинство среди молящихся, распущенность в народе, преданном пьянству и языческим забавам, как скоморохи и медведчики, «бесовские» игрища и кулачные бои; челобитчики требовали патриаршего указа о «церковном исправлении» и «безсудстве христианства», чтобы в «скудности веры до конца не погибнути». Их голос был услышан, патриарх внес требуемые постановления в свои указные памяти; дело, поднятое ревнителями, встретило поддержку влиятельных кругов, благодаря энергии и связям одного из челобитчиков, Иоанна Неронова. В молодости близкий к архимандриту Дионосию, Неронов был известен и патриаршему двору и царскому «верху». Не раз бывал он в столице и добивался там «повелений царевых и святейшего патриарха на безчинствующих и соблазны творящих в народе, да упразднится всякое небогоугодное дело». Но не патриарх Иосиф был главным его покровителем и союзником, а царский духовник протопоп Стефан Вонифатьев, а с ним и сам царь Алексей Михайлович. В 1649 г. Неронов назначен протопопом в мос-

Казанский собор и примкнул к кружку лиц, связанных через Вонифатьева с царским дворцом, — радетелей о возрождении силы слова Божия в церкви и в жизни. Этот кружок сложился постепенно, с тех пор как Стефан стал — в первый же год нового царствования — духовным отцом государя. Тут видим боярина Ф. М. Ртищева, крупного благотворителя и покровителя обновленному церковному просвещению, неукротимого в ревности о Боге и правде Божьей Аввакума, властного, энергичного Никона, с 1646 г. архимандрита Новоспасского монастыря. Близостью к царю и влиянием на него они пользуются, чтобы, сплотившись, выдвигать на протопопские места и в Москве и в провинции людей, способных послужить заветному делу перевоспитания духовенства и его паствы, — таковы Аввакум — в Юрьев-Польском, Логгин — в Муроме, Лазарь — в Борисоглебске, Даниил — в Костроме. Основная цель их — подчинить русскую жизнь строгим религиозно-нравственным требованиям путем царских указов, поведи и реформы богослужения. Под их влиянием развилось законодательство царя Алексея против народных празднеств, игрищ и скоморошества как остатков языческой старины, опасных для нравственности и религии. Под влиянием Вонифатьева в царском дворце водворялся дух суровой, пуританской чинности. В дни брачного торжества молодого государя отец Стефан «молением и запрещением устрои не быти смеху никаковому, ниже кощунам, ни бесовским играциям, ни песням студним, ни сопельному, ни трубному козлогласованию»; свадьба царская совершилась в тишине и пении песен духовных. Патриарх Никон продолжал позднее традицию Стефана, когда приказывал отбирать и истреблять по боярским домам народные музыкальные инструменты. Изгнав суетное веселье из дворца, ревнители тот же дух сосредоточенной и строгой религиозности пытались внести вообще в московскую общественную жизнь. Их борьба со скоморошеством и иными «студными» обычаями запечатлена большим рвением, доходившим до кулачной расправы, надругательств и гонения. Наряду с этим, тот же круг священников и иноков выступил с насаждением учительного слова. Стефан Вонифатьев неустанно наставлял царя и его бояр блюсти правду в делах правления и суд иметь правый, для всех равный, «да не внидет от обиженных и разоренных вопль и плач в уши Господа».

Проповеди Неронова собирали огромную толпу, какой не могла вместить Казанская церковь; сам царь с семьей ездил почаству слушать его. И другие «ревнители» поучали и обличали в церкви и вне ее, в домах боярских, на площади. Но мало было умелых в деле проповеди; и тут пытались найти помощь у греков. У них был навык «поучать изоуст в слух всем людям», а московские ревнители больше держались поучительного чтения — житий святых, святоотеческих слов и посланий. В 1651 г. проповедничество в Богоявленском монастыре было поручено митрополиту назаретскому Гавриилу, владевшему русскою речью; он, видно, знал и жизнь русскую, так как сумел внести в свои проповеди ряд обличений ее пороков.

Средством живого и разумного научения молящихся стремились «ревнители» сделать и богослужение, искаженное обычаем «многогласия» и «пения поскору». Стефан и Ф. М. Ртищев первые ввели единогласное и согласное пение в домовых церквах, затем — по воле царя — оно установлено в Казанском соборе при назначении туда Неронова. Весь круг единомышленных с ними священников горячо взялся за распространение этой реформы. Но остальное духовенство и миряне в большинстве отнеслись к ней враждебно; дело осложнялось тем, что на Руси богослужебный устав был принят из самых строгих монастырей греческих и требовал очень много времени на выполнение всех служб; на практике предпочли «многогласное» служение разумному сокращению службы. И церковный собор, созванный в феврале 1649 г. для введения единогласия по всем церквам, отверг его, но царь не утвердил такого «уложения и приговору», побудил патриарха Иосифа снести с греческой церковью, и в 1651 г. новый собор постановил, согласно с отзывом, полученным из Константинополя, отменить многогласные служения. С этим связана была и реформа церковного пения по старым нотным книгам, которое делало тексты невразумительными, так как сохраняло произношение глухих гласных, так что, например, написание «людьми» — читалось «людеми», «снедаей» — «со-недаей» и т. п. Все эти мероприятия возникали помимо патриарха и вызвали сильно натянутые отношения между ним и вонифатьевским кружком, который через царя проводил те назначения на церковные должности и те общие установления, какие находил нужными. В послед-

ний год патриарх Иосиф чувствовал себя вовсе отстраненным от управления церковью и говаривал: «Переместить меня, скинуть хотят». Конечно, благочестивому царю и его близким было «и помыслить страшно на такое дело». Только кончина Иосифа в 1652 г. отдала патриарший престол в их руки. Казалось, что отныне вся сила иерархии церковной должна вступить на путь «ревнителей». Есть известие, что они подавали царю Алексею челобитную «о духовнике Стефане, что ему быть в патриархах», но Стефан уклонился и вскоре ушел в монастырское уединение. Тогда на патриаршество был призван царем Никон, с 1648 г. занимавший митрополию кафедру в Новгороде Великом.

Особенностью вступления Никона на престол патриарший было условие, поставленное им царю, иерархам и боярам: «Послушати его во всем, яко начальника и пастыря и отца крайнейшаго, елико он возвещать будет о догматах Божиих и о правилах», — и все во главе с царем Алексеем дали ему обещание «сохранити непреложно» такое повиновение. Никон ни по натуре, ни по воззрениям не мог сжиться с такой ролью патриарха, какая выпала на долю Иосифа. Он принял высокий сан, получив гарантию, что за ним будет признана полнота власти в правлении церковном, что царь возложит на него всю заботу о церковных делах, склоняясь перед авторитетом святейшего патриарха. Царь Алексей принял условие, быть может, вовсе без колебаний. Раздвоение церковных отношений между патриаршим двором и придворным духовенством не могло не тяготить его мягкую натуру тою боевой ролью, какую подчас ему навязывало. Никона он привык чтить и слушать в течение ряда лет, а твердый и властный характер нового патриарха покорила на время царя, которому всегда не хватало этих качеств. Но тем уклад их отношений не ограничился. Царь отстранился от вмешательства в дела церкви, так что Никон с епархиальными владыками поставляли архимандритов и протопопов «самовольством, кто им годен, без указа великого государя», и все новшества Никона шли мимо его участия. Царь поддавался во многом влиянию Никона, признал за ним титул «великаго государя», совещался с ним о делах правления, предоставлял патриарху значение своего заместителя во время частых и продолжительных отлучек на театр военных действий против Польши. Властительный не менее Филарета, Ни-

кон должен был повлиять на решительный переход от усложнившихся отношений с земскими соборами к приказной автократии, но крупной личной роли в направлении государственных дел сыграть не мог, так как не был в них сведущ, да и застал сложившуюся политическую жизнь, со многими особенностями которой, как Монастырский приказ и другие новины Уложения, должен был, скрепя сердце, мириться. Но за всем тем положение Никона до его разрыва с царем было близко к положению главы церкви, царю неподвластного, а поставленного рядом с ним в руководстве судьбами Московского государства. В правлении церковном Никон поставил себя носителем полной, независимой и единоличной власти. Торжественная обстановка его патриаршего обихода, его двора и «выходов» ни в чем не уступала царской, уподобляясь тому, «как бывает чин перед великим государем»; главу его украшала митра необычной формы, подобная царскому венцу, под ноги ему стлали ковер с вышитым двуглавым орлом. Вся эта пышность отвечала воззрению Никона, что «священство и самого царства честнейшее и большее есть начальство». Торжественно запечатлел он величие священного сана, побудив царя Алексея, по перенесении мощей митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву, преклонить «честь своего царства», «сан свой царский» перед ними за тяжкую вину царя Иоанна. И предисловие к Служебнику 1655 г. призывало народ благодарить Бога, избравшего в начальство людей своих, «двух таковых великих государей», как царь Алексей и патриарх Никон, и славить Его «под единым их государским повелением». В таком же настроении вел Никон, «Божией милостью великий господин и государь», как он титуловал себя в некоторых грамотах, и управление церковное, будучи тяжким властителем для всего духовенства. Архиереев он признавал не сослужителями своими, а лишь исполнителями своих велений, требуя с них, при поставлении, обещания, «аще что сотворят без патриаршаго ведома, да будут лишены, без всякаго слова, священнаго сана»; как «отец отцов» и «крайний святитель», патриарх, по взгляду Никона, «образ Христов носит на себе», а епископы подобны его апостолам. Но вместе с тем церковная политика Никона возвышала власть епископов, ставя их независимо от светской власти и признавая пастырские полномочия только за ними, отнюдь не за

священниками. И, быть может, никогда не было так тяжело рядовому священству и монашеству под управлением патриарших приказов, как при патриархе Никоне.

Такая постановка патриаршей власти не замедлила отразиться на ходе церковной реформы. Никон не пошел об руку с прежними друзьями и требовал от них не совета и сотрудничества, а покорности. Царь отстранился от вмешательства в дела церковные. Дело «ревнителей» заглохло в тот момент, когда они могли мечтать о торжестве. Никон не пошел их путем. Его энергия сосредоточилась на усилении иерархической власти и на исправлении церковных книг и обрядов. Порыву к работе над обновлением религиозно-нравственного быта проповедью и личной боевой деятельностью «ревнителей» не стало больше опоры у царского и церковного авторитетов. Личная обида, а еще более различие по духу и целям сделало прежних союзников непримиримыми врагами. Сурово обличал Неронов Никона, что «от него всем страх и его посланники паче царевых всем страшны», и убеждал «смирением Христовым, а не гордостью и мучением сан держати». Дело исправления церковного, по мнению Неронова и его друзей, не должно быть в единоличной власти патриарха. Но и те соборы, какие созывались Никоном для обсуждения и утверждения исправлений, их не удовлетворяли: истинный собор, по убеждению Неронова, должен состоять не из одних архиереев, к нему надлежит призвать и белое священство, и представителей паствы — мирян. Разлад шел и дальше, захватывая самые приемы исправлений. «Ревнители», став противниками Никона, не отрицали надобности поправок, но настаивали, что в основу надо положить древние славянские книги. Для патриарха и для царя Алексея это было неприемлемо, ибо такой прием убил бы основную задачу реформы — согласование московского церковного обихода с современным греческим; этой цели не удовлетворила бы и работа с помощью древних греческих рукописей, так как и в них было многое, что с течением времени отпало и изменилось. Принципиально реформа признавалась восстановлением старины; Арсений Суханов дважды ездил на Восток и вывез богатое собрание древних греческих богослужебных книг. Но он же привез точные сведения о различиях между русским и греческим обрядом и даже об осуждении на Афоне наших книг за их ошибки и отступления от принятого у греков. Ученые-

справщики из малороссов работали преимущественно не по старинным рукописным книгам, русским или греческим, а по новым венецианским изданиям, какими пользовалась греческая церковь. Так сложилась почва отношений и фактов, на которой вырос тяжелый разлад, а затем и церковный раскол. Противники Никона резко осуждали его деятельность — и как патриарха-управителя, и как исправителя книг и обрядов. Гневно встречал он критику, видя в ней прежде всего непокорность людей из рядового по сану духовенства своей высокой власти, и громил их ссылками и заточениями. Царь верил патриарху, был подавлен его сильной волей, хотя скорбел о прежних близких и почитаемых людях, с которыми было сердце всего дворца, царицы Марьи и ее близких. Но по существу царь мог быть только с Никоном, а не с ними. Их вражда к грекам и малороссам, их стремление сохранить национальную церковную старину противоречили основным настроениям царя Алексея, увлеченного идеалом вселенского православного Востока с московским царем во главе.

Пока все спорные вопросы не сходили с почвы разлада между патриархом и группой священников, они могли казаться частичной, хотя и острой смутой, лишенной общецерковного значения. Спорные исправления и распоряжки воспринимались противниками Никона как его личное дело, которое с ним и погибнет. Они считали возможным апеллировать на патриарха царю, подавая ему челобитные, полные жалоб и обличений. Они чувствовали себя в лоне вселенской церкви, а в раздоре только с временным управителем русской церкви, которой сами были духовными членами. Однако весь разлад приобрел иной и более принципиальный характер, как только дело церковных преобразований отделилось от личности Никона. Толчок к тому подал разрыв согласия между царем и патриархом. Все поведение Никона выражало то представление о преимуществе духовной власти перед светской, которое являлось отрицанием не только исконной зависимости русской церкви от московских государей, но и дорогого царю Алексею учения о святости царского сана. Царь мог еще допустить самостоятельность действий патриарха и его влияние на дела государства как следствие личного доверия своего к Никону. Но Никон не довольствовался ролью своего рода временщика и подчеркивал, что свою опору видит не в милости цар-

ской, а в правах своего сана. Как во внутреннем строе церковных отношений, так и в отношениях церкви к государству Никон шел путями не обычными. Его мнил образ патриарха — неограниченного властителя церкви, не зависимого ни от какой земной силы, наместника Христова, и он узнал его в римском первосвященнике: Никон внес в издание «Кормчей книги» перевод знаменитой «Donatio Constantini», грамоты, обосновывавшей папские притязания на светскую власть легендой об уступке императором Константином Великим папе римскому прав на Западную империю. К идейному спору эти тенденции привели только после падения Никона, но пропитанная ими практика всех отношений обусловила резкий разрыв царя с патриархом.

Своею безудержною «властительностью» Никон скопил много раздражения в духовенстве и боярах. Тяготила она и царя Алексея, которому близкие люди настойчиво указывали, как патриаршее самовластие унижает сан царский. Личное охлаждение между царем и Никоном дало последнему почувствовать, что почва под ногами заколебалась, и он решил уходом с патриаршества поразить царя и заставить его смириться. Но царь Алексей предоставил ему удалиться в Воскресенский монастырь и испросил через бояр его благословения на передачу блюдения патриарших дел крутицкому митрополиту Питириму. Так настало в 1658 г. положение, трудное и для церкви русской и для царя Алексея. Никон недолго мирился с потерей власти и развернул ряд притязаний, совершив крайне резкие политические выпады против светской власти и повинующегося ей духовенства. Он держался того взгляда, что, и отстранившись от фактического правления, он не теряет патриаршего сана, осуждал действия своего заместителя, настаивал, что, кроме него, некому поставить нового патриарха. На соборе, который был созван царем в 1660 г. для обсуждения создавшегося положения, раздались голоса против признания Никона низложенным или суда над ним: его можно только «молить сыновним повиновением, да исправится во нраве своем». Правда, собор пришел к выводу, что Никон достоин лишения не только патриаршества и архиерейства, но и священства; но это решение было оспорено по существу Епифанием Славенецким и Игнатием Иевлевичем, а последний указывал, что без участия все-ленских патриархов дело Никона вообще неразрешимо.

Оно и затянулось на несколько лет — до 1667 г., в течение которых руководство делами церкви фактически сосредоточилось в руках царя. На это царское господство в церкви обрушилась негодующая и не знавшая меры полемика Никона. Видя, как «царское величество расширился над церковию», Никон решался утверждать, что все духовные лица, назначенные по царскому велению, «не избрани от Бога и недостойны», а все их церковные действия недействительны, так что «такова ради беззакония все упразднилося святительство, и священство, и христианство», и, видно, пришло уже время, когда антихрист «повелит себе кланяться нечувственно, якоже ныне архиереи... кланяются царем», так что, заключал раздраженный Никон, «от сего разумеем, яко последний час есть». Мало того, он пытался призывать духовенство к активному сопротивлению светской власти, дал волю своему раздражению против Уложения, требуя, чтобы духовенство не подчинялось его узаконениям и суду Монастырского приказа. Но Никон был одинок и бессилен. Был момент в 1664 г., когда он решился на попытку вернуться патриархом в Успенский собор, но царь его не принял. Пришлось уехать, согласиться на формальное отречение от патриаршего престола. Никон еще ставил условия — сохранение титула, управления и доходов нескольких монастырей и т. п., но было уже поздно: передача его дела на суд собора при участии восточных патриархов была решена окончательно.

В таких условиях выяснялась в то же время судьба церковных преобразований. Царь Алексей взял этот вопрос в свои руки. Казалось, что с устранением Никона падет главное препятствие к установлению мира в русской церкви. Ведь Никон, не без настояний царя Алексея, примирился с Нероновым, тогда уже иноком Григорием, на компромиссе взаимного признания старых и новых книг равноценными. Церковные новшества входили в жизнь, царь сам распространял новые книги через Тайный приказ, буря разногласий как бы затихла. В 1664 г. призван в Москву Аввакум, принят ласково и с почетом. Однако разногласия оказались слишком коренными, чтобы уладить их личными переговорами и уступчивостью. Неронов настаивал на избрании нового патриарха собором русской церкви, человека кроткого, «со всеми христолюбцы единомудреннаго»; все его единомышленники отрицали греческое и малорусское влияние

в церковных делах, стояли за московскую старину против Никоновых исправлений, а все частные спорные темы сливались в общем осуждении того нового духа, которым проникались чем дальше, тем больше, официальная государственная и церковная жизнь, а равно и быт общественных верхов. Аввакум в челобитной царю против церковных новшеств уже произнес слово «никониане», отделяя свою «истинную веру» от их воззрений, а в массе народной ощущение перелома в традициях московского быта уже отливало в страх близкого или наставшего прихода антихриста, в тревогу ожидания «последняго времени». В оппозиции против «никонианства» звучали ноты отрицания власти и авторитета иерархии, осуждение царской церковной политики обобщалось в оуждение ее полномочий по управлению церковью, приводило к суровому отвержению новых культурных отношений и навыков. Тут спорили два мира, разнo строившие понятия о должном и желательном в государственном, общественном и церковном быту, и примирение их было вне исторической возможности.

IV

Разрешение церковного кризиса выпало на долю собора, созванного царем Алексеем в 1666 г., на котором руководящую роль играли греки — два патриарха, александрийский Паисий и антиохийский Макарий, газский архиепископ Паисий Лигарид и архимандрит афонского Иверского монастыря Дионисий. Присутствие восточных патриархов должно было придать собору особую авторитетность, и московское правительство было крайне обеспокоено тем, что оба они оказались бывшими патриархами, кафедры которых были уже замещены иными лицами, а Лигарид находился под запрещением от патриарха иерусалимского. После собора правительство хлопотало о возвращении патриархам их престолов и достигло цели; достигло оно и того, что постановления московского собора не встретили возражений и греческая церковь признала их имеющими законную силу; исхлопотать снятие запрещения с Лигарида не удалось, но это имело уже мало значения. Перед собором поставлены были две задачи: решить дело о Никоне и о борьбе час-

ти духовенства против его исправления книг и обрядов. Дело Никона приняло форму суда восточных патриархов над московским по челобитью царя и русских епископов о его винах и кончилось осуждением его. Признанный виновным за оскорбление государя, за самовольное оставление патриаршества и церковную смуту, за жестокое и несправедливое управление, бесчестие патриархов на соборе, Никон приговорен был к лишению архиерейства и священства. В связи с этим делом обсуждались на соборе два вопроса огромной принципиальной важности: о взаимоотношении властей, светской и духовной, и о власти патриарха в церковном правлении. Патриархи строго осуждали тех, кто «никонствуют и папешествуют, кто покушается уничтожить царство и поднять на высоту священство», и защищали мнение, что патриарх должен быть «послушлив царю, яко поставленному на высочайшем достоинстве и отместителю Божию», и «полагать себя под суд царский». Но русские епископы довольно единодушно отстаивали независимость церкви и добились такой формулы соборного суждения: «Да будет признано заключение, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх в церковных, дабы таким образом сохранилась целою и непоколебимою вовек стройность церковного учреждения». Эта формула не вошла в официальные соборные деяния и, стало быть, не была формально признана царем, но архиереи, стоявшие на ней, добились уничтожения Монастырского приказа и подчинения своей власти — власти епархиальных чиновников. С другой стороны, тот же собор содействовал ослаблению единоличной власти патриарха; греческие иерархи настаивали, чтобы епископские соборы съезжались ежегодно, но это оказалось неисполнимым для Московского государства, и коллегиальность верховного управления церкви была обеспечена установлением очередного присутствия некоторых архиереев в Москве, для составления, вместе с «прилучившимися» по делам в столице, так называемого патриаршего собора. Реальным результатом соборных деяний 1666—1667 гг. оказалось, действительно, ослабление патриаршей власти, подготовившее ее отмену при сыне царя Алексея. Но попытка разграничить области государственного и церковного правления осталась бесплодной, тем более что на долю царской власти выпало определять последствия разразившегося в церкви раскола.

Спор о старине и новшествах в церковном обиходе получил на этом соборе неожиданно резкую постановку. Греки получили его на обсуждение в том виде, какой он принял на русском соборе 1666 г. Там одобрены были все исправления, а противников «никонианства» увещевали примириться с ними, причем только четверо — Аввакум, Лазарь и два Федора, дьякон и подьяк, — упорно стояли на еретичестве принятых церковью новин и подверглись за это «конечному соборному осуждению»; но общий вопрос о взаимоотношении старины и новизны не был поставлен ребром, так как собор искал примирения на признании их различия непринципиальным. Этот-то вопрос, смущавший своей недосказанностью, был поставлен на рассмотрение собора при участии греческих иерархов. Руководящее значение получил тут архимандрит Дионисий, долго живший в Москве в качестве книжного справщика. Участник правки книг и обрядов, он хорошо знал отличия старины московской, но изображал их как отступления, возникшие, когда русская церковь вышла из зависимости от Византии и начала отличаться от греков ради своего «сумудрия». Греки всецело стали на эту точку зрения и провели на соборе осуждение всей старины московской и закрепивших ее деяний Стоглавого собора. Соборной клятвой на защитников старых книг и обрядов был оформлен в 1667 г. раскол в русской церкви между «старообрядством» и «никонианством». При этом восточные патриархи настаивали, чтобы раскол был уничтожен «крепкою десницею царскою», и тем самым положили начало «временам гонительным» в истории русского раскола. Усмирением Соловецкого бунта, ссылкой «начальных отцов» в Пустозерск, казнью инока Авраамия в Москве, пыткой и тяжким заключением в земляной тюрьме боярынь Морозовой и кн. Урусовой начался героический период в истории русского старообрядства; отлученная от церкви, потеряв организационные устои своего религиозного быта, «старая вера» живет убеждением, что недолгое время осталось бытию сего мира, что она терпит беды, предсказанные как признак пришествия царства антихристового, торопит свой исход из мирской отравы коллективными саможжениями или начинает приспосабливаться к дальнейшему земному пути ряда поколений, дробясь на толки в попытках разрешить неразрешимые задачи своего религиозного быта. В недрах старообрядческого быта продолжают жить традиции

старинной московской культуры, отголоски средневековой книжной мудрости и изжитых преданий. Русская жизнь в целом пошла иными путями.

V. Культурный перелом при царе Алексее Михайловиче

«Ревнители благочестия», ушедшие в «старую веру» от новшеств патриарха Никона и царя Алексея, мечтали о сохранении и утверждении над всей народной жизнью силы церковно-религиозных понятий, правил и навыков. Они чуяли умом и сердцем, что опора этой силы в московской церковной старине, в сохранении старинного уклада жизни и отношений. Царь и патриарх смотрели шире и в своем стремлении выйти из национальной обособленности местной церкви на попрание междоусобиц связей православного Востока не отрешались от того же идеала построения жизни на руководящем значении православной церковности, но опирали его не на национальную старину, а на византийскую традицию власти, которая Богом поставлена управлять земной жизнью «людей Его, Световых». Царь Алексей и патриарх Никон столкнулись друг с другом на понимании этой власти и ее священных полномочий, столкнулись и с защитниками московской старины. Разрешение кризиса привело к расколу — уходу из-под руководства государственной церкви многих народных общин, живших своею напряженной религиозной жизнью, и к упадку самостоятельной патриаршей власти, который был одним из признаков ослабления значения церкви в делах государства и в общественном быту. Внутренние процессы, развивавшиеся в недрах Московского государства, отвоевывали все больше места новым культурным потребностям, далеким от всякой церковности, несоизмеримым ни с московской стариной, ни с традициями византийского наследия. Великая Смута, пережитая Московским государством в начале XVII в., надорвала его силы и в то же время, перейдя в борьбу с иноземными врагами за национальное существование русской народности, крайне осложнила международное положение государства. Борьба продолжалась при новой династии, все разрастаясь, перешла в наступление, наполнив весь XVII в. почти непрерывным военным напряжением. А внутри шла трудная, тяжелая работа над внутренней организа-

цией народных сил и средств на потребу «государева и земского дела». Все острее чувствовались недостатки этих средств, материальных и культурных, необходимость их усовершенствования и развития. Борьба заставила пристальнее взглянуть в быт западного врага, понять его преимущества и попытаться их усвоить. Недовольство своей родной действительностью, сознание своей слабости перед чужой культурой, от успехов которой пришлось отстать Московской Руси, подавленной политической борьбой на три фронта с внешними врагами и исключительными условиями народнохозяйственной жизни, объясняемыми огромными пространствами Восточно-Европейской равнины, толкали на усвоение новых приемов технического знания и умения, новых источников просвещения. Но сближение с Западом на почве удовлетворения этой потребности не могло остановиться на усвоении практически полезного для текущих нужд, военной и промышленной техники, новых приемов народного хозяйства и экономической политики. Работа, направленная в эту сторону, раскрывала перед русскими людьми новые широкие пути деятельности, непривычной по форме и сложности, манила их обилием ценных и увлекательных сведений, вводила в их сознание ряд новых понятий, приучала даже к иным приемам мысли, как только они пытались основательнее и прочнее усвоить эти сведения. Необходимость учиться у иноземцев создавала новые знакомства и отношения, открывала в московскую среду доступ иностранцам в таком количестве, какого раньше не бывало; под Москвой создавался целый уголок западноевропейского быта, Иноземная слобода, знакомившая с более свободной, лучше обставленной по комфорту и удобству частною жизнью. Перед русскими людьми разворачивался постепенно новый культурный мир, интересный и привлекавший не одной новизной. Он был силен удовлетворением потребностей, которые настойчиво стали пробуждаться в Московском государстве и обществе. Это были потребности, не находившие места и пищи в традиционном укладе русской национальной старины, и приходилось мириться с тем, что средства для их удовлетворения несли на себе печать иноземной и иноверной культуры. На иностранцев пришлось опереться в организации полков нового ратного строя, в развитии русской артиллерии и в первых попытках кораблестроения, в расширении «врачебного строения», в уст-

ройстве заводов и начатков фабричного производства. Расширение торговли ввело в московскую среду обилие иноземных товаров, немецких и польских. В обстановке царского дворца и боярских дворов появились новая мебель, зеркала, статуэтки, часы «с хитрыми украшениями», золоченые «немецкие» стулья, столы «немецкой» и «польской» работы; заграничное ремесленное искусство имело успех, воспитывало новые привычки и эстетические вкусы. За внешними новинками развивались и более глубокие интересы. Растет переводная литература с латинского, польского, немецкого языков, растет и некоторое знакомство русских людей боярского и приказного круга с иностранными языками. Малороссы принесли в Москву новые литературные вкусы и новый литературный стиль, выросший на западном, латино-польском корню. Новизна проникает даже в заповедную область церковного искусства. Еще при Михаиле Феодоровиче появились в Москве иностранные живописцы, писавшие портреты и картины аллегорического, мифологического и исторического содержания для покоев царских и боярских. Они явились учителями русских художников, занимавшихся одновременно и светской живописью, и иконописью. Сближение с Малороссией приводит в Москву западнорусских «знаменщиков» с их западной школой и вкусами. Широкое распространение получают западные гравюры и иллюстрированные издания Священного Писания. Старая иконописная традиция не выдержала натиска новых веяний, постепенно отступая перед «фряжским» иконным письмом, либо приспособляясь к нему, принимая в себя ряд новых элементов. Тщетной была попытка патриарха Никона остановить это течение истреблением фряжских икон и анафемой на всех, кто их писать и держать будет: сам Бог вступился за освященные иконы нового письма, поразив Москву эпидемией. Новое, подражательное искусство страдало манерностью и часто вычурностью непонятых форм, но оно, по-своему, вносило в живопись светлую струю признания красоты линий и тонов самостоятельную ценность искусства, которой служило искусство «умеренной фряжи» царского иконописца Симона Ушакова, и его ученик Иосиф Владимиров в особом полемическом расуждении ее защищал.

В значительной мере во главе увлечения европейскими и киевскими повинами стоял царский дворец. Не го-

воря о том, что от царской власти шел почин усвоения новой техники военного и промышленного дела, как и покровительство торговым сношениям с Западной Европой, государев «верх» был главным заказчиком и покупателем иноземного художества и иноземных товаров, постепенно перерождая весь стиль своей обстановки. Эстетическая и балованная натура влекла царя Алексея к красивой новизне, украшавшей дворцовый быт, увеличившей и его комфорт. По его почину возникли впервые в Москве «комедийные действия», устроенные пастором Грегори с помощью московской иноземной молодежи. Грегори пришлось затем обучить «комедийному делу» и русских, набранных для того по государеву указу, и руководить обучением дворовых людей боярина Матвеева, первых на Руси «крепостных актеров», которые, кроме того, и на музыкальных инструментах играли и новые танцы танцевали. На царский дворец работала под руководством того же Матвеева группа рисовальщиков и живописцев, создавших ряд роскошных иллюстрированных книг для государева «верха». Манила царя Алексея новая культура, но и пугала. В глазах благочестивого московского общества она и в немецкой, и в польско-киевской редакциях несла печать латинскую, еретическую. Царь Алексей временами поддавался страху и колебанию, внушенному суровой прямолинейностью почитаемого духовника и его ревностных приятелей, и издавал, напр., указы, запрещавшие народные гудки и сопели, которые отбирались у москвичей по распоряжению патриарха Никона, но сам охотно слушал «фиоли, и органы, и струменты»; объявлял строгие запреты, чтобы служилые люди «иноземских немецких обычаев не перенимали, волос у себя на голове не подстригали, также и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили и людям своим носить не велели», но не мог отдаться убежденной борьбе за незыблемость старых обычаев, которые уходили в прошлое.

Принимая западные «новшества», русские люди переживали глубокий перелом основных бытовых понятий. Они научались строже прежнего отделять светское от духовного, мирское от церковного. Трудно было привыкнуть к мысли, что можно оставаться русским и православным, живя в обстановке «латинского» Запада и по его обычаю, но постепенно крепло сознание, что светская жизнь, быт частный и государственный—самостоятель-

ная область деятельности и творчества, не зависящая от церковной, с нею не соизмеримая и потому ей ни в чем, по существу, не противоречащая. Рост светской культуры, светского просвещения был лишь одной из сторон культурного перелома, пережитого Московской Русью в XVII в. Сложные политические задачи государства выдвигали новые воззрения на быт государственный, и то отделение «дел гражданских» от «дел церковных», какое было провозглашено на соборе 1667 г., знаменовало не только попытку отстоять независимость церкви, но и назревшую необходимость секуляризации самой идеи государства, которое имеет свои цели и задачи, не зависящие от церковного руководства религиозной и нравственной жизнью верующих. Средствами светского просвещения, заимствуемыми с иноверного Запада, вскормлено в XVII в. представление о государстве, которое возьмет на себя руководство жизнью нации в ее политическом быту, в народном хозяйстве и мирском, житейски нужном просвещении. Программа этой широкой системы государственной опеки над народной жизнью ради земных политических и культурных целей, не зависящих от церковно-религиозных воззрений, развита при царе Алексее в трудах пришлого питомца Западной Европы, Юрия Крижанича. Он мечтал приобщением к западной культуре сблизить русское общество и с католической вероисповедной основой Запада. Но осуществление этой государственной и просветительной программы Петром Великим, найдя опору в культурных силах протестантского севера, привело к торжеству светского государства и новой светской культуры над средневековыми идеалами священного царства и оцерковленного государства, дорогих его отцу и людям старого поколения. Преобразованная Никоном и царем Алексеем церковь отступила в область частной и общественно-бытовой религиозной жизни, а последователи «начальных отцов» старой веры проклинали новое государство и новую культуру, как проклинали и церковные новшества, нарушавшие цельность московской национальной традиции.

VI. Внешняя политика при царе Алексее Михайловиче

Перестройка внутренних отношений Московского государства под державой царя Алексея совершалась в свя-

зи с огромной затратой сил на борьбу с внешним врагом. Ее результаты тесно сплелись с новыми тенденциями московской жизни, так как выводили ее государственность из рамок великорусской племенной замкнутости на более широкое поприще «всероссийской» политики. Поднялась борьба за западную и южную Русь, подготовленная вековой традицией русско-литовских отношений и, в свою очередь, подготовившая основные черты всей политики XVII и XVIII вв., до ее завершения императрицей Екатериной II. В первую половину XVII столетия усилия Московского государства сосредоточены на том, чтобы укрепиться на тех позициях, какие удалось удержать за собой. Пришлось примириться на западе с потерей Финского побережья, Смоленска и Северной Украины; на юге и юго-востоке ряд обширных фортификационных работ в 30—50-х гг. XVII в. создал непрерывную линию укрепления от Ахтырки на р. Ворскле до Уфы, чем значительно облегчена была оборона этой тревожной границы. Но потери были слишком чувствительны, отняли у Москвы прямой путь на запад, отрезали ее от Поднепровья. Почти непрерывная борьба на юге против татарских набегов указывала на необходимость пробиться к Черному морю как единственной спокойной границе, способной обеспечить мир с этой стороны. Но Московское государство было еще слишком слабо для подобного предприятия, да и технические трудности похода по степи на Крым издавна останавливали воинственные планы. Для борьбы с татарами нужны были опорные пункты в нижнем Днестровье и в южных степях, куда все смелее тянулась русская колонизация. Только что собравшись с силами, Московская Русь стояла перед неизбежностью широкой активной политики, чтобы сломить условия, которые не только непрерывно грозили ее безопасности, но и слишком связывали развитие ее народного хозяйства, лишая ее свободных торговых путей для участия в международной торговле и замыкая пути колонизационного движения в маинские земледельца богатые южные области. Эти элементарные мотивы к попыткам наступательного движения углублялись и осложнялись вековой национально-религиозной традицией, призывавшей к вмешательству в судьбы русского по крови и православного по вере населения за пределами Московского государства. События, разыгравшиеся в Речи Посполитой, дали решительный толчок к выходу мос-

ковской политики из неустойчивого равновесия в тесных и искусственных границах. Восстание Богдана Хмельницкого создало положение слишком острое, чтобы его разрешение не коснулось насущнейших интересов Москвы. Казацкий вождь после неудачных попыток выгодного компромисса с польской властью искал помощи у турецкого султана, у Швеции и Москвы. Но если другие сношения были делом личной политики гетмана, то вопрос о переходе из-под польской власти под «высокую руку» московского царя ставился на очередь настроением малорусского общества и рядового его духовенства. Это настроение стало определяться со времени восстановления православной иерархии 1620 г. Ставленник иерусалимского патриарха Феофана, митрополит киевский Иов Борецкий, сделал за десять лет своего святительства весьма много не только для возрождения в населении православного рвения, но и для пропаганды симпатий к Москве и заводил даже речь на Москве через своих посланцев о том, чтобы Малоросии «быть под государевой рукой». С тех пор установилось усердное покровительство царя и патриарха южнорусской церкви, хотя малорусские иерархи со времен Петра Могилы изменили взгляд на Москву и, дорожа церковными сношениями и получаемой материальной поддержкой, устранились от каких-либо политических вопросов и смотрели скорее с прямым недоверием на суровую московскую власть. Но традиции Борецкого жили в среде монашеской и в среде приходского белого духовенства, а через них и в массе малорусского населения. Еще при самом начале восстания Хмельницкого в Москву сообщали, что простонародье толкует о переходе под ее власть, а в трудную годину 1649 г. после Зборовского договора сам гетман обратился к царю с просьбой о принятии Малороссии под свою оборону. Вопрос стал определеннее и острее после неудач, поразивших Богдана в 1650 г., и их последствия — неприемлемого для Украины Белоцерковского мира. Московское правительство не сразу ответило на призыв Хмельницкого; оно чувствовало себя связанным по «докончанию» с Польшей, выясняло шансы войны и условия соглашения с гетманом. В 1651 г. дело обсуждалось на земском соборе и были намечены предварительные шаги — попытка дипломатического вмешательства в защиту казаков и дипломатической демонстрации, чтобы создать предлог к разрыву мирного догово-

ра. Вторично, после новых заявлений Хмельницкого, малороссийское дело послужило предметом суждений собора 1653 г., на котором было объявлено решение принять Малороссию под царскую власть и начать за нее войну с королем Яном-Казимиром; 8 января 1654 г. Хмельницкий и вся старшина целовали крест на верность царю Алексею. Так совершилось присоединение Малороссии к Московскому государству. О сути этого «присоединения» историки до сих пор держатся разных мнений. Условия взаимных отношений вырабатывались после присяги, были редактированы в форме протокола переговоров, гетманских «статей» и московских ответов, и не получили строгой и ясной формулировки. За гетманом сохранено право иностранных сношений (кроме Турции и Польши), оставлено главенство во внутреннем управлении; поэтому историки права считают связь Малороссии с Москвой личной унией. Но московское правительство в тех же «статях» оставляло за собой право непосредственного управления и частью осуществляло соответственные действия; поэтому другие говорят либо об инкорпорации, либо о «довольно неопределенных отношениях», дававших Москве возможность постепенно расширять свою власть на Украине.

В 1654 г. началась первая польская война царя Алексея. Московские войска взяли Смоленск, заняли Литву. В Вильне установлено московское воеводство, царь принял титул великого князя Литовского. Но с казаками сразу же возникли недоразумения. Хмельницкий явно не поддерживал действий московских воевод, двинутых в Подолию и Галицию; при осаде Львова он через Выговского советовал осажденным не сдаваться и в то же время вел свою политику сношений с Турцией, возобновил союз с крымским ханом, с трансильванским князем и со Швецией и явно готовил разрыв с Москвой. Но еще больше, чем поведение Хмельницкого, грозили прочности московских успехов действия Швеции. Начав войну с Польшей, шведы заняли западную часть Литвы, всю Великую Польшу, взяли Варшаву и Краков. Радзивиллы подписали унию Литвы с Шведским королевством под условием войны Карла-Густава с Москвой. Курфюрст бранденбургский, Хмельницкий, Ракочи вступили со шведским королем в соглашение о разделе Речи Посполитой. Карл-Густав себе прочил Ливонию и Пруссию. Царь Алексей решил тогда заключить перемирие с ко-

ролем Яном-Казимиром, а вслед за тем образовался против шведов союз Дании, Австрии и Польши, к которым примкнул и Бранденбург. Смерть избавила Хмельницкого от полного крушения его планов, а царь Алексей Михайлович, вернув Польше Литву, удержал Ливонию и начал войну со шведами. Обострение шведской опасности выдвинуло в сознании московского правительства на первый план балтийский вопрос, который нашел себе убежденного энтузиаста в лице А. Л. Ордина-Нащокина. Для этого выдающегося государственного деятеля очередной и самой важной задачей московской политики было именно приобретение Ливонии и морского побережья на западе. Для этой цели, ради широкой перспективы развития русской торговли через Балтийское море, он готов был отступить и от западнорусских завоеваний, от которых «прибыли нет никакой, а убытки большие», и от Малороссии. Но быстрый ход событий на юге и личное настроение царя Алексея убили его мечты. Царь Алексей Михайлович мысль Нащокина о возможности отступить от «черкассского дела», ради прочного союза с Польшей против шведов, признавал «непристойной», подобной тому, как «отдать святой хлеб собаке». И «черкассское дело» заняло первое место в его политике. По смерти Хмельницкого началась в Украине «великая шатость». Малороссы выбились из-под польской государственной власти, смели «панский» строй общественных отношений, но не успели выработать сколько-нибудь прочной социально-политической организации. Во главе управления стоял гетман с диктаторской властью, вокруг него старшина, по теории избираемая, как и гетман, свободным выбором казацкого войскового круга, на деле же сложившаяся в богатую и влиятельную аристократию, которая свела всякие выборы к простой формальности. Казацкая масса, вольнолюбивая и буйная, плохо сносила старшинское ярмо, чувствуя себя носительницей украинского народовластия, к которому тянулась и крестьянская масса, только что сбросившая панское иго. В этой пестрой среде Хмельницкий занял позицию представителя верховной власти над всем малорусским народом, но московское правительство, как прежде власть польская, желало признавать в гетмане не администратора Украины, а только главу казацкого войскового самоуправления и взять управление страной в свои руки. Глубокий разлад между казацкой и народной демократией, с одной

стороны, и олигархией старшины — с другой, давал опору в борьбе против стремления малорусских вождей к политической независимости Украины. Сам Хмельницкий в переговорах отделял казаков от крестьянства, предлагая такую статью: «Кто казак — будет вольность казацкую иметь, а кто пашенный крестьянин — тот будет должность обyklую царскому величеству отдавать», а старшины выпрашивали уже в его время у царского правительства грамоты на земли с признанием их господской власти над крестьянским населением этих земель. С другой стороны, крестьянство, плохо знавшее московские порядки, видело в попытках старшин восстановить «панщину» черту польского шляхетского быта, которая окрепнет, как только произойдет воссоединение Украины с Речью Посполитой, и тянуло к Москве, увлекая на свою сторону и рядовое казачество, раздраженное старшинским самовластием. Старшинская среда была посетельницей стремления к образованию самостоятельного малорусского государства, готовая, по нужде, идти на унию и под протекторат либо с Москвой, либо с Польшей; казацкой и народной массе эта идея была малопонятна и чужда, тем более что и у Хмельницкого она определилась сколько-нибудь отчетливо разве под самый конец его деятельности и поставлена в «статьях» 1654 г. Гетманом после смерти Богдана Хмельницкого старшина выбрала Ивана Выговского, хотя войсковой круг стоял за малолетнего Юрия Хмельницкого; казацкие полки, связанные с Запорожьем, противопоставили ему Мартына Пушкаря, который обратился в Москву с извещениями на Выговского. Москва признала Выговского, но, пользуясь разладом, пыталась дальше вести присоединение Малороссии: передать управление и сбор налогов своим воеводам, подчинить киевскую митрополию своему патриарху, сводя полномочия гетмана и его рады к кругу чисто казацких дел. Выговский решил сломить внутренних врагов, с татарской помощью разбил Пушкаря и в 1658 г. заключил в Гадяче договор с Польшей об образовании из Украины великого княжества Русского, которое на началах внутренней автономии войдет в состав Речи Посполитой рядом с королевством Польским и Великим княжеством Литовским. Внутренняя усобица сгубила Выговского, гетманом стал Юрий Хмельницкий. В переговорах с Москвой старшинская рада Юрия пыталась определить отношения в духе гарантий своей автономии,

но кн. Трубецкой принудил ее на войсковой раде 1659 г. принять «статьи», которые ограничивали власть гетмана и отдавали в руки московских воевод, сверх Киева, еще пять городов; отрезать Северщину на московскую сторону Трубецкому не удалось. Отношения оставались крайне сложными, а вести их приходилось с большой осторожностью: с 1657 г. возобновилась польская война и шла далеко не так успешно, как первая. На севере русские терпели неудачи, потеряли Литву и Белоруссию. На юге Хмельницкий вынужден был перекинуться на польскую сторону, боярин Шереметев капитулировал под Чудновом. Борьба затягивалась и вела к сознанию, что всей Украины не удержать. Московская политика наметила, по выражению царя Алексея, «средний путь» — раздел Малороссии по Днепру с тем, однако, чтобы удержать за собой и Киев. К этой цели как возможному минимуму направлены дальнейшие усилия Москвы. Раздел подсказывался внутренними отношениями Малороссии, где в Левобережной Украине утвердился гетманом Брюховецкий, а в Правобережной — Дорошенко. Брюховецкий, выдвинутый демократической массой казачества, искал опоры в Москве, согласился сам просить о введении в Малороссии московского управления и податного оклада, поддерживал проект подчинения малорусской церкви московскому патриарху, заслужил чин боярина и женился на боярышне кн. Долгорукой.

Поставив малороссийский вопрос на вполне реальную почву, правительство царя Алексея не колебалось уже между этой задачей и стремлением к Балтийскому морю. В 1658 г. заключено было перемирие со шведами, по которому пришлось согласиться на отказ от морского берега, но изменение всей политической конъюнктуры, когда Карлу XI, преемнику Карла-Густава, удалось заключить Оливский мир (1660) с Польшей, Бранденбургом и Австрией, а затем помириться и с Данией, заставило отступить и от Ливонии. Кардисский мир 1661 г. разрушил все планы Ордина-Нащокина: Москва осталась при старой границе со Швецией. Теперь царь призвал Нащокина, который тщетно отстаивал свою западную программу и примирение с Польшей, к осуществлению своего «царского пути» в черкасском деле: это был доверенный дипломат царя, который не мог по обычаю поставить его во главе посольства, но переписывался с ним через Тайный приказ, помимо начальных бояр-

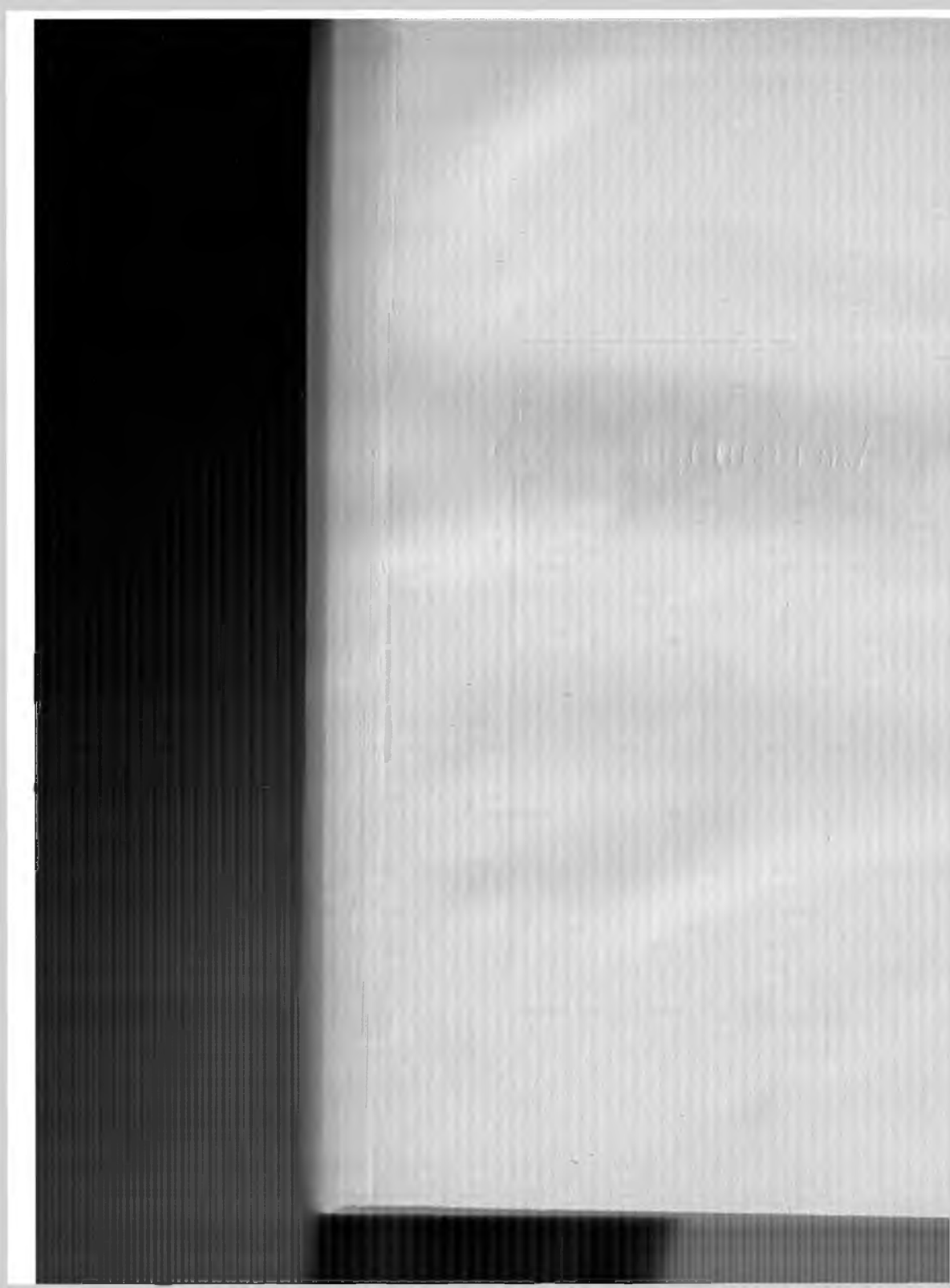
послов. Переговоры с Польшей о разделе Малороссии затянулись из-за новых военных неудач и споров о Киеве. Только 3 января 1667 г. удалось Нащокину заключить Андрусовское перемирие на 13½ лет, по которому Москва сохраняла восточную Украину, а Киев на два года. Это перемирие предрешило исход малороссийского вопроса в XVII в., так как на его основе состоялся и Вечный мир 1686 г. По возвращении Нащокина с посольского съезда ему сказано боярство и пожаловано звание «царственных бо́льших печати и государственных великих посольских дел обергегателя», звание, которое можно приравнивать к званию канцлера, с поручением вести Посольский приказ вместе с приказом Малороссийским. Важнейшею из возложенных на него задач сам царь считал «одержание Киева». Тот же вопрос сильно волновал малороссов, опасавшихся возврата Киева полякам, ввиду известных мнений Нащокина о «ненадобности» черкасских городов; московский канцлер направил усилия на то, чтобы сделать принятие Киева, по истечении условленного срока, невозможным для самих поляков и закрепить его связь с Москвой сосредоточением в ней церковного управления. Нащокин искал в смуте на правом берегу Днепра средства парализовать польские притязания на Киев и стал склонять Дорошенка к отделению от Польши, обещая московское покровительство. Это запутало Нащокина в интриги правобережного гетмана Дорошенка и довело его до потери влияния. Дорошенко мечтал о другом воссоединении Украины и только использовал шаги Нащокина, чтобы напугать Брюховецкого, поднять московскую половину Украины и, погубив соперника, стать во главе всей Малороссии против Москвы и Польши под покровительством турецкого султана. Движение быстро оборвалось, и левый берег Днепра смирился пред Москвой, но теперь царь Алексей, под влиянием А. С. Матвеева, склонялся к более энергичной политике; подтверждение Андрусовского перемирия с сохранением за Москвой Киева на неопределенное время уже не удовлетворяло, в Москве мечтали о подчинении через Дорошенка и Правобережной Украины, поверив его переговорам о московском протекторате. Ордин-Нащокин должен был уступить Матвееву управление Малороссийским приказом, а затем и свое канцлерство. Началась борьба за западную Малороссию, приведшая к первой русско-турецкой войне, так как султан

прислал свои войска по призыву Дорошенка. Эта война не была закончена при жизни царя Алексея, а после него оставила след лишь в больших потерях, кровавой «руине» Правобережной Украины и усиленном бегстве ее населения в пределы Московского государства. Малороссийский вопрос надолго остался в том положении, какое создано Андрусовским перемирием и его подтверждением в 1669 г.

Задача объединения под царской властью всего русского и православного населения Восточно-Европейской равнины далеко не была разрешена при царе Алексее. Но политическая и культурная жизнь русская развернулась много шире, чем во времена великорусского государства Даниловичей. Малорусские силы потянули к Москве, которая овладела — хотя и с большим трудом — и их киевским центром. Это было крупным шагом в политике, подготавливавшей перерождение Московского царства в монархию всероссийскую. Все основные черты такой политики отчетливо поставлены в царствование царя Алексея: борьба за Балтийское море и за подчинение русской государственной власти всего русского населения Речи Посполитой, расширение южной границы все дальше к Черному морю, пока русская государственность не станет твердо на его берегах, избавившись от вековой крымской тревоги. Широко раскидывается в это время русская колонизация на восток, где поиски новых земель привели к занятию Анадырского края, Забайкалья и к первым попыткам утвердиться на Амуре. Всем этим очерчен круг задач и отношений, которые наполнят собой внешнюю работу государства на весь XVIII в. В то же время Московское государство значительно углубило свои связи с Западной Европой. Ордин-Нащокин, заново регулируя внешнюю торговлю в «Новоторговом уставе», деятельно заботится об укреплении торговых сношений с Англией и Голландией, ищет новых путей для русской торговли, завязывает переговоры с Францией, Испанией, Венецией, заключает торговые договоры с Пруссией и Швецией. Московское государство при царе Алексее сознательно готовилось вступить в «ранг первоклассной европейской державы», в который и было возведено его великим сыном.



Александр I



Александр I

Первая четверть XIX в. — наиболее сложный, насыщенный противоречиями и своеобразным драматизмом период в истории императорской России. Общую характеристику этого периода можно бы озаглавить: «Россия на распутье» — между самодержавно-крепостническим строем русской государственности и русских общественных отношений и поисками новых форм социально-политической организации страны, соответственно назревшим и остроощутимым потребностям развития ее материальных и культурных сил. В центре интереса к этой эпохе стоит у историков личность императора Александра I, независимо от того, преувеличивают ли они роль личности властителя в судьбах страны или ставят ее в надлежащие рамки как создание условий данного времени, как индивидуальную призму, сквозь которую можно рассмотреть скрещение, в определенном, конечно, преломлении, тех или иных основных жизненных тенденций данной эпохи. Личная психология Александра, которой больше всего занималась наша историография, представляется обычно крайне неустойчивой, путаной и противоречивой; такой казалась она и его современникам, даже близко его знавшим, хотя не всем и не всегда. Прозвали его «северным сфинксом», точно отказываясь разгадать его загадку. Эти отзывы любопытны и ценны, при всей своей неопределенности и своих противоречиях, как отражение того бытового впечатления, какое производил Александр на всех, имевших с ним дело, на каждого по-своему. Это-то впечатление и стараются уловить его биографы, на нем пытаются построить характеристику своего героя, а вернее сказать, свое личное суждение о нем и впечатление от него, всматриваясь в его слова и действия, вчитываясь в его письма и в рассказы мемуаристов или авторов различных «донесений» за границу о его беседах и настроениях.

А между тем Александр I — подлинно историческая личность, т. е. типичная для своего времени, чутко и нервно отразившая в себе и силу сложившихся традиций, и нараставшую борьбу с ними, борьбу разнородных тенденций и интересов, общий эмоциональный тон эпохи и ее идеологические течения. Отразила их, как всякая личность, по-своему, субъективно, и притом в сложнейших условиях деятельности носителя верховной власти в эпоху напряженнейшей внешней и внутренней борьбы такого типичного «переходного времени» от расшатанного в основах, но еще очень крепкого старого, веками сложившегося уклада всей общественной и государственной жизни к назревавшему, еще слабому, но настойчиво-требовательному новому строю всех отношений, как первая четверть XIX в. Александр I — «прирожденный государь» своей страны, говоря по-старинному, воспитанный для власти и политической деятельности, поглощенный мыслью о ней с детских лет, а в то же время — питомец XVIII в., его идеологического и эмоционального наследия, и вырос и вступил в жизнь для трудной, ответственной и напряженной роли правителя в бурный и сложный момент раскрытия перед сознанием правящей среды глубоких и тягостных противоречий русской действительности. Драма русской исторической жизни, как и его личная, разыгрывалась в тесной связи и на общем фоне огромного европейского кризиса наполеоновской эпохи. Его «противоречия» и «колебания» были живым отражением колебаний и противоречий в борьбе основных течений его времени. Более восприимчивый, чем творческий, темперамент сделал его особенно человеком своего времени. Только на фоне исторической эпохи становится сколько-нибудь понятной индивидуальная психология таких натур.

1. Российская империя в Александровскую эпоху

К исходу XVIII в. только сложилась Европейская Россия в своих «естественных» границах от моря и до моря. Закончена вековая борьба за господство на восточном побережье Балтийского моря (присоединение его северного, финляндского края, выполненное Александром I, имело лишь второстепенное значение упрочения и обороны этого господства); закончена была борьба и за

Черноморье, оставив в наследие преемникам Екатерины II «вопрос о проливах»; разделы Польши закончили вековую борьбу за Поднепровье, географическую базу всего господства над Восточно-Европейской равниной, хотя и с отступлением от петровского завета русскому императору — сохранить всю Польшу опорой общеевропейского влияния России. Основные вопросы русской внешней политики были исчерпаны в их вековой, традиционной постановке, связанной со стихийным, географически обусловленным стремлением русского племени и русской государственности заполнить своим господством великую Восточно-Европейскую равнину, овладеть ее колонизационными и торговыми путями для прочного положения в системе международных, мировых отношений Запада и Востока.

Территория Европейской России стала государственной территорией Российской империи. Обширность пространства, значительное разнообразие областных условий, экономического быта и расселения, племенных типов и культурных уровней — сильно усложняли задачу организации управления. Захват территории был только первым шагом к утверждению на ней устойчивой и организованной народнохозяйственной и гражданской жизни. Само распределение по ней населения было еще в полном ходу. Переселенческое движение — столь характерное явление в быту русских народных масс — развертывалось не только в первой четверти, но и в течение большей части XIX в. преимущественно в пределах Европейской России. На юг, в Новороссию, на юго-восток, к Прикавказью и Нижнему Поволжью, отливают с севера и запада все новые элементы. «Новопоселенные» в этих областях «сходцы» и «выходцы» составляют значительный, даже преобладающий процент местного населения. И на новых местах они оседают не сразу, а ищут, в ряде повторных переходов, лучших условий хозяйственного обеспечения и бытового положения. Эта неизбежная подвижность населения стоит в резком противоречии со стремлением центральной власти к установлению повсеместно порядков «регулярного государства» на основе закрепощения трудовой массы и стройно организованных губернских учреждений. Русское государство все еще в строительном периоде. Оно строится в новых, расширенных пределах приемами, окрепшими и созревшими в Великороссии, — на основе государственного

«крепостного устава»¹. Процесс закрепощения, завершённый для центральных областей первыми двумя ревизиями XVIII в., систематически проводится в малороссийских и белорусских губерниях на основе 4-й и, особенно, 5-й ревизии рядом правительственных указов в развитие и дополнение основного акта — указа 1783 г. о прекращении «своевольных переходов», которыми — по мнению верховной власти — нарушалось «водворяемое ею повсюду благоустройство». Эта борьба государственной власти со всеми более или менее уцелевшими элементами «вольности» в составе населения постоянной империи — в Малороссии, потерявшей характер автономной провинции, в Новороссии и Белоруссии; завершалась топорливо, с назначением краткого — годичного — срока на подачу исков для «отыскания свободы от подданства помещикам», по истечении которого все сельское население закрепощалось по записям в пятой ревизии.

Массовое закрепощение «вольного» люда рассматривалось как водворение «благоустройства», как основа государственного строительства. Объединение обширной территории укреплялось повсеместным насаждением губернской власти, обычной для 36 центральных губерний, усиленной в форме генерал-губернаторов и военных губернаторств для остальных областей². Углублялась эта административная спайка всех частей имперской территории традиционными для центра социально-экономическими связями помещичьего землевладения и крепостной организации сельского хозяйства. По областям-окраинам растёт и крепнет не только местное помещичье землевладение; сильное развитие получает крупное землевладение дворянства вельможного, столичного — по связям его с властным правительственным центром — и в Малороссии и особенно в областях, захваченных в эпоху польских разделов из состава бывшей Речи Посполитой. Раздача крупных населённых имений связывает материальные фамильные интересы правящего общественного слоя с завоевательной политикой центральной власти, развивает и питает в его среде воинственный, наступательный патриотизм, а затем тенденцию к безусловному подчи-

¹ Ср. мою статью: *Закрепощение в императорской России* // Архив истории труда. Пг., 1922. Кн. 4. С. 14—21.

² С 1815 г. в России было 12 генерал-губернаторств и военных губернаторств, не считая особого управления столиц, а также военных управлений земли Войска Донского и Кавказа.

нению присоединенных областей, с устранением их местных «привилегий», общему для всего государства шаблону не только управления, но и землевладельческих, социально-экономических отношений.

Российскую империю строила дворянская, крепостническая Россия. Но развитие внутренних сил страны требовало уже иных, более сложных приемов, не укладывавшихся в тяжкие традиционные рамки крепостного хозяйства и «крепостного устава». Закрепление за империей черноморского юга принесло решительное углубление и усиление тяги России к торговым связям с общеевропейским, мировым рынком. Конечно, подавляющее значение Балтийского моря в русской внешней торговле остается в силе в течение всей первой половины XIX в. Но русская экономическая политика прибегает со времен Екатерины II, с первых моментов утверждения России в Черноморье, к ряду мер покровительства для развития южного, черноморского торгова. Сама колонизация края и систематическое его огосударствование, уничтожение Запорожской Сечи, подчинение донского казачества военной администрации как иррегулярной боевой силы, упразднение всяческой «вольности» на южных пространствах империи — связаны не только с организацией разработки местных почвенных богатств в привычных формах крепостного хозяйства, но не менее — с насаждением в новоустроаемом крае гражданского порядка и казенного благоустройства как основы для южных торговых путей и черноморской заграничной торговли. Императорская Россия, еще Петром возведенная в ранг первоклассной европейской державы, усиленно стремится сохранить, утвердить и развернуть это свое международное значение, закрепляя его политические формы своей внешней политикой и расширяя его хозяйственную базу своей политикой экономической. Внутреннее развитие страны тесно связано с этими ее внешними отношениями. Возможно большее их расширение и углубление — неизбежный путь к росту ее производительных сил, ее материальной и духовной культуры, в частности — расширение торгового обмена. «Отпуск собственных произведений, — говорил первый министр вновь учрежденного в 1802 г. министерства коммерции граф Н. П. Румянцев, — оживотворяет труд народный и умножает государственные силы». Открыть возможно шире для внешней торговли Южный морской путь представлялось де-

лом крайне заманчивым, особенно при тягостном для нее испытании в континентальной блокаде (1807—1811), когда и фактически несколько оживилось движение товаров через южные порты, и сложились планы о порто-франко для Одессы, Феодосии, Таганрога. С мыслью об этих южных портах связывались планы об усилении хлебного экспорта, который занимал весьма незначительное место в тогдашней русской торговле, и даже об активной роли России в торговом обмене между Европой и азиатским Востоком. Весьма было министерство торговли озабочено также усилением торга по сибирским путям с Китаем, созданием транзитной торговли со Средней Азией и далее через нее с далекой Индией.

Невелики были результаты всех этих опытов, порывов и проектов, по крайней мере, для относительноного веса России в мировом обороте; 3,7 процента — в начале XIX в., 3,6 — в его середине: таковы цифры русской доли в этом обороте, по известным исчислениям Гулишамбаров¹. Сравнительно незначительным был и рост русского вывоза за 25 лет александровского царствования². Русский торговый капитал и русская предпринимчивость, им обусловленная, были слишком слабосильны для такого размаха. Внешняя торговля остается преимущественно пассивной. Не имея своего торгового флота, сколько-нибудь стоящего такого названия, Россия не только на Балтийском море была по части транспорта в руках иностранцев, преимущественно англичан, но и на Черном обходилась греческими и турецкими судами, хотя бы часть их плавала под русским флагом. Ведь даже в Азии русская торговля была почти целиком в руках армянских, бухарских, персидских купцов.

Конечно, сугубо отражалось на русской торговле почти монопольное вообще господство Англии в мировом обороте. Единственная — в первой четверти XIX в. — страна крупного машинного производства, Англия снабжала все страны своими изделиями. Для этой промышленности ей нужен был обширный ввоз различного сырья. А сырьем ее снабжала в значительных размерах, наравне с британскими колониями, Россия. Она же, также на-

¹ Как и для конца XIX в., всего 3,4 %. См. статью: *Внешняя торговля* // Энцикл. словарь/Брокгауз — Ефрон. Спб., 1899. Т. 54. (Раздел «Россия»).

² С 75 на 85 млн руб. золотом примерно. Цифры в ассигнациях — с 63 на 207 млн, приводимые Н. Н. Фирсовым в его очерке «*Зарождение капитализма в первый приступ к революции в России в первой четверти XIX в.*», — зависят от падения курса и потому непоказательны.

равне с колониями, являлась значительным рынком сбыта произведений английской промышленности. В таком обмене Англия даже не теряла, если торговый баланс оказывался в пользу России: этим только увеличивалась покупательная сила контрагента. По всему складу русского социально-экономического быта этим контрагентом Англии было, преимущественно, русское крупное землевладение. Дворяне-помещики сбывали за границу продукты своего хозяйства, а из Англии получали сукно и тонкое полотно, мебель и посуду, украшения быта и писчебумажные принадлежности, всю обстановку барской жизни. Зарождавшаяся русская фабрично-заводская промышленность работала английскими машинами, а свои полуфабрикаты сбывали опять-таки в Англию, вывозившую, например, много русского железа, чтобы сбывать на русском же рынке свои законченные изделия. Англomanия, широко распространенная в высших слоях русского общества начала XIX в., имела значительную материальную основу — экономическую и бытовую — в интересах, вкусах и привычках русского дворянства. Подобно тому как в начале XVIII в. Голландия служила образцом — почти воплощенным идеалом — страны с высоким уровнем народного богатства, техники и экономики, общественной и духовной культуры, так, и в еще большей мере, Англия стала, к исходу XVIII в., обетованным краем высокой культуры и политического благоустройства для наиболее влиятельных, крупноземлевладельческих групп русского дворянства. В той же среде весьма были популярны политические идеи Монтескье, сквозь призму которых наши англomаны обычно смотрели и на английские учреждения. В применении новых политических представлений к русской деятельности большую роль играло различие, согласно Монтескье, между деспотизмом и монархией: задачей желаемого преобразования русского государственного порядка ставилось устранение «самовласти» и утверждение начал «истинной монархии», что означало, в их понимании, устранение личного произвола с подчинением действий верховной власти основным действующим законам империи (в том числе жалованной грамоте дворянству 1785 г., которой его привилегии были утверждены «на вечные времена и непоколебимо») под активным контролем Правительствующего Сената, полномочия которого должны были также оформлены «основным» законом, а полити-

ческое влияние усилено не только несменяемостью сенаторов, но и их избранием из состава «знатного сословия», не столько вообще дворянства, сколько его вельможных слоев — правящих групп высшей дворянской бюрократии. Этот своеобразный, весьма умеренный конституционализм российских ториев был по заданиям своим глубоко консервативен, имел целью закрепить в формах политической организации и «основного» законодательства достигнутое в XVIII в. преобладание дворянства над государственной властью и вводил в свою идеологию элемент некоторого формального ограничения самодержавной власти, отнюдь не пытаясь ослабить по существу эту свою опору, пока она послушно обслуживает данные классовые интересы; он был европеизированным на английский манер и с помощью французской теории о дворянстве как основе «истинной монархии», о парламентах как контрольном аппарате закономерности в деле государственного управления (тут их роль переносилась на Сенат), плодом традиций XVIII в., подобно тому, как в начале века те же притязания искали опоры в усвоении форм шведской аристократической конституции.

Однако, нарастающее усложнение жизни обширной страны повело значительно дальше брожение новых политических идей в русской правящей среде. Чем напряженнее работала правительственная машина страны, вовлеченной в расширенный экономический и политический оборот Европы, чем сложнее становились задачи управления, государственного хозяйства и экономически разросшейся империи, тем ошутительнее становились коренные противоречия между все нараставшими потребностями обширного государства и созревающим в его недрах вековым строем самодержавной власти и крепостного хозяйства. Несоответствие этим потребностям уровня материальных и культурных средств — эта неизбывная, поистине трагическая черта всей русской исторической жизни — рано выдвинула тройственный лозунг новой политики, новых исканий: торговлю, промышленность, просвещение. Бесплодные, по существу, попытки Петра I и Екатерины II «создать» на Руси сильную и активную городскую буржуазию, организовать из русских посадских настоящий класс «третьего чину людей» беспощадно разбивались о крепостной уклад русского народного хозяйства; медленно нарастал сколько-нибудь значительный торговый капитал на основе помещичьей

и крестьянской торговли; более крупные коммерческие предприятия, ориентированные на заграничный сбыт, искали опоры в крупных землевладельцах, если не были прямо ими организованы, требовали казенной поддержки в виде монополий и разных привилегий и попадали в зависимость от иностранного купечества. «Оживотворение труда народного» внешней торговлей, о котором толковал министр коммерции, сказывалось постепенным перерождением крепостного хозяйства в предприятие, работающее на рынок, деятельным участием помещиков и их оброчных крестьян («крестьян-капиталистов», как означали их в некоторых барских конторах) в развитии торговли и промышленности. Внешняя торговля ставила русской промышленности ее наиболее устойчивые задачи, ограничивая ее рост непосильностью конкуренции с иностранным ввозом, несмотря на покровительственную политику правительства. Русская промышленность росла и крепла, с трудом пуская корни в крепостнической народнохозяйственной почве, сохраняя зависимость от государственного и помещичьего хозяйств, которые и поддерживали и тормозили ее самостоятельное развитие. В такой социально-экономической обстановке туго приходилось и государственным финансам; общая доходность народного хозяйства непрерывно отставала от роста их запросов; фискальный мотив определял в первую очередь экономическую политику власти, искавшую расширенной и более выносливой базы для государственного хозяйства, чем крепостническая сельскохозяйственная экономика страны. Подъем материальных и культурных ее средств до уровня западноевропейских стран стал заветной руководящей мыслью правительственной власти, проникшейся идеалом «просвещенного абсолютизма» и сознававшей себя передовой, творческой силой в отсталой и косной общественной среде. Преобразовать эту среду в «новую породу людей», пробудить ее силы разумным просвещением — казалось делом возможным и насущным; но и в этой сфере проектов и опытов создания системы всенародного образования «от азбуки до университета включительно», как писала имп. Екатерина одному из своих заграничных корреспондентов, на первых же шагах пробуждалось сознание, что подобные затеи утопичны без коренной перестройки всего социального фундамента империи.

Богатые возможности роста производительных сил,

разработка природных богатств страны, лежащих втуне, развитие трудовой и творческой энергии населения, подавленной порабощенностью масс и косной распущенностью господствующего класса, представлялись благодарной задачей «просвещенного» правительства, вооруженного неограниченной властью для реорганизации сил и средств страны на новых, более рациональных основаниях. Но русские деятели, мечтавшие о такой широкой творческой деятельности правительственной власти, скоро излечились — на примере Екатерины Великой — от наивной веры в «просвещенного» государя-философа, благодетеля человечеству. Мысль таких людей, передовых в правящей среде, пошла по пути конституционных размышлений, близких к идеологии консерваторов-англоманов, но с иным, отчасти, уклоном в понимании реальных задач преобразования. Это — люди более молодого поколения, сверстники Александра, из среды которых составилась и первый кружок его советников — знаменитый «негласный комитет» первых лет его правления.

«Класс, который в России должен всего более привлечь внимание, — пишет П. А. Строгонов по поводу обсуждаемых в этом комитете преобразований, — крестьяне; этот многочисленный класс состоит из людей, которые в большей части одарены значительным разумом и предприимчивым духом, но, связанные лишением прав свободы и собственности, осуждены на прозябание и не дают на пользу общества того вклада их труда, на какой каждый из них был бы способен; они лишены прочного положения, лишены собственности». Так преобразовательная мысль, в поисках выхода из тягостного бессилия русских противоречий, неизбежно наталкивалась на отрицание основ данного социального строя, на требование свободы труда и собственности — перехода к буржуазному порядку, торжествовавшему свои победы в Западной Европе. Столь же неизбежно наталкивалась она и на отрицание самодержавия, на требование перехода к конституционному строю. Тот же Строгонов в той же записке так рассуждает о конституции: «Конституция определяет признание законом прав нации и формы, в которых она их осуществляет; чтобы, далее, обеспечить прочность этих прав, должна существовать гарантия, что сторонняя власть не сможет воспрепятствовать действию этих прав; если такой гарантии не существует, утрачена будет цель этих прав, которая в том, чтобы препят-

ствовать принятию какой-либо правительственной меры в противность подлинному народному интересу». Старшему поколению так называемые «молодые друзья» Александра казались слишком смелыми, так как шли, по-видимому, дальше их в вопросах социальной реформы и ограничения самодержавия. Но только — по-видимому. И Строгонов основой русской «конституции» признает установление сословных прав в 2 хартиях — жалованных грамотах дворянству и городам, а сводит конституцию к охране приобретенных сословных прав установлением определенного и неизменного порядка издания законов, который устранил бы всякую возможность произвола. Конечно, его мысль шире и идет дальше — к определению и установлению сословных прав крестьянства, на помянутых началах свободы и собственности, однако, с безнадежной осторожностью, так как задача состоит, по его мнению, в том, чтобы достигнуть этой цели «без потрясения, а без этого условия лучше ничего не делать»; и поясняет: «Необходимо щадить владельцев, довести их до цели рядом распоряжений, которые, не раздражая их, произвели бы улучшение в положении крестьянства и довели бы его с незаметной постепенностью до намеченного результата». Такая безнадежная связанность правящей среды с интересами господствующего сословия делала ее беспомощной перед задачей сколько-нибудь широких преобразований. Интересы, с возможно широким удовлетворением которых были по существу связаны весьма реальные потребности государственной жизни, — интересы торговли, промышленности и просвещения, — имели лишь весьма ограниченную и притом искаженную в условиях крепостного строя общественную опору. Получался неисходный «ложный круг»; задачи, представлявшиеся очередными и насущными, требовали перестройки социальной основы всего государственного здания, а разрешимы были только на обновленной, переродившейся в существенных интересах своих общественной почве. Обычный парадокс критических периодов исторической жизни.

В такие моменты особым кредитом пользуется иллюзия всемогущества государственной власти. Недаром Карамзин писал имп. Александру в известной своей анонимной записке: «Народы всегда будут то, чем угодно правительству, чтоб они были»; топорно и упрощенно он выразил мысль XVIII в. — идею «просвещенного» абсо-

лютизма. Век «великих преобразователей», активной экономической и просветительной политики, обслуживавшей подъем буржуазных сил и буржуазных форм общественных отношений, повсюду ставил монархическую власть в противоречие с традициями безусловного классового господства дворянства, но нигде не довел этих противоречий до полного разрыва с прошлым, до полного преобразования всего строя без революционной встряски. Покровительством развитию торговли и промышленности правительственная власть вскармливала в недрах старого режима новые общественные силы, вводила в круг своих мероприятий элементы крестьянской реформы, содействуя процессу приспособления помещичьего землевладения к новым условиям торгового обмена и производства, ускоряя этот процесс под давлением государственных интересов, требовавших новой социально-экономической базы для своего обеспечения. В России эти внутренние противоречия старого режима были вскрыты для правящей среды в Екатерининскую эпоху. Сознательная продолжательница дел Петра Великого, Екатерина капитулировала в своей политике перед дворянским засильем. Сын ее не хотел быть «дворянским царем». Неумело и суетливо пытался он, в порывах нервного личного деспотизма, пробить брешь в крепости дворянских привилегий, свод которых дворяне зачисляли в состав «основных» законов империи, пробовал властно вмешаться в отношения помещиков к крестьянам, всех сравнять в одинаковой бесправии перед своей самодержавной властью, по формуле: «У меня велик только тот, с кем я говорю и пока с ним говорю». Этот «принцип» (а это был принцип) нашел яркое выражение в уродливых и жестоких формах гатчинской воинской дисциплины, которую Павел пытался распространить и на двор свой, и на весь быт Петербурга, и, по возможности, на всю свою империю. Его планы государственного преобразования проникнуты крайней напряженностью державного своевластия, не связанного обязательными формальностями и действующего через рабски послушных доверенных лиц, по своей царской милости и царской справедливости, по личному усмотрению венценосца. От подчиненных властей Павел требует строгого исполнения законов, но сведенных к «высочайшим повелениям» и зависимым от перебоев личного настроения властителя. Милитаризируя и придворный быт,

и все управление, Павел в новой форме воскрешал стародавнее, средневековое, личное, вотчинное властвование; оно лишь обострено слиянием с военным командованием по прусскому образцу. Недаром Павел в конце концов увлекся Наполеоном, с которым готов был разделить власть над Европой: ему Наполеон был понятен, как правитель, утверждавший, что «править надо в ботфортах». Многие в личности и действиях Павла может быть предметом индивидуальной патологии. Но общее содержание его правительственной деятельности ярко отразило парадоксальность положения русской императорской власти к исходу XVIII в. Попытка выйти из положения, при котором «дворянство через правительство управляло страной», расшатывала социальные корни самодержавия, не давая ему другой общественной опоры. Увлечение его своим самодовлеющим значением обострено и омрачено свежей памятью о ряде дворцовых переворотов, когда престол стал игрушкой гвардейских сил дворянства. Для Павла «основные» законы империи сводились к закону о престолонаследии и положению об императорской фамилии. Самодержавие выступило при нем в полном обнажении своей сущности, несовместимой ни принципиально, ни практически с утопией «истинной монархии», примиряющей монархический абсолютизм с кое-какими конституционными гарантиями правового государства.

Дворянский конституционализм на рубеже XVIII—XIX вв. не шел дальше осторожного упорядочения деятельности верховной власти установлением некоторых гарантий законности ее действий. Его предпосылкой было сохранение всей полноты государственного абсолютизма в руках монарха и высших правительственных учреждений, сопричастных делу законодательства и верховного управления. Сперанский метко вскрыл коренное противоречие этой мысли в проекте 1803 г., определив задачу преобразования как сохранение самодержавия, только прикрытого формами, относящимися к иному, т. е. конституционному, порядку. Мотивы, которые вели политическую мысль этих поколений, заработавшую по-новому под влиянием знакомства с западными теориями и западной практикой, к такому уклончивому результату, были различны у разных групп. Острая память о недавно пережитой пугачевщине побуждала к усилению центральной власти и ее полицейско-административных

сил как опоры помещичьего господства и того процесса закрепощения масс по окраинным областям, который был реальной основой всего государственного строительства империи. С другой стороны, брожение преобразовательных идей в правящей среде вызывало в одних группах стремление связать верховную власть «основными» законами дворянского господства, а в других — организовать ее работу, не оставляя ее самостоятельности в деле необходимых преобразований, вне тормозов дворянского консерватизма, но в то же время с гарантией умеренности и постепенности реформ, чтобы избежать «потрясения» и охранить интересы землевладельческого класса. Дальше этих оттенков не шли разногласия в среде влиятельных групп начала XIX в., нашедшие наиболее яркое выражение в борьбе между старшим поколением вельможных сенаторов и «негласным комитетом» молодых друзей — советников Александра I за первые годы его правления. В лице имп. Павла державная власть резко противопоставила всем подобным тенденциям утверждение своей «абсолютности» и ищет опоры в безусловной покорности бюрократических органов управления и безгласной, дисциплинированной в суровой муштровке воинской силе.

Павел погиб 11 марта 1801 г. под ударами придворной и гвардейской среды, раздраженной не только его личным самодурством, но и порывистыми проявлениями его власти в делах внутренней и внешней политики, которые грозили серьезной опасностью существенным интересам господствующего класса. На престол вступил молодой император, воспитанный в самой гуще накопившихся противоречий, под перекрестным действием разнородных течений и влияний. Он получил весьма сложное наследство как во внутренних отношениях правящей среды, так и в общем состоянии государственных дел и в международном положении России.

2. Между Петербургом и Гатчиной

П. А. Строгонов набрасывал в дни своего близкого сотрудничества с Александром заметки о нем и о том, как надо с ним обращаться. «Император, — писал он, — вззошел на престол с наилучшими намерениями — «утвердить порядок на возможно наилучших основаниях»; но

его связывают личная неопытность и вялая, ленивая натура. Казалось, что им легко будет управлять. У него большое недоверие к самому себе; надо его подкрепить, подсказывая ему, с чего следует начать, и, помогая ему, сразу обнять мыслью целое содержание каждого вопроса. Он особенно дорожит теми, кто умсет уловить, чего ищет его мысль, и найти ей подходящее изложение и воплощение, избавляя его от труда самому ее разрабатывать. Надо только при этом с тем считаться, что он весьма дорожит «чистотою принципов»; поэтому надо все сводить к таким «принципам», в правильности которых он не мог бы сомневаться».

Некоторые черты Александра метко схвачены в заметках Строгонова. Таким он всегда был в своей идологии и в своей правительственной работе: человеком «принципиальным» и ожидавшим от сотрудников разумения его «идеи», ее разработки в проектах и выполнения в мероприятиях. Это, конечно, только одна, притом формальная, сторона его типа. Под ней — сложная человеческая натура, определившаяся в отношении к жизни и к людям при очень своеобразных условиях воспитания и восприятия окружающей действительности. Старшие сыновья Павла, Александр (род. 12 марта 1777 г.) и Константин (род. 1779 г.), были в младенчестве отняты Екатериной у родителей. «Философ на троне» решил не повторять ошибки Петра Великого и исправить свою собственную: воспитать себе преемника в старшем внуке. Для Константина обстановка детства была несколько иной, да и тип был другой; в нем явно преобладала голштинская наследственность, по отцу и деду, а в Александре — вюртембергская, по матери, как и в младших Павловичах. В духе своих педагогических воззрений, Екатерина стремилась дать внуку не столько широкое и солидное образование, сколько идеологическое воспитание и поручила это дело республиканцу по воззрениям и питомцу французской просветительной литературы XVIII в. — Лагарпу. Республиканец — воспитатель будущего самодержца — казался позднейшим поколениям явлением парадоксальным. Но надо вспомнить, что сама Екатерина, как и Александр, любили называть себя «республиканцами по духу». Это слово в те времена вовсе не означало непременно определенного политического воззрения. Под ним разумели скорее некоторый моральный тип, благородный характер, воплотивший

в себе начала «гражданской добродетели», твердого служения усвоенным принципам справедливости, общественного долга, человеческого достоинства и стоического мужества в этом служении. На образцах античной доблести, чеканно обрисованных в писаниях историка Тацита и в биографиях Плутарха, и на рассуждениях в духе французской просветительной философии о принципах свободы и равенства, народного блага и просвещения раскрывалось возвышенное, идеально-отвлеченное содержание этого мировоззрения. В атмосферу таких представлений и чувствований погружал Лагарп впечатлительного питомца, заставляя его к тому же всматриваться в черты собственного характера и поведения, письменно каяться в дурных и мелких побуждениях, осуждать их в определенных французских фразах. Александр глубже воспринял прививаемый ему гражданский идеализм, чем можно было бы ожидать по свойствам подобной педагогики, которой он подвергся в течение детства и юности (от 6 до 17 лет). Он навсегда сохранил благодарную привязанность к Лагарпу и привитые им основные идеологические заветы. И покаянные приемы этой педагогики приучили Александра не только к искусной технике лицемерия — ее он усвоил из более сильных житейских источников придворного и семейного своего быта, — но также применению повышенных идейных критериев в оценке людей, среды и самого себя. Надо признать, что воспитание Лагарпа должно было зародить в нем то «большое недоверие к самому себе», какое отмечает в Александре Строгонов и которое также определилось и окрепло в трудных условиях его юношеской жизни между двумя дворами — «большим» и «малым», как их называли, — петербургским и гатчинским. Двор и вся среда правящего центра дали питомцу Лагарпа превосходный материал для практической примерки отвлеченных принципов личной и гражданской добродетели. Внешний блеск и условная величественность, салонное изящество, доведенное до уровня художественной картинности, плохо прикрывали для юноши, жившего в этой обстановке, крайнюю распущенность нравов и быта, разгул мелких интриг и корыстных происков, низость характеров и отношений, цинизм хищений и произвола. Он видел императрицу окруженной «людьми, которых не желал бы иметь у себя и лакеями», а в их руках — власть над обширной империей, непомерно разросшейся

и беспощадно эксплуатируемой бесконтрольным и безответственным хозяйничаньем власть имущих: «Господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно», — писал он в 1796 г. своему учителю. Позднее, при восшествии на престол, он объявит в манифесте намерение, даже «обязанность управлять по законам и по сердцу Екатерины Великой». Быть может, что, подписывая этот манифест, он не чувствовал всей глубокой фальши подобной формулы и не только подчинился условиям момента реакции против павловских «новшеств»: екатерининская идеология эпохи «Наказа» была ему близка. Но личной преданности памяти о бабке-императрице в нем не было и следа, а ее царствование, в его конечных итогах, вызывало в нем суровое осуждение.

И разлад Александра с петербургской средой, и даже лагарповские уроки «добродетели», хотя и с измененным содержанием, нашли поддержку в его связях с «малым», гатчинским дворцом. Родители сумели, в известной мере, вернуть себе влияние на сына, хотя прямой интимной близости между ними так и не установилось. Тут Александр попадал в обстановку, во всем противоположную петербургской. Строжайшая дисциплина во всем, отчетливый порядок, больше простоты в ежедневном быту, семейная жизнь, резко отличная от столичной распушенности, более скромная, но и более искренняя культура, скорее немецкого, чем французского типа, самая политическая заброшенность «малого» двора придавала ему характер иного, особого мирка, похожего скорее на двор мелкого германского князя, чем будущего русского самодержца. Тут мало чувствовалось веяний «просвещенного» века с его рационализмом, скептицизмом, вольтерьянством, а господствовала несколько мещанская корректная «добродетель» немецкой принцессы, отражались новые течения — сентиментализма, возрождения ценности «чувства и веры», рутинной, но по-своему крепкой религиозности и морали. В суждениях и воззрениях, с какими тут встречался Александр, звучала резкая критика петербургского быта — и дворцового, и общественного, всего хода управления — и военного, и гражданского. Традициям XVIII в. — «революционным» — тут противопоставляли начала «порядка», дисциплины, монархического и военного абсолютизма, верности традиционным заветам религии и бытовой морали, — начала

европейской реакции. Многое должно было быть в этом мирке чуждо питомцу Лагарпа, но импонировала «чистота принципов», признание «добродетели», исполнения «долга», поддержание «порядка». Идеально-законченный прототип этого «порядка» Павел видел в замуштрованном до полной механичности всех строевых движений войске и выработал под руководством прусских инструкторов в своей маленькой гатчинской армии ту мертвящую систему воинской выучки, которой подверг затем всю русскую армию. Служба в гатчинских войсках была тяжела и даже опасна: такая муштровка требовала мелочной напряженной исполнительности и достигалась жестокой системой дисциплинарных кар, а Павел, со свойственным ему редким даром все доводить до уродливой крайности, прусскую муштровку и суровую дисциплину довел до нестерпимой утрировки. Однако, он создал систему приемов и навыков, прочно усвоенную всеми Павловичами и царившую в русской армии до военной реформы Александра II как твердая форма милитаризма, в котором русское самодержавие XIX в. искало и находило не только наиболее надежную опору, но также недостижимый и все-таки желанный образец общественной дисциплины вообще. Александр прошел тут вторую школу, глубоко на него подействовавшую, — школу Аракчеева, надежного и заботливого экзерцирмейстера, преданного дядьки-слуги, который ввел питомца во всю премудрость армейской техники, облегчая трудности выполнения отцовских требований. Связь с Аракчеевым создалась прочная, на всю жизнь. Александр нашел в нем безусловную исполнительность, грубую, жесткую, но сильную энергию, которой пользовался охотно, закрывая глаза на трусливо-низкую подкладку аракчеевской жестокости, и почти до конца дней своих относился к этому «другу» с таким полным личным доверием, какого не имел ни к кому другому из близких, ни, пожалуй, к самому себе. Ход событий сближал их еще теснее — на началах своего рода взаимного страхования...

Темные, мрачные стороны внутренних соотношений в правящей среде воспринимались Александром, несомненно, с большой остротой в его круговращении между Петербургом и Гатчиной. Впечатления эти получили особую личную напряженность в связи с планами Екатерины относительно престолонаследия. Она открыто готовила Александра себе в преемники. А для Павла этот

вопрос был не только личным, но связывался с принципиальным вопросом о положении престола и династии в самодержавном государстве. Еще в январе 1788 г. Павел с женой заняты выработкой закона о престолонаследии, с публикации которого он начал свое царствование, закона, который должен был покончить с зависимостью преемства во власти от произвола окружавшей престол дворянской среды и придать самодержавию самодовлеющую устойчивость законной власти. Планы Екатерины ставили отца и сына в положение соперников, из которого Александр попытался выйти: на прямое сообщение ему воли Екатерины ответил уклончивым благодарственным письмом и поспешил сообщить все дело отцу. Однако, недоверчивость задетых честолюбий осталась в недрах семьи разъедающим отношения червяком. К тому же мысль Екатерины о законе, который определял бы право императриц царствовать, по-видимому, тогда же запала в душу Марии Федоровны...

Вся обстановка, разлагавшая возможность сколько-нибудь здоровых, нормальных человеческих отношений, воспитывала в этой среде то недоверчивое, даже резко презрительное отношение к людям, какое высказывал Павел в оправдание крутого деспотизма и которое заразительно влияло на его сыновей, тем более что не расходилось с их личными впечатлениями от окружающей их жизни. Принципиально такое воззрение не расходилось и с заветами Екатерины; ведь и она находила, что для осуществления более разумного строя отношений и порядков необходимо создать «новую породу» людей, а когда разочаровалась в возможности искусственно переработать русское общество в пассивный материал для своих экспериментов, опустила руки и поплыла по течению. Павел по-своему устремился к дрессировке всего общества в полной покорности велениям власти — методами внешней дисциплины и резкого подавления всякой самостоятельности, даже в бытовых мелочах. Этим же направлением воли и мысли был вызван его проект реформы центрального управления организацией министерств как органов личной императорской власти. Как в военном деле, так и в создании русской бюрократической системы начинания Павла приобрели большое историческое значение, так как получили дальнейшее развитие при его сыновьях-преемниках.

Так, гатчинская школа имела огромное значение для

подготовки Александра к его будущей деятельности и для его личного характера и воззрений. Правление отца было продолжением той же гатчинской школы. Условия личной жизни Александра в эту пору — еще напряженнее, еще сложнее.

Едва ли эти годы дали ему много особенно новых впечатлений. И влекущее честолюбие, и жутко-тягостные стороны власти были ему ясны. Успокаивался он от двойственности таких настроений в месте о благодетельной речи законодателя, который, выполнив свою задачу всеобщего благоустройства, сможет потом почить на лаврах, отдохнуть от напряжения, сложить трудное бремя. В 1797 г. он пишет Лагарпу о «посвящении себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить в будущем стать игрушкой в руках каких-либо безумцев»; такое дело было бы «лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей». А затем что? Ответом на такой вопрос служила идиллическая картинка, в духе тогдашней сентиментальной литературы, — об уединении в уютном сельском уголку, в семейной обстановке, в домике где-нибудь на берегах Рейна.

Такие мечты удовлетворяли разом и тягу к красивой роли, к благородному выполнению долга в духе усвоенной с детства просвещенной идеологии, и личную склонность избегать напряжения, особенно длительного, уклониться от креста жизни, хотя бы ценой отказа от заманчивой перспективы «великой» роли на исторической сцене и от власти. Такие мечты были заманчивы для натуры Александра, но и опасны. Страна — «игрушка безумцев»; это не отвлеченная фраза; «безумцем», которому нужна опека, считали Павла и до его вступления на престол. Иностранцы осведомители уже в 1797 г. — в год коронации Павла — сообщали о толках про неизбежный новый дворцовый переворот, пока не определившихся в заговоре, но уже бродивших в Петербурге. А наследник — соперник отца при Екатерине, хоть и пассивный, хоть и поневоле, — обсуждал с друзьями планы своего правления, столь непохожие на отцовские. «Нас, — пишет он в том же письме, — всего только четверо, а именно: Новосильцев, граф Строгонов и молодой князь Чарторыйский, мой адъютант».

В первое время правления Павел был под бдительной опекой двух женщин — имп. Марии Федоровны и фрейлины Нелидовой, заботливо сглаживавших угловатости его неуравновешенного нрава. Императрица сплотила своим влиянием правящую группу, в которой главную роль играли: Куракины, Безбородко и Н. П. Панин. Но это своего рода регентство было скоро разбито влиянием Кутайсова и Растопчина, не без предательства, по-видимому, со стороны лукавого старика Безбородка; интрига дошла до подсунутого Павлу романа с А. П. Лопухиной, разбила его семейную обстановку, вывела его из последнего равновесия. Коснулась она и Александра. Его друзья были удалены от него, разосланы по разным местам. Павел, видимо, готов был довести этот домашний и придворный переворот до крайности, устранить Александра и передать наследство принцу Евгению вюртембергскому, выдав за него одну из дочерей, Екатерину; во дворце ожидали заточения Марии Федоровны в монастырь. Трудно судить, насколько тут были более или менее действительные намерения, а насколько случайные вспышки раздражения и подозрительности, быть может, взвинченных смутным ощущением нараставшего разрыва с окружающими, за которым чуялся созревший заговор. Гневные выходки по адресу жены и детей, угрозы и нескрываемое подозрение в отрицании его власти — закончились 10 марта сценой повторной присяги старших сыновей отцу, которую тот вынудил: Александр принес ее, зная о заговоре и давши согласие на устранение отца от власти. Самый срок выполнения — в ночь с 11 на 12 марта — указан был им (Пален, руководитель всего дела, предполагал 8-го), потому что на карауле во дворце будет лично для него наиболее надежная воинская часть.

Александр дал свое согласие за несколько месяцев до того на переворот, подготовленный Н. П. Паниным. Панин указывал на государственную необходимость: действия Павла грозят «гибелью империи». Круто нарастающий произвол самодержца, у которого каждое движение неуравновешенной натуры безудержно переходило в «высочайшие повеления», жестокие, необдуманные и бессвязные, создавал нетерпимую обстановку спутанности всех дел и отношений, случайности всех личных судеб и решения всех важнейших и мельчайших очередных вопросов. Главный же толчок, который скрепил нарастающее недовольство в организованный заговор, был дан

крутым поворотом во внешней политике Павла: к выходу из антифранцузской коалиции, разрыву с Англией, союзу с Наполеоном. Поворот этот слишком сильно ударял по интересам русской торговли и русской правящей знати, казался безумным нарушением «английской ориентации», скрепленной недавними договорами. Панин предполагал передачу регентства Александру, по-видимому, по решению Сената, быть может, в расширенном составе, с привлечением высших военных и гражданских чинов, предполагал даже, что Александр лично примет на себя руководство исполнением всего плана, чтобы не допустить излишних крайностей. Дело обсуждалось еще в конце 1799 г. между Паниным, адмиралом Рибасом и английским послом Витвортом; заговор созрел в гостиной О. А. Жеребцовой, сестры Платона Зубова; охватил широко гвардейские и сановные круги Петербурга; был известен старшим членам царской семьи, не выключая, по-видимому, и самой императрицы Марии Федоровны, лежавшей, однако, по свидетельству ее вюртембергского племянника, свои планы на регентство; получил согласие Александра, хотя и уклонившегося от личного участия в выполнении. Но в роковую ночь с 11 на 12 марта 1801 г. дело получило иной оборот. Группа заговорщиков, взявшая на себя выполнение, руководимая петербургским военным губернатором Паленом, вошла во дворец с актом об отречении Павла от престола, чтобы вынудить его подписать и арестовать его, а кончила безобразной расправой над ним, с побоями и удушением.

Через труп отца прошел Александр к престолу. Переворот получился не английский — государственный, а русский — дворцовый; иного и не могло быть при самодержавном строе: дело шло о личной власти, не о «национальных полномочиях» конституционализма. Александр получил власть не от Сената, не от правящих сил дворянского класса, а по собственному праву, по «основному» закону о престолонаследии, применительно к которому и присяга принесена была при вступлении на престол Павла не только на имя отца-императора, но и сына — законного наследника. Убийцы Павла лишь ускорили вступление на престол сына, отстранили неуместные притязания матери на власть (о проявлении которых сохранились любопытные свидетельства), расчистили ему дорогу.

Несомненно, что память от 11 марта нависла тяже-

лой тенью над всей дальнейшей жизнью и деятельностью Александра — императора. И не столько потому, что он не мог считать себя чистым от кровавой грязи события. Он был участником заговора; он принял его кровавый исход, не объявил исполнителей убийства преступниками, сохранил их себе сотрудниками, а если кого и отдал, то по иным мотивам; тот, кого надо признать главным виновником кровавого исхода (он же и Марию Федоровну сумел поставить на место), Беннигсен, не испытал никакой «опалы», а если и получил временно назначение вне столицы, то и это не было какой-либо карой, а лишь тактическим приемом Александра. В общем, нет оснований строить на этой стороне воспоминаний Александра от 11 марта какую-либо личную его драму. Пережитое легло, конечно, на семейные отношения петербургского двора. Поведение императрицы-матери, о которой Чарторыйский, например, сообщает, что она в ту ночь «казалась в первые моменты решившейся на смелое выступление, чтобы захватить бразды правления и отомстить за убийство мужа», вызвала Александра на недоверчивый надзор за ней, доходивший до перлюстрации ее переписки, особенно с вюртембергским двором. А Мария Федоровна то и дело пыталась повлиять на политику сына своими наставлениями, вызывая с его стороны почтительные, но твердые разъяснения, группировала около себя недовольных его решениями, сумела сохранить за собой первенствующее положение во дворце, не щадя в письмах к сыну упоминаний о том внимании, с каким относился к ее желаниям «незабвенный» покойник. В ином смысле шантажировал Александра памятью о Павле Аракчеев. Надпись на памятнике, который он воздвиг Павлу в своем Грузине: «Сердце чисто и дух прав перед Тобою», проявлялась им так: «Кто чист душою и помышлением моему единственному Отцу и Благодетелю, также вечно будет предан и всеавгустейшему его семейству». Такими ходами Аракчеев попадал в самую суть значения 11 марта для Александра. Этот последний образец дворянских дворцовых переворотов XVIII в. был грозным для самодержца напоминанием об его зависимости от окружающей престол среды. А сознание такой зависимости, тревожившее Александра в течение всей его деятельности, во всех важнейших вопросах и внешней, и внутренней политики, в корень противоречило всей идеологии Александра, всем усвоенным

им воззрениям на власть, на ее задачи и способы действия, как и вскормленным на этой идеологии личным свойствам его характера.

3. Идеология Александра

Первые шаги нового государя были реакцией против ряда проявлений павловского деспотизма, возмущенной манифестом об управлении «по законам и по сердцу Екатерины Великой». Составлен этот манифест одним из деятелей екатерининской школы, Трошинским, и хорошо выразил, чего ждали от Александра, чем можно было оправдать переворот. В марте, апреле и мае 1801 г. издаются спешно, в первые недели ежедневно, повеления, смысл которых, по выражению современника, «в трех незабвенных словах: отменить, простить, возвратить». Официально пояснялось, что распоряжения эти направлены «к восстановлению всего того, что в государстве по сие время противу доброго порядка вкоренилось». 30 марта последовало учреждение «непременного совета» для рассмотрения государственных дел и постановлений; на этот совет возлагались, по смыслу данного ему наказа, пересмотр всех законов и постановлений и выработка проектов необходимых перемен и улучшений. Этим как бы предполагалось, что именно совет станет органом преобразований, намеченных Александром, а наименование его «непременным» указывало на его органическое, определенное учредительным законом участие в подготовке и осуществлении актов государственной власти. Однако совет сразу на деле отнюдь не получил такого значения. Император продолжает принимать личные доклады по отдельным ведомствам, входя в дела и давая свои повеления, а в совет поступали, по выражению графа А. Р. Воронцова, только такие дела, «коих докладчики сами делать не хотели». В том же направлении разыгралось более громкое дело о «правах Сената». 5 июля 1801 г. Александр потребовал, чтобы он представил «доклад о своих правах и обязанностях». Указ пояснял, что государь смотрит на Сенат как на верховное место правосудия и исполнения законов, а между тем видит, как «права и преимущества» этого учреждения подверглись искажению, что привело «к ослаблению и самой силы закона, всем управлять долженствующего». Исходя из

таких предпосылок, Александр заявлял, что надлежит выяснить нарушенные права Сената, устранить все, что было введено в отмену и в ослабление их, для того, чтобы утвердить полномочия Сената как «государственный закон», а сам он «силой данной ему от Бога власти потщится подкреплять, сохранять и соделать его навеки непоколебимым». Сенат, который давно превратился в «сборное только место высочайших распоряжений» да решал «маловажные дела», так как все более существенное шло и при Екатерине и тем более при Павле на «высочайшее усмотрение» по докладам генерал-прокурора или через начальников отдельных ведомств, отозвался на призыв Александра обширными притязаниями как в законодательстве, так и в распоряжении бюджетом, и в судебном деле, до окончательного утверждения смертных приговоров. А. Р. Воронцов представил Александру свои пояснения, сводившиеся к тому, что ни «целость» обширного государства, ни «спокойствие и личная безопасность» его граждан не могут быть обеспечены под властью самодержавного государя, а необходимо установление прав Сената», от чего «зависит и будущее устройство России и, быть может, самое доверие, какое должно иметь к управлению». Так люди старой школы XVIII в. мечтали не только вернуть Сенату его значение махового колеса всей системы управления, но и утвердить ее на «незыблемом», «основном» законодательстве и указывали в этом путь к восстановлению правительственного авторитета и доверия к власти, а также к дальнейшему «устройству» России. Не укрылось от поклонников Сената противоречие между их мыслью и учреждением «непременного совета»; тот же Воронцов пояснял Александру, что совету не подобает никакая самостоятельная роль; он должен быть только «приватным» совещанием «между государем и теми, коих он своею доверенностью удостоивает», — прежде всего с управляющими отдельными ведомствами, «так, как советы во всех монархических порядочных правлениях устроены бывают».

Но если и учреждение совета и постановка вопроса о правах Сената могли быть поняты высшей вельможной бюрократией как готовность молодого государя отдаться под ее руководство и даже утвердить это руководство на незыблемом основании государственного закона, то она очень скоро разочаровалась в своих надеждах и расче-

тах. Не развернулось по первому замыслу значение совета, но не были утверждены и «права» Сената. Начатое брошено в полуделе. Организация правительственной работы пошла иным путем.

У Александра с юношеских лет было намечено свое правительство. Помимо старшего поколения екатерининских дельцов, помимо людей времени Павла, вне круга требовательных опекунов — хранителей традиции и тем более кандидатов во временщики из деятелей переворота, Александр призывает давних трех «друзей» — Строгонова, Новосельцева, Чарторыйского — и четвертого — В. П. Кочубея — к ближайшему сотрудничеству с собой. Не в среде влиятельных официальных учреждений, публичных органов власти, а в интимном, негласном комитете будет разрабатываться программа нового царствования. Предполагались серьезные реформы, которые водворят в государстве порядок и законность, преобразуют социальный строй и поднимут просвещение, развяжут силы страны для подъема ее производительных и культурных средств. Но первым правилом всей работы принято, что все намечаемые преобразования должны исходить не от какого-либо учреждения, а лично от императора, и потому необходимо, чтобы не только никто не занимался их подготовкой и обсуждением помимо особого его поручения, но чтобы вся предварительная работа велась вполне секретно, пока готовая мера не будет обнародована в форме императорского указа. Этим преобразователи думали охранить свободу своего творчества, независимость императора от давления окружающей среды, преждевременных кривотолков и оппозиции, преувеличенных ожиданий и скороспелого недовольства; законченные и опубликованные меры обществу придется принять как акты верховной власти, получившие законную силу. «Абсолютная тайна» была особенно необходима, по мнению Строгонова, потому, что надо было не только тщательно обсудить намеченные преобразования по существу, но еще «познать в совершенстве истинное состояние умов и приновить реформу таким образом, чтобы осуществление ее вызвало всего меньше недовольства». Преобразовательная работа, к которой только собирались приступить, была сразу скована напряженным опасением, как бы не вызвать слишком определенного разлада между правительством и преобразуемой общественностью. Резкие отзывы о дворянской массе, какие

читаем в заметках Строгонова по поводу занятий негласного комитета, недоверчивая оглядка на ее вельможные верхи — характерны для всей тогдашней обстановки. Память об 11 марта была еще слишком свежа. И рядом — другая черта, столь же, если не более, существенная: группа сотрудников Александра, которую он, в шутку, называл «комитетом общественного спасения», а сердитые критики бранили «якобинцами», принадлежала к той же среде крупной аристократии и готова была идти только на минимум необходимейших преобразований, и то с большой постепенностью и без малейших «потрясений», признавая, что иначе лучше ничего и не делать. Теоретическое понимание коренных пороков самодержавия и крепостничества теряло силу и значение при разработке мер к преобразованию, потому что его хотели провести без сколько-нибудь заметного разрыва с осуждаемым в принципе строем отношений. Немудрено, что искомый минимум расплывался и улетучивался при обсуждении. Александра, воспитанного в двойной школе — просвещенного абсолютизма и военного деспотизма, — манила мечта о роли благодетельного диктатора, а приходилось, с первых же шагов правления, усваивать теорию и практику приспособления всех проектов и мероприятий к интересам и настроениям господствующего общественного класса. Понятно, что в таких условиях единственной реформой, получившей и осуществление и подлинное значение, оказалось преобразование центрального управления с целью усиления центральной власти. Раз эта власть предполагала приступить к широким преобразованиям и не рассчитывала при этом на поддержку широких общественных кругов, она сугубо нуждалась в исполнительных органах, деятельных и приспособленных к проведению в жизнь ее предначертаний. Такими органами и должны были быть министерства, учрежденные указом 8 сентября 1802 г. Этим уравнивалось то перенесение центра тяжести управления из центра в области, которое явилось результатом екатерининской губернской реформы. Завершалась организация бюрократической системы управления, с обеспечением для монарха возможности лично и непосредственно руководить всем ходом дел через министров, им назначаемых, перед ним ответственных, с ним непосредственно связанных в порядке личных докладов и повелений.

Учреждение министерств связывалось для негласно-

го комитета, прежде всего, с задачей организовать активную и сильную центральную власть, способную держать в руках все государственные дела и успешно работать над переустройством порядков управления и всех внутренних отношений. Этим выполнялся план административной реформы, не только намеченный Павлом, но, в значительной мере, проведенный при нем в жизнь, так как уже при нем ведомства «министров», «главных директоров» и т. п. захватили почти все отрасли центральной администрации.

Но, с другой стороны, то же учреждение министерств понималось как первый только шаг к преобразованию управления на новых началах. Предстояло обеспечить планомерное единство всей правительственной работы и утверждение начала «законности» в действиях управляющих властей. Достижение обеих целей связывалось с идеей о верховном учреждении, которое объединяло бы работу всех ведомств своим руководством, вырабатывало бы новые законодательные нормы, систематически пополняя и преобразуя действующее законодательство, и в то же время своим контролем и надзором обеспечивало бы закономерность ведения и разрешения всех дел. Организация этих функций центральной власти, с объединением их в одном учреждении или с разделением их между Сенатом и неперменным советом, должна была устранить «самовластие»: устранить или хотя бы «уменьшить зло, которое (как писал Строгонов, повторяя мысль Александра о стране-игрушке в руках безумцев) может произойти от различия в способностях тех, кто стоит во главе государства», а также избавить политику власти от случайных влияний и произвола временщиков. Самодержавие должно было стать «истинной монархией». Однако несомненно, что конституционная подкладка подобного хода мыслей и его коренное внутреннее противоречие, его половинчатость, — были ясны деятелям начала XIX в. Они понимали, что гарантии законности связаны, по существу, с той или иной степенью обобществления власти. Строгонов указывал на иллюзорность подобного значения бюрократических учреждений, так как оно может подлинно принадлежать только «политической организации и общественному мнению». Сперанский, разрабатывая — по особому поручению и в связи с занятиями негласного комитета в 1803 г. — проект устройства правительственных учреждений, указывал на

несовместимость «истинного монархического правления» с сохранением «верховного пачала», по которому в лице государя объединяются власти законодательная и исполнительная и распоряжение всеми силами государства, и сводил смысл намечаемых преобразований к такой внешней организации «правления самодержавного», при которой оно будет только «покрыто формами, к другому порядку принадлежащими». И с такими суждениями сходились видные представители враждебной негласному комитету группы сановников старшего поколения. Трошинский указывал, что учреждения бюрократические всегда будут орудием самовластного правления, пока не существует «законных установлений для сосредоточения массы народной» и чиновничество не встречает «противоборствия» ни в «сословии зажиточных людей» (т. е. в буржуазии), ни «в классе простолюдинов». Другие представители той же консервативной группы указывали, что только «избранный» Сенат, составленный из представителей общества, сможет быть оплотом «прав политических».

Последовательно продуманная «истинная монархия», отличная от «деспотии», превращалась в монархию конституционную с народным представительством. «Народным»? — В крепостнической стране представительство, без коренной социальной реформы, начисто отдало бы власть в руки дворянства. Превращение самодержавной монархии в правовое государство возможно, так выразил эту мысль Сперанский, при условии «государственного закона, определяющего первоначальные права и отношения всех классов государственных между собою», закона, обязательного для правительственной власти, не зависящего от ее усмотрений. О таком провозглашении в день коронации Александра прав русского гражданства рассуждали его советники по его личному настоянию, но и то свели набросанный проект к некоторым гарантиям от судебного и полицейского произвола да к определению порядка публикации новых постановлений о налогах. Ничтожество этого проекта по содержанию сделало его мертворожденным. Все эти споры, суждения, предложения и разногласия были для Александра школой политической мысли, проверкой ранее усвоенных понятий и воззрений. В итоге у него сложилась своя, довольно определенная точка зрения на желательный строй отношений между властью и обществом, своя политическая

программа, принципиальные основы которой он пытался отстаивать почти до конца своей жизни и проводить в своей политике, как внутренней — русской, — где дело так и не пошло дальше проектов, так и общеевропейской, в которой она дала более реальные результаты, так же как и в отношении к окраинным областям империи, наиболее «европейским» из его владений. Сложилась своеобразная теория о «законно-свободных» учреждениях как норме политического строя, обеспечивающей условия мирного развития страны и их охраны как от революционных потрясений, так и от правительственного деспотизма. Коренная утопичность этой теории привела Александра к ряду конфликтов с русской действительностью, до почти полного внутреннего разрыва с нею, а в международных отношениях определила его основные стремления, которые завершились полным банкротством, опять-таки на почве расхождения с реальной действительностью; выразилась она и в тех, и в других в ряде фантастических проектов, запутывавших Александра в безысходной сети противоречий с самим собой и с окружающими — до полного срыва личной жизнеспособности в последние годы и уединенной от мира кончины в далеком Таганроге.

Утопия — это форма мышления о жизни, ее отношениях и устройстве, которая стремится разрешить или, вернее, «снять» ее противоречия, согласно тем или иным идеальным требованиям, вне условий реальной возможности, без их достаточного учета, даже, обычно, без достаточного их понимания. У Александра были свои «идеальные» требования, и он упорно искал данных для их осуществления силой находившейся в его руках огромной власти. Питомец XVIII в., он пытался разрешить задачу такой полной и окончательной организации государственной жизни, чтобы в ее твердо установленных рамках и формах нашли свое спокойное, равномерное течение мятежные волны все нараставшей борьбы противоречивых стремлений и интересов. Утопическая задача умиротворения внутренней борьбы — в век напряженного раскрытия классовых противоречий в ряде революционных потрясений и борьбы международной — в век нараставшей ломки установившихся государственных границ получила в его сознании решение, неизбежно также утопическое.

Для историка данной эпохи легко вскрываются под

действиями Александра, которым он подыскивает и дает идеологическое обоснование, весьма реальные мотивы: во внутренней политике — стремление власти к самосохранению и самоутверждению в ряде компромиссов с господствующими в стране интересами, во внешней — мотивы государственного эгоизма, определяемые экономическими, финансовыми, территориально-политическими интересами данной страны. Но для биографа Александра существенны эти идеологические обоснования и как культурно-историческая черта эпохи, и как прием политики, и, наконец, как проявление изучаемой индивидуальности, типичной для своего времени.

На идеологии Александра ярко отразилось влияние того, что было выше названо пройденными им двумя школами: Екатерины и Павла, Лагарпа и Аракчеева. Обычно недооценивают, даже не замечают того, что в его психике и в его мировоззрении эти два влияния, казалось бы столь противоположные, не только сочетались механически, создавая ряд перебоев в его настроениях, но слились органически, сведенные к некоторой идеологической цельности. А это — черта не только основная для понимания характера и воззрений Александра, всех перипетий его деятельности и его «противоречий», но и такая, которая не была его индивидуальной особенностью, а характерна для многих деятелей его времени. Дело в том, что в итоге обсуждения преобразовательных проектов негласным комитетом получилась программа, согласно которой не только правительство, но именно личная власть государя должна быть единственной активной силой нововведений, без какого-либо участия общественных элементов, хотя бы уполномоченных самою же верховною властью, или даже высших правительственных учреждений: в их личном составе видели проявление независимой от этой власти дворянской общественности, с которой приходилось считаться, но от давления которой желательно было, по мере сил и возможности, освободиться. Начать работу решили с упорядочения и усиления администрации, подготавливая в то же время законодательную работу, которая установит в стране новые порядки и отношения, а затем только, когда вся эта творческая часть дела будет завершена, придет черед для конституции, под которой разумели систему «основных» законов, охраняющих установленные в действующем законодательстве порядки, права и отношения от

их нарушения каким-либо произволом. Эти конституционные законы характерно означали термином законов охранительных, консервативных (*Lois conservatrices*). Конституция, которую надо подготовить путем сравнительного изучения всех существующих на Западе конституций и сводки их принципов, может быть введена — на этом особенно настаивал Александр — только после того, как будет закончена выработка свода законов, их стройного, внутренне цельного кодекса, исчерпывающего правовое определение всех отношений. Конституционный строй, в таком понимании, рассматривался отнюдь не как организация общественных сил для активного и творческого участия в правлении, а как система гарантий существующего порядка от каких-либо потрясений, откуда бы они ни шли — сверху или снизу. Законность — опора и форма общественной дисциплины, опора и авторитету власти, которая и сама откажется от усмотрения, от ломки и нарушения признанного и действующего права, когда закончит свою организующую работу, когда иссякнет надобность в ее самодержавной диктатуре. А в боевое время, пока эта диктатура пужна для многосложной подготовительной работы к грядущему преобразованию, власть должна быть сильной и свободной в своих действиях. Общественная дисциплина, которая когда-нибудь, со временем, будет построена на началах конституционной законности, сводится — пока — к полной покорности велениям власти, по образцу дисциплины военной. В идеале — это должна быть покорность «не за страх, а за совесть», но такой идеал достигим опять-таки, когда закончится введение новых порядков и общество проникнется их благодетельными началами, т. е. переродится в новую породу людей. До этого еще далеко. Окружающая среда полна настроений и интересов, враждебных преобразованиям, сотрудники то и дело создают только препятствия, людям нечего верить. Из впечатлений юности, из дальнейшего опыта Александр вышел с настроением, которое выражалось иной раз в таких суждениях: «Я не верю никому, — говаривал он, — я верю лишь в то, что все люди — мерзавцы», повторяя сходные мнения Павла.

В письме, предназначавшемся для Джефферсона, президента Северо-Американских Соединенных Штатов, Лагарп писал об Александре в 1802 г., что «в настоящую минуту он серьезно занят устройством механизма сво-

бодного правления, преобразовывая администрацию таким образом, чтобы она стала сначала носителем просвещения, а затем вводила понятия гражданской свободы»; так осмыслили «преобразователи» с Александром во главе учреждение министерств. В начале 1803 г. обнародованы «Предварительные правила народного просвещения», подробнее развитые в уставах 1804 г. Введена широкая организация учебного дела, осуществлявшая, с частичными изменениями, образовательный план Екатерины. Россия разделена на 6 учебных округов, в центре учебного дела каждого из них должен стать университет, в связи с ним — общеобразовательные средние школы по губернским городам, а ниже — подготовительные школы, уездные и народные: цельная система единой, общеобразовательной и всесословной школы. Высшие учебные заведения должны были насаждать новые знания и новые идеи, распространяя их в глубь всех слоев населения. Посев для будущего русского просвещения был значителен; но для ближайшего времени — построенная форма лишь медленно стала наполняться некоторым содержанием, а жизнь — претворять ее на свой лад, подчиняя, напр., всесословную школу началу сословности, и не столько сама претворялась под действием просвещения, сколько его претворяла на свой лад. Откликнулось правительство на новые интересы также покровительством изданию таких книг — за 1803—1806 гг., — как перевод евангелий экономического и политического либерализма — трудов Адама Смита и Иеремии Бентама, Беккариа и «Конституции Англии» Делольма, классического образца республиканской доблести — Корнелия Тацита и т. п. Александр имел в конце жизни основание сказать, что сам сеял начала тех идей, которые вскормили движение декабристов. Но для него самого первые опыты приступа к деятельности, проникнутые утопической надеждой на быстрый успех, свободный от борьбы и «потрясений», на «лучший образец революции — произведенной законной властью», стали источником разочарования и раздражения. «Было бы нецелесообразным возбуждать опасения среди привилегированных сословий, пытаясь создать сейчас что-либо вроде свободного представительного правления», — внушали ему со всех сторон. И даже президент Джефферсон писал ему в 1804 г.: «Разумные принципы, вводимые

устойчиво, осуществляющие добро постепенно, в той мере, в какой народ ваш подготовлен для его восприятия и удержания, неминуемо поведут и его, и вас самих далеко по пути исправления его положения в течение вашей жизни».

Теоретическая самонадеянность утописта-идеолога и самочувствие самодержавного государя одинаково страдали в Александре от такой постепеновщины. Неограниченная власть, проникнутая притом «лучшими» намерениями, растерянно останавливалась перед собственным бессилием. «Я не имею иллюзий, — писал Александр Джефферсону, — относительно размеров препятствий, стоящих на пути к восстановлению порядка вещей, согласного с общим благом всех цивилизованных наций и солидно гарантированного против усилий честолюбия и жадности».

Стиль мысли и речи тех времен заставлял представлять столкновение идей реформатора с противодействием среды в виде борьбы его «добродетели» с «усилиями честолюбия и жадности», мечтать о преодолении такого противодействия силою власти. На деле неодолимая оппозиция была сильна не только сплоченностью враждебных преобразованию интересов, но и тем, что интересы эти имели еще крепкую объективную основу в русской действительности. Так, защитники крепостного права указывали на значение помещичьего хозяйства в экономике страны, на крупную роль землевладельцев в колонизации слабо населенных областей и т. п., на помещичью власть как на необходимую опору в управлении страной и массой населения, как на социальную основу имперского самодержавия. Перед Александром стояла цельная система социально-политических отношений, в корень противоречащая его принципам, а ее основу ему пришлось признать с утверждением Жалованной грамоты дворянству и восстановлением ее после павловских нарушений. Он заявлял в своем негласном комитете, что сделал это нехотя, что ему претит снабжение привилегиями целого класса, что он еще мог бы признать связь привилегий с выполнением службы государству, но не распространение их на тех, кто ведет «праздную» помещичью жизнь. В ту пору Александр еще не выходит из круга политических идей екатерининского «Наказа» — бюрократической монархии и приспособления дворянства к бюрократическому режиму как личного состава

ва гражданских и военных органов власти. Опыт разработки административной реформы в начале царствования не дал ему никакого удовлетворения. Его мысль ищет явно иных путей для выхода из неразрешимых противоречий. Она останавливается с особым вниманием на основном аргументе в пользу самодержавия и его дворянско-крепостнической основы — на единстве обширной империи, управляемой из одного центра. Централизация усилена учреждением министерств; в этом — усиление бюрократической организации, которая должна быть органом независимой, сильной власти. Но вместе с тем окрепло в Александре ощущение зависимости его личной воли от вельможных верхов бюрократии, которые окружают его своими происками и интригами, ведут свою политику, действуют за его спиной. Все чаще вырываются в разных беседах слова: «Я никому не верю», все больше стремится он иметь свои личные способы осведомления и воздействия на ход дел, противопоставляет официальным органам своей власти доверенных людей, которые должны наблюдать за ними, доставлять ему сведения по личному поручению, как бы — приватно, наблюдать друг за другом и действовать по личным его указаниям, вне установленного порядка. Мысль о едином министерстве, о назначении во главу всех ведомств людей одинакового направления, придерживающихся единой общей программы, ему глубоко антипатична. При первом же назначении высших должностных лиц в министерства он противопоставляет министрам из старшего поколения опытных дельцов, их товарищей из среды своего личного окружения; так действует и дальше, стремясь иметь своих личных агентов в разных ведомствах — негласных и полугласных, — как в делах внутренних, особенно в министерстве полиции, так и в делах иностранных, которые ведет — в важнейших вопросах — лично сам через особо командированных с секретными инструкциями лиц помимо своих министерств, помимо своих послов при иностранных дворах. Все чаще, и с большой признательностью, вспоминает он наставления Лагарпа, которого «любит и почитает, как только благодетеля любить и чтить возможно», те наставления, какие получил от него в 1801 г., при вступлении на престол, в ряде писем и записок. А этот республиканец, который сам с 1798 по 1800 г. стоял во главе управления Швейцарской (Гельветической) республики, писал ему

так: «Ради народа вашего, государь, сохраните неприкосновенной власть, которой вы облечены и которую хотите использовать только на большее его благо; не дайте себя увлечь тем отвращением, какое вам внушает абсолютная власть; сохраните ее в целости и нераздельно, раз государственный строй вашей страны законно ее вам предоставляет, — до тех пор, когда, по завершении под вашим руководством преобразований, необходимых для определения ее пределов, вы сможете оставить за собой ту ее долю, которая будет удовлетворять потребности в энергичном правительстве», надо уметь, научал Лагарп, разыгрывать императорскую роль (*faire L'Empereur*), а министров приучить к мысли, что они только его уполномоченные, обязанные доводить до него все сведения о делах — во всей полноте и отчетливости, а он выслушивает внимательно их мнения, но решение примет сам и без них, так что им останется только выполнение. Глубоко запало в душу Александра это представление о личной роли императора, да и образец был перед глазами яркий: Наполеон — император французов.

Однако на опыте он скоро убедился, что это — роль трудная. Бюрократическая машина проявляла огромную, ей свойственную, самодовлеющую силу; бюрократическая среда была насыщена своими интересами, в значительной мере дворянскими — классовыми, а в текущем быту — личными и кружковыми, которые опутывали императора сетью интриг, самого его в них вовлекали и часто налагали на него сложные и напряженные стеснения. Подчинить себе эту среду, вполне господствовать над нею и чувствовать себя от нее свободным и выполнить заветы Лагарпа — было постоянной заботой Александра.

Настроения эти еще более определились и обострились в годы сотрудничества с Александром М. М. Сперанского. В Сперанском Александр, казалось, нашел себе почти идеального сотрудника того типа, о котором писал в своих заметках П. А. Строгонов, что император «естественно предпочитает людей, которые, легко улавливая его идею, выразят ее так, как он сам хотел бы это сделать, избавляя его от труда подыскивать ей желательное выражение, и представляют ему ее ясно и даже по возможности изящно». Было у Сперанского еще и другое ценное для Александра свойство: попович, сделавший блестящую карьеру благодаря личным дарованиям и огромной трудоспособности, стоял одиноко на верхах дво-

рянского общества и вельможной бюрократической среды, без прочных связей с нею, как человек, всем обязанный государю и только ему служащий. В эти годы Аракчеев и Сперанский — две главных опоры Александра, и Сперанский больше, чем Аракчеев, черед которого был еще впереди.

«В конце 1808 г., после разных частных дел, — пишет Сперанский в письме к Александру из Перми, — ваше величество начали занимать меня постоянное предметами высшего управления, теснее знакомить с образом ваших мыслей, доставляя мне бумаги, прежде к вам вошедшие, и нередко удостоивая провождать со мною целые вечера в чтении разных сочинений, к сему относящихся; из всех сих упражнений, из стократных, может быть, разговоров и рассуждений вашего величества надлежало, наконец, составить одно целое: отсюда произошел план всеобщего государственного образования».

Этот знаменитый «план», который, по-видимому, никогда и не был доведен до вполне законченной разработки, был, по существу, действительно, выполнением той программы работ над проектом русской конституции, какую Александр наметил в негласном комитете 9 мая 1801 г. С помощью такого сведущего юриста, как Балугьянский, выполнено изучение целого ряда западноевропейских конституций и выбран из них ряд «принципов» для составления конституции русской. Сперанский был уверен, что свод законов, над которым работала комиссия под его руководством с осени 1808 г., будет скоро готов, а по его изданию и введении в действие на очередь станет задача установления в России порядка, который обеспечит господство законности во всех отраслях русской государственной жизни. Такова задача «плана»: наметить конституционный порядок управления, на началах разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной), признания за всем населением гарантированных ему гражданских прав, а за его землевладельческими и городскими буржуазными элементами — прав политических, осуществляемых в форме участия их выборных в центральном и местном управлении. Однако, на деле работа и над сводом и над планом затягивалась, вызвала немало сомнений и возражений. Александр был склонен поэтому немедленно провести в жизнь часть предполагаемой реформы — преобразование центральных учреждений в завершение того, что

было сделано в 1801—1802 гг. Цель этой предварительной реформы Сперанский определил как задачу «посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных и тем самым сообщить действию сей власти более правильности, достоинства и истинной силы». Вопрос о силе правительства всего более интересовал Александра: ведь и Лагарп ставил удовлетворение потребности в энергичном правительстве критерием для конституционного ограничения власти в некоторой ее доле, а в «Наказе» своей Екатерина заявляла, что «самое высшее искусство государственного управления состоит в том, чтобы точно знать, какую часть власти, малую ли или великую, употребить должно в разных обстоятельствах». Сперанский так определил это понятие в особом докладе Александру во время их совещаний: «Сила правительства состоит в точном подчинении всех моральных и физических сил одному движущему верховному началу власти и в самом деятельном и единообразном исполнении всех ее определений». Если «сила государства есть масса всех его сил, моральных и физических», то «сила правительства есть соединение и направление сих самых сил к известной и определенной цели». Как бы ни было государство «в самом себе сильно», оно без силы правительства не может долго сохранить себя «в настоящем положении Европы» (1811). И далее доклад Сперанского развивает целое учение об устоях государственного абсолютизма: 1) первый источник силы правительства суть законы, если они оставляют правительству довольно власти для плодотворного действия, а по нужде — для принятия скорых и сильных мер, власть должно различать от самовластия, которое всегда «имеет вид притеснения», даже когда поступает справедливо; поэтому «правильное законодательство дает более истинной силы правительству, нежели неограниченное самовластие: оно обеспечивает правительству доверие страны; 2) организация управления, обеспечивающая ему единство и правильное разделение дел; 3) воспитание, которое должно быть совершенно в руках правительства, чтобы подчинить себе и ввести в свои виды подрастающие поколения; 4) воинская сила, которая в отношении и к внешней безопасности и к внутренней силе правительства — есть верх и утверждение всех других сил государственных», так как без нее ни законы, ни управление действовать не могут; и Сперан-

ский добавлял, что «сей род силы правительство наше имеет в весьма нарочитой степени совершенства». Наконец, 5) финансы: «обилие государственных доходов», причем Сперанский, под явным впечатлением острой критики его финансовой политики в разных «опасных совещаниях», как он их называет, протестует против «безмерной нежности и чувствительности к нуждам народным», против популярничанья в возражениях на меры к увеличению казенных доходов, напоминая, что доходы эти нужны власти для защиты и покровительства частной собственности и что, увеличивая их, правительство только требует возвращения того, что «ложными советами было от него отторгнуто и в частные руки захвачено».

В этом докладе¹ Сперанский весьма четко подвел итог своим беседам с Александром по некоторым, для Александра важнейшим, темам; получилось цельное учение о «силе правительства», которая создается государственным властвованием над всеми материальными и духовными силами населения, с опорой в дисциплинированной, безусловно покорной силе воинской, в стройном бюрократическом управлении, в казенном воспитании, подчиняющем «видам» правительства общественные настроения и воззрения, в энергичной экономической и финансовой политике, подчиняющей себе всю хозяйственную жизнь страны, а обеспечена и оправдана должна быть установлением законности во всем течении дел государственных, с помощью свода законов и конституционных гарантий. Последнее представлялось наименее выполнимым и, при данных условиях, преждевременным. Правда, Сперанский, в порыве свойственного ему кабинетного оптимизма, полагал, что было бы «блистательнее» закончить выработку всех установлений «плана» и ввести его в жизнь «единовременно» во всех его частях, но Александр стоял за большую постепенность реформы. Решено было пока, как в 1801—1802 гг., ограничиться преобразованием центрального управления.

1 января 1810 г. произошло торжественное открытие нового Государственного совета. В речи (написанной Сперанским) Александр назвал это учреждение принадлежащим «к самому существу империи», а в его уставе — его компетенция и устройство определялись «корен-

¹ Русская старина. Спб., 1902. Окт. — дек. Т. 112.

ными» законами. Александр объявил совет «средоточием всех дел высшего управления», так как его задача — соотносить эти дела с точки зрения действующего законодательства (отсутствия противоречий и необходимых дополнений в законах), и все новые постановления только через совет должны восходить к верховной власти на окончательное утверждение и исполнение. При всем только совещательном значении суждения Государственного совета (государь мог утвердить и мнение меньшинства), оно настолько считалось необходимым, что в текст публикуемых узаконений введена формула: «Вняв мнению Государственного совета», — как будто высочайшие повеления почерпают не юридическую силу, конечно, но авторитетность свою от участия Государственного совета в их выработке.

Летом 1811 г. опубликовано «общее учреждение министерств», которым организация их приведена в стройную систему. Завершить эти реформы предстояло преобразованием Сената, с разделением его на судебный как центр независимого суда, на постановления которого не должно было быть апелляции к верховной власти, и правительственный, который должен был заменить комитет министров с упразднением личных их докладов государю. Этот проект был, однако, отложен и не был осуществлен, хотя Сперанский настаивал перед Александром, что «без устройства Сената, сообразно устройству министерств, без средоточия и твердой связи дел, министерства всегда будут наносить более вреда и ему забот, нежели пользы и устройства».

На этих работах со Сперанским окончательно выяснилось, насколько Александру чужда и антипатична основная тенденция всей, долго осуждающейся, бюрократическо-конституционной реформы: устранение из практики самодержавного государства приемов личного управления, обеспечивавших императору преобладающее влияние во всем верховном управлении. Даже утверждение безапелляционности сенатских приговоров сильно смущало Александра: как ему отклонять просьбы о защите попранного права? А разве Сенат заслуживает полного доверия к своим решениям? Ведь и Лагарп настаивал, чтобы он сохранил за собой право вмешательства в решения судебных учреждений, особенно высших, чтобы не допускать их до укоренения злоупотреблений и усиления своего веса за его счет; без рацио-

нального свода законов, без коренного преобразования процессуальных порядков не может, настаивал он, быть речи о независимости русских судебных учреждений. Далее, общий смысл реформы 1810 г., для Александра — умаление личной роли императора в делах правления, получил особый оттенок, благодаря исключительному значению, какое приобрела должность государственного секретаря. Под его управлением стояла государственная канцелярия, которая имела огромное влияние на направление деятельности совета, так как подготавлила все дела и доклады. А личное положение государственного секретаря М. М. Сперанского, ближайшего лица к государю, превращало это влияние в давление почти неотразимое; в его же ведении была и Комиссия составления законов, тем самым обращенная, собственно, в одно из отделений государственной канцелярии; журналы совета представлял государю и докладывал тот же государственный секретарь Сперанский, влияя на его резолюции своим освещением всякого вопроса. Государственная канцелярия вместе с Комиссией составления законов образовали, по выражению С. М. Середонина, министерство преобразований, во главе которого — не он, Александр, а Сперанский.

«Сперанский вовлек меня в глупость, — говорил он позднее, после разрыва с этим сотрудником своим, — зачем я согласился на Государственный совет и на титул государственного секретаря? Я как будто отделил себя от государства...» И то смущало Александра, что многие приписывали такое же значение учреждению министерств: в нем, так же как в учреждении совета, наиболее консервативные группы видели «хитрый подкоп под самодержавие», утверждали, что теперь «Россией управляют министры». Александр вспоминал советы Лагарпа и начинал поговаривать, что «учреждение министерств есть ошибка». Понятно, что сосредоточение всей министерской работы в Правительствующем Сенате не было осуществлено. Александр сохранил более подручное себе учреждение — Комитет министров, предоставил ему чрезвычайные полномочия в те годы, когда был сам поглощен борьбой с Наполеоном (1812—1815), но, довольный во многом деятельностью его личного состава, под руководством особого председателя — своего заместителя, Н. И. Салтыкова, — он оставил за комитетом значение средоточия всей правительственной власти, од-

нако отдал его под суровую и властную опеку Аракчеева, единственного докладчика государю по всем делам и фактического автора его резолюций в последние годы царствования.

Однако, практическое подчинение всего управления диктатуре Комитета министров, выродившейся в диктатуру Аракчеева, не означало для Александра отказа от дальнейшего развития планов коренной реформы всего политического строя империи. Прделанный опыт преобразования центральных учреждений настроил Александра недоверчиво и враждебно к бюрократической централизации, устремившейся к конституционному закреплению своей силы. В ней он усмотрел наибольшую опасность для своей утопии соглашения самодержавной власти с «законно-свободными учреждениями», полноты личновластного руководства всей политической жизнью со стороны монарха с предоставлением гражданам прав политических и гарантии их личных и имущественных интересов от всякого произвола. В сотрудничестве со Сперанским, в эпоху работы его над «планом всеобщего государственного образования», мысль Александра значительно расширилась и обогатилась новыми сведениями и представлениями, так как «план» Сперанского охватывал, действительно, «всеобщее» образование государства, строя его на реформе местного управления, которого лишь увенчанием была, и то, по-видимому, не сразу, поставлена Государственная дума. Позднее — в 1816 г. — Сперанский развивает (в письмах к Кочубею и своих заметках) мысль о новом уставе для управления губерний как о задаче первоочередной, решение которой неизбежно приведет к преобразованию «внутреннего гражданского порядка» (Сперанский пришел к выводу, который цифрами обосновывал, что на дворянстве преобразованного строя, соответствующего экономическому и культурному подъему страны, не построить) и должно предшествовать преобразованиям политическим, чтобы можно было их провести в жизнь «с прочною пользою и без потрясений»; но это были лишь дальнейшие выводы из положений первоначального плана. Несомненно, что проблема децентрализации управления рано, хотя бы и в малоотчетливой форме, стала перед Александром. Несомненно и то, что много было в ней соблазнительного для его колеблющейся, ищущей мысли. Интерес к федерализму был в нем возбужден еще Лагарпом; он сказался

и в их сношениях с президентом Джефферсоном, чтобы получить более отчетливое представление о политическом и административном строе Северо-Американских Соединенных Штатов. В годы «тильзитской дружбы» мысль Александра получила новый толчок в этом направлении в связи с вопросом об устройстве новых окраин империи, особенно западных — Финляндии, Литвы, Польши. Возложенная на Сперанского работа над проектом финляндской конституции стояла в прямой связи с планами общего переустройства империи. Можно с уверенностью принять «догадку» С. М. Середонина, что «Финляндии предназначалась такая же приблизительно конституция, которая вырабатывалась тогда и для всей России», тем более что на «план» Сперанского в том виде, в каком он до нас дошел, не следует смотреть как на окончательную схему ее основ. Финляндская конституция 1809 г. была в замысле Александра лишь опытом областного применения начал, на которых он собирался перестроить все свое государство. Конституция обеспечивала населению его гражданские и политические права, организовывала на автономных началах местное финляндское управление, но органы верховного управления, как разъяснял Сперанский финляндцам в 1811 г., — финляндский совет и должность генерал-губернатора, — были устроены «не по праву конституции, но по единому усмотрению правительства», а постановлениям сейма приписывалось только совещательное значение, хотя и обеспеченное конституционными узаконениями; в декабре 1811 г. в состав Великого княжества Финляндского введена и «старая Финляндия», инкорпорированная Россией при Петре и Елизавете. В то же время обсуждалось, аналогичное с финляндским, автономное устройство Великого княжества Литовского, вводилось особое управление в Тарнопольской области — восточной части Галиции, отошедшей к России по Шенбруннскому миру 1809 г., разрабатывалось будущее устройство Молдавии и Валахии, в присоединении которых к империи были тогда уверены. Бурные годы борьбы с Наполеоном и переустройства Европы на Венском конгрессе поставили на очередь польский вопрос, давно занимавший Александра, а теперь принявший конкретные очертания. Восстановление Польши в той ее части, которая получила название царства Польского, введение в ней конституции и открытие первого польского сейма

в 1818 г. — были для Александра дальнейшими шагами в замышляемом им переустройстве империи. Знаменитая речь его сейму в 1818 г. была общей его декларацией о «законно-свободных учреждениях» (*institutions Liberales* — фр. текста), которые были «непрестанно предметом его помышлений» и «спасительное влияние» которых он надеется распространить на все свои владения; в Польше их оказалось возможным ввести теперь же, потому что она к тому подготовлена организацией, ранее существовавшей в этой стране. Польша дала таким образом Александру «средство явить его отечеству то, что он уже с давних лет ему приготавливает и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащий зрелости». Александр призывает поляков раскрыть на деле консервативную, охранительную основу «законно-свободных учреждений», принципы которых напрасно смешивают с революционными, тогда как они, если осуществлять их разумно и добросовестно, «совершенно согласуются с порядком». Конституционная организация Польши, подобно финляндской, была для Александра шагом к все тому же преобразованию империи. Первой мерой к этой более общей цели намечалось Александром (еще в «главном акте» Венского конгресса, как и в особом трактате между Россией и Австрией относительно Польши) предположенное им «дарование этому государству, пользующемуся особым управлением, внутреннее распространение, какое он найдет удобным». Под «внутренним распространением» (*extension* — фр. текста) разумелось определение территории Польши со стороны русской империи, так как венскими трактатами определялись только ее внешние для империи пределы. Тогда же были заключены между тремя соседними державами соглашения, которые должны были обеспечить свободу торгового обмена между «всеми областями и округами, составлявшими прежнее королевство Польское», — с пояснением: «...как оно было до 1772 г.». Очевидно, что Александр не считал территории царства Польского, как она сложилась из отошедших под его власть земель бывшего княжества Варшавского, законченным целым, а рассматривал область прежней Польши в пределах до 1772 г., т. е. до первого раздела, как район, объединенный экономическими и культурными (польскими) интересами. Такое воззрение на земли, отошедшие к России по польским разделам, сказалось

и раньше в деятельности Виленского учебного округа, под управлением кн. Адама Чарторыйского (с 1803 г.), и позднее — в объединении военного управления западных польских губерний с командованием военными силами царства Польского в руках великого князя Константина Павловича, а политического — в руках комиссара по организации царства Польского Новосильцева. Подготавлилось, не иначе, однако, как в связи с общим переустройством империи, объединение всей этой территории в одну местно-автономную область.

Подготовкой соответственной общегосударственной реформы был проект 1816 г. о разделении всей империи на 12 наместничеств; во главе каждого — наместник с обширными полномочиями по всем отраслям управления, с правом приостанавливать исполнение сенатских указов и министерских предписаний, при их несоответствии местным условиям, и делать непосредственные представления императору по всем делам через Комитет министров. В то же время проведено и разделение военных сил на две армии — северную и южную — и пять отдельных областных корпусов; кроме литовского, поставленного в связь с польской армией, это корпуса: финляндский, оренбургский, сибирский и грузинский (с 1820 г. — кавказский). Сперанский был прав, когда, привлеченный по возвращении из почетной ссылки к разработке этого проекта, характеризовал должность наместника, или генерал-губернатора, как учреждение, стоящее в ряду высших, по существу центральных государственных учреждений: «Министерское установление, — писал он, — будет иметь два вида: один — общий, в коем все дела разделяются по предметам, другой — местный, в коем дела разделяются по округам». На деле получилось бы, конечно, неразрешимое противоречие между министерской централизацией и наместнической децентрализацией верховного управления. Но мысль Александра вполне раскрывалась не в этом проекте бюрократической децентрализации, которая ему представлялась системой управления страной при посредстве полномочных и лично доверенных лиц, более гибкой, чем громоздкая машина министерской организации, а в конституционном проекте 1818 г. По этой «государственной уставной грамоте Российской империи», которую Новосильцев спроектировал по поручению Александра, Российское государство «со всеми владениями, присоединенными к нему под ка-

ким бы наименованием то ни было» (т. е. и с Финляндией, и с Польшей), разделяется, применительно к области особенностям населения, географического положения, нравов и обычаев, особых местных законов, на большие области — наместничества. Только обе столицы с их областями изъяты из такого деления. Общегосударственное управление остается за императором, однако, при содействии Государственного сейма и 10 ответственных по суду за нарушение уставной грамоты министров. Наместник управляет при содействии совета из членов, частью назначенных от министерств, частью избранных от губерний; сеймы наместнических областей — орган «народного представительства» для рассмотрения местных узаконений, а иногда, по почину государя, и общих — избирают «земских послов» в сейм государственный.

Осуществление этого проекта должно было, очевидно, разрешить, по мысли Александра, две задачи: уничтожить тяготившую его зависимость императорской власти от столичной вельможии-бюрократической среды и обеспечить единство империи полным слиянием с нею Финляндии и Польши. Особые конституции этих стран должны были бы превратиться, при введении общей имперской конституции, в «органические статуты», какие предстояло выработать в развитие государственной уставной грамоты для каждой области. Новосильцев набросал уже и проект особого указа о превращении царства Польского в имперскую область по общей конституции с переименованием польской армии в западную армию Российской империи. Заготовил и проект манифеста, объявляющего эту конституцию и поясняющего ее начала, с успокоительным заявлением, что эта конституционная грамота не вводит ничего существенно нового в государственный строй, а лишь упорядочивает и развивает присущие ему начала. Незначительный объем предоставляемых населению политических прав, сохранение всей инициативы и всей правительственной силы в руках государя и его наместников — согласовали в понимании Александра подобные проекты с сохранением всей полноты самодержавия, которым, он, как личной властью, жертвовать не думал и о котором в те же годы говорил, что обязан его вполне передать своим наследникам.

Александр любил говорить сочувственно о свободе, но понимал ее в духе просвещенного абсолютизма, как право делать то, что законами дозволено, противополо-

гая ее только личной зависимостью от незакономерного произвола; ее лучшая гарантия — сила законной правительственной власти; ей не противоположно самодержавие, поскольку его назначение (согласно определению екатерининского «Наказа») не в том, чтобы «у людей отнять естественную их вольность», а в том, чтобы «действия их направить к получению самого большого из всех благ». Правда, Александр признал необходимость подчинения верховной власти конституционным ограничениям, но лишь поскольку это необходимо, чтобы страна не стала «игрушкой в руках каких-либо безумцев», и лишь настолько, чтобы «сила правительства» не потерпела стеснения в руководящей политической своей деятельности. «Законно-свободные» учреждения должны не стеснять этой силы, а служить ее надежной опорой, наряду с двумя другими: дисциплинированной и надежной армией и системой народного просвещения, воспитывающей граждан согласно с «видами правительства». Эти две проблемы — о надежности войска и духовном подчинении общественной массы — получили особое значение для Александра в связи с развитием общеевропейских событий. Эти события и его активное участие в них вообще сильно усложнили его политическую идеологию, пока не довели ее до полного краха на вопросе, который все глубже и острее разворачивался перед его сознанием: о взаимных отношениях между Россией и Западом.

4. Россия и Европа: борьба с Наполеоном

В 1812 г. Лезюр, чиновник французского министерства иностранных дел, выпустил в свет второе издание своей книги: «О развитии могущества России от ее возникновения до начала XIX в.», а в издании этом привел, в дополнение к аргументам первого издания — 1807 г., — новое доказательство, что существует чудовищный план порабощения Европы Россией, намеченный Петром Великим и систематично выполняемый его преемниками. Лезюр извлек это доказательство из записки, представленной в 1797 г. французской Директории польским полковником Михалом Сокольниковым, под заглавием: «Взгляд на Россию». Тут приведено обстоятельное «резюме плана расширения России и порабощения Европы, начертанного Петром I». Сокольниковый пояснял,

что этот план раскрыт ему изучением России и сведениями, почерпнутыми из варшавских архивов в 1794 г. Лезююр уже утверждал, что такой «документ» — «завещание» Петра — «существует в особых архивах Российской империи», а позднее, в 1836 г., Гальбарда (сотрудник Александра Дюма) опубликует это завещание с началом: «В имя пресвятой и нераздельной Троицы, мы, Петр, император и самодержец всей России...» и т. д. Впрочем, и Сокольниковский, по-видимому, использовал мысль, которая была в ходу среди дипломатов конца XVIII в.: австрийский посол при дворе Екатерины, Кобенцль, упоминал в своих депешах 1796 г. о политическом завещании Петра.

В этом любопытном изложении заветы Петра его преемникам по управлению империей так представлены: усилить Россию насаждением в ней европейской культуры и развитием ее боевой силы в ряде непрерывных войн; расширить ее территорию вдоль Балтийского побережья и на юг, к Черноморью; подготовить покорение Швеции, поддерживая против нее Англию, Данию и Бранденбург, и завоевать ее; развить русскую армию и захватить Константинополь, привлекая Австрию к изгнанию турок из Европы; поддержкой в Польше анархии подготовить ее расчленение; держаться тесного союза с Англией, предоставляя ей широкие, хотя бы монопольные, торговые выгоды, чтобы развить русский флот, по образцу английского, для господства на Балтийском и Черном морях; вмешиваться во все внутренние раздоры Европы, особенно Германии, для ее ослабления и усиления русского влияния на Западе; возбуждать против Австрии германских князей, подчиняя их своему влиянию путем брачных союзов с германскими владетельными домами; покровительствовать православному населению Польши, Турции и Венгрии, чтобы, по разрушении первых двух, покорить и третью, предоставив за нее Австрии вознаграждение в Германии; и, наконец, «нанести великий удар», т. е., начав с раздела власти над Европой то с Францией, то с Австрией, вызвать смертельную борьбу между этими странами, поддержать Австрию, чтобы продвинуть свои войска на Рейн, а в тылу их подготовить нашествие «азиатских орд» морем из Азова и Архангельска для порабощения всей Западной Европы — и Франции, и Испании, и Италии...

Мысль о русской опасности для западноевропейского

мира пользовалась большим успехом в европейской дипломатии и публицистике первой половины XIX в. И в эпоху Венского конгресса английские дипломаты высказывались против перехода Варшавского герцогства под власть Александра, потому что опасно усиливать Россию: ее замысел — расшириться по Зунд и Дарданеллы, превратить и Балтийское и Черное моря во внутренние моря своих имперских владений. Англичане предпочли бы видеть Польшу независимым государством, промежуточным («буферным», как нынче говорят) между тремя великими монархиями — Россией, Австрией и Пруссией, — или отдать ее Пруссии, лишь бы не увеличивать русской империи.

Англичане усматривали опасное проявление русского империализма в инициативе, какую взяло на себя русское правительство по вопросу о защите морской торговли от чрезмерного ее утеснения в периоды войн между морскими державами.

Вооруженный нейтралитет, организованный Екатериной II в 1780 г., был признан в Англии попыткой «подорвать самую основу морского могущества Англии»; восстановление Павлом союза нейтральных держав для охраны их торговли от каперства держав воюющих было направлено против деспотического господства Англии на морях. Прекратив войну с Англией тотчас по вступлении на престол, Александр в июне 1801 г. подписал конвенцию, в которой — отречение России от начал вооруженного нейтралитета. Однако вопрос этот остался острым пунктом разногласий между русским и английским правительствами, даже в период англо-русского союза, в годы коалиции против Наполеона, войны с ним, которую Александр вел на английскую субсидию. Крайняя зависимость русской торговли и промышленности от Англии тяготила, как и решительное хозяйничанье английских каперов в Черном и Балтийском морях. Русское правительство настаивало на признании этих морей закрытыми и для английских военных судов и корсаров, на снятии блокады даже с устьев Эльбы, ввиду важности для России торговли с Гамбургом, а захват англичанами Копенгагенского порта — ключа к Балтийскому морю — вызвал в Петербурге большое раздражение. В годы союза, 1805—1807-й, русское правительство заявляет протесты против насилий английских каперов над русскими коммерческими судами, а в обмене мнѣ-

ниями об условиях будущего общего мира подымает вопрос о частичном хотя бы пересмотре принципов «морского кодекса» как существенного элемента международного права, тему, которую англичане упорно устраивают из программы будущих переговоров на мирном конгрессе. На суше империя традиционно стремилась к полному господству в Восточной Европе, обеспеченному с Запада возможно выгодной военной границей, какой представлялась «граница по Висле», а в предельных мечтах русской дипломатии — прямая линия от Данцига на Торн и Краков.

Опасение русского засилья в европейских делах — яркая черта всей европейской политики первой половины XIX в., нашедшая такое крайнее выражение в «тестamente» Петра Великого, этом польско-французском памфлете против «северного колосса».

Но для Англии это опасение, на котором сходились правительство с оппозицией, было лишь одним из проявлений стародавней и постоянной заботы о том, как бы континентальная Европа не объединилась в прочной политической организации под гегемонией одной из великих держав. Испанию XVI в., королевскую Францию XVIII в. сменила в начале XIX в. великая империя Наполеона. Напрягая все силы и средства в борьбе против этого нового призрака мировой монархии, «владычица морей» защищала свое мировое экономическое господство, расширяла его колониальную базу и настойчиво поднимала против Франции одну коалицию за другой. Франция, чьи национальные силы, возбужденные революцией, искали выхода в мощном расширении своего господства, в империалистическом порыве, создавшем своего героя, была, в данный момент, наиболее опасным врагом. Однако руководители английской политики, обсуждая желательный исход многолетней борьбы, предусмотрительно отстраняли всякие политические проекты, осуществление которых могло заложить основу для смены французского преобладания какой-либо иной общеевропейской гегемонией: поддерживали своими внушениями взаимное недоверие континентальных держав, то пугая соседей России перспективой чрезмерного роста ее силы, то возражая в Петербурге против берлинских планов подчинения германского союза главенству Пруссии.

А между тем Европа переживала огромный кризис,

который, казалось, должен привести к коренной ломке всех исторически сложившихся государственных единиц, на которые она поделена. Подобно тому как революционная перестройка гражданских отношений внутренне перестроила Францию, глубже ее объединила в единую мощную нацию, революционная идеология представляла себе всю Европу освобожденной от государственных границ старого режима и его правительств, объединенной в «братстве народов», обновивших свою внутреннюю жизнь на тех же принципах равенства и свободы не только в гражданском быту отдельных стран, но и в международных отношениях. Подъем экономических сил к развитию, освобожденному от последних пут феодального режима, должен был, по смыслу этих идеалов, охватить весь континент Европы, сокрушая международные границы для широкого, свободного общения и обмена народов плодами их труда и культуры. На деле космополитические порывы Великой французской революции быстро исказились в росте французского национализма, революционные войны выродились в ряд завоеваний, «братство народов» — в подчинение завоеванных стран французскому господству с тяжелой их эксплуатацией для усиления расстроенных финансов Франции и для ее торгово-промышленного преобладания.

На смену революционной Франции пришла Франция Директории, Консульства и Империи с ее безудержным и хищным империализмом. Однако великое революционное дело было сделано. Открыты были пути к обновлению всех общественных отношений на началах свободы и гражданского равенства, а пример французского национального движения и гнет французского господства выковали стремление отдельных наций к политическому самоопределению. На очереди стояла задача международного мира и новой организации Европы. Путь к ее решению шел через преодоление наполеоновской утопии — мировой монархии императора французов.

Задачу «умиротворения Европы» Александр унаследовал от отца. Но Павел мечтал о восстановлении традиционных основ старого порядка, монархического и феодального, пытался объединить против революции реакционные силы аристократической и католической Европы; гроссмейстер Мальтийского ордена, он — покровитель иезуитов и эмигрантов, всех роялистов и церковни-

ков старого мира; на первых порах он легко сошелся и этих планах с Австрией, хранилищем средневековых традиций, и Англией, которая тратила большие усилия и средства на поддержку роялистских и аристократических контрреволюционных смут в недрах самой Франции. Только вражда к деспотизму морского могущества Англии, отказ обслуживать русскими силами корыстные цели английской политики и завоевательные стремления австрийцев в Италии привели Павла к разрыву с коалицией и даже к союзу с Наполеоном, когда тот стал на путь военно-полицейского цезаризма и предложил Павлу раздел власти над миром ради водворения общего «успокоения и порядка».

Александр сразу иначе поставил основания этой международной задачи. Он не мог обосновывать свою политику реакционными феодально-монархическими и клерикальными принципами. Он видел силу Франции в освобождении масс к гражданской свободе, от крепостничества, от цеховой связанности ремесла, от пут старого режима вообще. Борьба с ней не должна быть служением реакции. В первом приступе к серьезным переговорам с Англией о задачах антифранцузской коалиции, в инструкции Новосильцеву, отправленному с чрезвычайной миссией в Лондон, Александр — в 1804 г. — так рассуждает: «Наиболее могущественное оружие, каким до сих пор пользовались французы и которыми они еще угрожают всем странам, это — общее мнение, которое они сумели распространить, что их дело — дело свободы и благоденствия народов. Было бы постыдно для человечества, чтобы такое прекрасное дело пришлось рассматривать как задачу правительства, ни в каком отношении не заслуживающего быть его поборником. Благо человечества, истинная польза законных властей и успех предприятия, намеченного обеими державами, требуют, чтобы они вырвали у французов это столь опасное оружие и, усвоив его себе, воспользовались им против них же самих». Необходимо поэтому согласиться с Англией на отказе от мысли «повернуть человечество назад», т. е. от намерения восстановить в странах, освобождаемых от власти Наполеона, старые злоупотребления и тот порядок, от которого народ отвык, воспользовавшись освобождением и лучшей гарантией своих прав. Напротив, задачей держав должно быть — обеспечить за населением эти достижения и всю-

ду устанавливать такой правительственный порядок, который был бы основан на особенностях данной страны и воле ее населения; в частности, и французам надо внушить, что война ведется коалицией не против французского народа, а против его правительства, «столь же тиранического для самой Франции, как и для остальной Европы». Подражая в этом революционной Франции, Александр рассчитывает, что, твердо придерживаясь таких принципов, коалиция вызовет общий энтузиазм и переход на свою сторону всех народов. Но мысль его идет еще дальше. «Не об осуществлении мечты о вечном мире идет дело — читаем в той же инструкции, — однако, можно приблизиться во многих отношениях к результатам, ею возвещаемым, если бы в трактате, который закончит общую войну, удалось установить положение международного права на ясных и точных основаниях», провести, согласно с ними, всеобщее умиротворение и «учредить лигу, постановления которой создали бы, так сказать, новый кодекс международного права, который, по утверждении его большинством европейских держав, легко стал бы неизменным правилом поведения кабинетов, тем более что покусившиеся на его нарушение рисковали бы навлечь на себя силы новой лиги».

Такова общая идея Александра, сформулированная в секретной ноте-инструкции от 11 сентября 1804 г. В ней же намечены общие соображения о будущем переустройстве Европы: оно должно руководиться рациональными основаниями; прежде всего — границами, какие для данной страны начертаны самой природой, ее естественными горными или морскими границами, а в частности — необходимыми для нее выходами на международные торговые пути, ради сбыта произведений ее почвы и промышленности; далее — необходимо было бы, чтобы каждое государство состояло из однородного населения, подходящего для согласного объединения под одним управлением.

В этой инструкции молодого императора — смелая попытка обновить программу политики держав старого порядка идеями нового мира, порожденными революционным порывом европейской жизни к более широкому и свободному развитию, но в то же время преодолеть этот бурный порыв, вводя его в организационные рамки «законного» правительственного режима. Александр еще не боится общественного энтузиазма. Верный воспита-

ник века Просвещения, он видит в революционном направлении этого энтузиазма только плод тактической ошибки старых монархий, не сумевших вовремя взять в свои руки знамя свободы и равенства и ввести осуществление этих принципов в рамки «законно-свободных» учреждений, организуемых и руководимых законной монархической властью. Обновленная работа этой власти должна быть организована в международном масштабе, и на развалинах старой Европы вырастет новая, под руководством постоянной «лиги» наций, которая приблизит мир к идеалу вечного мира — в отношениях между правительствами и населением их стран и между отдельными странами-государствами. Мысль о таком объединении Европы ради устранения международных конфликтов — мысль XVIII в. Наиболее известным ее выражением был «Проект трактата, чтобы сделать мир постоянным» аббата Сен-Пьера, опубликованный в 1713 г.; тут речь шла о «христианской республике» — своего рода европейской федерации, с разбором всех конфликтов на общих конгрессах, под гарантией общей вооруженной силы; мысль, весьма популярная в идеологических кругах: в 20-х гг. XIX в. ею увлечен А. С. Пушкин, убежденный, что правительства, совершенствуясь в своем строе и в своей политике, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что «тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия». Поэт чутко отметил полицейски-нивелирующую и подавляющую «страсти» тенденцию пацифизма.

Программа 1804 г. ляжет в основу всей международной деятельности Александра. Она тесно связана с той его политической идеологией, которую он себе вырабатывает на вопросах внутренней политики, на планах преобразования своей империи. Укрепить «силу правительства» такой ее организацией, чтобы она действовала не иначе как на пользу важнейшим интересам населения, обосновать ее на полной гармонии власти и населения, дисциплинированного и законопослушного, не за страх, а за совесть преданного своим законным государям, насадителям общего блага, перестроить международные связи на началах, обеспечивающих прочность всеобщего мира, сделать раз навсегда излишними и войны, и рево-

люции — таковы идеи этой утопии. Рациональное преобразование России и Европы для Александра — две части одной задачи. «Россия есть европейская держава», — рассуждала Екатерина в своем «Наказе»; Петр вводил европейские нравы и обычаи в своем европейском народе тем легче, что прежние, бывшие в России нравы совсем не подходили к ее естественным условиям, а были принесены внешней случайностью — «смещением разных народов и завоеваниями чуждых областей»; Петр только восстанавливал европейскую сущность русской народности. Россия — европейская страна, а Европа сознается в XVIII в. как единое культурно-историческое целое. Вольтер развивает мысль, что страны Европы — «одна семья», объединенная религией, учреждениями, культурой, а в политику это воззрение вводится преимущественно австрийской дипломатией с консервативной целью противопоставить «политическую Европу, признающую общие права и общие обязанности», разрушительным действиям революционной Франции и призвать все державы к защите «общего мира, спокойствия государств, неприкосновенности владений и верности трактатам».

Но то, что для автора этих призывов, Кауница, как позднее для Меттерниха, — основа непримиримой реакции, то для Александра — арена исканий прочного компромисса между старой властью и новыми потребностями народной жизни. Разочарование в преобразовательных опытах первых лет выводит его на международное поприще. Только в общеевропейском масштабе представляются ему разрешимыми те задачи, какие он себе поставил в деле внутреннего преобразования империи. Тем более что между этими внутренними имперскими проблемами и судьбами Европы есть связующее звено — польский вопрос.

Александр привлек к управлению иностранными делами России друга своей юности, князя Адама Чарторыйского, в уверенности, что польскому патриоту не придется на этой службе отрываться от служения интересам польской родины. Александр решительно осуждал, подобно отцу, раздел Польши не только как деяние, нарушавшее и подрывавшее те самые принципы международного права и рациональной справедливости, которые он собирався восстанавливать, но и как политический акт, ослаблявший положение России на западной границе

в пользу Пруссии и Австрии. В совещаниях Александра с Чарторыйским речь идет о присоединении к владениям русского императора, который примет титул короля (царя) польского, всех земель Польши до первого ее раздела, так, чтобы имперская граница прошла от Данцига к истокам Вислы и по Карпатам к истокам Днестра. Зато территории Пруссии и Австрии предположено расширить к западу, хотя бы пришлось предоставить Пруссии Голландию, Австрии — владения в южной Германии и даже Италии. Политическое равновесие Европы надо строить на пяти державах: Англии и России, Франции, Пруссии и Австрии; руководящая роль сохранится за англо-русским союзом, так как остальные три слишком разрознены в интересах. Но существенно сохранить им противовес в Испании с Португалией, в Италии, которую лучше бы охранить от австрийского господства, объединив ее государства федеративной связью, по мысли Пিতта, и в самой Германии. Объединение этой страны в едином государстве едва ли возможно, да и нежелательно; лучше — полагал Александр — в духе традиций дипломатии XVIII в. выделить из нее и Австрию, и Пруссию, а из остальных германских государств построить крепкий союз. При таком разделении Европы, особенно ввиду исконного соперничества Англии и Франции, Россия получит преобладающее влияние в делах. Восточный вопрос лучше пока на очередь не ставить, но если в ходе событий рухнет неустойчивое равновесие на Балканском полуострове, то следует иметь в виду разделение европейских владений Турции на несколько автономных областей, соединенных в федерацию под протекторатом русского императора, или частичный их раздел с предоставлением Австрии сербохорватских земель, а России — Константинополя и проливов, Молдавии и части Валахии.

Политика принципов наполнялась в этих проектах 1804 г. весьма конкретным империалистическим содержанием. Путь к осуществлению всех этих планов вел через борьбу с Наполеоном за господство над Западной Европой.

Английский премьер Питт сравнивал кризис, переживаемый Европой под напором французской силы, с тем, какой вызвала в конце XVII в. завоевательная политика Людовика XIV. «Спасителем Европы» явился тогда Вильгельм Оранский, воодушевивший все держа-

вы на коалиционную борьбу с Людовиком; к этой роли призывал Питт Александра. Подобная перспектива увлекала русского императора. Размышления над нею и разработка соответственной политической программы выводили его идеологию на те широкие пути, которые определились в планах 1804 г. Но, по существу, они не были подсказаны Александру со стороны: в них много павловского наследия, переработанного в новом духе.

Основными элементами коалиции должны были стать Россия и Англия, Пруссия и Австрия. Для Англии ее борьба с революционной и с наполеоновской Францией была продолжением их векового соперничества на почве колониальной политики и стремления Франции развернуть свои экономические силы развитием самостоятельной французской морской торговли. Англия упорно защищала свое морское господство. И для Александра в этом был труднейший пункт его конечного плана — установить прочную систему международного права: программная инструкция 1804 г. отмечает эту наиболее трудную задачу — убедить Англию в необходимости пересмотра ее «морского кодекса» для обеспечения прав и интересов других держав на началах «порядка и справедливости». Еще сложнее был вопрос о русско-прусских отношениях. Александр унаследовал от отца глубокую симпатию к Пруссии как образцу гатчинской военщины и гатчинской дисциплины. Летом 1802 г. он едет в Мемель посетить митрополию своей гатчинской школы, «расширить свои познания в военном строе и парадах», которым придавал «большую важность и обладал почти в такой же степени, как и его брат Константин» (по свидетельству кн. Чарторыйского). Семейные симпатии и традиции делали, с другой стороны, прусскую королевскую семью — не чужой для него, не иностранной, а родственной и близкой. Личная дружба с Фридрихом-Вильгельмом, очарование прекрасной королевы Луизы, которому и современники и потомки склонны придавать крайне преувеличенное значение даже в политике Александра, закрепляли эти прусские связи, выразившиеся в октябре 1805 г., накануне Аустерлица, пресловутой клятвой вечной дружбы двух государей у гроба Фридриха Великого. Пруссия, как по-своему законченный тип военно-бюрократического государства и патримониального монархизма, и без того занимала большое место во всем складе воззрений и симпатий Александра. Пруссия,

как одна из крупных политических сил Европы, представлялась ему, с другой стороны, необходимым элементом европейской системы, связь с нею, влияние на нее — одним из устоев европейской политики России. Мысль, сосредоточенная на роковой неизбежности борьбы против Наполеона, осложнялась сознанием противоречия между необходимым для этой борьбы союзом с Пруссией и противоположностью ее интересов имперским планам Александра в области польского вопроса и вообще западных пределов России. Общий принцип естественных границ и, особенно, выходов на мировые торговые пути, который намечался как одна из основ будущего переустройства Европы, получал такое применение в обсуждениях между Александром и Чарторыйским, что для России, для ее торговых и стратегических интересов, необходимы устья Немана и Вислы, без которых невыполнимо обеспечение Литве и Польше здоровых условий развития, как и без австрийской Галиции — неразрешима организация Польши и установление твердой западной границы империи, для Пруссии, однако, явно неприемлемое. Из этих рассуждений Чарторыйский делал решительный вывод, что разрешение этих задач внешней политики России возможно только путем войны с Пруссией, которая должна предшествовать борьбе против Наполеона и создать для этой борьбы надлежащую базу. Александр отступил перед такой перспективой и пошел иным путем — организации антифранцузской коалиции, полагая, что победа над Наполеоном даст возможность провести переустройство Европы на мирных конгрессах. Однако Пруссия твердо замкнулась в системе выдержанного нейтралитета северной Германии — со времени своего выхода из первой коалиции по Базельскому миру 1795 г. Тщетно убеждал Александр своего берлинского друга, что «действительная, непреходящая польза» Пруссии требует ее присоединения к коалиции, что покорность Наполеону, только прикрытая нейтралитетом, ведет, «после многих дорогостоящих уступок и с вечным упреком за содействие предоставлению всемирной монархии тому, кто так мало этого достоин, к полному и неизбежному разрушению его государства». Фридрих-Вильгельм сделал в 1804 г. последнюю попытку удержаться в равновесии между Францией и Россией и пошел только на декларацию о готовности своей оказать вооруженное сопротивление всяким новым нарушениям северно-германского

нейтралитета Наполеоном, в союзе с Александром, с которым он согласен «в принципах». Эта неудача не остановила, однако, настояний Александра на присоединении Австрии к англо-русскому союзу. Преодолеть нерешительность австрийского правительства стоило немалого труда. Кобенцль ясно видел огромные размеры риска, указывая представителям России, что-де «мы находимся у дула пушки и скорее будем уничтожены, чем вы сможете притти к нам на помощь», тем более что население габсбургских владений отнюдь не проникнуто необходимым доверием и уважением к своему правительству. С трудом примирялась Австрия с потерей своих итальянских владений и с упадком своего общегерманского значения, но признала за Наполеоном его императорский титул, который он сам рассматривал как возрождение императорства, созданного Карлом Великим, что и выразил позднее в титуле римского короля для своего сына. Франц II стал титуловаться императором австрийским, уступив таким образом «корсиканцу» притязания Срященной Римской империи на общеевропейское главенство.

Александр не признал ни того, ни другого. Но как ни соблазнял он Австрию русской военной поддержкой, в своевременность и достаточность которой в Вене плохо верили, и английскими субсидиями, из-за размера которых шла продолжительная торговля, ему в 1804 г. удалось и от Австрии добиться только декларации, и то отредактированной весьма осторожно, о готовности действовать вместе с Россией для предотвращения и отражения новых нападений Наполеона на одну из договаривающихся сторон (со стороны России разумелось нападение на русские войска, занимавшие Ионические острова) или опасные для них захваты его в Германии. Не одна опаска перед силой Наполеона и сознание своего бессилия обусловили такую осторожность австрийских правителей. Они с недоверием озирались на Россию, толкавшую их в тяжелую и опасную войну, и на старую соперницу, Пруссию: в декларации были оговорены гарантия неприкосновенности Турции «в том положении ее владений, в каком оные ныне находятся», и в особой статье — обязательство России обеспечить нейтралитет Пруссии; оговорено и обязательство Александра выторговать у Англии крупную денежную субсидию для австрийцев. Характерно в этой декларации так-

же признание целью коалиции, по мысли Александра, «не выполнение контрреволюции, но единственно отвращение общих опасностей Европы», так как «правила обоих государей не позволяют им ни в каком случае стеснять свободную волю французской нации».

Коалиция была и не полна — без Пруссии, и военные силы не были достаточно подготовлены для совместных действий, когда в апреле 1805 г. заключен окончательно англо-русский договор, к которому в июле присоединилась и Австрия, поддавшись самонадеянности одной из групп своего высшего командного состава. А Наполеон едва ли преувеличивал, когда заявлял официально в Берлине, что ему ясны все планы его противников во всех их последствиях. Покинув подготовку фантастического проекта десанта в Англию, он открыл военные действия на суше. Опасения Кобенца быстро оправдались. Австрийские силы были сокрушены раньше, чем подошла русская армия. Кроме медлительной мобилизационной техники, в этом запоздании сыграли свою роль и переговоры с Пруссией о пропуске русских войск. Личное посещение Берлина Александром, озаглавленное клятвой взаимной дружбы в Потсдаме, привело к запоздалому заключению договора о присоединении Пруссии к антифранцузской коалиции, обусловленному, однако, предварительной попыткой прусского посредничества для немедленного восстановления мира. 3 ноября (22 окт.) подписан этот договор, а еще 19 октября генерал Мак капитулировал со всей своей армией, 13 ноября Наполеон вступил в Вену и разрубил узел весьма напряженного положения, когда сколько-нибудь серьезная неудача могла его погубить (с выступлением Пруссии и подходом всех австрийских сил), 2 декабря (20 нояб.) Аустерлицкой победой.

Аустерлиц лег тяжелой тенью в личной жизни Александра. Он сам провел всю дипломатическую подготовку коалиции и войны, распоряжался ее военной подготовкой и сам настоял на решительной битве, вопреки мнению главнокомандовавшего союзной армией Кутузова. Он словно пробовал силы на широком поприще правителя большого государства, памятуя совет Лагарпа — выслушивать мнения министров и других ответственных исполнителей, но решать самому, без них. Вся кампания — и дипломатическая, и военная — кончилась катастрофой. Александр чувствовал, что ответственность воз-

лагают на него, но сам досадливо складывал ее на свой «кабинет» и на Кутузова, к которому навсегда проникся ревнивой антипатией и недоверием.

Положение Чарторыйского в роли руководителя ведомства иностранных дел стало невозможным. В марте 1806 г. он обратился к императору с письмом, в котором дал любопытную характеристику сложившихся отношений. Он выясняет как причину полной неудачи попыток внести единство и планомерность в управление делами государства стремление Александра «брать исключительно на одного себя ответственность не только за каждое принятое решение, но даже за его исполнение, вплоть до самых мельчайших подробностей», его стремление «все решать единолично, как в делах военных, так и в гражданских», особенно в острые моменты, «когда дело идет о принятии таких решений, от которых зависит спасение или гибель государства». Входя во все детали иностранных дел, Александр лично избирал представителей России за границей или ставил рядом с ними доверенных людей, особо уполномоченных, не считаясь обычно с мнением министерства; сам редактировал и изменял инструкции. Выполнение коллективно намеченных планов теряло устойчивость и последовательность под давлением его личных действий. То же и в делах военных. Чарторыйский укорял Александра в замедлении рекрутского набора и приказов о мобилизации, в несвоевременном движении войск на театр действий — из-за его личных колебаний и медлительности. Отъезд Александра в действующую армию состоялся вопреки настояниям окружающих. Ему указывали, насколько его присутствие свяжет высшее командование, подорвет его ответственную самостоятельность, перенесет эту ответственность всецело на него самого. «Государь, — писал ему Чарторыйский, — не доказавший еще на опыте своего умения командовать, никогда не должен ставить себя в такое положение, где, в известный критический момент, он может быть вынужден принимать сам лично быстрые и бесповоротные решения». А при армии Александр, не принимая открыто командования, связывал главнокомандующего своими решениями, подрывал его авторитет, выслушивая разноречивые мнения штабных генералов, лично осматривал передовые позиции и движения колонн, чтобы быть на виду у армии, вместо того чтобы «лишь в крайних случаях пользоваться тем впе-

чатлением, какое производит на войска его личное появление», как ему советовали.

Но Александр не мог примириться с такой организацией управления, которая, как ему казалось, отдаляет его от власти, ни, тем более, от такой постановки военного управления и командования, которая отдаляет его от армии. Держать в своих руках все устои «силы правительства», лично определять все направление и содержание правительственной деятельности и возможно ближе, непосредственное руководить ее ходом, как в ее целом, так и в существенных деталях, было для Александра не только делом личного честолюбия, но и сознательным выполнением выпавшей на его долю роли правителя-самодержца, к тому же захваченного широкими планами перестройки своей империи и всей Европы на принципиально новых основаниях. Александр вернулся в Петербург после Аустерлица сильно подавленным. Де Местр сообщал о нем, что его удручает мысль о бесполезности императора, который не в силах стать полководцем. Однако, разбираясь в крайне тяжелом и сложном политическом положении, он нашел себе выход из упадка духа — в уничтожающей критике действий исполнителей своих предначертаний и союзников. Мысль сосредоточивается на возможности реванша, который вернет к прежним широким планам, на сохранении и подготовке необходимых для этого условий.

Политические последствия Аустерлица казались решительными. В том же декабре 1805 г. Австрия совсем капитулировала перед Наполеоном по миру, заключенному в Пресбурге; Пруссия заключила с ним в Шенбруне союзный договор, который после нерешительных переговоров получил ратификацию Фридриха-Вильгельма. В первых же переговорах с Россией — о перемирии, затем о мире — прозвучали совсем «тильзитские» ноты: свобода действий Наполеону на Западе, Александру — на Востоке. Переговоры эти продолжены русским уполномоченным Убри в Париже и привели его к подписанию мирного трактата в июле 1806 г. — с признанием императорского титула Наполеона и всех его европейских распоряжений. Но Александр еще отступает перед таким шагом. Все эти договоры сулят только «мнимое умиротворение», отдают и Австрию, и Пруссию, и Польшу, которая на Наполеона возложит все надежды, в руки императора французов: он станет подлинным императором.

ром Европы, этот «узурпатор». Цель Александра — сохранить почву для возрождения коалиции; в этом духе идут его сношения с Австрией, а Пруссия заменяет свою политику «нейтралитета» своеобразным союзничеством на две стороны, с двумя органами своей внешней политики — официальным для Франции и неофициальным для России, с которой, в противовес Шенбрунскому договору, обменивается «союзными декларациями», обязуясь — с заявлением, что Шенбрунский трактат не нарушает прежних союзных отношений к России, — не помогать Наполеону, если бы между ним и Александром завязалась борьба из-за Турции или если бы Александр нашел своевременным подать помощь Австрии при нарушении Францией Пресбургского мира, и принимая обязательство Александра «употреблять постоянно большую часть своих сил на защиту Европы и все силы Российской империи на поддержание независимости и неприкосновенности прусских владений». Весь смысл этих «деклараций» был для Александра в том, чтобы удерживать Пруссию от перехода вполне в ряд врагов коалиции — вассалов Наполеона — и сохранить в ней расчет на покровительство России. Ход событий завел дальше этого. Александр отказался утвердить договор, заключенный Убри, а Пруссия не удержалась в своем двусмысленном балансировании между двумя империями и не достигла своей цели усилиться в северной Германии образованием «Северного союза» немецких княжеств, под своим главенством, и приобретением Ганновера. В расчете на русскую помощь, Фридрих-Вильгельм поставил Наполеону ультимативные требования, на которые тот, видя перед собою опять возрождение коалиции, а в тылу восстание Испании, ответил уничтожением прусской армии в двойном бою 14 октября: под Иеной и Ауерштедтом; 25 октября маршал Даву занял Берлин. Пруссия казалась уничтоженной. Во всяком случае, ее судьба — в руках Наполеона.

Перед ним большая задача: утвердить свое господство над всей континентальной Европой, спаять ее в одну политическую систему под своим главенством, перестроить ее в крепкую федерацию под гегемонией Франции и противопоставить ее главному противнику — Англии. Великая империя не может существовать только на суше. Наполеон давно борется за французское господство на Средиземном море: Италия, Испания долж-

ны войти в имперскую систему Европы, Турция — под его опеку. В Берлине, в этот момент торжества, оформилась идея «континентальной блокады» — этой экономической спайки всего континента под французским господством, с полным бойкотом английской торговли, пока «владычица морей» не смирится перед императором Запада и не подчинится его директивам. Но в эту систему необходимо ввести и Россию: силой или миром. Игнорировать ее нельзя: слишком это и политически, и экономически существенная часть европейского мира. Разграничиться с ней трудно: ее ближневосточные притязания врезаются в средиземноморскую политику, Наполеона, польские — в среднеевропейскую, балтийские — в северную, во все вопросы, связанные с Англией и Пруссией. В ней источник новых «коалиционных» опасностей, новой борьбы за добытое с таким напряжением сил европейское господство, еще не закрепленное, еще зыбкое и шаткое в основах. Еще много трудностей в организации имперского господства на Западе; необходимо ввести Россию в континентальную систему, оторвать ее от Англии, парализовать ее поддержку всем противоборствующим Наполеону силам.

Александр видит свою империю в большой опасности. Наполеон грозит выбросить его из Европы. Дело не только в мероприятиях, направленных на то, чтобы убить возможность для Австрии и Пруссии новой борьбы, нового союза с Россией. Наполеон подымает, возрождает Польшу, организует ее силы, восстанавливает ее бывшее значение — передового поста Западной Европы против России. Гений военного империализма вновь и вновь принимает обличие носителя революционных начал — освобождения народов, грозит отнять у Александра его мечту о захвате этого мощного орудия в пользу «законных» правительств. Увлечены этим «порождением революции» поляки, но не увлекутся ли и русские? Уже раньше, вступая в первую борьбу с Наполеоном, Александр, только что упразднивший «тайную экспедицию» с резким осуждением в манифесте 2 апреля 1801 г. административного произвола в деле полицейского сыска и охраны порядка, учреждает вновь, при отъезде своем в армию, особый комитет по «сохранению всеобщего спокойствия и тишины», перестроенный в январе 1807 г. с новыми широкими полномочиями в «комитет общей безопасности». Цензурные распоряжения воспрещают

касаться польского и крестьянского вопросов: Александр встревожен народными толками о том, что-де Бонапарт писал ему, чтобы он освободил всех крестьян, а то война никак не прекратится, что француз крестьян не тронет, а только помещиков истребит, чтобы народ вызволить от утеснения. Мало того. Наполеон снова, как в дни своей египетской экспедиции, разворачивает обширные планы восточной политики. Завязывает сношения с Персией, против которой у Александра шли с 1804 г. военные действия, связанные с недавним присоединением Грузии и укреплением русского владычества в Закавказье. Наполеон увлечен мыслью доставить Персии инструкторов и артиллерию, вернуть ей Грузию, порвать ее связи с Англией, поднять против англичан афганцев, подготовить путь для французского вторжения в Индию. Ближе и реальнее его турецкая политика. Он поднимает Турцию против России. Под давлением французской дипломатии, султан сменяет господарей Молдавии и Валахии, связанных с Россией, другими, ей враждебными; Александр — в ноябре 1806 г. отвечает оккупацией дунайских княжеств и вступает в шестилетнюю войну с Турцией.

В итоге перед Александром на выбор — либо капитуляция перед Наполеоном, либо борьба. Он пытается возобновить борьбу. Призывает Австрию к новому усилию, чтобы «остановить полное крушение мира, который находится под страшной опасностью разрушения и порабощения», возвещает патетичным манифестом возобновление войны с Наполеоном, призывает сверх регулярной армии повсеместное ополчение, объявляет сбор пожертвованных деньгами и вещами, ввиду грозящего иноземного вторжения. Синоду повелено возбудить население религиозным фанатизмом против «неистового врага мира и благословенной тишины», порожденного «богопротивной революцией», из-за которой «за ужасами безначалия последовали ужасы угнетения» сперва для Франции, потом и для всех стран, поддавшихся этой заразе, сущего антихриста, который в Египте «проповедовал алкоран магометов», а в Париже собрал еврейский синод с мыслью устремить евреев против христиан и разыграть роль «лжемессии», а теперь «угрожает нашей свободе».

Александр явно мечтал создать в 1807 г. «отечественную» войну, войну национальной самообороны для Рос-

сии, освободительную для Западной Европы. Покушение это было выполнено с явно негодными средствами и привело к новому срыву. Однако безнадежность положения для возрождения коалиции выяснилась не сразу. Удачный авангардный бой под Пултуском (26 декабря), сильно преувеличенный в донесениях Беннигсена, кровавая и упорная битва под Эйлау (8 февраля 1807 г.), обессилившая обе стороны, — колебали представление о непобедимости Наполеона. Положение его — трудно, напряженно, кажется не только врагам, но и ему самому и его окружающим постоянно висящим на волоске. Много потеряно пленными, много дезертиров, особенно из нефранцузских воинских частей; колеблется почва его власти во Франции, где идет глухая, подавляемая, но упорная партийная борьба, нарастающая ненадежность ряда маршалов и политических деятелей империи — все соблазняло на борьбу за сокрушение нависшего над Европой владычества. В переговорах с Пруссией о дальнейших действиях заново прорабатывается идея освобождения Европы и ее переустройства для обеспечения давно желанного мира — под опекой четырех держав, России, Пруссии, Австрии и Англии, для укрощения Франции рядом гарантий против новых ее выступлений. Конвенция, заключенная Россией и Пруссией в апреле 1807 г. в Бартенштейне, обновляет план коалиции с целью «предоставить человечеству блага всеобщего и прочного мира, утвержденного на основе порядка владения, обеспеченного, наконец, за каждую державою и поставленного под гарантию всех». Конвенция и намечает основания переустройства Европы, как бы подготавливая решение будущего конгресса. Однако, ни Англия, ни Австрия, ни Швеция не присоединились к этой конвенции. Англия, изверившись в результатах континентальной борьбы и недовольная прусскими и русскими планами собственного усиления (Пруссии в Северной Германии, России — в Дунайских княжествах), отказала Александру и в дальнейших субсидиях, и в крупном займе. За Бартенштейнской конвенцией последовал (14 июня) Фридланд, новая победа Наполеона, ознаменовавшая годовщину его первого большого дня у Маренго, победа, которая на время покончила с Пруссией и сломила сопротивление Александра. Наполеону еще раз удалось разбить объединявшиеся против него силы, их временно разрознить, в ожидании, пока оправятся смятые элемен-

ты коалиции. На этот раз настала длительная «интермедия», мнимый перерыв все той же борьбы, ушедшей в подполье глухой интриги, дипломатической игры и подготовки новых сил. Можно повторить слова французского историка: «Сколько понадобится России месяцев или недель, чтобы оправиться, восстановить связь с Австрией, поднять из упадка Пруссию, привлечь заново Англию? Весь вопрос был в этом, и не было другого; все, что предстояло «другое», было только фантасмагорией авансцены и спектаклем интермедии» (Сорель). Понадобились не недели, а годы, но они протекали в напряженном ожидании, что вот-вот интермедия кончится и возобновится подлинная историческая драма.

5. Борьба с Наполеоном: от Тильзита до Парижа

Имя этой интермедии — «тильзитская дружба». Крушение коалиции вело с неизбежностью либо к решительной борьбе между Россией и Францией, либо к их соглашению, из которого обе стороны могли извлечь значительные выгоды: Наполеон — возможность беспрепятственно закончить организацию своего европейского господства, Александр — завершение прибалтийских и черноморских планов русского империализма. Мысль о разделе власти между двумя императорами, которую Наполеон выдвигал в сношениях с Павлом и к которой стал возвращаться после Аустерлица как к выходу, хотя бы временному, из чрезмерного напряжения своих сил, стала и с русской стороны выступать как нечто, по обстоятельствам, неизбежное. «Будьте уверены, — писал Строгонов Чарторыйскому в январе 1806 г., — что есть только один способ уладить все это, но этот способ был бы у нас, вероятно, признан нечистым и безнравственным, хотя он весьма простителен в той доброй компании, какая управляет Европой: это было бы — круто перейти к союзу с Наполеоном и вместе с ним съесть пироги». Цинизм, весьма мало свойственный П. А. Строгонову, тем более характерен; он вызван разочарованием в союзных силах, которое доводит его до восклицаний о «гниении континента». Для Александра — при невозможности борьбы такое соглашение оставалось единственным способом обеспечить от решительных покушений Наполеона свои цели и в польском вопросе, и в ту-

рецких делах, а вместе с тем сберечь возможности новой будущей коалиции. Интермедия союза и дружбы была разыграна превосходно. Играли первоклассные актеры. Про Александра — еще во время его детства — бабушка сообщала своим иностранным корреспондентам о его редких мимических способностях, уменье разыгрывать разные роли. Придворная жизнь вышколила это дарование, выработала навыки самообладания и уменья принимать все обличия, выдерживать весь тон, подходящий к обстоятельствам, выражать настроения и чувства рассчитанно и применительно к желательному впечатлению на окружающих, на того или иного собеседника. Лагарп, хотя и «республиканец», сумел внушить питомцу сознание важного для него уменья «разыгрывать императора» при всяком публичном появлении и в общении с государственными деятелями. Александр не только усвоил эту технику императорства; он умел и входить в роль, проникаться ею, вызывать в себе соответственные любому положению переживания, никогда не отдаваясь им всецело. Он их действительно переживал, умея навинтить себя на них до иллюзии искренности, быть может, не только перед другими, но и перед самим собой. Но отдаться цельно какому-либо увлечению, идеей ли или человеком, он не мог, не умел, да и не хотел: слишком он для этого эгоцентричен, да и слишком — император, всегда помнящий расчеты личной и государственной политики. Уверенная в своей мощи, более порывистая и яркая натура Наполеона чаще давала волю своим проявлениям. Казалось, что он часто забывается, выходит из себя, высказывается с потрясающей безудержной откровенностью, резко вскрывает свои мысли и чувства, расчеты и опасения. Но он обычно владел этими вспышками, разыгрывал их как приемы воздействия, в речах, в дипломатических нотах, приказах по армии, манифестах и даже официальных статьях парижских газет и в личных письмах. Большой любитель классической французской драмы, поклонник великого артиста Тальма, он говорил ему, что сам играет «трагедию на троне».

Глубокий реализм в понимании людей и политических положений сочетался в нем с богатой и безудержной игрой воображения, строившей колоссальные планы и сложнейшие комбинации, утопический размах которых насыщал эмоциональной мощью его практически рассчитанные шаги превосходного организатора и властно-

го вождя. Оглядываясь на протекшую жизнь в одиночестве на острове Св. Елены, он признавал, что никогда не был, по-настоящему, самим собой. «Стоял я — так говорил он — у руля и держал его сильной рукой, однако, часто удары нежданной волны были еще сильнее»; а на вопрос, к чему он, собственно, стремился, отвечал, что сам того не знает, и пояснял: «Потому, что, ведь, в самом деле, я не был хозяином своих поступков, так как не был настолько безумен, чтобы стремиться скрутить события применительно к построению моей системы, а, напротив, применял свою систему к непредвиденной конъюнктуре обстоятельств». Смелые порывы воображения и трезвые расчеты политики вели его, в сложном взаимодействии, к попыткам осмыслить каждую «конъюнктуру обстоятельств» и овладеть ею, к ней применяясь. Она определяла очередные задачи, очередную роль, какую надо взять и разыграть.

Конъюнктура обстоятельств 1807 г. привела к Тильзитскому миру. В его основе — отказ обоих контрагентов от всеобъемлющих планов, Александра — на Западе, Наполеона — на Востоке. По форме — это союз вечной дружбы, решительный раздел сфер влияния и действия, договор, установленный в театральной обстановке личного свидания двух императоров в павильонах на плоту посреди Немана, против Тильзита, 25 и 26 июня.

Тильзит казался многим — а многим и до сих пор кажется — полным переворотом в направлениях политики Александра. Более прав Альбер Сорель, когда называет Александра «одним из наиболее последовательных людей, какие когда-либо были, несмотря на все зигзаги его политики, прорывы его фантазии, неожиданности его излияний». Менялись, по обстоятельствам, пути и приемы, не общие намеченные цели. Коалиция рухнула; нельзя ли продвинуться в том же направлении через соглашение с Наполеоном? И Александр намечает признание за Наполеоном Западной империи во всем ее объеме, однако, пытается защитить и Люксембург, и королей Неаполя и Сардинии, особенно Пруссию, готовый взять ее земли до Вислы, но с вознаграждением ее хоть Чехией; пытается уклониться от континентальной блокады, которая разорила бы Россию, и заменить ее возрождением вооруженного нейтралитета, чтобы ослабить морское господство Англии и усилить русское влияние на Севере; он готов на раздел мира между двумя империя-

ми, но с гарантией своего преобладания на Ближнем Востоке. Все это не пройдет в переговорах с Наполеоном, а потому новый союз только прикроет блестящим покровом прежнее соперничество и подготовку сил к новой решительной борьбе. Пришлось принять континентальную блокаду, что создало для Александра крайне напряженное положение внутри страны, подрыв внешней торговли, расстройство финансов, раздраженную оппозицию крупных землевладельческих кругов, питаемую убытками на замершем вывозе русского сырья и ростом цен на привозные товары. Неприемлемо было для Наполеона стремление Александра сохранить роль протектора подавляемых им западноевропейских государств. Но всего острее стали между ними вопросы — польский и турецкий.

«Если Франция и Россия в союзе, то весь мир должен им покориться», — говорил Наполеон в Тильзите. Но Александр должен отказаться от защиты интересов Англии, Австрии, Пруссии, увидеть в них «врагов России» и не препятствовать Наполеону строить на Западе «великую империю». Ее господство Наполеон не думает распространять к востоку, за Эльбу. Как и в прежних переговорах с Россией, он указывал на то, что гарантией мирных и союзных отношений между двумя империями должно служить отсутствие у них общей границы. В начале он русскую западную границу намечает по Висле. Но он связывал такую границу с полным устранением Пруссии как значительной державы. Настояния Александра на сохранении Пруссии и его проекты компенсации прусских территориальных потерь другими владениями — раздражали Наполеона и будили в нем справедливые подозрения о задних мыслях нового «друга». Он шел даже на предложение Александру признать его или его брата Константина польским королем за согласие на то, чтобы Силезия стала самостоятельным владением его брата Жерома. Лишь бы порвать связи России с Пруссией, лишь бы так принизить Пруссию, чтобы она перестала быть силою в политическом равновесии Европы. Настояния Александра довели его до отказа от Силезского проекта, и он продиктовал в 4-ю статью Тильзитского договора, что соглашается возвратить прусскому королю перечисленные в этой статье земли — «из уважения к русскому императору и в изъявление искреннего своего желания соединить обе нации узами дове-

ренности и непоколебимой дружбы». Но эта уступка в корень изменила постановку польского вопроса. Из остатков польских владений Пруссии создается Варшавское герцогство, территориально и политически искусственное и бессильное, без выхода к морю, не охватывающее, с другой стороны, даже этнографической Польши, «голова без туловища», по выражению польского историка. Александр не захотел явиться в Польше ставленником Наполеона, да еще за цену полного разрыва с Пруссией, надеясь в будущем создать иные, более широкие условия для выполнения своих польских планов, о которых не переставал говорить полякам, осторожно и уклончиво, хоть и многозначительно. Его любезное предложение признать Жерома Бонапарта польским королем — звучало почти иронией. Наполеон отклонил эту мысль, видя в ее осуществлении источник немедленного возобновления напряженных отношений на восточных своих окраинах, чего хотел хоть на время избежать: тут нужен, пояснял он, кто-нибудь, кто не смущал бы ни Россию, ни Австрию. Он отдал Варшавское герцогство саксонскому королю, без объединения двух территорий, так как Силезия осталась за Пруссией: пришлось оговорить в трактате, что король саксонский будет пользоваться свободным путем для сообщения с Варшавским герцогством через прусские владения. Можно сказать, что в этой области — в судьбе территорий по Висле — все осталось на весу, в неустойчивом и условном равновесии, чреватом дальнейшими столкновениями и доступном для новых комбинаций, которыми непрерывно занята мысль Александра. Его ближайшая забота — чтобы Польша не стала вполне орудием Наполеона, его форпостом на Востоке, в корню разлагающим возможности новой коалиции, и не ушла бы безнадежно из-под его собственного влияния в духе проектов, какие он обсуждал с Чарторыйским. На деле Польша уходила из его рук, Наполеон вырастал в национального польского героя, становился центром польских патриотических надежд. Зная, насколько чужд Наполеон какому-либо увлечению «польской идеей», с которой умело заигрывает по мере надобности, но к которой относится с таким же пренебрежением, как ко всякому национальному движению, Александр настаивает на гарантиях, что он ее не использует во всю ширь против России, что он никогда не возьмет на себя восстановления Польши, и получает ряд

заверений в этом, не закрепленных, однако, никаким официальным актом: Наполеон держит эту угрозу на весу, не решаясь (даже в борьбе 1811—1812 гг.) ее использовать. В опасный для себя момент 1809 г., когда так ясно выступила внутренняя фальшь союза, только прикрывшего напряжение борьбы двух империй, Наполеон приносит его сохранению в жертву возможность восстановления Польши, дает ей лишь Краков и Западную Галицию, но отдает Александру ее восточную полосу, чтобы вбить глубже клин русско-польской вражды. Соперничество из-за Польши остается неразрешенным.

Не меньшей опасностью для «тильзитской дружбы» стали турецкие дела. Ближний Восток, отношения к которому русская дипломатия стремилась, по возможности, держать вне общей схемы европейской политики, как свое, особое, восточное дело, оказался теснее прежнего втянутым в политические планы Наполеона. Захват Далматии в состав его имперских владений, утверждение его власти в Италии, преследуемая им задача французского господства в Средиземном море — все вело к возрождению франко-русского соперничества на Балканском полуострове, в Константинополе. Давнее опасение, которым русская дипломатия объясняла связь интересов России с делом антифранцузских коалиций, что Франция, если не сдержать ее, «дойдет когда-нибудь и до нас, через Швецию, Польшу и Турцию, и заставит нас сражаться не из-за большего или меньшего влияния в Европе, а за наш собственный очаг», становилось особенно острым и как нельзя более реальным. Обеспечение своих ближневосточных интересов Александр ставил накануне Тильзита прямой ценой своего союза с Наполеоном. Дунайские княжества заняты русскими войсками, в них организуется русское управление. Молдавия и Валахия входит в планы построения всей обширной империи, к разработке которых Александр возвращается в годы Тильзитского мира. Попытка Наполеона оградить Турцию от русского напора французским посредничеством с внесением в Тильзитский договор обязательства удалить русские войска из Молдавии и Валахии, затем попытка навязать России перемирие, во всем выгодное для турок, удалась на деле так же мало, как настояния Александра на освобождении Пруссии от французского засилья. Перемирие, продиктованное французами, не было утверждено, оккупация Дунайских княжеств осталась

в силе. Александр настаивал на признании их за Россией, на содействии союзника в принуждении турок к этой уступке. Наполеон не решается оплатить союзника выдачей ему Турции головой. Если Александр добьется своих целей, ему будет прямой расчет искать соглашения с Англией за признание ею своих приобретений, освободиться от французской опеки, отбросить Францию на крайний Запад. Наполеон и этот вопрос держит на весу, как средство давления на Россию, приманивает Александра тайным соглашением о разделе Турции, не соглашаясь только обещать ему Константинополь: «Константинополь, — говорит он, — это господство над миром». В крайности, он готов признать за Россией Дунайские княжества, но пусть Александр согласится на то, что он отнимет у Пруссии Силезию: обессиленная Пруссия выйдет из строя, русско-прусская союзность станет невозможен; та же игра, что в польском вопросе. И тот же ответ Александра: он не согласен вовсе пожертвовать Пруссией, даже за цену Дунайских княжеств; лучше он от них откажется. 1809 г. и тут привел Наполеона к уступкам. Он согласился устранить свое посредничество из русско-турецких отношений, признал Дунай границей русской империи, если Россия сама доведет до этого Турцию. Он дорого платит за сохранение, во что бы то ни стало, союза, который неизбежно разлагался и накапливал в своих недрах материал для грядущей решительной борьбы.

В том же 1809 г. оформлено присоединение к России Финляндии. Этот подарок союзнику не смущал Наполеона. «Финляндия вам нужна, — говорил он русским, — она слишком близка к Петербургу». Ею, в его сознании, оплачивалось присоединение России к континентальной блокаде, предлогу русско-шведской войны; роль России — быть орудием его антианглийской политики на Севере. Александр использовал это присоединение для приступа к преобразованию империи, которое должно было получить, в его утопичных проектах, широкий размах — и общеимперской, и международной перестройки всех отношений на идейно новых основах; слабый набросок еще неясной, чего-то ищущей мысли.

1809 г. мог казаться моментом завершения усилий Наполеона. На эрфуртском свидании закреплён союз с Россией, завершено тильзитское дело. Затем сломлено сопротивление Австрии, ее попытка взяться за оружие

кончилась Ваграмским поражением. 1810 г. — «апогей Великой империи». Французское господство над Западной Европой завершено. Она поделена на ряд стран, прямо или косвенно, но покорных Наполеону, его военной и политической диктатуре. Могло казаться, что заложено основание для объединения этого мира в прочно спаянное целое, для придания ему стройной окончательной имперской организации. Но все это только мираж. Русский союз — одна видимость, обманывающая только того, кто хочет быть обманутым, и лишь поскольку он этого хочет. Внутри сила имперской власти подкопана изменой, готовностью продать императора ради личных выгод и ради спасения Франции от нарастающей и внешней и внутренней катастрофы. Власть над Европой держится только на голом насилии, нарастает враждебное противодействие, с жадной тревогой следящее за ходом испанской борьбы против французского господства. А сама наполеоновская империя на распутье. Сохранит ли она свой исторический смысл — наследницы революции, закрепляя ее социальные и гражданско-правовые достижения, или пойдет по пути внутренней подготовки реакционной реставрации в усиленном компромиссе с традициями монархизма, аристократизма и клерикализма? Этот вопрос — об исходе непрерывной борьбы двух тенденций во внутренней жизни империи — придал особое значение делу о разводе Наполеона с Жозефиной Богарне и новом его браке. Цель подобного шага — династическое обеспечение империи — осложнена у Наполеона особым настроением — мечтой о династической легализации своей власти родством с одной из старых монархических фамилий. Он остро ощущал, что его власти недостает того монархического ореола, каким — ему казалось — сильны старые династии: он чувствовал себя при сношениях с Габсбургом или Романовым в чуждой, не приемлющей его среде. Он окружает свое императорство пышной торжественностью официальных церемоний, свой престол новой знатью, раздавая титулы герцогов, графов, баронов своим слугам вместе с крупными земельными пожалованиями и большими доходами. Вся инсценировка монархического и аристократического быта кажется ему необходимой оболочкой императорской власти, если ей суждено стать династически прочной: нужно ей и благословение покорной церкви — ко-

рона Карла Великого, возложенная на его голову руками папы. Но он хотел бы не подражательного монархизма — и увлекается примирением с настоящей, старой аристократией, которой наполняет свой двор, свою администрацию. Корни реставрации прорастают в почве его империи, грозят своими победами заглушить наследие революции.

На почве опасений, что брачный союз с одной из старых династий усилит реакционные элементы наполеоновского империализма, выросла своеобразная популярность проекта о женитьбе Наполеона на одной из сестер Александра. Сторонникам этого брака казалось, что русская династия, не связанная с миром «старого порядка» в Европе, окажется наиболее «свободной от предрассудков», не внесет опасных для новых условий французской жизни реакционных традиций. Этот брак был бы для Наполеона, с другой стороны, еще одной скрепой расшатанного, но еще нужного союза, который он хотел бы сохранить устоем своей системы в мировой политике. За брак с Анной Павловной Наполеон был готов заплатить конвенцией, которая «положит конец опасным заблуждениям, какие может еще порождать в сердцах бывших поляков обманчивая надежда на восстановление Польского королевства», формальным заявлением, что «Польское королевство никогда не будет восстановлено», а Варшавское герцогство не получит «никакого территориального расширения на счет тех частей, которые составляли бывшее Польское королевство», и даже, что самые слова *Польша* и *поляки* должны навсегда исчезнуть из какого-либо официального употребления. Но Александр отказал, прикрывшись волей императрицы-матери, и конвенция не получила утверждения Наполеона, хотя и была уже подписана его послом Коленкурот. Наполеон немедленно закончил другое подготовленное сватовство и вступил в брак с австрийской принцессой Марией-Луизой. Тильзитская дружба разрушена, а империя, приняв на свой престол представительницу наиболее старых монархических традиций, пошла по пути, который можно без натяжки назвать «внутренней реставрацией». Наполеоновская империя все больше теряет свой ореол носительницы великих традиций революции в противоположность «старым» монархиям. В ряду его сотрудников зреет мысль о возможности «империи без импера-

тора», о сохранении основных «достижений революции» и компромиссе с иной властью и в мире с Европой. Мечты Александра о том, чтобы вырвать из рук Наполеона «наиболее могущественное оружие, каким до сих пор пользовались французы», — знамя освобождения народов, получают новую и обильную пищу. Развитие событий ведет неминуемо к новой всевропейской борьбе.

«Вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти вместе с Тильзитским миром: самый мир заключал в себе почти все элементы войны». Так судил Сперанский по поводу назревшего в 1811 г. разрыва. «Тильзитский мир для Франции всегда был мир вооруженный». Он не развязал Наполеону рук: несмотря на нужды испанской войны, пришлось сохранить «северную воинскую систему»; сохранить значительные силы в Пруссии и Германии; соорудить Варшавское герцогство. Наполеон понимал, что мир — только перемирие в личной политике двух императоров, не устранившее, даже не ослабившее противостояния двух империй: «Послы его, начиная с Савари, всегда здесь твердили, что мир сделан с императором, не с Россией». Тильзитский мир был крайне непопулярен. Все выгоды этого мира не были столь важны для России, «чтобы вознаградить потерю коммерческих ее сношений». Континентальная блокада — жертва русскими интересами чуждой им политике Наполеона — вызывала глубокое раздражение. Осуждалась в дворянских кругах вся политика Александра. Французские послы сообщали, что в Петербурге развязно и смело толкуют о возможности, даже неизбежности нового дворцового переворота, все чаще вспоминают о примере 11 марта 1801 г.; если, пишет Коленкур, нечего опасаться за жизнь Наполеонова союзника, то только потому, что его охраняет страх перед воцарением Константина, в котором видят нового Павла.

А этот ненавистный союз в корне расшатан с 1809 г. Австрийский брак Наполеона окончательно подрывает его устои. России грозит опасность полной обессиливающей изоляции перед могущественным завоевателем. Мысль о близком, скором возобновлении открытой борьбы, пока Наполеон еще не вполне раздавил противоборствующие силы на Западе, не до конца претворил их в покорные орудия своей политики, все крепнет. С весны

1810 г. Александр принимает меры к усилению боеспособности своего войска: он ожидал разрыва к весне 1811 г. Обсуждают в Петербурге план военной операции: она рисуется, на первых порах, наступательной, активной с русской стороны, на линиях Вислы и Одера. Александр начинает выснободяться из тильзитских пут, приводит Наполеона в негодование явным нарушением блокады, объявлением нового таможенного тарифа на 1811 г. наносит серьезный удар французскому импорту; а когда Наполеон проявил свой гнев конфискацией княжества Ольденбургского под предлогом обеспечения блокады, резкий протест Александра вскрыл нарастающий разрыв. Идет со стороны Александра и политическая подготовка грядущей борьбы. Он возобновляет с Чарторыйским переговоры о восстановлении Польши, намечая ее восточную границу по Зап. Двине, Березине и Днепру; открывает совещание с литовскими магнатами о Великом княжестве Литовском. Если удастся увлечь на свою сторону Польшу, он встретит Наполеона на Одере. Из Берлина шли в конце 1810 и начале 1811 г. тревожные сообщения, сильно даже преувеличиваемые, о приготовлениях Наполеона к новой войне с Россией. При удаче польских планов расчет на Пруссию казался несомненным. Меньше было надежды на Австрию, враждебную русскому утверждению на Дунае, связанную с Наполеоном.

Решительный отказ Иосифа Понятовского, главы польских боевых сил, войти в соглашение с Чарторыйским — сорвал все эти планы. Понятовский ожидал нападения России на Варшавское герцогство весной 1811 г., предупредил Наполеона об опасности, не вскрывая перед ним конфиденций Чарторыйского. «Мы стоим друг перед другом — так характеризовал Понятовский создавшееся положение — со взведенными курками: в конце концов чье-либо ружье должно само выстрелить». Россия могла дольше выдерживать такое состояние напряженного ожидания. Для Наполеона оно было невыносимо при неустойчивом равновесии всей его европейской системы. Александр вынужден отказаться от первоначальных планов; он займет оборонительную позицию. Наполеон с огромным напряжением энергии создает полумиллионную разноязычную армию для активного удара: надо разрубить чрезмерно и безысходно

напряженный узел европейских отношений, — иного выхода у него нет.

Летом 1812 г. началась великая, последняя борьба. Для Александра 1812 г. был связан с весьма ему тягостным личным испытанием. Он всю борьбу с Наполеоном воспринимал как свое личное дело, не русское только, а общеевропейское. Тем труднее ему было примириться с роковой необходимостью снова пережить сознание «бесполезности» императора, который не годится в полководцы. Это отдаляло его от армии, главной опоры «силы правительства», противопоставляло ее ему как нечто самодовлеющее, ставило боевое командование в обидное для его державного самолюбия положение почти независимой силы. А он попытался снова взять на себя руководство военными действиями. Выехал к армии в Вильну, поставил главнокомандующего Барклая в такие условия, что тот считал себя лишь исполнителем его повелений, утвердил и отстаивал план начала военных действий, который сочинен был его «духовником по военной части», пруссаком Фулем. Вопреки мнению всего высшего командования, этот план лег в основу открывающейся кампании и поставил русские войска в крайне невыгодные условия при первом наступлении Наполеона. К отчаянию окружающих, Александр готов был в приказе по армии заявить войскам, что всегда будет с ними и никогда от них не отлучится. Приказ удалось остановить. Адмирал Шишков составил письмо к государю о необходимости его отъезда из армии и получил подписи Аракчеева и Балашева. Аргументы были неотразимы, шли от наиболее доверенных и преданных людей. Александр на другой день уехал в Москву, затем в Петербург. Нелегко было ему признать, что нет у него «качеств, необходимых для того, чтобы исправлять, как бы он желал, должность, которую занимает», в такое время, когда «народу нужен вождь, способный вести его к победе». Роль популярного вождя пришлось уступить другому. Мало того. Мнение армии, мнение общества требовало замены Барклая Кутузовым, — и Александру пришлось пойти на это назначение, лично ему неприятное, под такими притом давлениями, которые решительно противоречили основным его представлениям о полноте авторитета, необходимого носителю власти в отношении к населению, а тем более — к войску. Кутузову Александр не

мог простить Аустерлица, осуждая его тогдашнюю уступчивость «царедворца», наделавшую столько бед. Он признается (в письмах к сестре), что твердо решил было вернуться к армии, но отказался от этой мысли, когда пришлось согласиться на назначение Кутузова, того из генералов, одинаково мало, по его мнению, пригодных для роли главнокомандующего, за которого выскладилось общее мнение. Военная среда выступила с резкой критикой командования — сам Кутузов, с ним Ермолов и другие выступали с заявлениями, которые были бы признаны «преступными» в другое время, а теперь пришлось с ними считаться. Это было ему тем тяжелее, что он знал, насколько глубже шел разлад между ним и этой средой боевого командования. Еще в дни Аустерлица ему пришлось выслушать суждение, что он только губит армию своими «парадами»; в Вильне, при начале войны, слышались протесты, даже насмешки, горькие и негодующие, против размена обучения войск на мелочи, для солдат весьма тягостные и мучительные, для дела бесполезные, против той гатчинской муштровки, которую они с братом Константином так усердно насаждали. За этим внешним разногласием крылась коренная противоположность двух отношений к армии — национальной боевой силе или дисциплинарно выкованной опоре правительственного абсолютизма. Во время войны, которая выросла в национальное движение, стала войной «отечественной», когда заговорили, что «вся Россия в поход пошла», а боевые вожди, при первом возобновлении плац-парадной муштровки над армией, еще не передохнувшей от боевых трудов, заговорили, подобно Ермолову, о том, что войска служат не государю, а отечеству и не на то созданы, чтобы забавлять его парадным маршем, Александр переживал отчуждение от армии как оскорбление своего и военного и державного самолюбия. Не мудрено, что он позднее «не любит вспоминать Отечественную войну», как свидетельствуют близкие ему люди. Кровавая драма войны, московского пожара, отступления великой армии разыгралась на глазах Александра, но без его участия. Он ее пережил тягостно, негодуя на «позорную» сдачу Москвы, на отсутствие победы. Политическая задача — отказ от переговоров, от примирения, пока враг не очистит русской территории, заявленная еще в Вильне, — сохранена в целостности, с большой

выдержкой. Со своей общей концепцией европейских отношений Александр, по-видимому, не поколеблен в уверенности, что грозная буря пронесется и развеется, очистив возможные пути для его активной политики. Его отношение к «отечественной» войне, по-видимому, довольно сложно. Приняв мысль о войне на своей территории, он видит в этом «единственное средство сделать ее народной и сплотить общество вокруг правительства для общей защиты, по его собственному убеждению, по его собственной воле». Но сознает опасность необходимого подъема общественной, массовой самодеятельности для полноты самодержавной власти. Он испытал резкую атмосферу общественного недовольства правительством, которое винили за переживаемые бедствия, глухое волнение встревоженной и раздраженной массы, резкую критику своей политики, давление общественного недоверия. Английский генерал Вильсон приезжает к нему «от имени всей армии», во главе которой он нехотя поставил Кутузова, с требованием, чтобы не начинались никакие переговоры с французами, чтобы не вызывающий достаточного общественного доверия министр иностранных дел граф Н. П. Румянцев был заменен другим лицом. Александр называет его «послом мятежников», который ставит его, русского самодержца, в тяжелое положение тем, что приходится все это выслушивать; желание армии не расходится, по существу, с его видами, но он не может делать уступок в выборе «своих собственных министров»: тут сговорчивость повлекла бы за собой дальнейшие требования, еще более «неуместные и неприличные».

В его представлении «отечественная» война должна бы быть чем-то совсем иным, именно «сплотить общество вокруг правительства», усилить его и вознести. После Тарутина он уверен в победе и снова жалеет, что он не при армии: будь он во главе, вся слава отнеслась бы к нему, он занял бы место в истории, но дворянство поддерживает Кутузова, общество в нем олицетворяет «народную славу этой кампании». С этим пришлось примириться, хотя сам он считает, что Кутузов «ничего не исполнил из того, что следовало сделать, не предпринял против неприятеля ничего такого, к чему бы он не был буквально вынужден обстоятельства-

ми». Награждая Кутузова, Александр «только уступает самой крайней необходимости».

Так, в личной жизни Александра война 1812 г. осталась лишь тягостным эпизодом, о котором он не любил вспоминать. Эпизод кончился. Страна очищена от вражеских сил. Александр свободен от «крайней необходимости»; ему возвращена свобода решений и действий. Он возвращается на прежние пути, с большими возможностями, с большей определенностью. Высшему командованию своей армии он заявляет: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу». Основной вопрос дальнейшей политики ставится так: «Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать». Эти формулы выношены годами, от них нет отступления. Александр не подчинится впредь национальному движению, поднятому войной. И политика, и армия останутся в его руках. Вожди русского национализма против его планов. Их выразитель — тот же Кутузов, противник войны с Наполеоном до конца, с ним и Аракчев, и Константин, и Румянцев и многие, многие другие. По мнению Кутузова, падение Наполеона приведет только к мировому господству Англии, которое будет и для России и для всего континента еще более невыносимым; остается заключить выгодный мир, за который Наполеон, конечно, заплатит какой угодно ценой. Но Александр пошел своим путем, глубже вникая в строй европейских отношений: «Если хотеть, — говорил он, — мира прочного и надежного, то надо подписать его в Париже».

Теперь он выступит; роль Кутузова кончена. «Отныне, — говорит он, — я не расстанусь с моей армией и не подвергну ее более опасностям подобного предводительства». Он недоволен армией, растерявшей в походе выправку и дисциплину, приводит ее в прежний порядок муштрой, смотрами и парадами — от Вильны до Парижа, в антрактах боевых действий. Он недоволен ее настроением, ее классовым дворянским духом, который пытается подчинить его политические планы своему националистическому патриотизму, неразлучному с землевладельческими притязаниями. Предположения, выдвинутые Кутузовым, о награждении русских генералов и офицеров за отличия в войне 1812 г. землями литовских и белорусских помещиков, ставших в ряды польских легионов Наполеона, парализованы

общей амнистией полякам Западного края, принявшим сторону неприятеля. Для великой борьбы и будущего переустройства Европы Александр ищет более широких оснований, чем русское господство. Ему надо увлечь на свою сторону местные общественные силы. А всюду еще ждали, что Наполеон вернется. Уверены были в этом и на Литве, и во всем Западном крае, где в ополченной помещичьей среде тяга на французскую сторону и враждебность России были даже сильнее, чем в самом герцогстве Варшавском. Александр думает переломить этот антагонизм созданием Польского королевства, связанного с Россией и построенного из земель бывшей Речи Посполитой, которые у него в руках после оккупации герцогства: это по объему до $\frac{9}{10}$ ее территории, и для него все это — бывшая Польша; национальный вопрос сводится, по его разумению, к построениям политически активных, господствующих классов. Ему важно добиться, чтобы Россия получила Варшавское герцогство в силу международного договора, а там, поясняет он Чарторыйскому, он без затруднения выполнит остальное властью, какой у себя обладает, как сделал он и с Финляндией: присоединил к ней «старую Финляндию» и дал конституцию. Но подобные проекты — предмет сложной борьбы. Среди русских большинство против них: «Пусть, говорят, Александр царствует в Польше, если хочет вернуть полякам королевство»; вел. кн. Константин и почти весь военный и гражданский генералитет настаивает на прямой инкорпорации герцогства как русской губернии и на захвате от Пруссии земель до Вислы. Против польских планов Александра — и его союзники, члены возобновляемой коалиции, правительства Англии, Пруссии, Австрии. Эта коалиция вообще налаживается, на первых порах, с трудом и большими колебаниями: много опаски и недоверия правительств друг к другу, особенно — к России. Притом, и в Пруссии, и в Австрии, настроение власть имущих еще глубже расходится с настроениями армии и населения, чем это было в России 1812 года. Общественные настроения эти — главный союзник Александра в освободительной борьбе против Наполеона и французов; их сила увлечет правительство, сплотит коалицию, даст Александру почву для широкой общеевропейской роли. Однако, в подобном союзе русского самодержца с европейским освободительным движе-

нием много двусмысленности, которая раскрывается шаг за шагом и ведет Александра к неизбежному крушению его идеологии, его личного дела, его индивидуального самочувствия.

Польский вопрос — главное препятствие в союзе трех континентальных держав; а польские планы Александра известны и в Вене, и в Берлине, так как его переписка с Чарторыйским была перехвачена. Но едва ли меньшие опасения внушает союзникам деятельность Штейна, не только советника Александра по германским делам, но и полномочного представителя его политики. Этот крупный государственный деятель, великий патриот своего германского отечества, преобразователь Пруссии, заложивший основы ее возрождения после пережитого разгрома, связал свои обширные планы освобождения и возрождения всей Германии с деятельной ролью России в европейских делах. Начатое Россией дело национального освобождения от ига Наполеона должно охватить всю Европу. Цель Штейна — поднять, опираясь на русские силы, такое же национальное восстание в Германии, какое встретило Наполеона в Испании, и в общем порыве разрушить устарелые формы дробной политической организации и на их развалинах создать единую и сильную Германию. В таком деле нечего считаться с существующими немецкими правительствами: Штейн не скрывает враждебного пренебрежения к ним. Александр не поддавался таким планам; объединение Германии в подьеме не только освободительной борьбы против французской гегемонии, но и национального движения, революционно сокрушающего существующие правительства, весьма далеко от его желаний. Штейн — ценное орудие для организации европейской борьбы и для давления на колеблющиеся правительства, не более того. Когда Иорк, командовавший прусской армией на восточной границе, самовольно вошел в союз с русскими, не дождавшись решения своего короля и вопреки его колебаниям, Штейн является в Восточной Пруссии с полномочиями от Александра, чтобы организовать тут управление, мобилизацию ополчения, всего, что нужно для освободительной войны. Успокоительные заверения Александра, что не в его намерениях подрывать дисциплину прусских владений, могли ли снять тревогу о дальнейшей судьбе этих земель — давнего объекта и русских, и польских притя-

заний? Ведь было известно, что Александр думает о пересмотре территориальных владений и границ со сложной системой компенсаций. Когда же прусский король заключил, наконец, в феврале 1813 г. союзный трактат с Александром в Калише, он этим восстановил свое значение самостоятельного и державного члена коалиции, но для управления другими немецкими государствами, по мере их изъятия из-под власти Наполеона, организован временный правительственный совет из 4-х членов: двух — по назначению прусского короля и двух — по назначению Александра (Кочубей и Штейн).

Порядки государственного территориального владения в Западной Европе были настолько сбиты и подорваны бурной деятельностью Наполеона, что почва казалась, в значительной степени, расчищенной для различных новообразований. Предположения, проекты предварительных соглашений, переговоры о будущих судьбах Европы, насыщенные соперничеством, смелыми притязаниями, взаимным недоверием и интригами из-за грядущего дележа, — идут непрерывно между европейскими державами со времени первой антифранцузской коалиции. Простой возврат к прежнему положению дел был невозможен, да и не желала его ни одна из крупных держав. На смену Наполеону поднимались другие силы, готовые по-своему поделить его наследство. И крупнейшим наследником, для других опасным, казался Александр — и в Берлине, и в Вене, и в Лондоне. Приемы его политики, его воззвания, его планы и проекты напоминали европейское хозяйничанье Наполеона. Нарастала в реакционных кругах и в напуганных правящих группах тревожная легенда об ужасном сговоре русского самодержца с европейскими якобинцами для замены диктатуры Наполеона такой же диктатурой Александра: Александр, действительно, популярен в патристических и либеральных кругах, окружен приветам общественными масс как «освободитель». Александр, искусный дипломат, ловко лавирует между разными течениями и настроениями, которые надо обезопасить, согласовать и использовать для «общего дела». Но, по существу, коалицию сплотила проявленная Наполеоном сила сопротивления, его новые победы, бесплодные, но грозные. Все соперничества, все притязания на время отложены для объединения в последнем усилии. Лейп-

цингская битва, наступление в пределах Франции, вступление в Париж — конец «великой эпопеи», ее финал, режиссером которого был, несомненно, Александр, прошедший к конечному итогу через ряд сложных препятствий и больших напряжений. Отречение Наполеона и восстановление монархии Бурбонов казались заключением великой драмы. И тотчас все «объединение Европы» повисло на волоске. Первый опыт конгресса для ликвидации великого наследства чуть не привел к новой европейской войне трех держав — Австрии, Франции и Англии — против двух — России и Пруссии — по вопросу о Польше и Саксонии. Проекты Александра оказались взрывной миной, заложенной под еле намеченное здание европейского мира. Наполеон и на этот раз спас положение своим возвращением с о-ва Эльбы и восстановлением французской империи на сто дней. Силы, готовые к междоусобию, снова сплотились, чтобы окончательно свалить грозного колосса, каким еще оставался «маленький капрал». Только замуравив его на о-ве Св. Елены, Европа смогла заняться своими делами. Но эпизод «ста дней» имел и другой еще смысл. Показал, какими опасностями грозит, по крайней мере на французской почве, безудержная реакция, не желающая и не способная считаться с безвозвратным банкротством «старого порядка». В этом новом уроке истории Александр нашел опору для своей политики преодоления непримиримых противоречий в компромиссе всеобщего мира, и внутреннего, государственно-политического, и внешнего, международного, — пока его самого не разбило крушение всей им создаваемой системы.

6. «Император Европы»

Наполеон, заново переживая былые деяния свои на глухом островке в дальних водах Атлантики, подвел им итог в широкой мысли о будущих судьбах Европы. Его целью, так пояснял он своему секретарю Лас-Казесу, было сконцентрировать народные массы Европы, искусственно разделенные на множество политических единиц, и составить из крупных наций европейскую федерацию, с общим конгрессом, по американскому образцу или по типу древнегреческой амфикинии, для решения общих дел и охраны общего благосостояния.

Эта европейская федерация была бы объединена не только внешними, политическими связями, но также «единством кодексов, принципов, воззрений, чувств и интересов», единством правового строя и духовной культуры. Он высказывал при этом уверенность, что рано или поздно такая организация Европы возникнет «силой обстоятельств». «Толчок дан, — говорил он, — и я не думаю, чтобы после моего падения и крушения моей системы могло существовать иное равновесие Европы вне концентрации и конфедерации крупных наций». А Чарторыйский еще в 1806 г. характеризовал политические планы Наполеона как «федеративную систему, сторонником которой он себя провозглашает с некоторых пор и которая превращает его союзников в вассалов Франции, так что образует одну огромную империю, будущие размеры которой никто не в состоянии пока определить». Эта «великая федерация» под военной диктатурой Бонапарта должна была получить прочную спайку однообразной организацией управления, господством эгалитарно-индивидуалистического права французского гражданского кодекса, единством экономической политики в пределах континентальной системы и повсеместным распространением рационального просвещения французского типа. В характерном для него сознании своей зависимости от хода самой жизни и создаваемой ею «конъюнктуры обстоятельств», которую было бы безумно «скручивать» (*tordre*) применительно к построенной системе, Наполеон переживал свои стремления как отклик деятельной воли на объективное течение событий, свои планы, как осмысление его основных тенденций. Быть может, дальнозоркий видел слишком даль будущего, быть может, утопичной была не эта отдаленная перспектива. Но несомненной утопией было представление о путях и средствах достижения конечной цели, о ее близости и о тех основах, на которых ему мыслилась «европейская федерация». На деле это была федерация под диктатурой, административное, экономическое, культурное объединение под господством — французских властей, интересов французской промышленности и торговли, даже французской школьной системы и французской цензуры.

Наполеон сильно преувеличивал устойчивость заложенных им основ. Не он, впрочем, один. Широкие общественные круги и выдающиеся общественные деяте-

ли ожидали всеобъемлющего преобразования европейской политической системы, прочных гарантий общего мира, — чуть не «возвращения золотого века», по ироническому замечанию цинично-умного Фридриха Гентца, меттерниховского сотрудника по части сокрушения таких иллюзий. Однако и Гентц полагал, что постановления Венского конгресса имеют значение для подготовки мира к более совершенной политической организации.

Венский конгресс принес много разочарований. 9 июля 1815 г. подписан его заключительный акт, которым закреплены разные реставрации и переделы, плод деловых соглашений между великими державами, беспринципные итоги «трезвой» политики, одинаково свободной и от романтического увлечения феодальной стариной, и от новых идей политического либерализма или национальных самоопределений.

Александр не мог принять Венских трактатов за подлинную основу нового устройства Европы. Это для него — только внешние, условные соглашения. Он ищет, по-своему, пути к устойчивому объединению Европы — на иных, однако, основах, чем те, какие рисовались воображению Наполеона. Те, французские основы, наследие революции и орудие Наполеона, сулят миру новые потрясения и должны быть подавлены. Союз великих держав скрепляется заново парижским договором 20 ноября 1815 г. для этой цели. Дело коалиции еще не исчерпано, так как, по мысли этого трактата, «пагубные революционные правила, кои способствовали успеху в последней преступной узурпации, могут снова под другим видом возмутить спокойствие Франции, а через то угрожать и спокойствию прочих держав»; поэтому четыре коалиционные державы решили не только немедленно условиться о мерах для охраны «общего спокойствия Европы», но и согласились возобновлять в определенные сроки совещания или самих государей, или полномочных министров о «важнейших общих интересах» и мерах, какие признаны будут нужными для «охраны спокойствия и благоденствия народов и мира всей Европы». Франция взята была под строгий и бдительный надзор. Оккупационная армия держала ее под стражей, конференция иностранных послов в Париже следила за действиями правительства Людовика XVIII и ходом французской общественной жизни, обращалась

к его министрам с советами и указаниями, настойчиво и требовательно. Задача была в том, чтобы укрепить во Франции «порядок», обеспеченный строем конституционной монархии. Для Александра тут — испытание консервативной силы законно-свободных учреждений: сдерживать обе крайности — разгул реакции и новый взрыв революции, — наладить мирное существование буржуазной монархии, такова программа. Александр хотел бы придать ей общий, европейский характер, значение основы для замирения взбаламученных национальных и социальных страстей. Проявления резкой, непримиримой реакции, которые все нарастают и во Франции, и в других странах, представляются ему не менее опасными для мира всего мира, чем выступление революционных сил. Он ищет компромисса в умеренном монархическом либерализме «октроированной» хартии, в половинчатом конституционализме, понятом как прием монархического управления.

К этому времени складывается у Александра свое особое представление и о той духовной основе, которая должна сменить традиции Великой революции иной культурной атмосферой, иным мировоззрением, господство которого обеспечит мирное и властям покорное состояние общества. Буржуазный либерализм сходилась с реакционным клерикализмом в отрицании принципов революции, хотя и по разным основаниям. Если для де Местра в этих принципах проявляется дух сатанинский, то для Бентама они — ложные выводы из ошибочных предпосылок. Но не эти отрицания — романские и английские — дали новую опору идеологии Александра, а немецкий романтизм в его политическом применении, в том возрождении средневековых понятий о государстве, которое, несколько позднее, нашло себе законченное выражение в политических теориях Лудвига Галлера и Адама Мюллера. Еще ранее союзного трактата — именно в сентябре 1815 г. — Александр подписал вместе с австрийским императором и прусским королем знаменитый «Акт Священного союза». Этот акт выражал «непоколебимую решимость» участников союза руководствоваться в управлении государствами и в международных отношениях — заповедями святой веры, «вечным законом Бога Спасителя», так как применение этих заповедей отнюдь не должно ограничиваться частною жизнью, а, напротив, должны они

«непосредственно управлять волею царей» и всеми их делами. Таков принцип, в котором — единственное средство утвердить «человеческие постановления» на прочном основании и «восполнить их несовершенства». Примкнувшие к союзу монархи будут впредь «соединены узами действительного и неразрывного братства», признавая себя «как бы единоземцами», а своих подданных — «как бы членами единого народа христианского». А внутри своих владений государи будут управлять «подданными и войсками своими», как «отцы семейств». А этим подвластным, так характерно поделенным на подданных и армию, рекомендуется «с нежнейшим попечением» одно: «Со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей»; деятельно упражняться в исполнении обязанностей, «преподанных Божественным Спасителем», чтобы наслаждаться миром, который создается доброй совестью и один только прочен.

Этот акт вызвал своим странным стилем и необычным содержанием немало недоумений. Кто отнесся к нему как к бессодержательной болтовне (таково было первое впечатление, например, Меттерниха), а кто — и с большой опаской. В нем увидели попытку возродить старинную идею союза всех сил христианской Европы против мусульманского Востока, прямую угрозу Турции, тем более что Александр возбуждал на Венском конгрессе вопрос о вмешательстве европейских держав на защиту христианских подданных султана, особенно сербов, от «турецких зверств» во имя «священного закона» — этого палладиума политического порядка, во имя которого «вожди европейской семьи» постановили отмену торговли неграми и борьбу с нею всеми международными силами. Пришлось Александру официально разъяснять, что акт Священного союза чужд агрессивных задач. Ближе к реальному содержанию этого акта было опасение, что в нем звучит прямая угроза для стремления народов к национальному самоопределению, так жестоко поруганному в постановлениях Венского конгресса, и для всяких порывов к политической свободе, которым тут противопоставлялась патриархальная власть монархов. Действительно, отрицание национального принципа выдержано тут весьма определенно: акт Священного союза знает только одну нацию — «христианскую», он по идее своей космополи-

тичен на религиозной основе. Столь же определенно отрицание общественной самодеятельности и политической активности населения: в составе «христианской» нации он видит только носителей власти и их подданных, вне «частной жизни» признает только «волю царей».

Акт Священного союза написан рукою Александра и получил некоторое значение только благодаря ему, как его личное дело. Поэтому естественно, что и объяснить этот акт пытаются из личных настроений Александра, причем его содержание представляется обычно настолько противоречащим всему воспитанию Александра и всему его мировоззрению молодых лет, что тут входят черты какого-то перелома во всей его психике. Чтобы иметь какой-нибудь опорный пункт при решении вопроса о том, как это воспитанник Лагарпа стал «мистиком», приводят рассказ о том, что осенью 1812 г. императрица Елизавета Алексеевна впервые дала ему в руки Библию, в текстах которой он стал искать утешения от тяжелых переживаний, особое значение придают его мистическому флирту с баронессой Крюднер, которая выступает его нимфой Эгерией, вдохновительницей Священного союза и т. п. Во всем этом много любопытного для подробной личной биографии Александра. Но типические черты его деятельности и его воззрений едва ли выяснимы анекдотическим методом, а натура Александра, способная к большим колебаниям, едва ли обладала тою мощною цельностью переживаний и глубиной увлечений, какая необходима, как психологическая предпосылка, для внезапных и потрясающих коренных перерождений всего мировоззрения и мироощущения. Во всяком случае, исторически существенно отметить прецеденты той идеологии — церковно-политической и теоретической, — которая отразилась в акте Священного союза. А таких прецедентов было немало и на русской почве. Их влияние подготовило Александра к тому направлению мысли, которое оформилось в нем под воздействием немецкой реакционно-пиетической атмосферы, столь сильной в близком ему Берлине.

Не следует, прежде всего, упускать из виду, что акт Священного союза был политическим манифестом и что Александр был, прежде всего, политиком, чьи религиозные «искания» неотделимы от политических планов.

Весь так называемый «мистицизм» Александра сложился в обстановке сложной политической борьбы, и, каковы бы ни были его личные, интимные переживания, их направление и результаты определялись, по существу, условиями политического момента, которыми ему необходимо было овладеть.

Представление о религии как одном из орудий властвования над общественной массой, о церковной организации как органе государства в управлении страной унаследовано им от XVIII в. Такое назначение церкви в государстве получило твердую постановку в синодальной реформе Петра Великого, который, в значительной мере под прямым влиянием протестантских воззрений на роль светской власти в религиозном быту населения, окончательно ввел церковное управление в ряд правительственных учреждений империи. А эта петровская церковная реформа получила полное свое развитие именно в начале царствования Александра I, с тех пор как он назначил своего статс-секретаря кн. А. Н. Голицына на должность синодального обер-прокурора и сделал его своим докладчиком по церковным делам. «Царский наперсник» — вопияли тогда церковные иерархи — стал править всеми делами церкви, и «все утихло, а дух монарха водворится в Синоде». Александр обсуждал с Голицыным и Сперанским планы коренных преобразований в русской церкви, с целью поднять положение белого духовенства, освободить его от зависимости по отношению к прихожанам, поднять его материальное обеспечение и уровень его образования. Реформа духовных училищ проведена Голицыным и Сперанским вне влияния Синода, а заведование ими возложено на особую комиссию; состав самого Синода определялся очередными вызовами архиереев, по представлениям обер-прокурора, т. е. в полной зависимости от него. Бюрократизация церковного управления захватила не только «ведомство православной церкви», но также «инославных» — с учреждением в 1810 г. главного управления духовных дел иностранных исповеданий, под ведением того же обер-прокурора. Это делало его органом государственного управления не только господствующей церковью, русской и православной, но религиозным бытом населения вообще. Так еще в первой половине царствования Александра были заложены основы всей его дальнейшей церковной политики. Принципы

этой политики — вероисповедный индифферентизм государства. Его крайним организационным выражением явилось учреждение в 1817 г. министерства духовных дел и народного просвещения (в соответствии такому же министерству царства Польского), первый департамент которого делился на 4 отделения: 1) по делам греко-русского исповедания, 2) по делам исповеданий римско-католического, греко-униатского и армянно-григорианского, 3) по делам всех протестантских исповеданий и 4) по делам еврейским, магометанским и всех прочих нехристианских религий.

Вероисповедный индифферентизм был, прежде всего, принципом полицейского государства. Власти просвещенного абсолютизма, подчиняя себе организацию всего быта подчиненного населения, в частности и народного просвещения, видели в разноголосице исповеданий лишь досадное препятствие для планомерного воспитания общества, согласно своим предначертаниям, а в их суетливых раздорах — ненужное и вредное нарушение общего успокоения на полной покорности государству. Но дело не только в этом. В духовной культуре русского общества накопилось к началу XIX в. немало веяний, которые вели к тому же результату. Рационализм с его учением о «естественной» религии, единой, в основе, для всего человечества, и с его преодолением теизма в пользу отвлеченного философского деизма сходилась с реакцией в пользу прав «чувства и веры» и с масонством, искавшим самоусовершенствования «на стезях христианского нравоучения», но при освобождении людей «от предрассудков их родины и религиозных заблуждений их предков», от фанатизма и суеверия, от всех причин международной вражды, какие мешают слиянию человечества в «одно семейство братьев, связанных узами любви, познания и труда».

Александр вырос в атмосфере не только екатерининского двора, вольнодумного и рационалистического, но и гатчинского дворца, с его симпатиями к масонству, его немецкой, не чуждой пиетизма закваской. Его друг А. Н. Голицын, ставший из светского вольнодумца религиозным человеком в годы своего обер-прокурорства, однако, не втянулся в православную церковность, но признавал, что все исповедания, все религии и секты — «явления одного и того же духа Христова».

Характер того религиозного просвещения, которое

Александр готов был признать основой желательной для него общественности, хорошо выражало «Библейское общество» — международная организация для распространения Священного Писания. В январе 1813 г. отделение этого общества открыто в Петербурге и затем развернуло свою деятельность по провинции. Показательны для него и состав первого собрания, и определение его назначения. Для общего религиозно-просветительного дела сошлись в доме А. Н. Голицына: два православных иерарха, ректор духовной академии, духовный цензор, католический митрополит, три пастора и несколько светских лиц, а задачу свою — распространение Библии — они поясняли тем, что в чтении этого Священного Писания «подданные научаются познавать свои обязанности к Богу, государю и ближнему, а мир и любовь царствуют тогда между вышними и нижними». Это не было списано с акта Священного союза, а ему предшествовало почти на год.

Существенно также вспомнить, что сохранился документ, собственноручно писанный Александром еще в 1812 г., если не ранее, свидетельствующий о весьма отчетливом и продуманном его знакомстве с мистической литературой. Это — записка «О мистической словесности», составленная им для сестры, Екатерины Павловны. Тут писания мистиков, литература «внутренней церкви», распределены на три разряда, по степени перевеса в них «отвлеченных теорий» или практического нравоучения, с решительным предпочтением тех, которые, не предаваясь никаким теориям, занимаются единственно «нравственным образованием». Явно, что Александр немного нового мог узнать из общения с баронессой Крюденер и другими адептами мистических учений. Он вступил в 1813 г. на европейскую сцену с достаточно определенным отношением к тем религиозным течениям, какие его там встретили. Где же источник такой осведомленности Александра в мистической литературе? Вспомним, что это — та самая литература, изучением которой занят с 1804 по 1810 г. Сперанский, пользуясь библиографическими указаниями Лабзина, притом в тех же французских переводах, какие известны Александру. Вспомним, что это — годы близости Александра со Сперанским, их долгие беседы над прочитанными книгами, и трудно будет допустить, чтобы такое совпадение было случайным. Самое отношение записки Алек-

сандра к разным авторам-мистикам с уклоном от подлинного мистицизма к практическому нравоучению, как и методичность классификации, живо напоминает манеру Сперанского, тот рационализм, ту систематичность и ту логическую отчетливость, которые он вносил всюду, в том числе и в свои занятия мистической литературой. Не мистика, в точном смысле, привлекала обоих, а религиозно-нравственная основа этой литературы, причем Сперанский, прочитав в ссылке акт Священного союза, узнал в нем осуществление своего давнего «мечтания о возможности усовершенствования правительства и о приложении учения Богочеловека к делам общества», мечтания, эпоху приложения которой он считал «еще всегда отдаленной»¹.

Подчиняя крепче прежнего русскую церковь своей правительственной власти и сооружая в то же время широкую систему правительственных учебных заведений, Александр приобретал два крупнейших орудия для укрепления одной из основ «силы правительства» — воспитания «в своих видах» русского общества. В эпоху первых своих исканий на путях к широким преобразованиям он увлекся было пропагандой тех либеральных идей, какими сам был занят, но разочарование в возможности разыграть роль самодержца-благотелья, который ведет подвластное население к общему благу по своей мысли, при сознательном сочувствии подданных, пробудило иные инстинкты самодержца, стремление к переработке общественных воззрений и настроений, «согласно с видами правительства», принимает совсем иной уклад. К вольнодумному рационализму XVIII в. Александр усвоил и сохранил отрицательное отношение с юных лет, с ним он связывал ту распушенность, которую так жестко осуждал в екатерининском обществе. Это суждение он сохраняет и позднее, по адресу русского высшего дворянства. «К сожалению, — говорил он в 1812 г., — лишь немногие из окружающих меня лиц получили надлежащее воспитание и отличаются твердыми правилами, двор моей бабки испортил воспитание во всей империи, ограничив его изучением французского языка, французского ветрогонства и по-

¹ Ср. мою статью: *Идеология Священного союза*//*Анналы*. Пб., 1923. № 3. С. 72—81. В письме к Р. А. Кошелеву, масону, Александр упоминает (в январе 1813 г.), что он уже несколько лет ищет пути, на который вступил, и их «духовные» беседы относятся, по меньшей мере, к началу 1811 г.

роков и, в особенности, азартных игр». Светская дворянская культура, русско-французская, представлялась ему в лучшем случае пустой, в худшем — опасной и в обоих — развращенной до корня. Но не менее чужд ему русский консерватизм — националистический, дворянский, православно-церковный, как и на Западе ему чужды реакционный аристократизм и католический клерикализм роялистских кругов Парижа и Вены. Зато крепки его прусские симпатии — в прусской дисциплине, в аполитизме пиетистических кругов немецкого мещанства, в монархизме протестантского юнкерства находит он отражение тех устоев «порядка» и «мирного благополучия», каких ищет.

Два течения в германском протестантизме привлекли сочувственное внимание Александра, как пригодные для идеологического увенчания и практического укрепления возводимой им политической системы: разложение догматики и подчинение религиозной общественности светским властям. Корни обоих исконные — в самой сущности Реформации XVI в. Протестантский идеал субъективной религиозности искал у светской власти защиты от деспотизма духовной иерархии, какой бы то ни было, что неотделимо от падения силы авторитетной догмы. В развитии сектантства — естественного продукта Реформации — разлагалось значение церкви как общественной и политической силы, разлагалась и ее идеология, воиленная в догматах и в организованном культе. Протестантские круги отдавали «епископскую» власть в руки светского государства, в расчете купить за эту цену полную веротерпимость при равнодушии власти к различиям исповеданий. От христианской религии оставался только «закон Христов» — стремление жить по нравственным заповедям Евангелия, без всякого противопоставления церковной общественности светскому государству. А такой скромной (в политическом смысле) религиозностью государственная власть весьма даже дорожила, как надежным средством против распространения революционных идей и настроений. Благочестие — залог законопослушности, а неверие, по отзыву Александра, — «величайшее зло, которым надо заняться», чтобы его искоренить.

Акт Священного союза не был случайным явлением, которое было бы вызвано теми или иными личными переживаниями Александра или сторонними влияниями на

него. Идеология этого акта была подготовлена определенными течениями мысли на русской почве и в то же время имела опору в традициях и отношениях немецкого культурного мира, с которым Александр вошел в тесное общение. Она указывала ему ту общественно-психологическую почву, на которой, будь она реальна, он мог бы осуществить свои политические планы. Она соблазняла его своей мнимой широтой, соответствующей размаху его интернациональных планов, и своей гарантией политической благонадежности общественной массы. Де Местр передает свою беседу с Александром по поводу «христианской конвенции», как он называет акт Священного союза, вскоре после его появления. Он спросил Александра, не добивается ли тот «смещения всех вероисповеданий»? И получил такой ответ: «В христианстве есть нечто более важное, чем все вероисповедные различия (и в то же время он поднял руку и обвел ею кругом, словно строил собор всеобщей церкви): вот вечное. Начнемте преследовать неверие, вот — в чем величайшее зло, которым надо заняться. Проповедуем Евангелие, это довольно великое дело. Я вполне надеюсь, что когда-нибудь все вероисповедания соединятся, я считаю это вполне возможным, но время еще не пришло». Такова «химера», по выражению де Местра, которая должна была лечь в основу братского единения всех правительств и покорных им смиренномудрых народов в Священном союзе.

Александр пытался сделать идеологию Священного союза принципиальной основой «европейской федерации». Все христианские правительства Европы были призваны присоединиться к «христианской конвенции». Дело не вполне удалось. Правитель Англии, принц-регент, уклонился от официального признания акта, ссылаясь на неодолимые конституционные препятствия, на невозможность представить подобный акт парламенту, и ограничился личным письмом, в котором выражал готовность содействовать влиянию христианских истин на утверждение мира и благоденствия народов. Римский папа, глава католической церкви, также отклонил приглашение примкнуть к Священному союзу. В Риме теократическая окраска «христианской конвенции» не могла не вызвать возмущения, как попытка Александра выступить в роли главы (хотя бы и не единоличного, а триединого) и руководителя христианского мира от име-

ни божественного провидения, да еще на некатолической религиозной основе. Недаром представитель папского престола на Венском конгрессе, кардинал Консальви, заявил, при заключении конгресса, торжественный протест против отказа держав восстановить традиционный «центр политического объединения» Европы — католическую Священную Римскую империю. В скором времени римская курия еще яснее убедилась, насколько политика Александра, построенная на началах подчинения церкви государству и превращения религии в орудие политической дисциплины, противоречит принципам и интересам католической церкви: на возражения папы против его церковно-административных мероприятий по управлению «иностранными исповеданиями» в России Александр ответил в личном письме к Пию VII указанием на свою твердую решимость устранить всякое вмешательство в эти вопросы со стороны власти, «не совместимой с системой покровительства, единения и братства, под знаменем которой мирно существуют все христианские церкви на всем пространстве России».

«Императором Европы» прозвали Александра патристически настроенные русские люди с укоризной за то, что он поглощен в годы «эпохи конгрессов» европейскими делами, фактически отстранившись от прямого управления Россией, которое оставил на Комитете министров под руководством Аракчеева. А сам Александр, на широкой европейской арене, ищет применения своих планов переустройства Европы на им намеченных основах, чтобы затем вернуться к преобразованию своей империи на тех же началах, которые казались ему гарантией мира, гражданского и международного. Наметив содержание своей политической и духовно-культурной программы в акте Священного союза и пытаясь придать ей значение международной, общепринятой директивы, он не считает ее реакционной, так как обманывает себя мыслью, что она согласима с господством умеренного конституционализма как формы сотрудничества сильной монархической власти, патриархальной по духу и либеральной по приемам, с народным представительством благодарного и скромного в своем благонамеренном благочестии населения. Он как бы предвосхищает сентиментальную формулу славянофилов о единении царя с народом при разделе между ни-

ми функций: царю — сила власти, народу — сила мнения. То же начало единодушия и мирного единения стремится Александр провести в организации европейских международных отношений.

Тут мысль его в том, чтобы расширить и упрочить организацию союзной власти, намеченную Парижским союзным трактатом от 20 ноября 1815 г., до размеров и устойчивости органа международной федерации европейских держав. Предположенные там периодические конгрессы должны принять в свой состав представителей всех держав «христианской Европы» и получить широкую компетенцию в улаживании и предотвращении международных конфликтов, в борьбе с беспорядками и бедствиями международного значения, а их совещания должны стать средством объединения внутренней политики всех государств на общих началах Священного союза. Властная гегемония четырех коалиционных держав должна перейти в «братский и христианский союз» всех. Гегемония сильных не может дать прочную гарантию общего мира. Она навлекает упрек в новом захвате «всемирного владычества» союзом четырех держав и рискует повторить историю Наполеона, с одной стороны, и освободительных войн и национальных восстаний — с другой, когда государства, оставшиеся вне этого союза, заключат для самозащиты новую коалицию. Общему миру грозят две опасности: революция и насилие завоевателей. Это, по пониманию Александра и советников, разрабатывавших его мысли (теперь эта роль выпала на долю преимущественно Поццо ди Борго), две родственных силы: «Ведь каждая революция, — рассуждают они, — будучи олицетворенною, есть не что иное, как завоеватель, посягающий на законную собственность и право, государи-завоеватели, равным образом, — не более не менее как революция, покрывая королевскою мантиею». Александр, в увлечении пацифистской своей мечтой о всеобщем умиротворении, ставит за одну скобку и революцию, и реакцию, и международные захваты, ведущие к борьбе коалиций. Общему спокойствию Европы угрожают опасности от революционеров и от самих правительств, поскольку они держатся прежней политики — произвола во внутреннем управлении и сепаратных союзов в международных отношениях. Такую теорию всеобщего мира внесло русское правительство на первый же европейский кон-

гресс (в Аахене, осенью 1818 г.). Тут представители России отстаивали идею «всеобщего союза», который заменил бы союз четырех, и «всеобщей гарантии» установленного в Европе порядка. Тут и потерпела свое первое и решительное крушение излюбленная утопия Александра. «Союз» был только тем расширен, что в него была официально включена Франция: тетрархия стала пентархией, и только. Да и то весьма условно: недоверие к прочности бурбонского режима и опасение перед возможностью новых взрывов французской революционной и национальной энергии побудили 4 державы «секретно» подтвердить свой особый союз 1815 г. «на случай войны с Францией». Весьма платоническим, как показал дальнейший ход событий, оказалось пропущенное Россией постановление конгресса, ограничивавшее международный деспотизм пентархии, о том, что вопросы, касающиеся других держав, стоящих вне основного союза, могут быть поставлены на обсуждение конгресса не иначе как по формально заявленному желанию их самих и при их участии. Александр видел в этом шаг к утверждению за конгрессами значения высшего учреждения, направляющего ход мировых отношений к охране «порядка и справедливости» в мировом масштабе, притом без нарушения «законного суверенитета» каждой страны, без насильственной интервенции в ее дела. Но чем шире разворачивалась проблема организации солидарности, тем острее и резче выступали конкретные антагонизмы. В поддержке Россией самостоятельности и прав внесоюзных держав другие, а прежде всего Австрия и Англия, Меттерних и Кэстлри, видели ее стремление сохранить и усилить свое международное влияние за счет остальных «великих держав» и проявление традиционной ее политики — поддерживать мелкие германские государства против Австрии и Пруссии, объединять морские державы против английского морского господства. Так русский проект образования международной морской силы для систематической борьбы против торговли неграми и пиратства — сорван возражениями английского правительства, зато английский проект вмешательства держав в борьбу Испании с восставшими колониями и ее умиротворения путем посредничества — сорван возражениями России и Франции, из опасения усилить то английское влияние и в колониях, и в Испании, с кото-

рым их дипломатия и так неустанно боролась, по мере сил, хотя и с малым успехом. И в ряде вопросов выявлялась нарастающая противоположность между русской и австрийской, русской и английской политикой. Однако не только разрозненность и соперничество великодержавных интересов членов союза подрывали и разлагали намеченную было «федеративную солидарность». Глубже и грознее была другая опасность для пацифистской утопии Александра. Общий мир, говорил один из русских дипломатов, нуждается в опекающей его силе; если не допустить, чтобы этой силой стала демократия, надо взять ее в руки великих держав. Тщетной и бессильной была попытка Александра разрешить неразрешимую задачу: вырвать знамя «свободы, права и справедливости» у сил революционных, сохранить абсолютизм, облекши его господство в формы законности, избежать реакции, подавляя самочинные проявления общественного движения. Неустойчивой оказывалась новая система международных отношений из-за не разрешенных, а только прикрытых ею державных антагонизмов, но она поддерживалась не столько потребностью сохранить внешний мир после стольких лет изнурительных войн, сколько страхом власти имущих перед смятым временем, но не угасшим стремлением общественных сил к свободной самостоятельности. В Англии, стране относительно зрелого промышленного капитализма и нараставшего рабочего движения, парламентарный строй государственной власти обеспечивал буржуазии иные пути к завершению своего преобладания над пережитками феодально-аристократических сил; ее представитель Кэстлри возражал против рискованной политики союза правительств для подавления народов, и Меттерних вынужден убедиться, что нечего рассчитывать на участие в активной реакции власти, «столь связанной в своих формах», как английское правительство. На континенте — дело иное. Тут далеко не законченной оказывалась борьба буржуазного либерализма против сил «старого порядка», которые не только упорно отстаивали свои расшатанные, но еще крепкие позиции, но и стремились, в союзе с монархической властью, вернуть утраченное господство. Из государственных деятелей того времени Меттерних всего ярче ощущал подъем революционной волны. Революционный порядок во Франции сломлен коалицией и Реставраци-

ей, но революционный дух лишь усилился, нарастает и распространяется все шире и шире. В борьбе с ним сложилось своеобразное воззрение Меттерниха на всю политическую и общественную жизнь как на арену борьбы двух начал — положительного и отрицательного, охранительного и разрушительного. Подавлять всеми доступными средствами движение, рвущееся к новому, неизвестному, и охранять, по мере сил, существующий строй — вот и вся программа Меттерниха. Подводя итог своему житейскому опыту, он чувствует себя «подобно человеку, который уцелел бы, стоя на острове во время всемирного потопа»: вся его работа только в том, чтобы «класть камень на камень и, где можно, стать еще выше», отдалить роковой момент, когда подъем жизненных волн, ему чуждых, захлестнет последнее убежище, вырвет из-под ног последнюю почву. Компромиссы Александра казались ему смешными и жалкими по существу, а на деле — опасной игрой: «То, что я хотел сделать с 1813 г., этот ужасный император Александр всегда портил» — таков его отзыв.

Он сделал то, что хотел, помимо Александра, в 1819 г., знаменитыми «карлсбадскими постановлениями», которые возвели для всей Германии в систему безудержную реакцию.

Таков был ответ Меттерниха на акт Священного союза, только полицейским террором можно если не подавить, то сдерживать жизнь, готовую вырваться из-под опеки «законных» властей. Александру на это нечего было возразить. На русской почве опыт насаждения «начал Священного союза», проделанный его министерством духовных дел и народного просвещения с целью водворить «постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и властью», привел к тому же результату, что и карлсбадские постановления Меттерниха, — к разгулу полицейского и цензурного произвола.

Александр сдался не сразу. В инструкциях своим представителям при иностранных державах он продолжает развивать свои излюбленные мысли о том, что «современные правительства вовсе лишены опоры в сочувствии общества, тогда как, напротив, вся их сила должна бы состоять в силе тех либеральных учреждений, какими они предоставят пользоваться своим народам», что «время, в какое мы живем, требует, и требует настоятельно, чтобы правительства, и особенно те, кото-

рые прошли через революционные кризисы, сами, по своей воле, приняли на себя обязательство управлять на основаниях, точно определенных, и в формах, твердо установленных». Союз великих держав не может иметь «нелепые интересы неограниченной власти», но для него возможно только отрицательное отношение к политическим нововведениям, которые были бы навязаны правительствам революционным путем или вырваны у их слабости, как вынужденные уступки. Меттерних, не сочувствуя «законным революциям», тем «революциям сверху», о которых Александр отзывался более чем сочувственно, готов был, однако, согласиться, что конституционные реформы, исходящие от самого правительства, «вообще говоря, не оправдывают иностранного вмешательства», тогда как революция «незаконная» вызывает «общую опасность», а потому оправдывает «иностранную интервенцию». Эти утверждения и были приняты на конгрессе в Троппау (окт. — дек. 1820 г.), признал их и Александр, настаивая притом, что основанием всей политики союзных правительств должен служить акт Священного союза и что в этом акте надо видеть основание и для вмешательства во внутренние отношения государств, потрясенных смутой. Так свершилась естественная судьба Священного союза. Отпал на деле утопический либерализм Александра, а реальным содержанием «христианской конвенции» стали — «карлсбадские постановления». Тщетно протестовал Кэстлри, представитель Англии, против превращения союза в какую-то «общеевропейскую полицию», против «учреждения в Европе своего рода общего правительства с верховной директорией, разрушительною для правильных понятий о суверенности отдельных стран», против опасного отделения правительств от их народов и основания прочности этих правительств на иностранной интервенции. Революции Неаполя и Пьемонта окончательно разбили возможность компромиссной политики в духе Александра, вскрывая противостояние в европейской жизни реакции и революции; испанская революция и греческое восстание выявили общеевропейский характер их борьбы. Конгрессы в Лайбахе (январь — апр. 1821 г.) и Вероне (окт. 1822 г.) берут на себя определенно роль «директории» той общеевропейской полиции, которую предвидел Кэстлри, и доводят «пентархию» до распада: Англия отеклась от союза, Франция

использовала его для своего вмешательства в испанские дела, но не пошла слепо за политикой Меттерниха. В эти годы родилось то разделение Европы на два лагеря, та противоположность тройственного союза старых монархий политике двух конституционных государств, которая определяет европейскую политику 30-х гг., чтобы затем, когда новые течения охватят всю Западную Европу, создать роковую изоляцию России Николая I.

Александр уже в Троппау приехал сильно изменившимся, готовым подчиниться «консервативной системе» Меттерниха. В интимной беседе с ним он выражал сожаление «обо всем, что говорил и делал между 1815 и 1818 годами», признавал, что Меттерних вернее его судил об «обстоятельствах положения», высказывал готовность исполнять предначертания австрийского премьера. Это была капитуляция идеолога-дилетанта перед политиком-практиком. Но это была также капитуляция русского императора перед австрийским министром. Александр терял силу и возможность противодействовать торжеству австрийской политики в Германии и Италии; под флагом принципиальной защиты «старого порядка» и борьбы с революционным движением Австрия водворяла свою гегемонию в этих странах, парализовала русскую политику в Восточном вопросе. Рухнула фантастическая утопия о построении европейской федерации на консервативных началах, рухнула и вся утопическая идеология Александра. Внутренние ее противоречия, противоречия попытки согласовать несогласимые политические принципы и отраженные в них интересы — раскрылись с неодолимой силой. Подводя итог положению политического мира после Веронского конгресса в «циркулярной ноте» от 14 декабря 1822 г., Александр признает силу революционного движения, охватившего европейские страны: «Современность происшествий не позволяет сомневаться в однородстве начал и причин оных», союз монархических правительств должен сосредоточить свои усилия на одной «великой цели»: на защите общими средствами своей власти как «священного залога», в сохранности которого им придется дать отчет потомству; «всякие иные побуждения» надо устранить из их политики.

Революции Неаполя и Испании носили характер военных «пронунциаментов». Революционность регулярных войск производила на Александра, питомца гатчинской

школы, особо потрясающее впечатление. В Троппау он получил донесение о беспорядках в лейб-гвардии Семеновском полку, состоявших в массовом протесте солдат против мелочной требовательности и чрезмерной строгости полкового командира. Александр сразу решил, что «не кто иной, как радикалы, устроили все это, чтобы застрашать его и принудить вернуться в Петербург», так что даже Меттерниху пришлось возражать, указывая, насколько невероятно, чтобы в России «радикалы» уже могли располагать целыми полками. Однако Александр остался при своем мнении. В письме к Аракчееву он настаивает, что тут было «внушение» со стороны, притом «не военное», он приписывает это «внушение» — агитации «тайных обществ, которые, по доказательству, которые мы имеем, состоят в сообщениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работы в Троппау». Дело Семеновского полка для Александра — одно из проявлений международной революции, направленной против международного союза «законных» властей. Мнение это поддерживалось сознанием, что протест семеновцев — не случайность, что в его основе — общее осуждение мелочного и жестокого военного режима, распространенное, прежде всего, в офицерской среде, и влияние на военную среду новых гуманитарно-либеральных веяний, распространенных в обществе: «Заражение умов есть генеральное», — говорил Константин Павлович.

Покаянный тон, каким Александр заговорил с Меттернихом в Троппау, дал естественное выражение отречению его от «заражения умов», поскольку сам он был к нему причастен. В тронной речи при открытии осенью 1820 г. второго польского сейма Александр еще не отрекался от мечты о согласовании либеральных учреждений с полнотою монархической власти на общей консервативной задаче охраны «порядка». Он говорил полякам: «Еще несколько шагов, направленных разумием и умеренностью, ознаменованных доверенностью и правотою, и вы достигнете цели моих и ваших надежд», он пока не забросил занятий проектом общеперской конституции, хотя, видимо, уже без веры в ее осуществимость. Но в той же речи он уже подчеркивает значение конституции как произвольного дара с высоты престола, говорит о «духе зла», который «парит над частью Европы», и предупреждает о необходимости

сильных средств для его подавления. Александр уехал, раздраженный проявлением оппозиции против правительственных законопроектов, со словами сейму при его закрытии: «Вы задержали развитие дела восстановления нашей отчизны, на вас ляжет тяжелая ответственность за это», и дал Константину *carte blanche* в приемах охраны покорности и порядка. На очередь стало не развитие конституционных начал в Польше и в империи, а стремление обезвредить их рядом ограничительных стеснений в царстве Польском с фактическим отказом от мысли дать им применение в общеимперском масштабе. Лично для Александра настало время последнего кризиса; с отречением от общеевропейской роли и от роли преобразователя империи на тех же «европейских» началах, на которых строились все его планы, он теряет почву под ногами. Гаснет в нем сила и охота к жизни.

7. Последний кризис

«Когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря; от этого устаю,» — так говорил Александр в 1824 г., объясняя случайному собеседнику то впечатление глубокой утомленности жизнью, какое он производил в последние годы. Он перестал обманывать себя иллюзиями, которыми прожил всю предыдущую жизнь. Вигель, острый наблюдатель, сравнивал его с помещиком, который, наскучив сам управлять имением, сдал все на руки строгого управителя и успокоился на уверенности, что в таких руках крестьяне не избалуются. У самого Александра руки опустились; с живым интересом он относится только к военному делу, как его понимает, — к внешней фронтовой выправке войск на смотрах и парадах. Остальное, почти целиком, в руках Аракчеева. «Продолжительным затмением» назвал последние годы Александра один из его современников, тот же Вигель: «Он был подернут каким-то нравственным туманом».

Глубоко разочарованный, он отрекается от каких-либо идеологических исканий. Былой либерализм — грех юности. Впечатление от европейского революционного движения раскрывает ему коренную противоположность между той консервативной законностью, опорой

сильной правительственной власти, о водворении которой он мечтал, и политической свободой в условиях правового государства, общественного и национального самонаопределения, какого добивались либеральные идеологи. Отрекается он и от своей «мистики», от попыток связать с политикой свой идеал в невероисповедной, интернациональной религиозности. Нечего мудрить: «Одни лишь беспокойные умы находят отраду в тонкостях»; «обязанности, возлагаемые на нас, надо исполнять просто». В эти последние годы Александр пассивно переживает возврат и внешней и внутренней политики своего правительства к национально-консервативным началам. Нет больше речи о реформах. Нет больше и стремления водворить в России религиозно-просветительную идеологию Священного союза.

По возвращении из Лайбаха, Александр получил как бы подтверждение своей уверенности, что дело Семеновского полка есть только одно из отражений общего европейского революционного движения. Генерал-адъютанты Васильчиков и Бенкендорф встретили его докладами о деятельности тайных обществ, о политическом заговоре, охватившем многих офицеров гвардии и армии. Имена ряда будущих декабристов были известны Александру с 1821 г. Известен рассказ Васильчикова об отзыве Александра на эти разоблачения: «Вы служили мне с начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и эти заблуждения; не мне применять строгие меры». Заговор казался неопасным, заговор идей, не борьбы и дела. Быть может, Александр думал, что эти идеологические увлечения пройдут, как у него, угаснут при встрече с жизнью? Он не принял строгих мер, даже никаких не принял. Но суровая муштровка войск, которой он по-прежнему увлекается, на проверку которой отдает, пожалуй, всего больше времени, продолжается с новой настойчивостью. Эта система обучения войск и их дисциплинарного воспитания отравила вместе с родным ей духом крепостнического деспотизма и пренебрежения к личности человеческой быт военных поселений, того из преобразовательных начинаний Александра, которое оказалось наиболее живучим и проводилось руками Аракчеева с беспощадной, жестокой настойчивостью. Дрессировка в слепой и покорной исполнительности должна была искоренить тонкости беспокойных умов.

Исполнительность как принцип всех отношений и суровая муштровка в безгласном повиновении олицетворена в Аракчееве. В нем и опора реакции в сторону традиционных начал политики, одинаково враждебных и «либеральным» и «мистическим» увлечениям. Консервативная и националистическая оппозиция ставила их в одну скобку, сводила к общему источнику. Столп церковно-православной реакции, пресловутый архимандрит Фотий, считал сектантские и мистические течения в религии — источником революционных движений, а правоверную церковность — оплотом государственного и общественного порядка. Адмирал Шишков противопоставлял и либерализму и всей политике в духе Священного союза свое «истинно русское» воззрение, согласно которому и библейские общества, и мистический пиетизм выросли из тех же корней, как конституционные и радикальные политические движения — из враждебного старым традициям рационализма, из «хаоса чудовищной французской революции»; все это — разные стороны одного направления темных сил, цель которого — поколебать в России православие и вызвать в ней внутренние раздоры для сокрушения ее могущества. Весною 1824 г. А. С. Шишков, поклонник Екатерининской эпохи, ее внешней славы и крепких традиций дворянской монархии, сменил кн. А. Н. Голицына в управлении и народным просвещением и духовными делами. Но само министерство, объединявшее «веру и ведение», было при этом разделено на два ведомства: министерство народного просвещения и главное управление делами иностранных исповеданий; полномочия министра по делам православной церкви достались в наследство синодальному обер-прокурору. Шишков сразу определил задачу своего министерства как боевую — реакционную: оберегать юношество от заражения «лжеумудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою гордостью и пагубным самолюбием», а наукам обучать только «в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет»; обучать же грамоте весь народ или хотя бы «несоразмерное» количество людей признал вредным. При первом же докладе своем Александру он настаивал на усилении цензурных строгостей, на закрытии библейских обществ и других мерах для «потушения того зла, которое хотя и не носит у нас имени карбонарства, но есть точное оно». Алек-

сандр воздержался от подписания заготовленного Шишковым рескрипта, сурово осуждавшего всю прежнюю систему просвещения и цензуры с поручением новому министру их решительного преобразования, но оставил злополучное ведомство в руках Шишкова, который и подготовил переход русской политики просвещения к национально- и сословно-консервативной системе Николая I.

Возврат к традиционным началам русской политики вполне определился и в отношениях международных. Английский министр иностранных дел, преемник Кэстлри, Каннинг, приветствовал распад «европейского союза» после Веронского конгресса словами: «Так дела возвращаются опять к здоровому состоянию; каждая нация за себя, а Бог за всех». По отношению к России это сказалось особенно ярко в Восточном вопросе. Александр настаивает на активном вмешательстве в балканские дела, но не с точки зрения «легитимизма» и прав султанской власти, а чтобы заставить Турцию признать автономию не только Дунайских княжеств, но и Греции, а когда Петербургская конференция представителей России, Австрии, Пруссии и Франции решительно отклонила это предложение (февраль 1825 г.), он заявил (в циркулярной ноте от 6 авг. 1825 г.), что возвращает себе самостоятельность действий в Восточном вопросе и будет руководиться в отношении к Турции только интересами и престижем России, а затем вступил в сношения по этому вопросу с Англией, опасаясь, что дальнейшая пассивность России в балканских делах приведет только к окончательному вытеснению ее влияния в пользу Англии. И тут Александр уступал давлению русской правящей среды, опиравшейся на настроение широких общественных кругов, хотя и с меньшим противоречием своим личным воззрениям в данном вопросе, но с несомненным разрывом по отношению к политике конгрессов.

Он идет на новые пути почти пассивно, с острым ощущением, что личная его роль не только сыграна, но и проиграна. Его окружала атмосфера общего недовольства его правлением различных кругов, осуждавших его деятельность с самых разных точек зрения. И это понятно, так как никакой устойчивой, выдержанной основы в этой деятельности не оказалось. «Проследив все события этого царствования, что мы видим? — запи-

сывает в своем дневнике один из сенаторов при получении известия о смерти Александра. — Полное расстройство внутреннего управления, утрата Россией ее влияния в сфере международных сношений... Исаакиевская церковь, в ее теперешнем разрушенном состоянии, представляет точное подобие правительства: ее разрушили, намереваясь на старом основании воздвигнуть новый храм из массы нового материала... это потребовало огромных затрат, но постройку пришлось приостановить, когда почувствовали, как опасно воздвигать здание, не имея строго выработанного плана. Точно так же идут и государственные дела: нет определенного плана, все делается в виде опыта, на пробу, все блуждают впотымах...» И автор заключает свой перечень разных противоречий и сбивчивых черт в действиях правительства такими словами: «Объяснить все эти несообразности довольно трудно, их можно только понять до некоторой степени, допустив, что они происходили от особенностей характера Александра I». Объяснение, конечно, недостаточное, но естественное.

Восприимчивый к различным течениям жизни, мысли и настроений, традиций и исканий, Александр сам был сыном своего времени, оказавшимся не в силах преодолеть, хотя бы для себя, их разнородных и противоречивых влияний и требований. Пирлинг, так внимательно присмотревшийся, в частности, к его религиозным интересам, приходит к выводу: «Что особенно заметно, так это — склонность к эклектизму; его беспокойный и нерешительный ум мучительно не хотел записаться в какую-либо определенную догму». Отзывчивый на самые различные течения мысли и чувства, «Александр прекрасно чувствует себя в этом удивительном смешении принципов и не дает увлечь себя этому круговороту». Что в религии, то и в политике: удивительное смешение принципов, круговорот разнородных интересов, с постоянным исканием их компромиссного синтеза, но без цельного увлечения и без сильной воли, которые одни могли бы дать выход к синтезу определенному и устойчивому.

Таков Александр, судя по всему, что о нем знаем, и в личной жизни, в отношении к людям: неустойчивый, неуловимый. Сам Аракчеев говаривал про него: «Вы знаете его — ныне я, завтра вы, а после опять я». Самолюбивый и недоверчивый, занятый своей ролью, он

пользуется людьми, умеет играть в откровенность и доверчивость, но они для него средства, и всегда не очень надежные. «Занимаясь вещами, пренебрегают людьми», — заметил про него Сперанский. Он всего искреннее, по-видимому, тогда, когда заявляет, что никому не верит. И прожил Александр свою жизнь, по существу, очень одиноко. Семейные отношения, полные взаимной подозрительности, оглядки и притворства, наложили неизгладимую печать на все его отношения к людям. По воцарении, он роль императрицы в большом дворце оставляет за матерью, покушения которой на политическое влияние его тяготят и заставляют быть постоянно начеку, вступать в объяснения, даже защищаться. Жена — Елизавета Алексеевна — в тени, не сотрудница императору и не играет существенной роли в личной его жизни. Частая усталость от напряжений императорства заставила его особенно дорожить связью с М. А. Нарышкиной, урожд. Четвертинской, которая дала ему (с 1804 г.) суррогат семейной жизни, жизни вне дворца и политики: ей был строгий запрет касаться общественных дел и политических тем; смерть их 18-летней дочери в 1824 г. Александр пережил как большое горе, которое подкосило его и без того расшатанные силы. Утомление ролью правителя и всей напряженностью связанных с нею отношений часто звучит в беседах Александра с молодых лет и все нарастает; в его повторных заявлениях о намерении отказаться от власти — не одни слова в духе сентиментального века: в них, надо это признать, звучит с трудом преодолеваемое сознание непосильности для него огромной роли, какая выпала ему на долю. Моменты самокритики, и острой, у него бывали, но их одолевали большое самолюбие и личное увлечение этой самой ролью. Но осадок от них оставался — в подозрительной оглядке на окружающих, в повышенной чувствительности к каждому суждению о себе, в щекотливости к любой наслышке. Это настроение, повышенное физическим недостатком — ослаблением слуха, — придавало особую остроту его общему пессимистическому мнению о людях, какое он вынес из общения с придворной средой.

Тяжким кошмаром прошла над ним кровавая ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Пережитого в те дни он никогда не забывал. Эти воспоминания входили в его политические расчеты, влияли на оценку им людей и поло-

жений. «Мне Пален не нужен, — вырывается у него в ответе о проделках за его спиной министра полиции Балашева, — он хочет завладеть всем и всеми, это мне нравиться не может». Но он готов использовать тех, кого называет «злодеями», для интриги, для того, чтобы иметь повод избавиться от докучных людей.

Окружающие считают Александра склонным и способным к интриге, к намеренной сплетне, сознательной клевете. Он мелочно подозрителен, боится интриг и влутывается в них, сам их создает, охотно слушает доносы, требует от своих сотрудников, чтобы они следили друг за другом. Совет Наполеона — ссорить между собой министров и генералов, чтобы они выдавали друг друга, поддерживать вокруг себя безграничную зависть таким обращением с окружающими, чтобы то один, то другой считал себя предпочтенным и никто не был бы никогда уверен в его расположении, совет, о котором сам Александр рассказывал г-же де Сталь, не пропал даром и попал на подходящую почву.

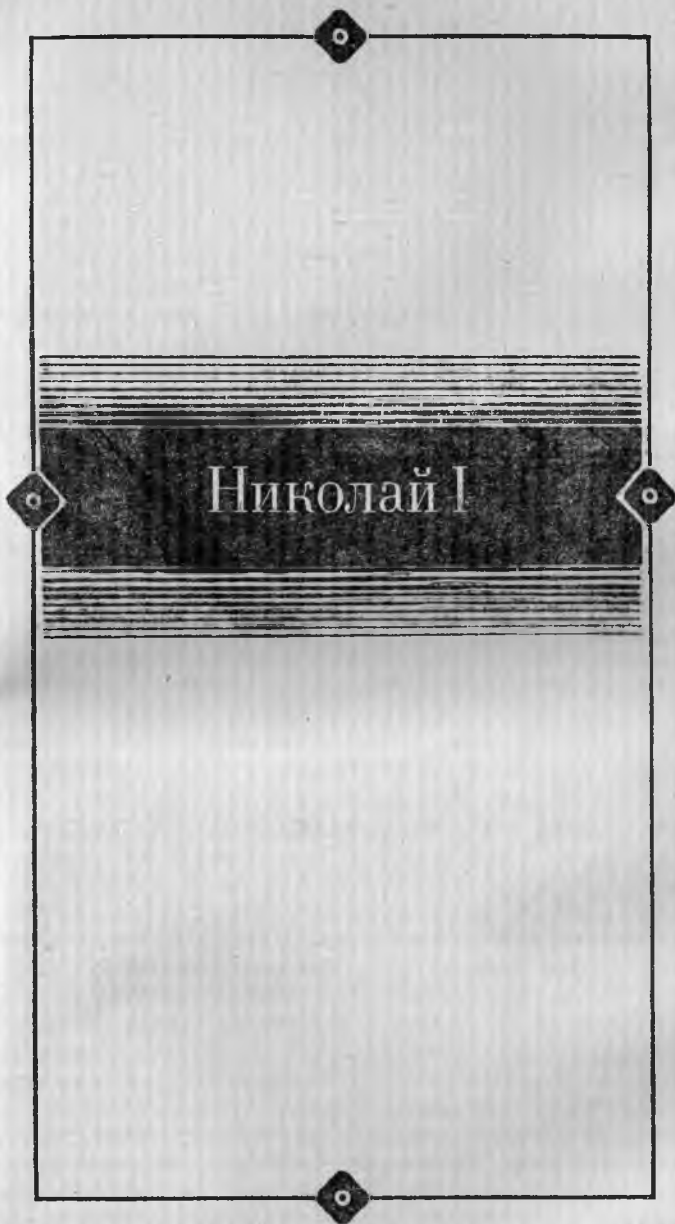
Эти приемы составили бытовую подкладку выполнения советов Лагарпа: пользуясь министрами и другими сотрудниками, все направлять и все решать самому. Александр не желал быть только главою правительства, зависеть от группы сотрудников, связанных установленной программой, «запереться в определенную догму». Он органически не годился в конституционные государи. В министрах ему нужны исполнители, способные уловить его мысль, разработать его планы, выполнить его намерения. Самостоятельность и разногласия быстро вели к расхождению. Так было с негласным комитетом, так было со Сперанским. Загадка «падения Сперанского» совсем не так загадочна, как о ней много писали. Александр разошелся с ним по существу. Разочаровался в его «плане всеобщего государственного образования», которым не разрешалась искомая задача соглашения самодержавия с законно-свободными учреждениями и работа над которым была лишь этапом его личной политической идеологии. Разочаровался и в финансовом плане Сперанского. А занятое Сперанским положение первого министра тяготило, как отдаление от власти. Несомненно, что Александр испытал ощущение захвата слишком большой доли влияния чужими руками. В этом и было «преступление» Сперанского, осознанное обоими: Александр знал, по-видимому, что

Сперанский им тоже недоволен как сотрудником в делах правления за то, что он «все делает наполовину», и за то, что он «слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым». Призрак таинственности придан этой истории приемами Александра, чтобы найти повод для разлуки, и не простая отставка, а опала и высылка лица, накануне всемогущего. Но отставной Сперанский был бы невозможен в столице именно как вчерашний полудержавный властелин, а колебания Александра и его самолюбивая подозрительность могли найти выход только в «падении» этого своего рода соперника. Сознание, что получил эффектный политический жест накануне разрыва с Францией, пришло, по-видимому, только потом, под впечатлением общего раздражения против павшего деятеля. Презрительно отзываясь о людях, которые вчера угодничали перед временщиком, а теперь кидали в него грязью, Александр, однако, находил оправдание своей меры в общем, как казалось, ее одобрении.

Человеком, на которого нельзя положиться, считали Александра наиболее близкие люди. За недоверие платили ему недоверием. Упомянутый отзыв Аракчеева был, возможно, не без горечи; даже он, личный друг, не всегда чувствовал себя прочным: по-видимому, он знал, что у Александра и за ним есть наблюдение. И тою же чертой Александра — ревностью к единоличной власти в связи с недоверчивостью к людям — всего, по-видимому, естественнее объясняется странное дело о престолонаследии. Младшие братья, Николай и Михаил, иной раз жаловались, что Александр держит их только военными командирами. Намеченный в преемники, Николай не только не был объявлен наследником, но не получил и подготовки к будущей роли правителя ни постановкой его образования, ни участием в государственных делах. Александр держал братьев в строю и в строгой субординации. Отречение Константина было оформлено только келейно, между членами императорской семьи, а заготовленным актам о престолонаследии придан небывалый характер посмертных распоряжений, которые будут опубликованы, только когда их автор ляжет в могилу и, стало быть, перестанет быть носителем власти. Этот государственно-правовой парадокс, который можно назвать политической бестактностью, не смущал Александра. В состоянии

моральной депрессии, в каком он доживал последние годы, он готов был откладывать крупные и требовавшие решимости действия до времени, когда не ему придется их совершать. Так в деле будущих декабристов, так в деле о престолонаследии. А черты этой моральной депрессии явственны в его закате. Он точно места себе не находит. Потеряв устои своей европейской роли, он отдает, характерно, много времени поездкам по России. Эти продолжительные поездки, иногда по дальним областям и севера, и востока империи, не связаны с какими-либо правительственными задачами и не приводят к каким-либо мероприятиям. От них остается впечатление погони за новыми впечатлениями, за отдыхом от правительственных дел, за тревожным уклонением от запросов власти, потерявшей для ее носителя личный смысл с крушением прежних планов и внешней и внутренней политики. Почва для наивной легенды о старце Федоре Кузьмиче, с которой научно-критически покончил только в наши дни К. В. Кудряшев, была подготовлена всем поведением Александра в последние годы его жизни. Силы ему изменяли — и духовные, и физические. Былой интерес к религиозным течениям, некогда связанный с широкими политическими планами, переходил в попытку найти успокоение и утешение в личной набожности и беседах с духовниками, носителями «высшего» авторитета.

В одну из дальних поездок, в далеком Таганроге, угасла жизнь Александра, пережившего все свои иллюзии и все свои разочарования. Настала новая, Николаевская эпоха, с ее резким утверждением самодержавия, решительным противопоставлением России и Европы, «порядка» и «революции», без всякого, хотя бы условного, компромисса с «новыми идеями».



Николай I. Апогей самодержавия

I

Военно-династическая диктатура

Время Николая I — эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти в ту самую пору, как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый рядом революционных потрясений, переживал свои последние кризисы. Там, на Западе, государственный строй принимал новые конституционные формы, а Россия испытывает расцвет самодержавия в самых крайних проявлениях его фактического властвования и принципиальной идеологии. Во главе русского государства стоит цельная фигура Николай I, цельная в своем мировоззрении, в своем выдержанном, последовательном поведении. Нет сложности в этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности. Все сведено к немногим основным представлениям о власти и государстве, об их назначении и задачах, к представлениям, которые казались простыми и отчетливыми, как параграфы воинского устава, и скреплены были идеей долга, понятой, в духе воинской дисциплины, как выполнение принятого извне обязательства.

В течение всей жизни, не только в официальных заявлениях начала царствования, но и позднее, даже в личных письмах, Николай повторял, при случае, что императорская власть свалилась на него неожиданно, будто он не знал заранее, как порешен вопрос о престолонаследии между старшими братьями. Получается впечатление, что он частым повторением этой легенды, которую сам же счел нужным пустить в оборот, хоть она и не соответствовала действительности, довел себя до того, что почти ей поверил. Он хотел считать ее верной по существу: она хорошо выражала его отношение к власти как к врученному ему судьбой «залог», который он должен хранить, беречь, укреплять и передать в целости сыну-преемнику. Далекий от той напряженной

работы мысли, которая заставляла Екатерину подыскивать теоретические оправдания этой власти, а брата Александра искать ее согласования с современными политическими идеями и потребностями, он держится за нее, как за самодовлеющую ценность, которая вовсе и не нуждается в каком-либо оправдании или пояснении. Самодержавие для него — незабываемый догмат. Это вековое наследство воспринималось им, однако, в иной, конечно, культурно-исторической оболочке и на иной идеологической основе, чем те, с какими оно появлялось в стародавней Московской Руси, средневековой родине этого политического строя. Традиции самодержавия, в которых воспитан Николай, особенно ярко характеризуются двумя чертами, выработанными заново в русской правящей среде конца XVIII в., — укреплением его династической основы и развитием его военно-армейского типа.

Русская императорская династия сложилась только во времена Павла I; династию эту в Германии называли Голштейн-готторпской, но она титуловала себя «домом Романовых», больше по национально-политической, чем по кровной связи со старым царствовавшим родом, подобно австрийским Габсбургам, которые также только по женской линии происходили от своих «предков». Династическое право «царствующего дома», еле намечавшееся при первых Романовых, не могло установиться в XVIII в., когда верховная власть оказалась в полном подчинении у господствовавшего дворянского класса, а престолом распоряжался его высший слой руками гвардейских воинских частей. К концу XVIII в. определилось и окрепло положение России в международном обороте Европы. Внутри страны обострялись противоречия ее экономического быта и общественного строя, назревала потребность в их обновлении для высвобождения производительных сил страны из тяжких пут «старого порядка». А жуткие потрясения пугачевщины породили в настроениях господствующего класса тягу к усилению центральной власти ради укрепления сложившегося «порядка» и подавления грозных порывов социальной борьбы. Обе эти тенденции, друг другу противоположные, создавали благоприятную обстановку для самоутверждения верховной государственной власти как вершительницы судеб страны.

На рубеже XVIII и XIX столетий эта власть органи-

зается заново в административной реформе, усилившей централизацию управления, и в «основном» законодательстве, цель которого — утвердить государственно-правовое положение монархии и династии. Такую задачу разрешил Павел в узаконениях 1797 г. «Общим актом» о престолонаследии и «учреждением» об императорской фамилии он создал новое династическое право. Притом оба эти акта объявлены «фундаментальными законами империи».

Преемник ряда случайных фигур на императорском престоле, а сам — отец многочисленного семейства (4 сына и 5 дочерей), Павел чувствовал себя настоящим родоначальником династии. «Умножение фамилии», в которой утвердится правильное наследие престола, он ставит, с большим самодовольством, на первое место среди «твердых оснований» каждой монархии и считает необходимым, как «начальник фамилии», определить, наряду с «утверждением непрерывных правил в наследии престола», положение всей «фамилии» в государстве и внутренний ее распорядок. В этом законодательстве Павла, построенном по образцу «домашних узаконений» (Hausgesetze) немецких владетельных фамилий, императорская династия впервые получила свое определение. Весь ее состав — и мужской и женский — во всех его линиях и разветвлениях потомства объединен возможным, предположительно, правом на престол по порядку, предусмотренному с крайней подробностью уже не «домашним», а «фундаментальным» законом империи. Вся «фамилия» резко выделена из гражданского общества. «Императорская фамилия», «царствующий дом» с той поры — особая организация, все члены которой занимают совершенно исключительное положение вне общих условий и публичного и гражданского права. Это выделение династии еще усилено дополнением, какое сделал Александр I в 1820 г., по случаю женитьбы его брата Константина на графине Иоанне Грудзинской (кн. Лович): династия может пополняться только путем браков ее членов с лицами, принадлежащими также к какому-нибудь владетельному роду; в противном же случае этот брак, граждански законный, является политически незаконным, т. е. не сообщает ни лицу, с которым вступил в брак член императорской фамилии, ни их детям никаких династических прав и преимуществ.

Эти законодательные постановления отражали ряд

бытовых явлений. «Фамилия» жила своей особой жизнью, в узкой и замкнутой придворной и правящей среде, оторванная и отгороженная множеством условностей от русской общественной жизни и вообще от живой русской действительности. Особый склад получили внутренний быт, воззрения и традиции этой семьи, полурусской не только по происхождению, но и по родственным связям. Двор родителей Николая был в бытовом отношении под сильным немецким влиянием, благодаря вюртембергскому родству императрицы, голштинскому наследству и прусским симпатиям Павла.

Известно значение «прусской дружбы» во всей жизни и деятельности Александра. Родственные чувства и отношения царской семьи охватывали, кроме русских ее членов, многочисленную родню прусскую, вюртембергскую, мекленбургскую, саксен-веймарскую, баденскую и т. д. и т. д., связи с которой создавали новую опору европейскому значению русской императорской власти и переплетались с ее международной политикой. Фамильно-владельческие понятия немецких княжеских домов сильно повлияли на русские династические воззрения. Николай вырос в этой атмосфере, она была ему своя и родная. Эти связи углубились и окрепли с его женитьбой в 1817 г. на дочери Фридриха-Вильгельма III Шарлотте, по русскому имени Александре Федоровне. Тесть стал ему за отца. Родного отца он, родившийся в 1796 г., почти не знал; к брату-императору, старшему его на 18 лет, относился с чувством скорее сыновним, чем братским, но близок к нему никогда не был. Воспитание младших Павловичей было всецело предоставлено матери, Марии Федоровне. Благоговейно усвоил Николай политические заветы Александра эпохи Священного союза, но без той интернационально-мистической подкладки и тех мнимо либеральных утопий, какими Александр их усложнял. Николай усвоил и принял только то из этих заветов, в чем сходились Александр с Фридрихом-Вильгельмом, которого память он чтит всю жизнь и которого в письмах к его сыну и преемнику, любимому брату императрицы, Фридриху-Вильгельму IV, называл не тестем, а отцом. Прусский патриархальный монархизм в соединении с образцовой воинской дисциплиной и религиозно-нравственными устоями в идее служебного долга и преданности традиционному строю отношений — прельщали его, как основы тех

«принципов авторитета», которые надо бы (так он мечтал) восстановить в забывающей их Европе. Их он разумеет, когда ссылается на дорогие ему заветы «отца» — Фридриха — и брата Александра, которых он только верный хранитель. В русскую придворную среду и вообще в петербургское «высшее» общество входит, с этих пор, все усиливаясь, немецкий элемент. Роль Ливенов и Адлербергов началась с того, что их родоначальницам (в составе «русской» аристократии) поручено было первоначальное воспитание младших Павловичей. Среда остзейского дворянства — с ее аристократическими и монархическими традициями — стала особенно близкой царской семье в тревожный период колебания всего политического европейского мира. «Русские дворяне служат государству, немецкие — нам», — говаривал Николай позднее, вскрывая с редкой откровенностью особый мотив своего благоволения к остзейским немцам. Курляндец Ламсдорф, бывший директор кадетского корпуса, стал воспитателем младших Павловичей, когда они подросли; жесткая грубость приемов кадетской педагогики привила Николаю немало усвоенных им навыков, для которых был, впрочем, и другой мощный питомник в его военном воспитании.

Монархическая власть милитаризуется повсеместно к началу XIX в., кроме Англии. Особенно сильно и ярко — в Пруссии и в России. Прусская военщина водворилась в быт русской армии при Петре III, заново — и в самых крайних формах — при Павле. В придворной и правительственной среде вельмож XVIII в. сменили люди в военных мундирах и с военной выправкой; в дворцовом быту все глубже укоренялись формы плац-парадного стиля; во все отношения правящей власти проникают начала военной команды и воинской дисциплины. Властная повелительность и безмолвное повиновение, резкие окрики и суровые выговоры, дисциплинарные взыскания и жестокие кары — таковы основные приемы управления, чередуемые с системой наград за отличия, поощряющих проявлений «высочайшего» благоволения и милости. Служба и верность «своему государю» воплощают исполнение гражданского долга и заменяют его при подавлении всякой самостоятельной общественной деятельности: «гатчинская дисциплина», созданная Павлом и разработанная Аракчеевым, породила традицию далеко не в одной армейской области,

Школа воинской выправки многое выработала и определила в характере и воззрениях Николая. Есть известия, что императрица-мать пыталась ограничить военные увлечения сыновей. Но успеха она не имела и иметь не могла. Слишком глубоко пустила эта военщина корни. На мучительных для войск тонкостях вахтпарада Александр отдыхал от тонкостей своей политики и сложности своих безнадежных политических опытов. Николай стал артистом воинского артикула, хотя и уступал пальму первенства брату Михаилу. Вышколенная в сложнейших искусственных приемах, дисциплинированная в стройности массовых движений, механически покорная команде, армия давала им ряд увлекательных впечатлений картинной эффектности, о которой Николай упоминает с подлинным восторгом в письмах к жене. «Развлечения государя со своими войсками, — пишет близкий ему Бенкендорф, — по собственному его сознанию — единственное и истинное для него наслаждение». Никакие другие переживания не давали ему такого полного удовлетворения, такой ясной уверенности в своей мощи, в торжестве «порядка» над сложными противоречиями и буйной самочинностью человеческой жизни и природы.

«Солдатство, в котором вас укоряли, было только данью политике», — писал Николаю декабрист из каземата крепости. Слово «только» тут дань условиям, в каких письмо писано, но политика была в солдатстве Николая, как не мало было и солдатства в его политике. Оба элемента его воззрений и деятельности переплетались, срастаясь в органическое целое. Армия, мощная и покорная сила в руках императора, — важнейшая опора силы правительства и в то же время лучшая школа надежных исполнителей державной воли императора. Смотры и парады, воинские празднества, которым с таким увлечением отдавался Николай, не только «истинное наслаждение», но и внушительная демонстрация этой силы перед своими и чужими, а, быть может, всего более перед самим собой.

Не только фронтовую службу изучал Николай с большим увлечением и успехом. Он получил вообще солидное военное образование. Знающим и даровитым преподавателям и собственному живому интересу он обязан основательным ознакомлением с военно-инженерным искусством и с приемами стратегии. Эту последнюю он

изучал практически на разборе важнейших военных кампаний, в частности войн 1814 и 1815 гг., и стратегических задач, например таких, как план войны против соединенных сил Пруссии и Польши или против Турции, для изгнания турок из Европы. Во время войн своего царствования он лично руководил составлением планов военных действий и часто повелительно навязывал полководцам свои директивы. А строительное дело, притом не только военное, осталось одним из его любимых занятий: он не мало проводил времени за рассмотрением строительных проектов, вносил в них свои изменения, лично их утверждал, следил за их выполнением. Зато он скучал на занятиях юридическими и политическими науками; преподаватели, хоть и выдающиеся по глубине мысли и знаний, но плохие педагоги — Балугьянский и Шторх, — сумели только укрепить в нем отвращение к «отвлеченностям», что, впрочем, соответствовало его натуре и умонастроению. Понятие «права» осталось чуждым мировоззрению Николая; юридические нормы для него — только законы как повеления власти, а повиновение им основано на благонамеренности подданных, воспитанных в благочестивом смирении перед высоким авторитетом. «Лучшая теория права, — говорил он, — добрая нравственность, и она должна быть в сердце не зависимой от этих отвлеченностей и иметь своим основанием религию». Лучше, чем теория «естественного права», которую ему внушал проф. Кукольник, подошли Николаю реакционно-романтические веяния немецкой политической литературы, столь ценимые в родственном ему Берлине. Отражением этих веяний была своеобразная доктрина, какую в 1848 г. изложил Я. И. Ростовцев в «Наставлении для образования воспитанников военно-учебных заведений». Тут государственная власть получает значение высшего авторитета во всех общественных отношениях: верховная власть есть «совесть общественная», она для деятельности человека должна иметь то же значение, что его личная совесть для его внутренних побуждений; «закон совести, закон нравственный, обязателен человеку, как правило для его частной воли; закон верховной власти, закон положительный, обязателен ему, как правило для его общественных отношений». Воля людей, составляющих общество, есть, по этой теории, элемент анархический, так как «в общежитии неизбежна борьба различных воль»,

и потому, «чтобы охранить общество от разрушения и утвердить в нем порядок нравственный», необходимо господство другой силы — верховной власти; она создает основания «общественной совести» своими узаконениями, задача которых — подавить борьбу различных стремлений и интересов, лиц и общественных групп во имя «порядка», квалифицируемого как «нравственный». Твердую опору этому «закону верховной власти» должно дать церковно-религиозное воспитание юношества в «неограниченной преданности» воле отца небесного и в «покорности земной власти, как данной свыше». У Николаевского политического консерватизма была своя, достаточно цельная, психологическая и педагогическая теория. В них — моральная опора всевластия правительства как источника и общественного порядка, и нравственности, и культуры: вне государственного порядка — только хаос отдельных личностей.

Эта упрощенная и характерная для своего времени философия жизни была и личным мировоззрением Николая. «Здесь, — говорил он, объясняя мотивы своего преклонения перед прусской армией, — порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого, никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто без законного основания не становится впереди другого; все подчиняется одной определенной цели, все имеет свое назначение: потому-то мне так хорошо среди этих людей и потому я всегда буду держать в почете звание солдата. Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит».

II

Казенный национализм

Царствование Николая I — золотой век русского национализма. Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу как два различные культурно-исторических мира, принципиально разные по основам их политического, религиозного, национального быта и характера. В годы Александра I могло казаться, что процесс «европеизации» России доходит до крайних своих пределов. Разработка проектов политического

преобразования империи как бы подготовляла переход русского государственного строя к европейским формам буржуазного государства; эпоха конгрессов вводила Россию органической частью в «европейский концерт» международных связей, а ее внешнюю политику — в рамки общеевропейской политической системы; конституционное царство Польское становилось, в намерениях русского властителя, образцом общего переустройства империи, и не столько форпостом, отграничивавшим Россию от Запада, сколько широким мостом их связи: даже в экономическом отношении соглашение держав о мерах к облегчению условий обмена между частями поделенной польской территории получило расширенное толкование и привело в 1817 г. к такому прорыву системы запретительно-покровительственных пошлин, который вызвал острую тревогу за судьбы молодой русской промышленности; наконец, церковно-административная и религиозно-просветительная политика в духе общеевропейской реакции в эпоху Священного союза вела к своеобразной нивелировке «самобытных» черт русской жизни и в этой области.

Настойчивая реакция против всех этих тенденций Александровской эпохи объединяла различные интересы и тенденции русской общественности. Вся политика Александра I, и внутренняя, и внешняя, встречалась с резкой и раздраженной критикой, с неумолкавшей оппозицией, которая отражала интересы и требования разных общественных групп, но объединялась одною чертою: национально-патриотическим настроением, враждебным «императору Европы», как его называли. Голос консервативных элементов этой оппозиции прозвучал всего громче в записке Карамзина «О древней и новой России». Карамзин одинаково враждебен и конституционным опытам и министерски-бюрократическому управлению; он отстаивает старое русское самодержавие. «У нас — не Англия, мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом... В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит и любовь первых приобретает страхом последних... В монархе российском соединяются все власти, наше правление есть отеческое, патриархальное». «Самодержавие есть палладиум России». Министры, поскольку они нужны, «долженствуют быть единственно секретарями государя по разным делам».

Не в чиновничестве должен император искать опоры своей власти, а в дворянстве, родовом, постоянном, не том мнимом, подвижном, которое приобретается по произволу в чины; в руках этого дворянства должны быть должности по управлению. Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилища традиций, а над ними государь-законодатель, источник всякой власти: «Вот основание российской монархии». Идеал Карамзина — дворянская монархия XVIII в.; она для него национальная святыня. Самодержавная власть — сила охранительная для дворянского государства. Государь должен быть главою дворянства, в нем и только в нем видеть опору своего престола. Письмо, которое Александр получил по заключении ненавистного дворянству Тильзитского мира и которое, по-видимому, следует приписать тому же Карамзину, выразило то же воззрение не менее отчетливо: единение с дворянством одно разрешит задачи, поставленные реформами первых лет царствования, — единство в управлении и замену произвола законностью; «в сей-то взаимной доверенности государя к дворянству и дворянства к своему государю вы найдете способы дать нам правление сосредоточенное и совокупное, которого члены были бы оживлены тем же духом и труды бы их устремлены к одной цели», — читаем тут с одобрением (весьма лукавым) государю, который начал правление с того, что «самого себя подчинил спасительной власти законов» и восстановил нарушенные права «первых столбов престола» (дворянства и хранителя его прав Сената), а себя окружил «правителями, назначенными всеобщим движением», т. е. общественным мнением того же дворянства. Так и должен действовать правитель. Если он хочет быть национальным и популярным, пусть изгонит «силу иноплеменников» и проникнется «неограниченной доверенностью к собственной своей нации», пусть рассчитывает только на «настоящих россиян»; только тогда правительство станет сильным и достигнет того «единства намерений в плане и той счастливой согласности в подробностях исполнения, без которой величайшие гении не могут ничего выгодного предпринять для спасения государства».

За этими воззрениями стояли преимущественно интересы высшего дворянского слоя, вельможного и крупноземлевладельческого, мечтавшего об утверждении

«на вечные времена и непоколебимо» своих социальных привилегий и политических отношений Российской империи XVIII в. Но политика Александра вызвала в том же дворянском обществе, в других его слоях, оппозицию иного рода, сложившуюся в последние годы его царствования и завершённую в движении декабристов. Эта оппозиция была менее цельной, более сложной по мотивам и тенденциям и стала колыбелью ряда общественных течений, далеко разошедшихся в позднейшем развитии. Но во всех программных вариантах этого движения общей основной чертой было стремление к обновлению русской жизни, к ее преобразованию на новых началах гражданской свободы для масс и политического влияния для средних общественных слоев, к широкому развитию промышленности, торговли и просвещения — словом, к основам западноевропейского буржуазного строя, а другой столь же общей их чертой было национально-патриотическое настроение в противовес александровскому космополитизму. Движение, которое можно бы назвать национал-либеральным, порывало с традициями старого феодального дворянства и с самодержавием.

Развилось оно преимущественно в дворянской помещичьей среде, и притом в офицерских кругах, где сосредоточены были наиболее интеллигентные элементы русского общества тех времен. Оно шло к захвату власти путем военного переворота, избегая массового революционного движения, и заключилось драматическим эпизодом 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Влияние обоих этих общественных течений Александровской эпохи на Николая было весьма сильно. Он встретился с ними лицом к лицу: с первым — в крутом повороте правительственной деятельности от прежних путей за последние годы александровского царствования, со вторым — в драматичной обстановке своего вступления на престол.

При жизни брата Николай стоял в стороне от активной политической жизни; он только командовал гвардейской дивизией и управлял военно-инженерной частью. Вращаясь в военно-служебной и придворно-служилой среде, в так называемом «высшем» обществе, Николай хорошо его знал со всей его пустотой и распушенностью, дразгами и интригами. Он находил потом, что время, затраченное на толкотню в дворцовых перед-

них и секретарских дежурных комнатах, не было потерян: оно послужило «драгоценной практикой для познания людей и лиц», и он тут «много видел, многое понял, многих узнал — и в редком ошибся». В салонах этой среды творилось то, что тогда в Петербурге считалось общественным мнением; это было мнение высшего дворянства и бюрократии, — и Николай знал ему цену. К этому обществу у него было не больше симпатии и уважения, чем у Павла или Александра. Дворянство для него, прежде всего, — служилая среда, которую он стремится дисциплинировать и удержать в положении покорного орудия власти. В моменты, трудные для власти и опасные для ее носителя, — официальные акты и личные речи Николая звучали по-карамзински, обращались к дворянству как «ограде престола», говорили о правительстве как оплоте его интересов. Он умеет, при случае, назвать себя «первым дворянином» и причислиться к «петербургским землевладельцам». Но он слишком «командир», чтобы выдерживать такой тон в отношении к высшему классу, и слишком остры противоречия русской жизни в эпоху разложения крепостного хозяйства и роста торгово-промышленных интересов страны, чтобы Николай мог твердо стоять в положении «дворянского царя». Само дворянское общество, переживавшее сложный внутренний кризис, не давало правительству достаточной уверенности в нем как в силе консервативной, как в опоре установившегося в империи порядка. Командуя гвардейскими частями (бригадой, затем дивизией), Николай был крайне недоволен «распущенным, испорченным до крайности» порядком службы и настроением гвардии, вернувшейся из заграничного похода. «Подчиненность исчезла, — пишет он в своих заметках по поводу события 14 декабря, — и сохранялась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была — одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле». Быть может, задним числом, но Николай отмечает, что он почуял, как за этим «крылось что-то важное», что «дерзкие говоруны», разрушавшие дисциплину — эту школу политической благонадежности, «составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей». На такие впечатления Николай откликнулся сугубой муштровкой, тем усиленным «солдатством», в котором Алек-

сандр Бестужев уловил «дань политике». Впечатление от декабрьских событий 1825 г. было для Николая тем сильнее, что заговор и восстание возникли в военной среде, которая дала лишь сконцентрированное выражение настроению, широко разлитому в общественной массе. Розыски и расправа по делу декабристов стали первым правительственным актом императора Николая. Он пошел лично во все детали, сам разыграл роль ловкого допросчика и тюремщика, который умеет то жестоким запугиванием, то притворным великодушием развязывать языки; во всем руководил следственной комиссией, сам рассудил через подставной «верховный уголовный суд» и осудил подсказанным суду приговором, заранее наметив некоторое его изменение при своем утверждении. 14 декабря глубоко врезалось в его память. С этим днем он связал свое вступление на престол, в его годовщину отпраздновал 25-летие своего царствования, а поминал его ежегодно и в беседах с окружающими и в письмах: «Какая годовщина!» На всю жизнь остался он и тюремщиком декабристов: следил за каждым их движением в далекой ссылке, получал донесения о подробностях их быта, решал лично — и всегда сурово — вопросы, касавшиеся судьбы их самих и их семей. «Друзья-декабристы» вспоминались ему при каждом тревожившем его проявлении критики и оппозиции. И в этой остроте впечатлений от первой встречи с политической деятельностью крылось нечто более существенное, чем простая нервная память об испытанной опасности и пережитой тревоге. Николай вслушивался и вчитывался в показания декабристов, вникал в столь ему чуждый строй мысли и чувства и всматривался в раскрытую тут картину русской жизни, ее противоречий и недостатков. Правителю дел следственной комиссии поручено было составить сводку суждениям о различных сторонах положения дел в государстве, какие декабристы высказывали в своих показаниях и которыми они поясняли общее недовольство, вызвавшее их на попытку переворота. Записка этого чиновника кончалась поучительным выводом, сколько трудных задач предстоит новому правительству разрешить: «Надобно даровать ясные положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами

и кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно каждому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унижительную продажу людей, воскресить флот, поощрить частных людей к мореплаванию — словом, исправить неисчислимы беспорядки и злоупотребления». Перо, излагавшее вины «преступников», составило, по повелению той же власти и словами декабристов, характеристику положения государства, до такой степени расшатанного «неисчислимыми беспорядками и злоупотреблениями», что не остается иного выхода, кроме коренного изменения всей правительственной системы, а стало быть, и основ государственного строя.

Сами декабристы в своих письмах-завещаниях Николаю как бы передавали ему в руки свое недоделанное дело. По свидетельству Кочубея (председателя Государственного совета), сводка их замечаний и суждений была постоянно под рукой у Николая и он часто ее просматривал, а копии с нее дал Кочубею и цесаревичу Константину. «Друзья-декабристы» вдвойне отравили сознание самодержца: опасливым недоверием к обществу, которое казалось готовым взяться за революционные средства против власти, тормозящей рост русской жизни, и пониманием, что «всеобщего недовольства», о котором так много тревожных толков, нельзя свести к идейным «заблуждениям», что для него имеются объективные основания в запросах этой жизни, перерастающей сковавшие ее формы социально-политического строя.

Один из иностранных наблюдателей тогдашней петербургской жизни отметил как повод к особой тревоге правительства, что настойчивая мысль о необходимости преобразований, о том, что опасно пребывать в неподвижности, а необходимо, хотя бы с умеренной постепенностью, «идти за веком» и готовиться к «более решительным переменам», проникла в сознание «людей самых благоразумных».

Краткий, но выразительный вывод из всех этих сложных впечатлений сделан был в манифесте, который обнародован Николаем по завершении расправы над декабристами. Восстание вскрыло «тайну зла долголетнего», его подавление «очистило отечество от следствий заразы, столько лет среди его таившейся». Эта «зара-

за» пришла с Запада как нечто чужое, наносное: «Не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел», но тщетны будут все усилия к прочному искоренению зла без единогодушной поддержки всего общества. Николай призывает все сословия соединиться в доверии к правительству, но особо напоминает дворянству его значение «ограды престола» и сословия, которому раскрыты все пути военной и гражданской службы; оно особенно должно поддерживать «непоколебимость порядка, безопасность и собственность его охраняющего», и насаждать «отечественное, природное, не чужеземное воспитание». А потребность в преобразованиях получит удовлетворение «не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных», а путем постепенных усовершенствований существующего порядка мерами правительства. Общество может этому помочь, выражая перед властью, путем законным, «всякое скромное желание к лучшему, всякую мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности», что будет принимаемо «с благоволением».

Так все общественные классы должны склониться в полном доверии перед императорской властью и содействовать, по мере сил, не за страх только, а за совесть, осуществлению ее национально-консервативной программы. Эта программа взяла верх над иными течениями; еще в последние годы александровского царствования, когда, с одной стороны, покинуты либеральные мечтания, а с другой — поднято национальное знамя в вопросах о внешней и внутренней политике. Еще Александр порвал, в последние два-три года своей жизни и царствования, с проектами реформы политического строя империи, круто изменил свое отношение к Польше, отверг зависимость русской политики на Ближнем Востоке от тенденций Священного союза, вернулся к охранительному таможенному тарифу, отступился от вневероисповедной точки зрения в вопросах церковного управления и народного просвещения в пользу православно-церковной реакции. Программой николаевского царствования стали заветы последних лет Александра.

государственных и удельных крестьян оставались под особым управлением, как принадлежность государственных и удельных имуществ; а из остальных 9 млн надо еще исключить весь состав армии, чтобы получить приблизительное представление, чем собственно только и управляли общие административные учреждения. Сказочное ничтожество и испорченность этой администрации — естественный результат ее бессилия и убогой ограниченности ее общественного веса в среде, где господствовали 272 тыс. земле- и душевладельцев.

Подлинная картина внутреннего состояния России вырисовывается с достаточной полнотой и отчетливостью в официальных документах Николаевской эпохи — в делах комитета министров, во «всеподданнейших» отчетах министров внутренних дел и финансов и т. п. Николай ознакомился с этой действительностью, получив к тому недурную подготовку в показаниях декабристов. Можно сказать, что перед ним постоянно вырисовывались все шире и яснее назревшие нужды страны и самой государственной власти. Одним из первых дел его, по завершении процесса декабристов, было поручение так называемому Комитету 6 декабря (1826) рассмотреть все проекты реформ, намечавшихся при Александре I, и разработать предположения о неотложных преобразованиях, особенно в устройстве государственных учреждений и в положении сословий. Затем в течение всего царствования ряд «комитетов» работал над финансовыми, экономическими, правовыми и организационными проблемами, которые настойчиво и остро ставились самой жизнью.

На дне каждого крупного затруднения, встречаемого правительственной властью в управлении страной, в основе каждого существенного вопроса о способах устранения расстройств страны выяснялась, при изучении соответственных данных, роковая для старого порядка проблема о крепостном строе народного хозяйства и всей русской общественности. Выяснялась неразрывная связь всех сторон народно-государственной жизни с фундаментом крепостного права, выступала необходимость капитальной перестройки всего здания на новом основании. Выяснялась необходимость решительной активности правительственной власти, усиления государственного вмешательства в сложившийся строй отношений и в самую организацию местной массовой

жизни. От самодержавной власти, принципиально всемогущей, ожидали деятельного преобразовательного почина, при сознании бессилия наличных общественных групп преодолеть сопротивление консервативных элементов и взяться за дело реорганизации страны. Даже среди наиболее «левых» элементов тогдашней интеллигенции сильны и сознание этого бессилия и расчет на монархическую власть — в деле реформы. Так, например, Белинский, и не в период пресловутого увлечения «примирением с действительностью», а в 1847 г. и вскоре после своего «революционного» письма к Гоголю, высказывал уверенность, что «патриархально-сонный быт весь изжит и надо взять иную дорогу», но первого шага на этой «иной дороге» — освобождения крестьян — ожидал от «воли государя-императора», которая только и может разрешить великую задачу, если только не помешают ей окружающие престол «друзья своих интересов и враги общего блага».

А «друзья своих интересов» умело внушали своему властителю сознание связи этих интересов с его собственными, самодержавно-династическими. Внушали и положительно и отрицательно: и тем, что власть помещицы — необходимая опора власти самодержавной, и тем, что приступ к преобразованию социальных отношений неизбежно приведет к революционному потрясению. Ликвидация крепостного права казалась чреватой большими опасностями для самодержавия. Давняя мысль Карамзина, что «дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства», а если государь, «отняв у них сию власть блюстительную, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена», то не удержать ему такой тяготы, была крепко усвоена в правительственных кругах. Теоретик николаевской правительственной системы граф С. С. Уваров, министр народного просвещения, утверждал, что «вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии: это две параллельные силы, которые развивались вместе, у того и другого одно историческое начало и законность их одинакова»; он говорил о крепостном праве: «Это дерево пустило далеко корни — оно осеняет и церковь, и престол, вырвать его с корнем невозможно». Николай официально высказывал взгляд на дворянство как на «состояние, коему преимущественно вверяется защита

престола и отчества», носился, однако, с мыслью признать основой его привилегированного положения землевладение, а не владение крепостными. В попытке провести разделение этих двух вопросов Николай был под определенным влиянием остзейских порядков, где так называемое освобождение крестьян было проведено без наделения их землей в собственность и с сохранением над ними помещичьей административно-судебной власти. Последнее не соответствовало, по существу, авторитарным стремлениям Николая. Бюрократизация местного управления более отвечала бы его намерениям. В таком направлении и был сделан некоторый шаг реформой 1837 г.: уезды разделены на станы с назначением станowych приставов, как и уездных заседателей, губернским правлением. Но этот шаг не имел продолжения: не только выбор исправников остался за дворянством, но и приставов, и заседателей указано было назначать преимущественно из местных помещиков. Что до владения землей, то Николай объявил помещичью поземельную собственность «навсегда неприкосновенной в руках дворянства», как гарантию «будущего спокойствия». Он пытался, однако, поставить на очередь переход от крепостничества к «переходному состоянию» в проекте положения об «обязанных» крестьянах, по которому помещики, сохраняя право вотчинной собственности, предоставляли бы крестьянам личную свободу и определенную часть земли за повинности и оброки по особому для каждого имения инвентарю. Мера эта, по проекту, разработанному Киселевым, должна была получить общегосударственное значение, независимо от воли отдельных помещиков. Но такие предположения встретили столь раздраженную и настойчивую оппозицию в кругах высшей дворянской бюрократии, что Николай поспешил отступить. Проект нового закона был внесен в Государственный совет в таком измененном виде, который лишил его всякого серьезного значения, а император снабдил его в речи совету и в пояснительном циркуляре министра внутренних дел такими оговорками, которые дали иностранному наблюдателю право назвать все это — «печальной сценой комедии». В этой характерной речи Николай говорил: «Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении, есть зло, для всех ощутительное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным»; «нынешнее поло-

жение таково, — заявлял он далее, — что оно не может продолжаться, но вместе с тем и решительные к прекращению его способы также невозможны без общего потрясения». Эти безнадежные слова вскрывают основное положение николаевского правительства: острое опасение каких-либо «потрясений» парализует сознание, что существующий порядок «не может продолжаться». И закон об обязанных крестьянах потерял силу в оговорке, что его проведение в жизнь предоставлено на волю тем из помещиков, которые сами того пожелают, и в пояснении, что он устраняет «вредное начало» александровского закона о свободных хлебопашцах — отчуждение части земли в собственность крестьян, а устанавливает сохранение вотчинной собственности за помещиками и на те земли, какие отойдут в пользование крестьян «обязанных». В итоге — лишь новая победа дворянства над «предрассудком» крестьян, будто при личном их закреплении они все-таки — подлинные владельцы земли.

Дворянство оказывалось силой, с которой приходится считаться, а не только ею повелевать. Иностранец-наблюдатель находил, что Николай, хоть он достаточно импонирует окружающим, чтобы не опасаться участи Павла I, однако, многим рискует, и малейший ложный шаг на такой скользкой почве может его погубить; ссориться с дворянством русскому государю решительно опасно. И не только потому, что опасно слишком раздражать господствующий класс. Уступчивость самодержавной власти по отношению к дворянству, как и преданность дворянства престолу, — словом, их стремление к солидарности поддерживалось общим их страхом перед опасностью гневного взрыва народной массы. Этот страх заставлял задумываться над необходимостью разрядить напряженную атмосферу реформами, но он же создавал нерешительность в приступе к ним из опасения, что тронуть расшатанное здание значит вызвать его бурное крушение. Брат — цесаревич Константин — настаивал на недопустимости «коренных реформ, изменяющих взаимные отношения между сословиями», так как это поведет-де неминуемо к изменению самых основ государственного строя империи. И так многие тогда думали. Были уверены, что упразднение крепостного права поведет к упразднению самодержавия, что водво-

рение буржуазного социального строя, на началах гражданской свободы и частной собственности масс, приведет, неизбежно, к буржуазному конституционному государству. А Николай утверждал, что понимает только политические крайности: абсолютную монархию и демократическую республику, а конституционная монархия производит на него впечатление чего-то фальшивого и двусмысленного. Сохранение же русского самодержавия в полной неприкосновенности он считал первым и главным своим долгом.

Оставалось — определить отношения между правительственной властью и дворянством. Николаевское правительство ставит себе двойную задачу: восстановить социальную силу дворянства и выработать из него орудие правительственной администрации. Первой цели должны служить мероприятия, направленные к очистке «первенствующего» сословия от слишком измельчавших и опустившихся элементов путем их поддержки или отсеечения. Правительство развивает своеобразную переселенческую политику, наделяя оскудевшие дворянские семьи казенными землями в Заволжье и в Сибири с пособием от казны для установки хозяйства, но, с другой стороны, отдает дворянских детей из семейств, безнадежно опустившихся и экономически, и культурно, в школы кантонистов, взрослых недорослей в военную службу с утратой ими привилегии дворянства. Значение дворянских обществ (губернских и уездных) правительство старается поднять тем, что повышает ценз на право участия в выборах и еще более — на право занимать должности по избранию, предоставляет им выбирать председателей судебных палат и призывает их к сугубой активности в заведовании местными делами с правом обращаться к верховной власти заявления о своих сословных и вообще местных нуждах. Зато дворянство должно войти в роль послушного и трудоспособного орудия администрации. Дворянские избранники — лишь разновидность правительственного чиновничества, их служба приравнена к службе государственной. Предводители дворянства — по делам целого ряда «комитетов»: дорожного, по земским повинностям, по рекрутским наборам, народному продовольствию, борьбе с эпидемиями и т. п. — становились помощниками губернских властей в местном управлении. Так называемое дворянское самоуправление всецело вводится в состав бю-

рократических органов правительства. Правительство настойчиво поддерживает сословность общественного строя также мерами по народному просвещению: разграничивает состав учащихся по школам разных ступеней так, чтобы никто «не стремился через меру возвыситься над тем состоянием, в коем ему суждено оставаться», предназначает среднее и тем более высшее образование только детям «дворян и чиновников». Но и тут вся политика направлена к подчинению просвещения охранительным видам правительства с решительной урезкой его широты и свободного развития, ради подчинения образовательных задач школы целям политического обезвреживания общественной мысли.

Реакционные меры к восстановлению разлагавшихся основ сословной государственности были слишком искусственны для прочных и устойчивых результатов. Не могли они остановить ход эволюции, а разве только его замедлить. В рамках устарелого строя русская жизнь шла своими путями в полном противоречии с охранительными началами правительственной политики. Народное хозяйство выходило на новые пути торгово-промышленного развития. Углубляются международные экономические связи. Русский вывоз возрос с 75 до 230 млн рублей, ввоз с 52 до 200. Рост заграничного торгова вынуждает к пересмотру таможенных тарифов ввиду конкуренции с американским сырьем на европейских рынках и для приспособления тарифных ставок к таможенному объединению с Россией царства Польского. Крепнет и осложняется зависимость русской хозяйственной жизни от общеевропейских экономических конъюнктур. Надвигается — особенно в связи с проблемой железнодорожного строительства — вопрос о роли иностранных капиталов в развитии русского капитализма. На юге возникла значительная свеклосахарная промышленность (первый завод основан в 1802 г., к 1845-му их 206), определялась экономическая физиономия среднерусского промышленного района, который все больше кормится закупкой хлеба в земледельческих губерниях. Крепостное хозяйство падает и разлагается, уменьшается даже удельный вес крепостных в общем составе населения (с 45 на 37½ %). Крепнут средние общественные слои. Наперекор правительственным мерам усиливается разночинный состав учащихся в гимназиях и университетах, и к концу николаевского царствования

русская интеллигенция в значительной мере теряет свой сословно-дворянский характер, становится мелкобуржуазной, разночинной. Общественная жизнь явно не укладывается в рамки, усиленно поддерживаемые властью.

Не укладывается в них и политика самой этой власти. Ей приходится считаться с новыми потребностями страны, поддерживать их, покровительствовать им. И лично император Николай отразил в своих интересах и воззрениях эти новые, окрепшие тенденции русской жизни. Он серьезно увлекался вопросами техники, технического образования, нового предпринимательства, более широкой постановкой вопросов экономической и финансовой политики. Работая с деловитым, но крайне осторожным и глубоко консервативным Канкриним, Николай бывал смелее своего министра финансов, который с преувеличенной опаской относился к проникновению в Россию иностранных капиталов (полагая, что «каждый народ должен стремиться к полной независимости от других народов») и находил, что постройка в России железных дорог несвоевременна; он исходил из представления о России как стране исключительно земледельческой, где надо, конечно, покровительствовать промышленности, но преимущественно добывающей, и то осторожно, «гомеопатическими дозами». Оба они усердно насаждали в России высшее и среднее техническое образование. «Мы довершаем дело Петра», — хвастал сам Николай. За западной наукой командированы группы молодых ученых, так мощно обновивших затем преподавание в Московском университете, да и в других высших учебных заведениях, и создавших заново русскую научную литературу. Приемы этого насаждения были в одном отношении больше допетровские, чем петровские. Западные идеи и понятия вызывали острое недоверие и пристальное наблюдение придирчивой цензуры не только книг, но и лекций; целые отделы знания были воспрещены для преподавания, делались попытки насильственного руководства общим его направлением в духе «видов правительства» и казенно-патриотической доктрины. Николай хотел всю культурную работу подчинить строгой, на армейский манер, дисциплине. Порядки и формы военного строя распространены на «корпус инженеров путей сообщения» или на «корпус лесничих», а университетский устав 1835 г. ставит задачу «сблизить наши университеты

с коренными и спасительными началами русского управления» и ввести в университетах «порядок военной службы и вообще строгое наблюдение установленных форм, чиноположение и точность в исполнении самых постановлений». Недаром большинство государственных деятелей вышло при Николае I из военной среды, и даже церковным ведомством он управлял через своего генерал-адъютанта, бывшего до того командиром лейб-гвардии Гусарского полка.

Стремление влить новое вино в старые мехи, притом в такой умеренной дозе, чтобы мехи не пострадали, и укрепить устарелые формы от напора нового содержания всеми силами власти — характерная черта николаевской политики. Более или менее ясное понимание, что нарастающий внутренний кризис неотложно требует творческой работы, парализовано для самодержавия свойственной ему, в такие исторические моменты, «невозможностью помочь себе, не отказываясь от своей сущности» (по выражению Е. В. Тарле). В Николаевскую эпоху разлагались самые основы тех общественных отношений, на которых выросло самодержавие и с которыми оно было связано неразрывными историческими узами. Все более теряя почву под ногами, самодержавная власть пыталась использовать последние возможности устарелого строя, то реставрируя его слишком расшатанные элементы, то напрягая до крайности старые приемы властвования и управления. Шла она «за веком» только в меру социальной и политической безвредности его новшеств. В остром недоверии к общественным силам, консервативным за их вырождение, прогрессивным за их «революционность», хотя бы минимальную, эта власть пытается жить самодовлеющей над общественной жизнью, доводя свое самодержавие до напряженности личной военно-полицейской диктатуры императора.

IV

Бессилие власти

Николай I, несомненно, затрачивал много труда и времени на дела государственного управления и стремился лично и деятельно руководить им. У него не было ни

унаследования, ни доверия к унаследованной от Екатерины и брата Александра системе бюрократических учреждений. Для этого он слишком хорошо знал внутреннее бессилие бюрократической машины и глубокую испорченность бюрократической среды. Недовольство плохоналаженным и уж сильно разлаженным порядком — психологическая основа николаевского деспотизма. Всякая самостоятельность мысли и деятельности представлялась ему недопустимым «всезнайством и противоречием», и вся надежда была на строгую исполнительность и беспрекословное повиновение. В министрах он видел лишь исполнителей своей воли, а не полномочных и ответственных руководителей отдельных ведомств. Широко развитая система министерских докладов «на высочайшее имя» по самым разнообразным вопросам давала императору возможность играть роль верховной власти, непосредственно распоряжающейся в стране. Он считал своей обязанностью лично разрешать все сколько-нибудь существенные дела и вопросы. Компетентность предполагалась как-то сама собой. Николай, подобно Суворову, не допускал «немогузнайства» в делах службы, а ведь он на всю жизнь смотрел как на службу, в том числе и на свою правительственную деятельность. Он и выработал себе большую самонадеянность, и всякие вопросы решал краткими и бесповоротными повелениями. По долгу правителя он считал себя сведущим во всяких делах, «каким должен быть всякий в его положении». Известен рассказ о том, как он обошелся с первым государственным бюджетом, какой ему представил на утверждение министр финансов. Николай отнесся к делу с большим вниманием, просмотрел все сметные предположения и собственноручно переправил ряд цифр, означавших размеры предположенных расходов; все это было сделано, конечно, на глаз, по усмотрению и минутному вдохновению. Вся постройка бюджета оказалась сбитой и спутанной. Пришлось министру выяснять монарху, что так, по-обыкновенно, нельзя вести государственное хозяйство, и представить на утверждение другой экземпляр сметы, свободный от трудолюбивых, но произвольных поправок. С годами Николай приобрел много сведений и навыков, многое уяснял себе, участвуя в комитетах по разным вопросам, и вырабатывал свои решения с большим вниманием. Но решение всегда оставлял за собой, как само-

держец. В существенном он лично направлял свою политику; «он действовал добросовестно по своим убеждениям: за грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем», — записала вдумчивая современница, В. С. Аксакова, в минуту его смерти. Когда возникали вопросы более сложные, особенно касавшиеся более или менее существенных преобразований, проекты передавались на обсуждение комитетам из лиц доверенных, по личному выбору императора. Он следил за ходом обсуждения, влиял на него сообщением своих мнений, но и сам все более вживался в тот дух консерватизма, в ту крайнюю сдержанность перед сколько-нибудь существенными новыми начинаниями, которые все чаще приводили к бесплодному исходу комитетских рассуждений. Если же доходило до нововведений, то намеченные мероприятия осуществлялись обычно в виде опыта в какой-нибудь области государства, а затем вносились в Государственный совет в форме законопроектов, по существу уже одобренных государем, а то просто получали утверждение, помимо совета, резолюцией на министерском докладе. Эти резолюции на докладах, иногда подробные и мотивированные, иногда повелительно-краткие, по делам общего значения или по отдельным казусам, выясняли исполнителям взгляды государя на тот или иной вопрос и указывали основания для решения впредь однородных дел. Это было своеобразное личное законодательство императора, которое носило неизбежно отрывочный и случайный характер. Возникая от случая к случаю, оно разменивало деятельность верховного управления на множество разрозненных распоряжений вместо общей планомерной работы. И в среде высшей бюрократии многие не одобряли такого метода работы носителя верховной власти. Николая упрекали в том, что он правит бессистемно, разбивая личным вмешательством всякую планомерность управления, и забывает, что дело государя — править, а не управлять, общее руководство, а не текущее управление. При Николае особенно ярко сказывалось то свойство самодержавия, которое осуждал еще Александр I за то, что повеления даются «более по случаям, нежели по общим государственным соображениям», и не имеют «ни связи между собой, ни единства в намерениях, ни постоянства в действиях». Но Николай считал управление по личной воле и личным воззрениям — прямым долгом самодержца. Вопросы

общие и частные, дела государственной важности и судьбы отдельных лиц — сплошь и рядом зависели от личного усмотрения и настроения государя, который в своих резолюциях иногда руководился законными основаниями, а чаще своим личным мнением, полагая, «что лучшая теория есть добрая нравственность».

Самодержавный принцип личного управления государством, помимо установленных учреждений, получил особое выражение в самом строе центрального управления, благодаря первенствующему значению «собственной Его Императорского Величества канцелярии», ближайшего органа личной императорской власти. В первый же год царствования Николай взял в ведение своей канцелярии все дело законодательства, учредив для этого особое — Второе — ее отделение. Тут была выполнена вся работа по изданию Полного собрания и Свода законов; и если, по мысли Сперанского, этим только подготавливалась дальнейшая задача — переработка собранного и систематизированного материала в новое уложение, — то принципиальный консерватизм верховной власти остановил все дело на Своде (если не считать «уложения о наказаниях»). Во Втором отделении велись вообще все законодательные работы и, что еще важнее, через него испрашивались и получались отступления от законов или изменения в них по разным поводам «в порядке верховного управления». В непосредственное заведование своей канцелярии взял Николай и высшую полицию и учредил для этого знаменитое Третье отделение, а в связи с ним — Отдельный корпус жандармов с разделением всей страны на пять (а затем до восьми) жандармских округов. Далее, рядом с Четвертым отделением, ведавшим так называемыми учреждениями императрицы Марии, возникали для разработки отдельных крупных вопросов, как, например, устройство быта государственных крестьян, управление царством Польским или Кавказом, особые временные отделения «собственной канцелярии и комитеты при ней. Все эти «отделения» были весьма полномочными органами «чрезвычайного» управления, через которые верховная власть самодержавия действовала помимо нормальной системы правительственных учреждений. Из них особое значение получило, согласно всему духу охранительной и подозрительной власти, Третье. Оно ведало «высшую полицию», но понятие это толковалось до крайности широко. Наряду

с розыском о «государственных преступниках» (а чего только не подводили под это понятие!), в Третьем отделении было сосредоточено распоряжение их судьбою в тюрьме и ссылке; сюда поступали разнообразные сведения о «подозрительных лицах» — отнюдь не только в политическом отношении, но также уголовном и вообще полицейском; отсюда исходили против них негласные меры надзора и высылки; отсюда следили за всеми прибывающими из-за границы и выезжавшими из России; сюда поступали из всех губерний и жандармских округов периодические «ведомости» о всевозможных происшествиях, о более ярких уголовных делах, особенно о фальшивомонетчиках, корчемниках и контрабандистах; тут внимательно следили за крестьянскими волнениями, расследовали их причины и поводы, принимали меры к их подавлению; тут все усиливалось наблюдение за поведением литературы, так как цензурное ведомство, на обязанности которого было «направлять общественное мнение согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства» само состояло под строгим наблюдением и руководством III отделения, а с 1828 г. сюда была целиком передана театральная цензура. Идеальным требованием III отделения было, чтобы ему, а через него его главе — императору, сообщалось все сколько-нибудь значительное, с полицейской точки зрения, что происходило во всех углах империи. Средствами постоянного притока сведений были донесения жандармских округов и общей администрации. Весь этот пестрый материал докладывался Николаю и вызывал большое его внимание, а часто энергичное вмешательство. «Высочайшие» резолюции то и дело требовали дополнительных сведений по тому или иному происшествию, посылались жандармские офицеры (Николай хорошо их знал и часто указывал, кого именно командировать) с особыми полномочиями для производства расследования на месте или принятия экстренных мер «по высочайшему повелению».

Третье отделение и корпус жандармов стали сильным органом личного осведомления государя обо всем, что в стране происходит, его личного надзора за порядком и за поведением как администрации, так и обывателей. Николай внимательно читал доклады (так внимательно, что даже поправлял описки), вникал в донесения не только о крупных происшествиях, имевших общественное

лишение, но также о проделках и похождениях отдельных лиц, попавших в сферу жандармского наблюдения по самым разнообразным поводам; входил в подробности, требуя дальнейшего наблюдения и новых сведений, запросов по губерниям, справок по министерствам, выяснял провинности и самолично назначал виновным наказание, лишь изредка распоряжаясь об отдаче их под суд. Николай держал себя опекуном порядка и попечителем доброй обывательской нравственности, карал их разрушителей административной высылкой, для которой часто сам и место выбирал (Вятку, Сольвычегодск, Каргополь и др.; для неисправимых рецидивистов — Соловки), отдачей в солдаты или в крепостные арестанты, а то и в сумасшедший дом. До жуткости часто применялась эта последняя кара: «сумасшедшие, сосланные для исправления в уме», — явление обычное и стоят рядом с «государственными арестантами».

Более сложные или тяжкие эпизоды передаются военному или уголовному суду и препровождаются судебным учреждениям с внушением: решить незамедлительно, вне очереди; или посылаются на расследование министрам юстиции и внутренних дел, местному губернатору и предводителю дворянства при участии окружного жандармского штаб-офицера. Широкой осведомленностью III отделения Николай пользовался для проверки осведомленности своих министров в круге их ведомств и часто направлял их внимание на разные непорядки.

Деятельность III отделения естественно вызвала обширную практику доносов и частных жалоб. Добровольных доносителей по всевозможным делам нашлось не мало. Воскресло старинное «слово и дело государево» в форме заявлений о «важных государственных тайнах», о которых доносители могут-де сообщить только лично государю. Николай отнюдь не пренебрегал такими заявлениями, вызывал доносителей в Петербург, поручал их опрос III отделению, а при их упорстве разрешал писать лично себе, назначал им денежные награды, хотя случилось иным из них за явно вздорные и шантажные доносы, за назойливость и сутяжничество попадать под арест и в ссылку и даже в сумасшедший дом. Входил император через III отделение и в частные дела обывателей, разбирал их жалобы на обиды и притеснения, споры о наследстве и сложные семейные раздоры, карал детей за непочтение к родителям, отдавал отцов под опеку за

мотовство семейным имуществом, содействовал взысканию долгов и т. п. Как в Петербурге Николай любил неожиданно появляться в раннее время в правительственных учреждениях для проверки, на местах ли чиновники и все ли в порядке, так он стремился через своих жандармов заглядывать по-хозяйски во все углы русского быта и держать его под опекой. Самому всюду не успеть — заменяли доверенные слуги.

III отделение и корпус жандармов должны были как бы разрушить бюрократическое средостение между самодержавной властью и обывательской массой. Николай искал этим путем популярности и доверия. Новые учреждения эти выставлялись как благодетельные для «благонамеренных» обывателей и рассчитывали на их поддержку. Инструкция корпусу жандармов возлагала на них обязанность выяснять и пресекать злоупотребления, защищать обывателей от притеснений и вымогательств чиновничества, отыскивать и представлять к наградам «скромных вернослужащих» и даже «поселять в заблудших стремление к добру и выводить их на путь истинный». Жандармские офицеры должны были искать доверия всех слоев общества и внушать населению уверенность, что через них «голос всякого гражданина может дойти до царского престола». Развертывалась широкая картина — централизованного в общегосударственном масштабе полицейского надзора, переходящего в активную опеку, активного в собирании сведений и во властном отклике даже на мелкие житейские происшествия и поступки.

Общая цель этой системы была полицейско-политическая. Под личным руководством государя велась борьба с нараставшим общественным недовольством всех классов населения, и притом велась двумя способами: суровым подавлением всяких его проявлений и некоторым смягчением его причин, поскольку для этого не требовалось никаких сколько-нибудь существенных изменений в существующем порядке. Беспощадно подавляя крестьянские волнения и сурово расправляясь с «зачинщиками», Николай требовал расследования жалоб на жестокость или распутство помещиков и на чрезмерную эксплуатацию ими крестьян, а в крайних случаях приказывал взять имение в опеку, иногда с арестом злодея помещика и его высылкой из имения. Высылкой в разные углы империи, отдачей в солдаты — в кавказские войска

или в крепостные батальоны, иногда даже заключением в «сумасшедший дом», карались такие проявления вольнодумства, как сочинения «вольнодышащих» стихов и «подозрительных» документов или произнесение неосторожно-грубых и резких выражений по адресу высшей власти. Николаевское правительство было крайне чувствительно к малейшим проявлениям непочтительности и порицания, считало неуместной какую-либо критику; старалось внушить подданным безусловное доверие к государственной власти и убеждение, что «не от дерзосных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершенствующих постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления». Тяжелая атмосфера лицемерия и произвола все плотнее окутывала эту верховную власть, замкнувшуюся в иллюзии своего могущества — вне и поверх действительной жизни.

Третье отделение было лишь наиболее наглядным и ярким проявлением николаевской политической системы. Военный тип корпуса жандармов, начало дисциплины, спешной и безусловной исполнительности, личной команды и беспрекословного выполнения распоряжений главного командира в порядке полномочных командировок — все это приемы, применявшиеся Николаем в общегосударственном масштабе. Николай строил все свое державное властвование по военному образцу и недаром любил называть государство «своей командой». Ближайшим кругом помощников государя в делах управления была его «императорская главная квартира», чины его «государевой свиты», — корпорация людей, тщательно подобранных и строго фильтруемых (значителен процент остзейского дворянства), людей близких, надежных, исполнительных и преданных. Своих генерал- и флигель-адъютантов Николай держал в близости и милости, но очень сурово наказывал даже за сравнительно маловажные проступки. Недоверчивый и подозрительный, он верил чинам своей свиты, видел в них людей, которые знают его взгляды и желания и готовы беспрекословно проводить их в жизнь, притом не за страх, а за совесть. Туда, куда ему хотелось проникнуть личным наблюдением и личной распорядительностью, он их посылал, своих генерал- и флигель-адъютантов. Они должны были быть постоянно готовыми к отъезду в командировки по самым разнообразным и часто щекотливым поручениям. Через

них Николай держал в своих руках управление армией, посылал их на осмотр воинских частей, на контроль над рекрутскими наборами и т. п.; их рассылал он на производство следствий о злоупотреблениях в военном и гражданском хозяйстве, требуя подробных отчетов лично себе. Такие командировки были постоянным средством прямого вмешательства верховной власти во всякие дела и вопросы: по расследованию о действиях гражданских и военных властей, о крупных уголовных происшествиях или особо сложных гражданских делах, по мероприятиям для помощи населению губерний, пострадавших от неурожая («чтобы явить жителям новый знак непрестанной заботливости и личного внимания его величества к постигающим их бедствиям»), для борьбы с эпидемиями пожаров, в которых видели результат злых поджогов, и т. п.

Свитские адъютанты — «ближние слуги» императора, по аналогии с которыми он и статс-секретарей называл своими «гражданскими генерал-адъютантами». Не встречая с их стороны ненавистного «всезнайства и противоречия», Николай в то же время требовал от них такой же многогранной компетентности, какую, по должности, приписывал и себе. Если один из генерал-адъютантов управлял церковным ведомством, властно разрешая канонические и даже богословские вопросы, почему не послать другого в Мюнхен для ознакомления с выполнением заказа «живописных картин»? И за тем, и за другим стояла самодержавная воля с ее властно-авторитетными указаниями. Так сам Николай расправлялся с художественными сокровищами Эрмитажа: применял к ним то политическую цензуру и приказывал удалить из коллекции портреты польских деятелей и декабристов или «истребить эту обезьяну» — гудоновского Вольтера, то свой личный обывательский художественный вкус, распоряжаясь уничтожением или распродажей многих картин «за негодностью».

Личная дружина членов государевой свиты становилась «опричниной» Николая, выделенной не только из общественной, но и из служилой среды. Из них выбирает он кандидатов для назначения на ответственные государственные должности, сосредоточивая в руках этих «своих» людей все государственное управление. Такой системой Николай думал эмансипироваться и от самодовлеющей бюрократической рутины, и от дворянской требова-

тельности, отчетливее наблюдать за ходом жизни и непосредственнее воздействовать на нее. Обманывал ли он себя достигнутыми результатами? Едва ли. Приписываемое ему унылое изречение, что «Россней управляют столоничальники», как бы показывает, что бессилие огромной власти не было для него тайной. Он почти отказался от воздействия на жизнь страны и замкнулся в охране «порядка». Сохранить в неприкосновенности свое самодержавие и задержать, по возможности, победу новых течений жизни — вот и вся его безнадежная задача. «Что за странный этот правитель, — писала о нем графиня Нессельроде, — он вспахивает свое обширное государство и никакими плодородными семенами его не засеивает».

Государственная организация вырождалась, теряя определенное социальное содержание. Империя переживала затяжное состояние неустойчивого равновесия между старым и новым, изжитым и нарастающим укладами народнохозяйственной и социально-политической жизни. Наличная политическая форма становилась самоцелью для охраняющей ее власти. Но эта власть располагает огромными запасами организованной государственной энергии, значительными личными силами страны и не может не проявляться в деятельности, которая оправдывала бы признанное за нею огромное значение. Никогда еще притязательная самонадеянность этой власти не поднималась в России так высоко, как в николаевское время. Она стремится поглотить и воплотить в себе всю общественность.

Вся философия этого строя удачно сформулирована Я. И. Ростовцевым в уже упоминавшемся выше учении о верховной власти, как таком центре всей общественной жизни, который соответствует совести в личной жизни людей, а потому призван властно водворять в обществе «нравственный порядок», чтобы он не погиб в борьбе различных индивидуальных стремлений. Индивидуумы объединяются в общество, по этой теории, только повинованием власти. Так понимал жизнь страны еще Павел, когда запретил слово «общество», требуя его замены словом «государство». А сама «государственная идея приняла (по выражению друга и панегириста такого столпа русского консерватизма, как М. Н. Катков, Любимова) исключительную форму начальства; в начальстве совмещались: закон, правда, милость и кара», пишет он о николаевском времени. Николай пытался све-

сти государственную власть к личному самодержавию «отца-командира», на манер военного командования, окрашенного, в духе всего быта эпохи, патриархально-владельческим, крепостническим пониманием всех отношений властвования и управления. По официальной доктрине, эффектно сформулированной министром народного просвещения С. С. Уваровым, в основе самобытной русской жизни лежат три принципа: самодержавие, православие и народность. Первым лицом этой троицы, безусловно преобладающим, являлось, конечно, самодержавие, которому все должно подчиняться, не внешне только, но и внутренне, не за страх только, а за совесть.

Православие — одна из опор этой власти, отнюдь не та «внутренняя правда» самостоятельной и авторитетной русской церкви, о которой мечтали славянофилы, а вполне реальная система церковного властвования над духовной жизнью «паствы», притом церковность — орудие политической силы самодержавия, вполне покорное гражданской власти под управлением синодального обер-прокурора. А под «народностью» разумелся казенный патриотизм — безусловное преклонение перед правительственной Россией, перед ее военной мощью и полицейской выправкой, перед Россией в ее официальном облике, «в противоположность России по бумагам с Россией в натуре», по выражению историка-националиста М. П. Погодина, перед Россией декоративной, в казенном стиле, притворно уверенной в своих силах, в непогрешимости и устойчивости своих порядков и умышленно закрывающей глаза на великие народно-государственные нужды. Во внутренней жизни страны эта система «официальной народности» воплощает полный застой органической, творческой деятельности и прикрывает агонию разлагавшегося старого порядка. В отношениях международных она ведет к выступлениям, полным чрезмерной самонадеянности, к политическому авантюризму, который через перенапряжение сил страны, расшатанных внутренним кризисом, увлекает государство к роковой катастрофе.

Россия и Европа

В течение всего царствования Николая министерством иностранных дел управлял граф Карл Нессельроде. Штейн, великий патриот единой Германии, яркий выразитель национальной идеи, отзывался о нем крайне жестко: «Нет у него ни отечества, ни родного языка, а это много значит; нет у него одного основного чувства; отец — немецкий авантюрист, мать — неведомо кто, в Берлине воспитан, в Москве служит». Тип служилого немца, выходца из мелкого германского княжества на простор иностранной карьеры; сын католика и еврейки, принявшей протестантство, случайно крещен по англиканскому обряду; воспитан в Берлине в духе модной французской культуры; рано, по службе отца, связан с русским двором, в 16 лет — флигель-адъютант Павла, в 20 — камергер, баловень придворной карьеры. При Александре — дипломат по особым поручениям, орудие личной политики императора по части секретных сношений с предателями Наполеона — Талейраном и Коленкур, с 1816 г. — его статс-секретарь по дипломатической части. При раздвоении русской внешней политики между общеевропейскими тенденциями эпохи конгрессов и русскими интересами в Восточной Европе, Нессельроде был носителем первых, как другой статс-секретарь — Каподистрия — вторых, по их связи с его греческим патриотизмом. Поворот к большей независимости русской политики в Восточном вопросе, происшедший в исходе александровского царствования и усвоенный Николаем, был сформулирован Нессельроде в первом же его докладе новому императору, где умело разграничивались общеевропейские вопросы и непосредственные интересы России. Николай выполнил требование брата Константина, заявленное при знаменательных их сношениях о судьбе русского престола, — в виде совета сохранить Нессельроде как представителя заветов Александра. Он и остался при Николае носителем традиций эпохи конгрессов, «политики принципов», которая отводила России роль силы, охраняющей монархический порядок в Европе и те формы «политического равновесия», какие установлены на Венском конгрессе. Николай дорожил этими принципами Фридриха-Вильгельма III и Александра I, дорожил

и Нессельроде как удобным и опытным сотрудником. Он внимательно вчитывался в доклады Нессельроде, учился у него, но по существу сам вел свою политику; Нессельроде не особенно преувеличивал, когда называл себя «скромным орудием его предначертаний и органом его политических замыслов». Нессельроде стал вице-канцлером и государственным канцлером Российской империи, но оставался все тем же статс-секретарем по дипломатической части.

Соотношение России и Европы приняло во второй четверти XIX в. новый характер. Созревает усиленная реакция против александровского интернационализма, взявшая верх еще при нем. Крепнет тенденция обособления России от Европы. Политика Александра слишком чувствительно ударяла по господствовавшим в России интересам. А вопросы, с этим связанные, особо обострены в польских и в ближневосточных делах.

Присоединение герцогства Варшавского сильно осложнило западные отношения России. Польские земли были в давней и географически обусловленной связи с Пруссией. Польский экспорт и польский рынок для сбыта ввозимых товаров служили выгодным объектом прусской эксплуатации. Льготные условия, установленные на Венском конгрессе и в последующих соглашениях для торгового обмена между частями разделенной Польши, обеспечивали и в дальнейшем эти прусские выгоды, а получали крайне расширенное значение, с одной стороны, потому, что охватывали бывшие польские земли «в границах 1772 года», а с другой — потому, что за Пруссией строился немецкий таможенный союз. Пруссия стремилась использовать эти условия для захвата в пользу своей торговли и промышленности польского и русского рынков. Таможенная самозащита со стороны России и Польши стала на очередь и привела к новому торжеству покровительственной системы в русской имперской экономической политике. Привела она и к другому результату, не менее существенному: к экономическому сближению царства Польского с Россией с ослаблением, а затем и полной отменой русско-польской таможенной границы, притом по почину не русских, а польских финансовых деятелей, во главе которых стоял Ксаверий Любецкий.

Все эти экономические отношения, которые тут могут

быть упомянуты лишь мимоходом¹, значительно усложняли проблему самостоятельности царства Польского в составе русской империи. Вопросы общеимперской политики все больше ее захлестывали. И не только таможенные или торгово-промышленные и финансовые. Николай подходил к польскому вопросу также со стороны политико-стратегической. Западная граница империи представлялась ему не усиленной, а ослабленной с присоединением царства Польского. Вполне пренебрегая, со своей русско-имперской точки зрения, судьбами польской народности, он предпочел бы иной раздел Польши, с имперской границей по Нареву и Висле и с уступкой соседям земель на запад от этой границы, по возможности в обмен на Восточную Галицию, а то и даром. Самостоятельное существование конституционной Польши было несовместимо со всем укладом его воззрений; ее создание он считал ошибкой Александра, «достойной сожаления» в такой же мере, как конституционные обещания Фридриха-Вильгельма III своим подданным; в этих пунктах он решительно отступал от благоговейного уважения к своим излюбленным авторитетам. К принципу национальных самоопределений он относился с полным отрицанием. Связь национальных движений с либерально-освободительными придавала этому принципу революционный характер. Это был принцип антимонархический, несовместимый с идеей самодержавия. Призыв к возрождению народностей, сошедших с арены активной политической жизни, казался лишь предлогом, только формой революционной агитации. Отсюда враждебное, например, отношение николаевского правительства к панславизму, подозрительное — к славянофильству. Официально разъяснялось, что русский патриотизм должен исходить «не из славянства, игрою фантазии созданного, а из начала русского, без всякой примеси современных идей политических».

Польское восстание 1830—1831 гг. было для Николая ярким подтверждением этих его воззрений. Россия сама создала польские силы для борьбы с собой: финансы Польши (наложенные Любецким) «позволили образовывать в казначействе резервный фонд, который затем оказался достаточным для поддержки нынешней борьбы».

¹ См. мою статью *Экономика и политика в польском вопросе начала XIX в.* // *Борьба классов*. 1924. № 1. С. 29—49.

отметил Николай в собственноручной записке о польском восстании, «армия, созданная по образцу имперской, была всем снабжена от России», получила отличную организацию на основе русских кадров, польская промышленность поднялась за счет русской на имперском рынке, а внутренняя автономия Польши, при которой там считалось допустимым и даже похвальным многое, что в империи признавалось преступным и каралось, подрывала «то, что составляет силу империи, т. е. убеждение, что она может быть сильной и великой только под монархическим правлением самодержавного государя». Польское восстание сильно тревожило Николая, стоило ему «девятимесячных мучений», за избавление от которых он благодарит Паскевича. Но тревога осталась. С Польшей надо покончить. Нескрываемая радость звучит в словах Николая: «Я получил ковчег с покойницей конституцией, за которую благодарю весьма, она изволит покоиться в Оружейной палате». Он заменил «покойницу» мертворожденным «органическим статутом», который превратил царство Польское в имперскую провинцию, а на деле отдал ее под военно-полицейскую диктатуру наместников и намечал для подрыва влияния землевладельческой шляхты «увольнение крестьян в королевстве по примеру, указанному в Пруссии». Его идеалом была бы полная русификация Польши для объединения всей империи, с ее польскими, немецкими, украинскими и другими окраинами, на началах самодержавного властвования и «официальной народности». Но в польской политике приходилось считаться с соседними странами. Николай крайне недоволен уступками, какие делает Фридрих-Вильгельм IV познанским полякам и в национальных и в церковных вопросах, пытается и лично и через жену-императрицу воздействовать на ее брата, чтобы он согласовал свою польскую политику с его национальной системой подавления польской жизни. Недоволен он и действиями австрийского правительства в Галиции. Он полагал, что согласные действия трех правительств могли бы уничтожить польскую национальность, и вовсе не создавал, насколько его репрессии только крепче выковыывают польский патриотизм... Польские впечатления и тревоги, несомненно, усиливали консерватизм Николая, укрепляли его уверенность, что его политическая система — единственно возможная для сохранения «спо-

койствия и порядка» в Российской империи, даже самого ее существования.

Опасность грозила этим «устоям» по-прежнему с Запада. Этот Запад переживал все более глубокие революционные потрясения, перерождался в самых основах своего быта. Крепли связи России с Европой, все глубже отражались в ее быту процессы общеевропейской эволюции. Остановить колесо русской истории можно было бы, только остановив или хотя задержав роковое движение Европы. Николай всю жизнь провел в непосильной борьбе с «духом времени».

Эта борьба за «принципы» и «традиции» своеобразно переплеталась с его представлениями о русских международных интересах. От брата Александра и прусского тестя он твердо усвоил понятие «законной» власти, законной по происхождению ее права на властвование. Наследственная монархическая власть должна быть «священным залогом» в руках ее носителей, которые и права не имеют ее умалять, делиться ею с народными представителями. Любопытный эпизод с завещанием Фридриха-Вильгельма III, которое составлено при участии Николая и предоставляет членам династии право опротестовать всякую попытку своего главы умалить державную власть конституционными уступками, — весьма показателен. Он дал Николаю лишний повод для покушений на вмешательство во внутренние дела Пруссии. Пользуясь личной близостью с прусским королем, Николай пытается воздерживать его от малодушного либеральничанья, от созыва «генеральных чинов» и признания за ними права голоса в финансовых вопросах, особенно при заключении государственных займов. Он дорожил прусской дружбой. «Но, — писал он Фридриху-Вильгельму, — Россия всегда будет верною союзницей своего старого друга — доброй, старой и лояльной Пруссии», а не Пруссии новой, вошедшей в компромисс с «революцией». Ему нужна старая, военно-феодалная и монархичная Пруссия как оплот против революционного Запада, а не Пруссия, увлеченная подъемом своего торгового и промышленного капитализма на новые пути политического развития. Эта нарождающаяся новая Пруссия тягостна покушениями на эксплуатацию не только Польши, но и России как своего *Hinterland*'а для своих коммерческих оборотов. После встряски 1848 г., после попытки избрать Фридриха-Вильгельма главой объединенной Германии

Николай готов на разрыв с Пруссией, раз она бросается в объятия новой Германии, «Германии федеративно объединенной, демократической, агрессивной, жаждущей главенства и территориальных захватов». Буржуазно-революционный переворот в Германии страшил Николая не только как крушение старого порядка, построенного на абсолютизме монархической власти, но и как источник грозного капиталистического империализма в международных отношениях. И он всю силу своего влияния употребляет на подавление этих тенденций, на противодействие объединению Германии, на поддержку против Пруссии Дании в шлезвиг-гольштинском вопросе, Австрии и второстепенных германских государств в вопросах общегерманского устройства. Защита «принципов порядка» приобретает вполне реальный смысл борьбы против подъема национальных сил, опасных для международного положения Российской империи: в новой форме воскресает старая политика XVIII в. — разделенные и слабые соседи гораздо удобнее.

Не менее опасным считал Николай и революционное движение в австрийских землях. Монархия Габсбургов — исконный оплот старого порядка — должна быть сохранена. Венгерское восстание Николай понял как большую опасность по выдающемуся участию в нем поляков: успех этого восстания грозил бы новым подъемом польского движения, которое проявлялось непрерывными вспышками в течение 40-х гг. и которому Николай в 1846 г. нанес чувствительный удар, настояв на уничтожении «вольности» Кракова. Подавление венгерского восстания русскими войсками было актом самозащиты со стороны Николая, моментом его личной политики, а не услугой союзнику, как это не раз изображали официально и неофициально.

Инстинкт самозащиты вносил Николай во всю свою общеевропейскую охранительную политику. И западная публицистика была права, когда видела в русском самодержавии главного врага революционному обновлению Европы (мысль, которую так настойчиво развивал Карл Маркс в ряде горячих статей). Понятно, что с особой тревогой Николай следил за источником всех революционных потрясений, за Францией. Предвидя неминуемый взрыв, он осуждал слишком резкие ультрареакционные меры Карла X, но его падение и переход власти к Луи-Филиппу принял как вызов остаткам «старого порядка».

«Он покусился на подрыв и крушение моей позиции как русского императора, — говорил Николай про Луи-Филиппа, — этого я ему никогда не прощу». Власть, созданная революцией и полагавшая свою законность в «воле народа», не могла быть признана «законной»: ее легализация международным признанием подрывает все основы «порядка». Такова первая мысль Николая. Недавние события Наполеоновской эпохи заставляли думать, что революционный взрыв освобождает массу национальной энергии в стране и грозит перевернуть все международные отношения интенсивной внешней политикой. Николай встретил новую власть во Франции враждебно; сгоряча велел всем русским выехать из Франции, запретил появление трехцветного французского флага в русских портах, не хотел признавать «узурпатора». Это означало разрыв дипломатических и торговых отношений с Францией. С трудом удалось русскому послу в Париже, Поццо ди Борго, разъяснить рассерженному самодержцу консервативный характер монархии Луи-Филиппа как компромиссной приостановки революционного движения, устранение которой привело бы к низвержению монархии и провозглашению республики. Признание Луи-Филиппа другими державами заставило Николая уступить и ограничиться политически бестактным третированием короля, за которым он никак не хотел признать равенства с настоящими государями. Это чувство было столь сильно в Николае, что он даже со злорадством отнесся к падению монархии Луи-Филиппа в 1848 г.: «негодяй», каким был этот король в его мнении, потерял власть тем же путем, как ее получил, и получил только то, что заслужил. Такое отношение к Луи-Филиппу усиливалось польскими симпатиями Франции и отражениями июльской революции в странах Европы. Особенно возмутил Николая распад Нидерландов на Бельгию и Голландию; он настаивал на вооруженной защите другими державами «прав» нидерландского короля и готовил для этого русские войска. Но независимость Бельгии имела поддержку в Англии и во Франции; Пруссия и Австрия держались пассивно: пришлось отступить и тут. Все эти отступления прикрывались канцелярско-дипломатическими фикциями, на которые Нессельроде был мастер: вроде признания Луи-Филиппа заместителем Карла X, который будто сдал ему полномочия своим отречением, или признания Бельгии, когда ее голландский король при-

знаёт, и т. п. Такие уступки тяжело переживались Николаем, как моменты разложения тех «основ порядка», на страже которых он пытался стоять. Система Венского конгресса, сила трактатов 1815 г. — окончательно подорвана. Их сменила система соглашений, установленных в 1833—1835 гг., и Николай твердо за нее держался, но уже без доверия к устойчивости «порядка» в Европе. Дипломатические фикции настойчиво поддерживались николаевским правительством до конца: русская дипломатия продолжает постоянно ссылаться на «трактаты 1815 года». 1848 г. нанес новый удар николаевской «системе». Снова произошел порыв Франции к новому будущему. Республиканское правительство объявило трактаты 1815 г. упраздненными; Национальное собрание провозгласило руководящими началами французской политики союз с Германией, независимость Польши, освобождение Италии. Это был прямой вызов.

«Наступила торжественная минута, которую я предсказывал в продолжение 18 лет; революция воскресла из пепла, и нашему общему существованию угрожает неминуемая опасность» — так писал Николай прусскому королю по поводу февральской революции. Революционное движение разливалось по всей Европе. Но первая мысль Николая о сосредоточении контрреволюционных сил для его подавления сразу ограничена задачей «подавления смуты» в Польше, Галиции, Познани.

Прежние союзники — Пруссия, Австрия — сами потрясены революционным движением. Пруссия преобразается, вовлечена в общегерманское движение: «Старой Пруссии больше не существует, — пишет Николай, — она исчезла — в Германии, и наш древний близкий союз исчез вместе с нею». Пришлось признать, что реакция в плане «эпохи конгрессов» невозможна; оставалось ее поддерживать частичным вмешательством в германские и австрийские дела. А по существу, русской реакционной системе оставалось замкнуться в своих национальных пределах.

Николай, несомненно, пережил момент тревоги, как бы движение не захватило и его империю. Рядом с усилением полицейского террора, он обращается, как в 1826 г., к дворянству с призывом содействовать власти в охране «порядка» и с заявлением, что землевладельческие привилегии — священны и неприкосновенны. Казалось, что предстоит и внешняя борьба, которую готова

поднять революционная Европа против восточного самодержца.

Николай лично написал известный манифест 14 (26) марта 1848 г., в котором говорил о «новых смутах», взволновавших Запад Европы после «долголетнего мира», о «мятеже и безначалии», которые возникли во Франции, но охватывают и Германию, угрожают России; Николай призывает всех русских защитить «неприкосновенность пределов» империи, призывает их к борьбе «за веру, царя и отечество» и к победе, которая даст право воскликнуть: «С нами Бог, разумеете народы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Это восклицание он с тех пор любил повторять по любому поводу.

Манифест был опубликован и по-немецки в берлинских газетах и прозвучал встречным вызовом русского самодержца революционному движению Запада. Несельероде пришлось даже разъяснять в циркулярной дипломатической ноте, что манифест этот отнюдь не означает каких-либо наступательных намерений России. «Пусть народы Запада, — говорилось в этой ноте, — ищут счастья в революциях. Россия смотрит спокойно на эти движения, не принимает в них участия и не будет им противодействовать; она не завидует судьбе этих народов, даже если бы они вышли из смут анархии и беспорядка к лучшему для них будущему. Сама Россия спокойно ожидает дальнейшего развития своих общественных отношений от времени и от мудрой заботливости своего царя. Резко противопоставлялась консервативная Россия революционной Европе. Николай выступал перед Западом охранителем и опорой консерватизма и реакции. А обширная страна, ему подвластная, казалась безмолвной, покорной и крепкой базой для замкнутой в своих традициях тяжеловесной власти северного самодержца. Кипучая политическая жизнь Запада замирала у русской границы. И поэту, хвалителю николаевского режима, Россия представлялась спокойным и надменным, неподвижным и неизменным утесом-великаном, о который разбиваются волны взбаламученного революцией западного моря¹.

В идеологии николаевского времени Россия и Европа противопоставлялись как два культурно-исторических мира разного типа, несравнимых и несоизмеримых ни

¹ Тютчев Ф. И. «Море и утес» (1848).

в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Политическая действительность, отражавшаяся в таких воззрениях, сводилась ко все большей изоляции России в системе европейских международных отношений. С мнимой уверенностью в своих силах николаевская Россия противопоставила себя и свои интересы европейскому политическому миру — на почве Восточного вопроса. Назревший и все нараставший конфликт разразился по поводу борьбы за господство на Ближнем Востоке, привел к крушению всю николаевскую политическую систему, разбил и личную жизнь Николая.

VI

Неизбежная катастрофа

Внешние успехи николаевской политики в конце 40-х гг. казались значительными: устранено объединение Германии, сокрушена Венгерская революция, подавлена Польша, мечтавшая о новом подъеме. Франция, после новой революции, казалась ослабленной. Николай горячо приветствовал жестокое подавление генералом Кавеньяком восстания парижского пролетариата в кровавые июньские дни и признал в буржуазной республике силу консервативную и контрреволюционную. Русская дипломатия даже подготавливала сближение с нею на случай, если не удастся предотвратить объединения Германии в «могущественную и сплоченную державу, непредвиденную существующими трактатами и представляющую народ в 45 миллионов душ, которая, послушная единой центральной власти, нарушит всякое равновесие». Однако формальное признание республики было задержано возвышением Луи-Наполеона. В нем видели, как и сам он того хотел, возродителя традиций Наполеона I, в его возвышении к власти — возвращение того режима, который был разбит силами коалиции всех держав в 1813 г. Впрочем, Николай примирился с избранием Наполеона в президенты республики и готов был на добрые с ним отношения, пока тот «остается в пределах своего настоящего полномочия» и не стремится к восстановлению империи. Русского самодержца привлекала энергия Бонапарта, в которой он видел силу, способную сдерживать революционное движение во Франции. Но превращению претендента в императора Наполеона III он пытался

противодействовать и особенно негодовал на цифру III, утверждая, что Европа не знает никакого Наполеона II. Тревожил призрак возрождающегося наполеоновского империализма, разрушительного для всей системы «равновесия», в корень враждебного «легитимизму», согласно с которым только одна возможна во Франции династия — Бурбоны. К тому же всякое правительство, порожденное революцией, казалось неустойчивым и непрочным, а потому не могло быть принято равноправным членом в «европейский концерт» держав не только по принципиальным, но и по практическим соображениям. А их николаевское правительство сильно преувеличивало и слишком долго недооценивало результатов переворота, упразднившего республику в пользу империи Наполеона III. Признать его, конечно, пришлось вслед за всеми державами. Николай только дразнил Наполеона, а себя тешил тем, что не хотел называть его «братом» своего самодержавия и называл «другом» или «кузеном». Мнимая видимость все чаще закрывала для него и скрывала от него реальный смысл действительных отношений.

А этот реальный смысл был в нараставшей изоляции России. Давние союзники — Австрия и Пруссия — тяготились нависшим над ними громоздким давлением соседа. Державы крайнего Запада — Франция и Англия — были определенно враждебны и крайне недоверчивы к нему. Замкнувшись в себе и решительно противопоставляя себя Западной Европе, николаевская Россия все настойчивее разворачивает свой особый империализм на Востоке.

Несмотря на всякие отживавшие свой век предрассудки «старого порядка», Франция Наполеона III давала существенный урок Николаю и русским бюрократам. Чем яснее разворачивалась наполеоновская политическая система, тем больше росли симпатии к нему русского самодержца. В Петербурге не могли не оценить, что он «уничтожает демагогию», упраздняет «парламентарный режим», оказывает «всей Европе большую услугу», превращая Францию, этот «очаг смут и революций», в страну, дисциплинированную милитаризмом и полицейским режимом. Но в то же время, отрекаясь от пережитков феодальной реакции, погубившей Бурбонов, он идет по пути служения развитию торгово-промышленного капитализма, интересам буржуазии. Наполеоновский режим являл образец буржуазной монархии, чуждой полити-

ческой свободы, при широком развитии торговли, промышленности, просвещения под строгой опекой полицейского государства; осуществлял тот тип бюрократической монархии, который с той поры стал идеалом русской бюрократии. В этом режиме разрешались, по видимости, те противоречия, которые так осложняли внутреннюю политику Николая и приводили ее к бесплодному и мертвенному застою. Расцвет капиталистического развития промышленных сил страны оказывался согласимым с сохранением бюрократически организованного самодержавия.

Но в России внутренние отношения страны не давали хода такой эволюции — без отмены крепостного права. Усердное покровительство промышленности подрывалось слабостью внутреннего рынка, связанного крепостническими путями. Не от насыщенности его спроса, а от слабости его потребления исходил русский дореформенный империализм в поисках за внешними рынками для сбыта произведений растущей русской промышленности. Вместо углубления базы народнохозяйственного развития освобождением трудовой массы из пут устарелого строя, русская политика пошла в сторону внешнего расширения этой базы на Среднем и Ближнем Востоке.

Охранитель «равновесия» на Западе, Николай с самого начала своего царствования повел энергичную восточную политику. Персидская и Турецкая войны 20-х гг., завоевание Кавказа в многолетней горной борьбе, наступление в Среднюю Азию с 30-х гг. — широко развернули программу этого восточного империализма. Он ставил русские интересы в резкое противоречие с устремлением Англии, а затем и Франции к экономическому господству в азиатских странах. В то же время Россия, выступая соперницей Англии в Персии и Средней Азии, в значительной мере освобождалась от былого преобладания Англии в своем спросе на заграничные товары как развитием сухопутной торговли с континентальными странами, так, особенно, своими покровительственными тарифами. Еще недавно эксплуатируемая, подобно колониям, страна не только добивается некоторой самостоятельности в промышленном отношении, но и выступает с соперничеством, которое вызывало в Англии сильную тревогу. Все эти вопросы и отношения обусловили значительное обострение международных конфликтов на почве Ближнего Востока. Тут николаевское правительство

проводило с настойчивой последовательностью тенденцию преобладания России, трактуя Турцию как страну внеевропейскую, а потому стоящую вне «европейского концерта», и отстаивало право России сводить свои сче-ты с нею вне воздействия западных держав.

Наступление России на Ближний Восток нарастало с развитием колонизации русского юга, с экономическим подъемом Новороссии и всей Украины, с ростом значения черноморских торговых путей. Еще при Александре I казался близким к осуществлению план захвата Молдавии и Валахии. Покровительство России балканским славянам было закреплено в ряде договоров императора с султаном. Дунайские княжества управлялись по «органическим статутам», установленным под русским давлением. «Органический статут» такого же происхождения получила и Сербия в 1838 г. Этот термин, которым означали балканские конституции, не лишен значительности и вовсе не случаен. «Органическим статутом» заменил Николай и польскую конституцию по подавлении восстания. Так означались учредительные акты, даруемые верховной властью, «уставные грамоты», как передавали этот термин по-русски, вводимые по воле государя. Русский протекторат над придунайскими странами, конкурировавший с властью султана над ними, выражался в гарантии их строя, в подчинении русскому влиянию их правителей и в постоянном вмешательстве в их дела. Ослабление власти Османской Порты над подчиненными ей областями казалось Николаю признаком близкого распада Турции. В предвидении этой неизбежной, казалось, смерти «больного человека» он укреплял свою позицию по отношению к имеющему открыться наследству. Он был уверен, что с Англией можно сговориться. Достаточно в Средней Азии разграничить сферы влияния, поддерживать равновесие и охранять спокойствие «в промежуточных странах, отделяющих владения России от владений Великобритании», и свести соперничество к соревнованию на поприще промышленности, но не вступать в борьбу из-за политического влияния, чтобы избежать столкновения двух великих держав. Как часто бывало у него в острых политических вопросах, он полагал, что можно, допуская причину, избежать следствий, а в данном случае недооценивал предостережения умного старика Веллингтона по поводу наступления в азиатские страны: «В подобных предприятиях помни-

те всегда, что легко идти вперед, но трудно остановиться». Более дальноручные англичане забили в набат о русской опасности, угрожающей их индийским владениям от появления русских в Средней Азии.

Относительно ближневосточных дел проекты и предвидения николаевского правительства колебались между стремлением сохранить слабую Турцию, которая подчинялась бы русскому давлению, и ожиданием распада и раздела турецких владений. Когда восстание Мегмета-Али грозило возрождением мусульманской силы под арабским главенством, русские войска отстояли султана и поддержали пошатнувшуюся Порту за цену договора, усиливавшего русское влияние на Ближнем Востоке. Однако, дважды, в 1844 г., при посещении Лондона, и в 1853 г., в беседе с английским послом в Петербурге, Николай лично обсуждал с английскими государственными деятелями возможности раздела Турции. Он серьезно думал, что вопрос этот назревает и что надо готовиться к моменту неизбежного его разрешения. В Лондоне учитывали эти откровения русского самодержца как доказательство широты его завоевательных планов и отвечали уклончиво, но все больше настораживались в опасении перед русской политикой. Упорно, шаг за шагом, добивается английское правительство от Николая признания балканских дел не особым русско-имперским вопросом, а общим делом европейских держав, в котором ни одна из них не должна действовать без соглашения с другими. Николай не только шел на эти «конвенции», которыми английские политики пытались связать самостоятельность его действий на Востоке, но искал и сам сближения с Англией, чтобы расстроить англо-французские соглашения. Англия, преобразованная парламентской реформой 1832 г. в страну всецелого господства торгово-промышленных интересов, следила с нараставшей тревогой за ходом восточной политики Николая, за мерами к развитию русского флота, за господством России над Дунайским речным путем, за превращением Черного моря в русское владение, а проливов — в охраняемый турками, по договорному обязательству, выход России на пути мировых сношений. Базой английского влияния на Ближнем Востоке, в противовес русскому, служила Греция. С поддержкой Англии добилась она самостоятельного политического бытия, морская и финансовая мощь Англии ставила молодую страну под властный патронат

«владычицы морей». Тут роли менялись. Россия и Франция приняли участие в грекофильской политике английского правительства, чтобы ограничить роль Англии в вершении судеб балканской борьбы. Николай принял независимость Греции в программу своей политики, хотя не переставал повторять, что считает греков «бунтовщиками» против законной власти султана, не заслуживающими ни доверия, ни сочувствия. Характерно это различие в отношении к Греции и к дунайским землям. Их Николай признает самостоятельными, по существу, государствами под своим покровительством, а греческое движение расценивается им по-старому, с точки зрения легитимизма, и лишь в противовес англо-французской политике берет он его под свою опеку. Такое сплетение отношений на Ближнем Востоке вело с роковой неизбежностью к острому и решительному конфликту. Но Николай его не предвидел. Правда, с 30-х гг. он обсуждает возможность столкновения с Англией. Пытается развивать и морские, и сухопутные силы при явно недостаточных технических средствах и экономических силах. Но он до конца надеялся избежать этого столкновения. Он долго обманывал себя расчетом на такое соглашение между Россией и Англией по всем вопросам восточной политики — и в Средней Азии и на Балканском полуострове, которое примирит их антагонизм и предупредит последствия слагавшегося англо-французского союза или даже его расстроит. Деятельная работа русской дипломатии в конце 40-х и начале 50-х гг., которой Николай сам руководит, проникнута стремлением закрепить разлагавшуюся систему мирных отношений и выйти из нараставшей изоляции России с помощью приемов, уже недостаточных и далеких от политической действительности. Николай, живший в мире «династической мифологии», по выражению его немецкого биографа¹, приписывал, в своем державном самосознании, решающее значение в ходе политических событий личным отношениям, взглядам и предположениям правящих лиц, смешивал иной раз значение формальных международных обязательств и личных бесед или писем, какими обменивались власть имущие. Технику международных отношений он представлял себе в форме личных сношений и отношений между государями, непосредственных или через

¹ Schimant T. Geschichte Russlands unter Kaiser Nicolaus I. Bd. 1—4.

уполномоченных ими послов; зависимость политики от борьбы парламентских партий и смены министерств в конституционных государствах, по его мнению, лишает ее устойчивости, а заключенные трактаты — прочного значения. Он строит существенные заключения и расчеты на прусской дружбе, австрийской благодарности за венгерскую компанию, на английском благоразумии, к которому обращается в личных переговорах, на плохо понятом самолюбии Наполеона III, которому должно польстить приглашение в Петербург с обещанием «братского» приема у русского самодержца (что французский император, естественно, принял как обидную бестактность) и т. п. Преувеличивая значение приемов, традиционных в международных сношениях эпохи абсолютизма, Николай дипломатическими иллюзиями отгонял от себя до последней возможности ожидание неизбежного взрыва огромной борьбы. В этом — один из корней своеобразного трагизма того положения, в каком он очутился при начале войны 1854—1856 гг. Другой — вырос из раскрывшейся ужасающей слабости громоздкого государственно-го аппарата перед задачами напряженного боевого испытания.

Официальная фразеология (больше, чем идеология) связала и балканскую политику Николая со старинными русскими традициями. В обманчивом расчете на то, что западные державы в конце концов уступят и не пойдут на решительную борьбу против русского протектората над Турцией и ее христианскими подданными, Николай поставил ребром вопрос о своем притязании на авторитетное покровительство православной церкви в пределах турецкой империи, т. е. ввиду государственно-правового и административного значения константинопольского патриарха — над всем православным населением Османской Порты. А на объявление войны Турцией 19 октября 1854 г. ответил манифестом, где причиной войны выставил защиту законного права России охранять на Востоке православную веру. Эта политика — прямой вызов западным державам — привела к непосильной борьбе, без союзников, с целой коалицией. Техническая отсталость свела в этой борьбе на нет значение русского флота. Мертвящий формализм николаевской системы и навыки безответственной рутины обессилили русскую армию. При строгой внешней выправке эта армия оказалась слишком пассивным орудием высшего ко-

мандования. Суровая и бездушная муштровка подорвала энергию и находчивость ее отдельных тактических единиц, а навыки механически-стройного движения сплоченных масс, выработанные на плац-парадах, были вовсе бесполезны на поле битв. Живая и полная одушевления армия 1812 г. не пользовалась сочувствием Николая и его братьев. По их убеждению, походы 1812—1814 гг. испортили войска и расшатали дисциплину; все усилия были направлены на уничтожение ее духа, казавшегося слишком гражданским. Но всего тягостнее сказалась на ходе войны крайняя дезорганизация тыла — его несостоятельность в снабжении армии, в санитарной и интендантской частях. И внешние и внутренние условия, в каких протекала война, были полным крушением николаевской политической системы.

В конце 1854 г. беспомощно и бесплодно прозвучал патетический манифест, которым Николай пытался сделать войну «отечественной», наподобие 1812 г., призывая страну к самозащите, а 18 февраля 1855 г. он умер, так неожиданно и в таком подавленном настроении, что многие не хотели верить в естественность этой смерти.

VII

Личные итоги

Про младшего из Павловичей, Михаила, рассказывали, что за границей, в штатском платье, он был очень простым и приветливым собеседником, а возвращаясь в Россию, переодевался на границе в туго затянутый военный мундир, говорил себе в зеркало, перед которым оправлялся: «Прощай, Михаил Палыч», и выходил на люди тем резким и жестким фронтовиком, каким его знали в России. Та же двойственность, прикрывавшая условной личиной человеческую натуру и в конце концов неизбежно ее искажавшая, характерна и для его братьев — Константина, Николая. Тяжелый, неуравновешенный нрав, мелочной формализм и порывы грубой раздражительности были общими у Константина и Михаила. Конечно, можно эти черты отнести, в значительной мере, к наследственности по отцу. Но и весь строй жизни, в атмосфере тогдашней военщины, создавал условия для крайнего развития этих черт. Николай знал

особенности своих братьев и часто тяготился ими. Но поделать с этим ничего не мог. Отношения к старшему, Константину, были осложнены теми правами на престол, которые от него перешли к Николаю и память о которых осталась в его пожизненном титуле цесаревича, а Константин не раз пытался проявлять свой авторитет старшего, к тому же блюстителя заветов Александра. Но и помимо того, династические воззрения Николая придавали его отношению к братьям особый характер; он не мог отрицать за ними права на некоторое соучастие во власти, по крайней мере в военном командовании. В письмах к жене он иной раз жаловался на тяжелый нрав Михаила, который своими выходками производит нежелательное впечатление и в обществе, и в армии. Он считал его нервнобольным: «Это прискорбно, — писал он, — но что я могу поделать; в 50 лет не излечишь его от такой нервичности».

Николай был, в общем, более уравновешен, чем его братья. Но и его натуре не были чужды те же черты, то и дело выявлявшиеся весьма резко. И он легко терял самообладание в раздражении — и тогда сыпал грубыми угрозами или произвольными карами; терялся в отчаянии от неудач — и тогда малодушно жаловался, даже плакал. Сильной, цельной натурой он отнюдь не был, хотя понятно, что его часто таким изображали. Его образ как императора казался цельным в своем мировоззрении и политическом поведении, потому что он — выдержанный в определенном стиле тип самодержца. Но это — типичность не характера, а исторической роли, которая не легко ему давалась.

Бакунин в 1847 г. так характеризовал внутреннее состояние России: «Внутренние дела страны идут прескверно. Это полная анархия под ярлыком порядка. Внешностью бюрократического формализма прикрыты страшные раны; наша администрация, наша юстиция, наши финансы, все это — ложь: ложь для обмана заграничного мнения, ложь для усыпления спокойствия и совести государя, который тем охотнее ей поддается, что действительное положение вещей его пугает». Николай представлялся ему иностранцем в России; это — «государь немецкого происхождения, который никогда не поймет ни потребностей, ни характера русского народа».

А в 1858 г., после смерти Николая, прямой антипод Бакунину Валуев положил начало блестящей чиновничь-

ей карьере запиской «Думы Русского», где главной причиной падения Севастополя объявлял «всеобщую официальную ложь». И таково было почти общее суждение о николаевской России.

Глава этой официальной России любил декоративность, придавал своим выступлениям театральные эффекты. Порывы несдержанной резкости покрывались сценами великодушия. Он был способен после грубого оскорбления, нанесенного публично, извиниться торжественно, пред фронтом, и думал, что одно искупает другое, зная, что такие жесты производят впечатление на среду, пропитанную сознанием несоизмеримости между господином и слугой. Иностранцы, не без иронии и возмущения, отмечали эту смесь резкого высокомерия и вульгарного популярничанья в его поведении: покорные слуги должны были трепетать перед своим господином и ценить на вес золота его привет, рукопожатия, поцелуй.

Самая «народность», принятая в состав основ официальной доктрины, вырождалась в декоративный маскарад русских национальных костюмов на придворных празднествах. Этот маскарад получал иной раз жестокое политическое значение, когда, например, в Варшаве было предписано польским дамам представляться императрице — в сарафанах. Польки повиновались, и Николай писал с удовольствием: «Так цель моя достигнута; оне наденут не польский, а русский костюм». Бакунин был прав: подлинное русское самолюбие подсказало бы Николаю, что такой сценой унижены не польки, а русский сарафан. Николаю такое ощущение было чуждо: ведь и любимое им военное дело вырождалось в декорацию, вредную для боевой техники, мучительную для войск. Нашелся патриот, который решился пояснить ему, что принятый им способ обучения войск ведет к «разрушению физических сил армии», к необычайному росту смертности, подрыву сил и неспособности к труду. «Принята, — писал он, — метода обучения, гибельная для жизни человеческой: солдата тянут вверх и вниз в одно время, вверх — для какой-то фигурной стойки, вниз — для вытяжки ног и носков; солдат должен медленно, с напряжением всех мускулов и нервов, вытянуть ногу в половину человеческого роста и потом быстро опустить ее, подавшись на нее всем телом, от этого вся внутренность, растянутая и беспрестанно потрясаемая, производит бо-

лезни; солдат после всех вытяжек и растяжек, повторяемых несколько раз в день по 2 часа на прием, идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь». Но результаты этой массовой пытки — стройные движения масс в красочных мундирах на смотрах и парадах — восхищали Николая своей яркой картинностью. Тут — высшее для него воплощение «порядка». Его эстетика пропитана милитаризмом как ее лучшим воплощением. Его политика и эстетика удивительно гармонируют между собой: все по струнке. Он любил единообразие, прямолинейность, строгую симметрию, правильность построения.

Эстетика Николая сказалась на строительном деле его времени. Оно входило в круг его личных интересов, а кроме того, он ведь считал своим долгом во все вникать, все решать самому, не только в государственных делах, но и, например, в вопросах искусства. В этюде, который А. Н. Бенуа посвятил этой деятельности Николая, собраны любопытные наблюдения¹. Ни один частный дом в центре Петербурга, ни одно общественное здание в России не возводились без его ведома: он рассматривал все проекты на такие здания, давал свои указания, утверждал их сам.

Унаследованный Николаевской эпохой классицизм в архитектуре постепенно засыхает в новой атмосфере, принимает более жесткие формы, подчиняется «казарменной» прямолинейности. В применении к иным задачам он и мельчает, обслуживая запрос на «изящные» и «уютные» искусственные «уголки». Но не этот «николаевский классицизм» характерен для данной эпохи. Внутренне противоречивая во всем быту и во всем строе своем, Николаевская эпоха изживает старые формы и суетливо ищет новых, часто впадая в эклектизм, сочетая разнородное. И сам Николай с 30-х гг. увлекается «всеми тем, чем увлекались при дворах Фридриха-Вильгельма IV прусского, Людвига и Макса I баварских и даже ненавистного ему Луи-Филиппа». В художественное творчество проникает «некоторая хаотичность и та пестрота, которая вредит общему впечатлению от него». Исчезает впечатление общего цельного стиля.

В духе времени началось тогда изучение подлинной русской старины и увлечение ею. Но использование ее

¹ Бенуа А., Лансере Н. Дворцовое строительство императора Николая I // Старые годы. 1913, Июль — сент. С. 173—195.

форм приняло, также в духе времени, всю условность «официальной народности». Характерны, например, введение в «ампир» таких декоративных моментов, как двуглавые орлы, с одной стороны, а с другой — древнеславянского оружия, взамен римского, или сухие и скудные попытки ввести «национальный» элемент в стиль построек, светских зданий и церквей. «В официальных зданиях», замечает Бенуа, отразились, конечно, сухость, суровость и холодность, все равно делалось ли это в классическом еще стиле или уже в новом духе с намерением передать «национальность», как, например, в дворцах (Николаевский и Большой в Московском Кремле), в православных церквях К. А. Тона, многочисленных дворянских собраниях, губернаторских домах, присутственных местах, казармах, госпиталях и подобных зданиях, не без основания заслуживших термин «казарменного стиля».

Как во всем режиме, и тут казенная условность давила и связывала творчество. И сам Николай, в своих личных переживаниях, типичен для своей эпохи. И он подчас остро переживал давящую напряженность своей роли. Вот характерные строки одного из его писем: «Странная моя судьба; мне говорят, что я — один из самых могущественных государей в мире, и надо бы сказать, что все, т. е. все, что позволительно, должно бы быть для меня возможным, что я, стало быть, мог бы по усмотрению быть там, где и делать то, что мне хочется. На деле, однако, именно для меня справедливо обратное. А если меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ: долг! Да, это не пустое слово для того, кто с юности приучен понимать его так, как я. Это слово имеет священный смысл, перед которым отступает всякое личное побуждение, все должно умолкнуть перед этим одним чувством и уступать ему, пока не исчезнешь в могиле. Таков мой лозунг. Он жесткий, признаюсь, мне под ним мучительнее, чем могу выразить, но я создан, чтобы мучиться». Иной раз он жалуется на непосильность своих обязанностей, на чрезмерно напряженную свою деятельность: вахтпарады, смотры флота, маневры, испытательная стрельба разрывными снарядами, неудачный ход кавказских боев, работы комиссии по крестьянскому делу, очередной вопрос о постройке железной дороги и т. п. — время надо заняться, всюду поспеть. Подавленность его настроения бросалась в глаза. Она под-

держивалась сознанием бессилия справиться с разгулом хищений, злоупотреблений, бесплодной тратой сил и средств. «Я работаю, — писал он Фридриху-Вильгельму, — чтобы оглушить себя, но сердце будет надрываться, пока я жив». Он замыкался в себе, становился все более резок и порывист, внутренняя напряженность и растерянность сказывались то вспышками неуравновешенного настроения, то жесткой, холодной выдержкой. «На императора, — пишет наблюдательная графиня Нессельроде, — иногда страшно смотреть, так жестко выражение его лица; а он принимает внезапные решения и действует с непонятной торопливостью». Императора считали склонным к хандре, к ипохондрии. Такая настроенность сложилась рано и проявлялась ярко еще в начале 40-х гг., задолго до явных и грозных проявлений опасного кризиса внутренних сил страны. Неминуемое банкротство «системы» предощущалось уже тогда. Та же графиня Нессельроде пишет в 1842 г.: «Удивительно, как машина продолжает работать. Тупая скорбь царит повсюду, каждый ожидает чего-то и боится опасностей, которые могут прийти непредвиденные, чем бы ни грозили». Неясная, неопределенная тревога держит в напряжении правящие круги с императором во главе. Она неустраима, но подавляется суровым деспотизмом и прикрыта декорацией казенного благополучия и порядка. Поддерживая шатающееся здание всей правительственной силой, Николай чем дальше, тем меньше верил в его прочность.

Конечно, он по-своему твердо разыгрывал свою роль. Но она бывала ему часто не по силам. Даже вся внешняя обстановка императорского быта, которую он разрабатывал с таким, казалось бы, увлечением, часто его утомляла. Замечали, что в отсутствие императрицы он живет гораздо проще, отказываясь от многих удобств. Казарма была бы ему милее дворца, и во дворце он ютился в тесных комнатах нижнего этажа с более чем скромной обстановкой.

А. Н. Бенуа отметил в его строительстве характерную черту. «Раздвоение характера Николая Павловича, — пишет Бенуа, — как человека и как императора, отразилось и на возводимых им сооружениях: во всех постройках, предназначенных для себя и для своей семьи, видно желание интимности, уюта, удобства и простоты».

Желание личной жизни, для себя, раздваивало наст-

роение императора. Его считали хорошим семьянином. И он выдерживал по отношению к императрице тон внимательного и сердечного супруга. Но вся обстановка их быта, а вдобавок болезненность жены не замедлили расстроить идиллию семейной жизни, связать ее с идеей «долга», придать ей показной характер. С увлечением фрейлиной Варварой Нелидовой Николай долго боролся, но кончил созданием второй семьи. Опорой Клейнмихеля в роли влиятельного временщика стало то, что он усыновил детей от этой императорской связи.

И в личной, и в официальной жизни Николая много трещин, которые все расширялись. Личная — искажена и подавлена условиями императорства, официальная — условиями исторического момента. Императорская власть создала себе при нем яркую иллюзию всемогущества, но ценой разрыва с живыми силами страны и подавления ее насущных, неотложных потребностей. Энергия власти, парализованная трусливым консерватизмом и опаской потрясения, направилась с вызывающей силой на внешнюю борьбу. И эта борьба была двойственна в своих основах. Она велась и для защиты в общеевропейском масштабе давних начал политического строя, крушение которых подкапывало положение самодержавной империи, и для завоевания России возможно значительного места на путях мирового международного обмена. Николаевская Россия не выдержала испытания этой борьбы. Ее государственная мощь оказалась мнимой: северный колосс стоял на глиняных ногах. Рушилась вся политическая система Николая I. Оборвалась и его личная жизнь. Он умирал с сознанием, что оставляет сыну тяжелое наследство, что тридцать лет правительственной деятельности завершаются катастрофой. Война разрушила декорацию официальной России. «Она, — пишет современник, — открыла нам глаза, и вещи представились в настоящем свете: благодеяние, какого тридцатилетний мир и тридцатилетняя тишина доставить нам были не в состоянии». И еще голос современника, раздавшийся под свежим впечатлением смерти императора: «Я никогда не сомневался, что он этого не вынесет. Много, а можно сказать всего более несчастная война, ускорило подавление могучего организма и привело к смерти человека, который сознал многие свои ошибки. Человеку, каким он был, оставался только выбор: отречение или смерть». Отречение едва ли было мыслимо для Николая. Остает-

лась смерть. Она избавила его от расчетов с итогами всей жизни 18 февраля 1855 г. Пошли слухи, что он отравился. Это казалось вероятным. Наспех стали опровергать. Уже 24 марта вышло на 4 языках (русском, французском, английском и польском) издание II Отделения «собственной» канцелярии: «Последние часы жизни императора Николая Первого», а еще раньше, 3 марта, в Брюсселе — брошюрка, тоже официозная, Поггенполя о том же. Но вопрос о смерти Николая не заглох, и недавний, тщательно выполненный пересмотр всех данных за и против его самоубийства дает вывод, что этот вопрос не может считаться разрешенным¹. В то время как немецкий биограф Николая, Теодор Шиманн, решительно отвергает подобную мысль, на том, впрочем, только основании, что самоубийство слишком противоречило бы церковно-религиозным убеждениям Николая, Н. С. Штакельберг заключает свой этюд признанием, что оно психологически допустимо, а по данным источников — не может быть ни доказано, ни отвергнуто.

¹ Штакельберг Н. С. Загадка смерти Николая I // Русское прошлое. Пг. М., 1923. Вып. I. С. 58—73.



Московское царство

В 1487 г. император Фридрих III и князя Священной Римской империи с удивлением слушали на рейхстаге в Нюрнберге доклад рыцаря Николая Поппеля о далекой Московии. Император был сильно заинтересован делами Восточной Европы, ввиду своей борьбы с широкой династической политикой польских Ягеллонов, и для него было приятной неожиданностью существование на Востоке сильного и независимого государства, врага польско-литовской Речи Посполитой. Тот же Поппель явился в начале 1489 г. в Москву в качестве императорского посла с миссией втянуть Московию в габсбургские интересы. Ему поручено приманить великого князя Ивана III Васильевича к союзу предложением почетного родства — браком его дочери с императорским племянником Альбрехтом, баденским маркграфом, и даже более того — приобщением Московского великого княжения к составу Священной Римской империи путем пожалования великому князю королевского титула.

Посол западного императора был удивлен, что подобные предложения не соблазнили северного властителя. Москвичи дали неожиданный и гордый ответ. «Мы, — было сказано Поппелю от имени вел. кн. Ивана, — Божьей милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление именем от Бога как наши прародители, так и мы; просим Бога, чтоб нам и детям нашим всегда дал так и быть, как мы теперь государи на своей земле, а поставления как прежде мы не хотели ни от кого, так и теперь не хотим». А затем грек Юрий Траханиот, правивший ответное посольство от великого князя к императору, говорил в том же году во Франкфурте по поводу брачного проекта, что великому князю не приличествует отдать дочь за маркграфа, так как он великий государь многим землям и его предки были искони в дружбе и братстве

с прежними римскими императорами, которые Рим отдали папе и царствовали в Константинополе; в Москве признали бы для великокняжеской дочери подходящей партией только императорского наследника Максимилиана. Перед западной дипломатией впервые выступала новая политическая сила, с которой нельзя было не считаться в делах Восточной Европы, и выступала притом в сознании своей независимости и своих особых интересов.

Явление это было новинкой не только для имперского рейхстага, но и для правительства империи. Последние десятилетия XV в. — момент крупнейшего исторического значения в жизни Восточной Европы. Это время коренной перестройки всего соотношения ее политических сил. Москва завершала долгую работу над государственным объединением Великороссии. Всего за шесть лет до первого приезда на Русь рыцаря Поппеля она закрепила за собой политическую независимость и стала из «улуса» ханов Золотой Орды самодержавным (в первоначальном смысле этого слова), суверенным государством. Восемь лет прошло с той поры, как вел. кн. Иван III подчинил себе Великий Новгород, и Москва взяла в свои руки его западные связи и отношения, выступила участницей в борьбе за господство на Балтийском море, союзницей Дании в защите свободного морского пути с Запада на Восток против его засорения владычеством шведов. Естественный враг польско-литовских Ягеллонов из-за господства над западнорусскими областями, московский великий князь был опасной сдержкой для их смелой династической политики, направленной на приобретение чешской и венгерской короны и против габсбургских притязаний. В южных делах — распад Золотой Орды и начало вековой борьбы Московского государства с татарским миром — связывали его интересы с излюбленной мечтой западных политиков о наступлении христианской Европы на мусульманский Восток для изгнания турок с Балканского полуострова.

Рассказ о том, что рыцарь Поппель открыл Московию как страну неведомую, звучит несколько наивной риторикой. На Западе и без него знали о Москови, о ее быстрых успехах, по связи московских дел с прибалтийскими и черноморскими отношениями. Сюда, на дальний север, потянулись в преждевременной надежде на активную помощь греки и балканские славяне, разочарованные в расчетах на западноевропейскую поддержку; сюда

еще в начале 70-х гг. XV в. обращался венецианский сенат с речами о правах московского государя на византийское наследство, учитывая возможное значение русской силы в борьбе с турками за свободу восточной торговли.

Конечно, Москве было еще не до участия в широких размахах европейской политики. Она еще строила свое государственное здание, только заканчивала возведение его капитальных стен, еще замыкалась, по возможности, в работе над внутренней его отделкой — укреплением начал нового политического строя и организацией своих сил и средств. Но тем не менее исход XV в. — момент крупного общеевропейского значения. На европейскую историческую сцену выступила новая держава.

I

В первичной формации своей Московское государство было политической организацией Великороссии. Ядро, легшее в основу этой организации, Ростовско-Суздальская область, выделено географически на карте Восточной Европы обширной лесной полосой. Занимает она приблизительно район волжско-окского междуречья, бассейны Клязьмы, Москвы и средней Волги от устьев Тверцы до устьев Оки. Ветлужский лес на востоке, леса по водоразделу между бассейнами Волги и Северной Двины на севере, Оковский лес, леса и болота между Мологой и Шексной на западе, а на юге лесные пространства, связанные с Брынскими и Муромскими лесами, очерчивали территорию Ростовско-Суздальской области. С юга к ней примыкали рязанские и черниговско-северские волости, с запада — смоленские и новгородские земли; на север тянулись обширные волости Великого Новгорода, на восток — поселения финских племен. Местная политическая жизнь зародилась тут, в Ростовско-Суздальской земле, «низовской» для Великого Новгорода, «залесской» для киевского юга, со времен Владимира Мономаха, когда он прислал на Ростовское княжение сына Юрия, прозванного Долгоруким. Только с этой поры, с 20-х гг. XII в., дают наши старые летописи кое-какие известия о русском северо-востоке. Такое состояние наших сведений о древнейших временах великорусской жизни создало иллюзию, что сама Ростовская земля бы-

ли еще в XII в. более инородческим, чем русским краем, колонизируется заново во времена Юрия Долгорукого и его сына Андрея под руководством и по почину княжеской власти. На деле нетрудно заметить, при более тщательном анализе данных северного летописания, такие черты севернорусского быта во времена Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, которые свидетельствуют о значительной сложности общественного быта Ростовской области в XII в. Рядом с князьями стоит влиятельное и зажиточное боярство, а городские центры, даже второстепенные, украшаются белокаменными храмами, архитектурные формы которых и скульптурная отделка составляют одну из значительнейших страниц истории древнерусского искусства. И ценность строительного материала, который приходилось привозить Волгой из Камской Болгарии, и выработка своеобразного и художественно значительного стиля указывают на такой уровень местных материальных и культурных средств, который немалым в условиях первоначальной колонизации полудикого края. А сила местного землевладельческого боярства, которое вызвало на суровую борьбу Андрея Боголюбского и сгубило его, а по его смерти властно руководит кровавой усобицей и борьбой претендентов на княжескую власть, — черта того же уклада общественных и экономических отношений, какой наблюдаем в ту же пору и в южной Руси. XII в. повсюду на Руси — время роста боярского землевладения, боярского влияния и боярских привилегий. В ту пору уже сложились и окрепли на великорусском севере основы социального строя, характерные для него и в следующие столетия.

К XII в. жизнь русского северо-востока была уже достаточно напряженной, чтобы потребовать особого внимания княжеской власти. Первые князья оседают тут не на сыром корню мирной колонизационной работы, а в боевой обстановке международного торгового пути. Великороссия раскинулась на стародавнем транзитном Волжском пути, и при первых ее князьях определился особый круг ее внешних интересов, который, в значительной мере, останется характерным для нее на ряд столетий. Их основная черта — стремление обеспечить за собой господство на путях с запада на восток, от Балтийского моря в Поволжье, и закрепить его властью «низовских» князей над Великим Новгородом, с одной стороны, а с другой — защитой свободы торговых и колонизацион-

ных путей в юго-восточном и восточном направлениях, вниз по Волге и в инородческие земли к Уралу, манившие промысловыми богатствами.

За жизнь двух поколений политический уклад Великороссии получил определенную, хотя еще элементарную и слабо спаянную форму. Великороссия сложилась в две крупные политические системы — Новгородскую и Ростовско-Суздальскую. Ростовская земля пережила во времена Юрия Долгорукого явление, характерное для ранней истории Великороссии, — сдвиг своего политического центра из Ростова в Суздаль, как при Андрее Боголюбском — из Суздаля во Владимир; южная граница, рязанские и черниговские отношения, бассейн Оки притягивают к себе деятельную княжью силу. При Всеволоде III, по прозвищу Большое Гнездо, слагается Великорусское великое княжество с центром во Владимире на Клязьме, Владимире Залесском. При нем утвердилось значение термина «великий князь» как политического титула и очерчен круг его политического главенства — пределами тогдашней Великороссии. Всеволоду III удалось привести рязанских князей в полную от себя зависимость (одно время Рязанской землей правили его наместники), как и князей муромских. Великому князю подвластен и Новгород, куда он посылает княжить сыновей и племянников. У современников его слагается определенное представление о единой политической организации, которую они называют «Великим княжением Владимирским и Великого Новгорода». Обе упомянутые политические системы, действительно, связаны крепкими политическими и экономическими узами. Суздальские торговые пути были необходимой артерией новгородской торговли. По ним шел вывоз товаров из Камской Болгарии, из Рязанской земли, из самой Суздальщины и сбыт западных, частью южных товаров в обмен: а без поволжского хлеба Новгород вовсе не мог прожить. Торговля «без рубежа» со всей Великороссией была основным условием новгородского благосостояния и сильным орудием «низовской» княжеской власти для поддержания зависимости Новгорода от Владимирского центра. Зато владимирские великие князья берут на себя оборону западных пределов. Торговые города — Новгород и Псков — не могли обойтись своими силами без великокняжеской поддержки и боевого руководства, в борьбе против наступления шведов и ливонских немцев. Так и на юге. Борьба со

степными кочевниками и восточнофинскими племенами держала в постоянном напряжении рязанские и муромские силы, и опора в остальной Великороссии была для них такой же неизбежной необходимостью, как и для Новгорода. Так интересы экономических отношений и внешней самообороны создают первые, еще незрелые, формы объединения Великороссии под главенством одной руководящей политической власти в раннюю пору великорусской истории.

Вопреки обычному, слишком схематическому и внешнему представлению, какое утвердилось в нашей историографии, дальнейшие процессы великорусской жизни, дробление территории и власти, образование ряда мелких княжений, так называемый удельно-вотчинный распад, и, с другой стороны, работа сил и тенденций, объединяющих социально-политический мир Великороссии, развиваются, не последовательно сменяя друг друга, а параллельно, в непрерывном борении и периодических колебаниях, перевеса то тех, то других, в сложном сплетении, сочетании и взаимодействии. Это процессы внутренней жизни Великорусского великого княжества, моменты и факторы развития его внутреннего строя.

Для правильного их понимания необходимо иметь в виду, что протекали они под сильным давлением и в постоянной зависимости от внешних, международных отношений великорусской национальной жизни.

Нашествие Батыя нанесло тяжкий удар Владимирскому великому княжеству. Погром обрушился преимущественно на местности более заселенные, на восточную часть его территории; и тревожное татарское соседство, грозные усмирения народных волнений, налеты татарских отрядов, тягота от ханских баскаков и сборщиков дани не дали этим областям оправиться во вторую половину XIII в. Население сбилось к западу, и этот сдвиг обусловил на рубеже XIII и XIV столетий заметный подъем «молодых» городов Твери и Москвы, с землями, к ним тянувшимися. Зависимость от Золотой Орды легла большой тягостью на восточные отношения Великороссии. Надолго остановлены боевое наступление и колонизационное движение в юго-восточном направлении; только с середины XIV столетия постепенно и с трудом возрождается поволжская торговля, а с нею великорусский напор на восточнофинские земли и деятельная борьба с инородческим миром. Замирают и южнорусские от-

ношения Великороссии. На западе — крепнет самостоятельность Великого Новгорода; свободно хозяйничает вольный город в своих северных волостях, не испытывая — на время — утеснения своих даней и промысловых доходов от попыток великокняжеской власти прибрать их к своим рукам.

Ослабление этой власти значительно. Резко сужен круг возможных задач ее деятельности, падает авторитет Владимирского центра. Последней яркой вспышкой его энергии была деятельность Александра Невского — боевая в обороне западных областей от шведов и ливонских немцев, полная политической выдержки и осторожной покорности в отношении к татарам. При нем организуется «татарское иго»: сбор дани с русского «улуса», верховная власть хана над русскими князьями. Русско-татарские отношения входят в некоторую норму, укладываются в определенное русло. Признание власти хана над Русью связано с утверждением ханскими ярлыками княжеской власти, которое дало князьям возможность стать посредниками между Ордой и Русью, взять в свои руки сбор дани и уплату татарского «выхода», вытеснить непосредственное вмешательство татарских властей в управление русскими областями. В этих новых условиях постепенно возрождается политическая жизнь Великороссии. И снова на очереди вопрос о центре этой жизни, который объединил бы ее силы и интересы. Владимир не оправился от пережитой общей катастрофы. Даже руководство внешними отношениями Великороссии — сношениями с Ордой и обороной границ — ускользает из рук владимирских великих князей. «Знать Орду» становится самостоятельным правом отдельных местных правителей. Отношения к враждебным соседям ложатся всею тягостью на пограничные области Великороссии, вызывая их на самостоятельную организацию местных сил и политическую деятельность. Давление этих нужд самообороны создало более крупное значение среди княжений северо-восточной Руси, областных «великих княжений» Тверского, Рязанского, Нижегородского. Между ними словно поделились внешние отношения Великороссии. Тверь берет на себя, ради местных своих интересов, борьбу с Литвой, защиту Новгорода, поддержку западных торговых и культурных сношений. Рязань обороняет свои пределы от беспокойного степного соседства, отстаивая для русских поселений южные границы лесной

полосы и бассейне верхнего Дона. Восточная окраина Великороссии только к середине XIV в. оправляется от глубокого упадка. Центром ее возрождения стал Нижний Новгород, стянувший к себе обломки прежнего Суздальского княжения, ради борьбы с немирными инородцами и поволжскими татарами за торговые и колонизационные пути. Но все эти окраинные силы не могли — в своем обособлении — справиться с выпавшими на их долю задачами. Непосильное боевое положение заставляет их оглядываться на области центральной Великороссии, искать в них опоры. Традиции объединения в одном великом княжении живут с новой яркостью в популярной памяти вел. кн. Всеволода III и Александра Невского. В самом начале XIV в. тверской князь Михаил Ярославич делает судорожную попытку оживить их реально. Он ищет союза с руководящими общественными силами — митрополичьей кафедрой, нашедшей во Владимире новое убежище, и великокняжеским боярством стольного Владимира, принимает титул «великаго князя всея Руси», пытается захватить власть над главными пунктами Великороссии — Великим Новгородом и Нижним Новгородом, Владимиром, Переяславлем, Костромой. Попытка разбита сопротивлением Москвы и Великого Новгорода. Рязань слишком слаба для таких покушений; но она жмет к северу, к Оке, берега которой долго будут служить главной линией великорусской обороны от южной опасности, пытается удержать опорные пункты и за Окой, но теряет Коломну и другие заокские волости, беспощадно отнятые Москвой. Нижегородские великие князья ищут, подобно тверским, углубления и расширения своей силы в захвате великого княжения всея Руси, но их ждет полная неудача. И Тверь, и Рязань, и Нижний только форпосты Великороссии. Организатором ее нового объединения, которое снова связало разрозненные нити великорусских внешних отношений и сплотило заново Великороссию в одно политическое целое, явился *московский князь*, ставший, со времен Ивана Калиты, великим князем всея Руси.

Историческая роль Москвы определена, прежде всего, этим ее политико-стратегическим значением. Непрерывное боевое напряжение на три фронта усиливало центростремительные тенденции великорусской силы, определило объединение Великороссии вокруг Москвы и самый характер ее политической организации, постро-

енной на подчинении всех общественных сил и всех средств страны властному, неограниченному распоряжению центрального великокняжеского правительства. Конечно, такой строй властвования был создан длительной и упорной борьбой. Эта борьба за власть над Великой-россией нашла в Москве новый центр и опорный пункт, более крепкий и устойчивый, но недаром сознавалась московскими князьями как борьба за великокняжескую «старину», за углубление и полное осуществление стародавних притязаний старейшины — главы всей группы братьев-князей русских — на патриархальную власть «в отца место». Книжники-летописатели были по-своему правы, когда выдвигали Александра Невского или Всеволода III, а в более далеком прошлом — Владимира Мономаха как предшественников тех же тенденций сильной великокняжеской власти.

Но только с XIV в., и притом в пределах северной Руси, в этнографически великорусской области сложились условия, необходимые для твердой реализации политического единства. Население сплочено в этой области соседством враждебных племен и организованных боевых сил, утратило свободу переселенческого движения, которое делало, в колонизационном процессе Восточно-Европейской равнины, историческую подпочву старой Руси такой зыбкой, вынуждено к территориально-политическому самоопределению и к упорной борьбе за «рубежи» — границы своей территории. На западе — наступление шведов на новгородские волости, ливонских немцев на Псков и, главное, Литовско-русского государства к востоку, а на южных и восточных пределах борьба с татарами и восточнофинским инородческим миром держат великорусские силы в непрерывном напряжении и постепенно сплачивают их ради самозащиты и достижения большей свободы торговых, промысловых и колонизационных путей, необходимых для обеспечения основ народнохозяйственного быта. После первых вспышек еще в XIII в., со времен сына Калиты, вел. кн. Семена Ивановича, началась вековая борьба Руси с Литвой, при Дмитрии Донском — борьба с татарскими царствами; исконная задача великорусской великокняжеской власти — оборона Новгорода и Пскова от «немцев» — шведов и ливонцев — требовала ее силы под страхом потерять связь с торговыми городами, которая питала высшие экономические и культурные интересы Великой-россии, а методи-

ческое, последовательное наступление русской колонизации на финский северо-восток манило промысловыми выгодами, требуя деятельной организующей поддержки.

Эти внешние задачи центральной великорусской власти созданы географическим и междуплеменным положением Великороссии и определили ее боевой, властный характер. Под давлением таких условий развивался весь процесс социально-политической организации великорусского племени.

II

Вся русская история есть история колонизируемой страны. То шире распространяясь по свободным землям, то отступая под напором буйных азиатских орд, в разливах и отливах колонизационного движения занимали восточные славяне пространства обширной Восточно-Европейской равнины, перейдя затем и за ее пределы, в далекие области Европейско-Азиатского материка. Политические достижения восточного славянства — основные моменты в истории русской государственности, как Киевская держава или Московское государство, возникали, когда внешние неодолимые препятствия вынуждали население замкнуться в более или менее определенной территории, сплотить и организовать свои силы для самообороны, неизбежно переходивший, при успехе, в наступление по очищенным от враждебных соседей путям дальнейшего колонизационного движения. В течение долгих веков соотношение между количеством населения и размерами заселяемого пространства оставалось неблагоприятным для интенсивной хозяйственной и социальной культуры. Недостаточность общественной силы — личных и материальных средств страны для разрешения очередных внешних и внутренних задач русской жизни — постоянная, поистине трагическая черта ее исторических судеб. Значительные исторические достижения покупались поэтому дорогой ценой крайнего напряжения. Организационные задачи и цели брали, по необходимости, верх над творческими; вольное развитие общественной самостоятельности подавлялось служением всех сил и средств страны интересам политического целого и тех общественных групп, которые руководили его устройством и деятельностью. Наряду с внешней напряженностью общего положения Великороссии, ее внутренняя жизнь опреде-

лялась элементарностью народнохозяйственной почвы, на которой строилось социально-политическое здание Великорусского государства. В стране, богатой лесом и водой, на скудном суглинке, земледельческому населению приходилось с большим трудом отвоевывать у природы участки под пашню, расселяться мелкими поселками, выискивая для них удобные места, разбрасываясь на больших расстояниях; крупное значение в его быту лесных и водных промыслов — звероловства, рыбных ловель, лесного бортничества усиливало экстенсивность расселения в погоне за нетронутыми угодьями и ухояжами. Первобытные приемы хозяйства придавали ему подвижный, неустойчивый характер. Легко покидались истощенные участки, легко передвигалось население на новые земли в поисках более благоприятных условий применения нелегкого труда. Группы этого населения, рассеянного по мелким поселкам, широко и свободно захватывали обширные пространства свободной территории и, поскольку сохраняли соседские связи, образовывали большие волости. Малонаселенные территории этих волостей были весьма значительного объема, но слабо очерчены, слабо организованы. Их грани определялись крайними пунктами поселения, но леса и земли, не втянутые в хозяйственную эксплуатацию, оставались подолгу неразмежеванными между соседними волостями — областью вольного захвата. Хозяйственный труд скользил по поверхности страны, растекаясь вширь, овладевал территорией неглубоко при господстве экстенсивного хозяйничанья и разбросанного, редкого заселения. Колонизационное движение постепенно, но непрерывно рассеивало народную силу, не давая ей окрепнуть и сплотиться, пока не встретило внешних препятствий, остановивших его дальнейшее распространение. В XIII—XV столетиях население северной Руси оказалось в таких внешних политико-географических условиях, которые сильно затормозили это движение, замкнули его в определенной — более или менее — территории. Колонизация приняла иной характер, пошла в глубь занятой области. То и дело возникают новые починки и выселки на территории больших волостей, новые «пути» и «ухояжи» в непочатых лесных участках. Новые поселения откинута часто на десятки верст от исходного пункта, за лесом и болотами, и, окрепнув, раскинувшись в ряде деревень и выселков, слагаются в новую «волостку», которая затем может вы-

расти и в самостоятельную волость. При иных условиях поселения располагались относительно плотнее, ближе; волость крепла, определялась в более людную и более устойчивую единицу. Великорусская крестьянская волость жила своею довольно сложною жизнью. Интересы, связывавшие группы поселений в крупные волостные соседские общины, были отчасти хозяйственного, отчасти (и преимущественно) бытового-административного характера. Хозяйство, сельское и промысловое, велось отдельными дворами и мелкими поселками при долевом и складническом владении хозяйственными угодьями, но пользование лесом, пастбищами, занятие под эксплуатацию новых участков, возникновение новых колонизационных пунктов вызывали издавна потребность некоторой регламентации, которая была делом волостного мира. Волостной староста с крестьянами был органом власти этого мира над волостной территорией, ведал распоряжение пустошами, лесными участками и земельными угодьями, не освоенными под отдельные хозяйства или покинутыми, запустевшими. От волости должен был получить участок новый поселенец, чтобы иметь законное основание своему владению; волость и защищала земли своей территории от сторонних захватов. Поскольку волость заинтересована в пополнении состава своей трудовой и платежной силы, она заботится через выборного старосту о привлечении поселенцев на пустые участки, принимает их на льготу, сдает угодья в оброк. А интерес этот связан с тяглою повинностью, легшей на волостные общины. Старинная дань в пользу князя-правителя окрепла, определилась и стала тяжелее в сочетании с «неминуемой данью» в Орду и раскладывалась на волости черного, тяглого крестьянства общей суммой, которую волостная община разверстывала внутри себя «по животам и промыслам», «по силе» каждого плательщика, собирала ее и выплачивала агентам княжеской власти, с круговой порукой всех за каждого, имущих за неимущего, хозяйственных «жильцов» — волощан за пустые участки. В то же время волость была, в значительной мере, замкнутым в себе самоуправляющимся мирком. На ней самой лежала забота об охране внутреннего мира и порядка, борьба с преступностью, разрешение соседских споров и столкновений. Правительственная деятельность княжеской администрации была крайне слабосильна. Князь поручал суд и управление наместникам и во-

лостелям, назначаемым редко на одну обширную волость, чаще на несколько волостей; и ведали наместники с ничтожной силой в 5—6 тиунов и доводчиков, а то и меньше, округом в сотни верст. До их суда и расправы доходили только важнейшие дела — об убийстве, разбое, татьбе с поличным, а мелкие, текущие дела решались в волости. Но и в наместничьем суде велико участие волости. На волостных крестьянах лежит обязанность предупреждения преступлений путем выслеживания, ареста и выдачи наместнику «ведомых лихих людей», профессионалов разбоя и конокрадства; на них — обыск по всякому делу и ответственность за нерозыск тяжкого преступника, состоявшая в уплате всем миром уголовного штрафа, какой пал бы на самого виновного. А составные части волости — села и деревни — «тянули» к ней и данью, и судом. Создавая сами весь следственный и обвинительный материал, к тому же сведущие в своем обычном праве, в своей «старине и пошлине», волостные люди, обычно выборные волостные власти, — необходимые участники наместничьего суда в качестве «судных мужей», без которых наместник не имеет права творить свой суд. Волостная община деятельна и в удовлетворении духовных потребностей населения. Крестьянской общинной силой строятся церкви, подыскивается причт, обеспечивается его содержание. Приходская жизнь тесно сплетена с волостным бытом, как и жизнь мелких монастырей, которые иной раз целиком в руках своих «вкладчиков» — волостных крестьян.

При такой значительной и разнообразной самодеятельности волостных общин влияние и прямое вмешательство княжеской власти и ее органов в жизнь народной массы долго остаются поверхностными и внешними. Деятельность княжого управления направлена почти исключительно на эксплуатацию народного труда ради обеспечения нужных власти средств — путем организации платежей и повинностей населения.

Назначение наместников для управления частью княжества имело, действительно, основной целью не столько выполнение правительственных функций по отношению к местной народной жизни, сколько преследовало, отчасти, политическую цель — закрепить за княжеской властью господство над данной областью — и служило, с другой стороны, способом содержания ближайших слуг этой власти. На населении лежала обязанность обеспе-

чить содержание наместника, его агентов, слуг и семьи доставлением ему достаточных «кормов», и самая должность принимала характер «кормления» как княжеского пожалования за службу, тем более что обычно наместнику давались «прибытки» долей княжеских правительственных сборов и пошлин. Пожалование должностью как доходной статьей превращало наместника в своего рода откупщика или половника на княжеских доходных владениях: условливались, что боярин, который будет волости ведать, отдаст в княжью казну «прибытка половину», а при уходе с должности — получит свое кормление «по исправе» (т. е. по расчету) или же обязуется отслужить службу до срока обычных расчетов по натуральным доходам при осеннем завершении хозяйственного сезона. По-видимому, годичный срок был нормальной единицей пожалования кормлением, но мог быть, конечно, повторно продолжен с года на год как прекарное владение доходами, пока князь не «сведет» боярина с наместничества или тот сам не «съедет»; установились, позднее, своего рода очередь на кормление, с назначением на него нового лица, ожидающего заранее намеченного срока, совместное назначение 2—3 лиц на части доходов с должности, предоставление кормления сыну после отца, племяннику после дяди. Черты «хозяйственного» отношения княжеской власти к постановке наместничьего управления типичны для всего строя ее владения над страной и населением.

III

В княжеской среде и в общественных кругах, примыкавших к ней, установилось — с ранних времен Киевской Руси — представление о княжестве как о семейном княжом владении. Древняя Русь не знала иных князей, кроме владетельных; каждый княжич имел притязание на «часть в Русской земле», а ближайшим образом на долю во владениях отца, в том, что было для него вотчиной и дединой. Навстречу этим воззрениям княжого права шли, с одной стороны, слабая централизованность жизни и областных интересов, тяга каждого сколько-нибудь значительного городского центра и его области к обособлению под управлением своего князя и, с другой, стремление князей, стоявших во главе политической жизни

всей страны — «старейших во всей братье князьях русских», — «держать» областные земли, посылая туда младших братьев, сыновей и племянников на княжение. Политическое единство пытались они удержать и укрепить патриархальной властью отца над сыновьями, а затем князя-«старейшины», который должен быть «в отца место» всем остальным князьям. Развитие местной областной жизни и вотчинные притязания младших поколений многолюдного княжеского рода разбили это единство, когда ослабело и пришло в упадок значение Киева как центра торговых и политических интересов древней Руси.

Обособившись от киевского юга, Великороссия устроила свое Владимирское великое княжество по той же системе местных княжений, объединенных под властью великого князя. Но в XII и XIII столетиях по всей Руси выяснилось бессилие «старейшаго» или, как его титулуют на севере, «великаго» князя удержать патриархальный характер за властью «в отца место». Он признается только «братом старейшим» в политической терминологии эпохи, и младшие князья решительно настаивают на «братском» равенстве князей, которых великий князь должен держать не «подручниками», а «братией молодой», т. е. не обращаться к ним с повелениями, признавать самостоятельность их княжеских прав и княжеской власти, а общие дела решать по совету и согласию с ними («по думе» или «по сгадце»). В ту пору влиятельные общественные силы были против усиления великокняжеской власти. Попытка Андрея Боголюбского сломить самостоятельность младших князей и держать в руках боярство закончилась его гибелью под ударом боярского заговора; его брат, Всеволод III, поднял значение своей власти в борьбе с князьями-родичами и боярством, явился организатором Владимирского великого княжения, но — недаром его прозвали Вольшое Гнездо — его сыновья и внуки пошли по старым, киевским путям междукняжеских отношений. Татарское нашествие и владычество Золотой Орды на время подорвали и подавили ранние зачатки более интенсивной организации Великороссии, и после смерти Александра Невского значение и сила Владимирского великого княжения ослаблены и расшатаны давлением ханской власти и рядом усобиц за обладание великокняжеской властью, за и против ее усиления. Ко времени, когда — в 30-х гг. XIV в. — эта

борьба переходит в последовательное «возвышение Москвы», взявшей на себя задачу постепенного усиления центральной великорусской власти и объединения северной Руси в борьбе на три боевых фронта, определился сложный уклад политической карты Великороссии. Великокняжеской власти непосредственно подчинены только Владимирский центр с его небольшой областью и семейная вотчина московских князей. Тесно примыкают к великому княжеству, сведенные на положение «подручников» еще при Иване Калите и Семене Гордом, владетельные князья ростовские, белозерские, стародубские, галицкие и др.; они почти вовсе утратили характер участников в политической жизни страны, но «княжат и владеют» на своих вотчинных княжениях, сохраняя независимость управления своими мелкими территориями. Отказавшись поневоле от более широких политических стремлений, они погружены в местные владельческие интересы, их княжая власть получает характер землевладельческой вотчинной юрисдикции и расправы, а владения дробятся от поколения к поколению на мелкие участки, из которых иные не крупнее большой боярской вотчины. Но по окраинам Великороссии сложились в связи с большей широтой интересов и кругозора, в боевых и мирных отношениях к соседним странам политические формации более крупного калибра и менее зависимые от Владимирского центра: великие княжества Тверское, Рязанское, Нижегородское со своими «великими князьями» и князьями младшими, со своей борьбой за великокняжескую местную власть и ее усиление, а на северо-западе — «народоправства» Великого Новгорода и Пскова, автономные во внутренних делах, хотя и признающие своим князем великого князя всея Руси. У всех у них своя политика и своя боевая сила, которая то ищет опоры в Великорусском великом княжении, хотя бы ценой усиленного подчинения вел. кн. владимирскому, то противостоит ему в защите местной независимости, хотя бы ценой иноземного союза и вассальной зависимости от литовского соседа или даже усиленных и нелегких связей с татарской властью.

В тех напряженных международных условиях, в каких протекала историческая жизнь Великороссии в XIV и XV столетиях, главной задачей великокняжеской власти, главным основанием ее стремлений к усилению и притязаний на господство было объединение в распо-

ряжении одного центра боевых сил страны и ее материальных средств на организацию самообороны и борьбы за свободу внешних путей, необходимых для развития народнохозяйственной жизни. Сплотить внутренние силы страны и взять в свои руки все нити ее внешних отношений — неизменная тенденция договоров, которыми великие князья устанавливали свои отношения к остальным владетельным князьям. Но в этом историческом деле они связаны не только противодействием более сильных из местных владельцев, а также и не менее — строем семейно-вотчинных отношений своего московского княжеского дома. Опорный пункт всей их деятельности, Московское княжество было семейной вотчиной князей Даниловичей. По смерти отца — главой семьи оставалась вдовствующая княгиня-мать из чьей воли сыновья не должны выходить, в том числе и тот старший, кто был великим князем всея Руси. Владели князья-братья общим вотчинным наследием по уделам, как им отец в своей духовной грамоте «раздел учинил». В принципе доли братьев должны были быть приблизительно равны, хотя это равенство на Москве неизбежно, отчасти, нарушалось в пользу старшего тем, что уже при сыновьях Калиты выяснилась политическая необходимость сохранить в его владении наиболее важные (прежде всего — в военном отношении) пункты, как Коломну или Можайск, да еще тем, что братья уступали старшему, князю великому, «на старейший путь» лишек в доходных статьях дворцового хозяйства и московских городских сборах. Раздел общей вотчины на уделы не разбивал княжества на обособленные части. Владение по уделам было владением долями общего наследства, которое не разрывало их правовой связи с целым. Уделы были наследственными, переходили к вдове и сыновьям удельного князя, но ему не принадлежало право завещательного распоряжения выморочным уделом, в случае безнаследной смерти. Такой удел должен был вернуться в общее семейное владение и идти в раздел между остальными братьями, производимый вдовствующей княгиней-матерью или старшим братом по соглашению с младшими, если матери нет в живых. Возможен был, по удельному праву, частичный передел долей — по усмотрению той же семейной власти — для пополнения утраты, какую потерпят по какой-либо причине владения одного из князей, чтобы восстановить пропорциональное отношение их объема. Пра-

нили, судили и рядили князья по своим уделам вполне самостоятельно, но в общих делах княжества должны были действовать сообща, по «думе» и «сгадце».

Основные черты удельного владения общим вотчинным княжеством повторяют порядки крестьянского долевого землевладения, с которым разделяют и черту значительной неустойчивости, так как держались обычно только между князьями-братьями, а в третьем поколений наступал распад на обособленные вотчины, выходявшие из удельных связей. Распад этот и развивался беспрепятственно везде, где не было ему противодействия в потребности сохранять объединение сил ради политической борьбы и вообще более широких политических задач. И Московское княжество пережило некоторые моменты этого удельно-вотчинного процесса. При сыновьях Калиты — владение по уделам с сохранением единства боевых сил и финансового управления; при его внуках и правнуках уже различают две вотчины (московско-коломенскую и серпуховскую), единство распоряжения военной силой сменяется договорным союзом для совместных действий, нарастает раздельность управления тяглыми людьми и сбора дани по местным княжениям, а поступление дани в великокняжескую казну обусловлено только необходимостью уплачивать «выход» хану. Однако развитие грозившего и этому княжеству вотчинного распада пресечено влиянием на московские отношения того обстоятельства, что старший из князей московского дома был в то же время великим князем всея Руси, и внутренние московские дела ставились в тесную зависимость от его великокняжеской политики и силы. Интересам этой политики подчинен и самый выдел уделов: важнейший из них, Коломенский, должен, по определению Дмитрия Донского, всегда принадлежать тому князю, кто займет стол великого княжения. Рядом договорных соглашений поддержано единство во внешних сношениях, военных действиях, в сосредоточении собранной дани к одной казне. Тем не менее семейно-вотчинные традиции сильно связывали великокняжескую власть; зависимость от них противоречила основным тенденциям ее политики, ее стремлению к единодержавию. С особой остротой выступило это противоречие нараставших новых условий политической жизни и традиционно-го княжого владельческого права с тех пор, как Дмитрий Донской положил в своей духовной грамоте основание

распространению своего вотчинного права на всю территорию Владимирского великого княжества. Ребром стал вопрос, станет ли великое княжество, станут ли все «примыслы» и захваты великокняжеской власти, какими она увеличивала территорию своего непосредственного господства, объектом семейно-вотчинного владения по уделам? Воззрения эпохи склоняли к утвердительному ответу на этот вопрос, и младшие князья не раз предъявляли притязания на то, чтобы князь великий делился с ними новыми приобретениями. Дмитрий Донской сделал уступку этим традиционным воззрениям, назначив младшим сыновьям, кроме уделов в московской вотчине, также наделы из великокняжеских владений, и между его сыновьями возникли серьезные разногласия из-за владельческих отношений, которые быстро разрослись в целый кризис междукняжеских отношений вообще, в борьбу по вопросу о преемстве в великокняжеской власти, о взаимных отношениях между великим князем и его родными и более дальними братьями-князьями.

Великокняжеская власть могла стать крупной политической силой, только вырвавшись из пут семейно-вотчинного обычного права. Она идет к своей цели путем фактического его нарушения и переходит, по мере успеха, к принципиальному его отрицанию. В руках великого князя значительный перевес силы над младшими князьями; он владеет сверх удела в московской вотчине — территорией великого княжения, распоряжается и силами мелких владетельных князей, которых рано свел на положение князей «служебных». Его преобладание не могло в конце концов не сломить семейно-владельческого строя московской семьи. И великие князья настойчиво проводят подчинение порядков удельного владения своей верховной воле. Собственное вотчинное право младших князей должно уступить место их наделению по воле великого князя, по его «пожалованию». Распоряжение всей территорией должно быть сосредоточено в его руках. Выморочный удел переходит в его распоряжение без всякого раздела. Он «государь» для членов своей семьи (в том числе и для вдовствующей княгини-матери). Такая новая постановка великокняжеской власти достигнута постепенно рядом ударов по старому общеправовому укладу. Преемники Дмитрия Донского идут решительно по этому пути разрушения прежних семейных отношений: захватывают вымороченные уделы, не делясь

с братьями, изменяют состав их владений путем принудительного обмена волостями, наделяют их по своему пожалованию «в удел и в вотчину» и требуют от них отказа от самостоятельной политической роли и полного подчинения во внешних сношениях, в распоряжении боевой силой, в раскладке сбора дани. Тот же образ действий применен к вотчинным княжениям мелких владетельных князей на территории Владимирского великого княжества. Великие князья добиваются от них отказа в свою пользу от вотчинных прав, сперва с сохранением пожизненного владения и уступкой посмертного преемства за то или иное вознаграждение (таковы еще пресловутые «купли» Ивана Калиты), позднее в иной форме: владетельный князь отступается великому князю от своей вотчины, а тот его жалует его же вотчиной, иногда с добавочным наделом, иногда с урезкой. Перед кончиной князя-вотчинника подобные мнимо добровольные сделки иногда закреплялись подтверждением в духовной грамоте, что его вотчина — князю великому, с просьбой о поминании души и ликвидации долговых обязательств; такие духовные грамоты дали повод нашей историографии говорить о праве князей на предсмертное завещательное распоряжение вотчинным или удельным княжеством и о праве его отчуждения в «частноправовом» порядке. На деле тут только своеобразные формы ликвидации удельно-вотчинного права, действия, вынужденные засильем великокняжеской власти, и сами такие грамоты не только писаны под московскую диктовку, но иной раз и прямо средактированы дьяками великого князя. Эта ломка старины не прошла без тяжких смут. Она сокрушала не только обычно-правовые устои внешнего положения младших князей. Глубоко потрясала она основные бытовые традиции, моральные связи братского «одиначества» князей, их «крестоцеловального докончания», самих семейных отношений, тот нравственный фундамент извечной «старины и пошрины», которым так дорожило русское средневековье. Жестокая смута в дни Василия Темного с ее драматичными подробностями — ослеплениями захваченных соперников, отравлением неукротимого врага, предательствами, частым нарушением крестных целований, кровавой расправой со слугами противника, жадной погоней за «вотчинами недругов» — была временем болезненного перелома изжитой, но еще упорной традиции. В суровых приемах ликвидации этой

смуты великокняжеской властью впервые повеял над Великороссией дух «грозного» царя, воплощенный в деятельности питомца этих лет Ивана III, его сына Василия и завершителя их дел Ивана Грозного. На развалинах традиционного строя отношений, освященного вековыми навыками моральных и правовых воззрений, выросла единая власть «государя князя великого» и перестраивала их заново «на всей его воле». Основой своих притязаний она выдвигала патриархально-вотчинное властвование над всей территорией великого княжения, воплощая по-своему стародавнюю традицию старейшины среди русских князей «в отца место» с небывалой полнотой — до крайней степени, до представления о великом князе как «государе над всеми государями Русской земли», самодержавном в своем абсолютизме, в своей свободе от всяких традиционных норм, кроме одной — своей владельческой воли.

Иван III закончил эту ломку старого удельно-вотчинного порядка упразднением бывлой самостоятельности крупнейших областных политических единиц и обратил всю Великороссию в свое вотчинное государство. Некоторая незаконченность этого фактического объединения власти в полном единоподержавии — сохранение внешней выдохшейся формы самостоятельной политической жизни Рязани и Пскова, формально уничтоженной только Василием III, — не нарушала сознания достигнутой полноты самодержавного вотчинного властвования. Иван III дал этому сознанию резкое выражение в своем отношении к вопросу о преемстве на столе великого княжения. Следуя примеру отца, который приобщил его к своей власти, как соправителя, еще в раннем отрочестве, и образцам византийской практики, вел. кн. Иван объявил, рядом с собой, великим князем своего первенца Ивана Молодого. Но ранняя кончина Ивана Ивановича и вторая женитьба его отца поставили московский великокняжеский двор перед сложной проблемой. Младший великий князь оставил сына Дмитрия, который — в духе византийских понятий — был «порфирородным». Дед, в согласии с ближними боярами, признал его наследие и запечатлел это признание торжественным обрядом церковного помазания и поставления на великое княжение. Но происки второй его жены, византийской царевны Софии Фоминичны, и борьба придворных партий изменили его намерения в пользу сына от второго брака — Василия,

по начал он с полумеры — объявил и его «государем великим князем» и дал ему Новгород и Псков в «великое княжение». Псковичи, встревоженные перспективой раздела и смут, решились обратиться к великим князьям Ивану и Дмитрию с челобитьем, чтобы те не делили своего государства, а был бы и для Пскова государем тот, кто князь великий на Москве. Ответ они получили суровый и характерный. Иван III гневно заявил, что волен в своем внуке и в своих детях, а также в своих владениях: кому захочет, тому и даст княжение; а года через два наложил опалу на внука и посадил сына, также с церковным обрядом, самодержцем на великое княжение Владимирское и Московское. Объединенные под его единодержавной властью территории, столь недавно политически автономные, еще не слиты в политическом представлении о единой государственной территории. Терминология грамот вел. кн. Ивана III колеблется в обозначении комплекса его владений. Понятие о великом княжении то суживается до пределов московско-владимирской области (Московского государства в тесном смысле слова, по обычному разумению XVI в.), то обнимает и Новгородский край; более широкое определение достигается употреблением термина — «все великия княжения». Только утверждение царского титула дает выход из этих колебаний в формуле «все государства Московскаго царствия». Вся вотчинная власть стянута к одному центру. Единодержавный ее носитель воплощает это единство и мог бы сказать, в полном согласии с политическим правосознанием своего времени: «Государство — это я».

IV

Борьба за единоедержавие вела к сосредоточению в руках одной правящей власти распоряжения всеми силами страны. Оно стало неизбежной необходимостью по мере нарастания внешних опасностей, усложнения международных боевых отношений Велikorоссии, усиления ее порывов к выходу из вынужденной замкнутости в границах, слишком тесных для ее экономического быта и колонизационных стремлений народной массы. Однако собирание власти из состояния ее удельно-вотчинного рассеяния само по себе не давало еще великому княжению достаточной мощи. Оно было только необхо-

димым предварительным условием большой и сложной организационной работы. Весь строй княжеского властвования лежал слишком поверхностно на народной жизни, не проникая в ее толщу, не овладевая ее силами, не находя пути к их усиленной организации и эксплуатации для «государева дела». Экономические потребности княжеской власти и управления удовлетворялись, в удельно-вотчинный период, прежде всего — собственным дворцовым хозяйством князя; содержание боевой и административной силы — кормлениями и развитием крупного боярского землевладения. Налоговый сбор — «дань неминуемая» — поглощался татарским «выходом» и иными «татарскими проторями». Другие княжеские «пошлины» — сборы с торгового оборота, — мытные, таможенные, были незначительны и дробны. Такой уклад удельно-вотчинных финансов придавал княжескому властвованию землевладельческий характер. Дворцовое хозяйство князя получило значительное развитие и тесно сплеталось с элементарными задачами и функциями управления. Как везде в тот исторический период, который условно называют «средневековым», и на Руси в XIII—XV вв. князь-вотчинник был не только правителем, но и владельцем своего княжества. Проявления его властвования — столь принципиально и существенно различные для нашего социального и правового мышления, как землевладельческие права и права политической власти, хозяйство и юрисдикция, — сплетались в недифференцированное единство правомочий княжеской власти. Историки часто называют этот своеобразный строй отношений, условно и по существу неправильно, «смешением» частного и государственного права; может быть, точнее было бы говорить о первичном синкретизме социально-политических функций властвующей силы. В нем — источник свободного дробления правительственной власти и ее вотчинного, владельческого характера.

Княжеское хозяйство получило, в крупных княжествах, сложное устройство. В порядке управления оно делилось на «пути» — на ряд особых ведомств. Во главе дворцовых слуг и всей дворцовой челяди стоял дворецкий, который заведовал всем сельским хозяйством князя, его пашенными землями и населением дворцовых сел — крестьянами и «деловыми людьми» — через своих агентов, посельских и ключников и крестьянских выбор-

ных старост. К ловчему пути принадлежали княжеские охотничьи и звероловные угодья, псаря и бобровники; к сокольничьему — сокольники; к конюшему — луга, пастбища и штат конюхов; чашничий путь был ведомством княжого пчеловодства и бортных ухажав с их княжими бортниками; стольничий — дворцовыми рыболовными угодьями, садами и огородами и селами рыболовов, садовников, огородников и «всех крестьян стольничьего пути». Каждый такой «путь» имел свою территорию, разбросанную по всему княжеству, и свое подвластное население; каждый был не только хозяйственным, но и судебно-административным округом; его управители — «путные бояре» ведали этим населением по всем делам. Но значение их выходило и за пределы дворцовых земель, так как касалось не только дворцовых крестьян и «деловых» людей. В ведении «путной» администрации были и повинности, которыми к дворцовому хозяйству тянуло население, стоящее вне его системы. Эти повинности подходят под общее представление о трудовой помощи путному хозяйству окрестного населения в косьбе сена на государевых лугах, выходе на облаву («в ловы ходити») и на рыбную ловлю, в корме коней на своем пастбище (право князя «кони ставить»), даче кормов княжей охоте при ее проезде на государево ловчее дело и т. п.; эти повинности иногда — и чем дальше, тем больше — заменялись натуральным и денежным сбором (закосное, луговое, язовое и т. п.).

Рядом с этой административной системой, выросшей из дворцового хозяйства, и чересполосно с ней сложилось управление наместников и волостелей — кормленщиков, которые ведают судом и расправой, сбором доходов и повинностями городов, пригородных станов и черных тяглых волостей. Но особо от обеих систем — дворцового и наместничьего управления — стоит третья категория населенных земель — крупное вотчинное землевладение.

Обладателями земельных вотчин были те общественные группы, которые служили главной опорой княжеской, особенно же великокняжеской власти, — бояре и духовенство. Русского князя XIII—XV вв. также нельзя себе представить вне боярского окружения, как древнерусского без дружины. В связях с боярством главный источник его собственной общественной силы. И первый шаг великокняжеской власти к прочному усилению, к собиранию власти над Великокоросией состоял в собирании

вокруг себя наиболее значительных боярских сил. Великокняжеское боярство Владимирского великого княжения, сплоченное вокруг великокняжеского двора и митрополичьей кафедры, было тем общественным слоем, который всего острее ощущал тягость от упадка объединения великорусских сил, вечных усобиц, постоянных неудач и чрезмерного напряжения в борьбе с внешними врагами. Носителем объединительных тенденций и сторонником усиления великокняжеского центра его сделали как реальные боярские интересы — стремление к социальному властвованию и материальным выгодам с опорой своего положения в тесном союзе с правящей властью, — так и неотделимые от этих интересов привычные им навыки правительственной заботы о благе Русской земли, как они его понимали. В начале XIV в. порыв Михаила тверского к осуществлению «великого княжения всея Руси» был создан великокняжеским боярством, которое пыталось в нем найти себе главу и вожда; неудача Михаила и отлив этого боярства в Москву, к которой потянула и митрополия, обусловили решительный успех московского князя, в котором боярство нашло искомый центр объединения великорусских боевых и правящих сил. И Москва растет в борьбе с соперниками, лишает их живой силы тем, что стягивает к себе многолюдное боярство, поощряя его «отъезд» из других княжеств на свою службу и закрепляя за собой эту боярскую службу пожалованием доходных кормлений и крупных вотчин.

Жалуя боярам города и волости в кормление, великий князь не расточал своей власти и своих доходов. Это был для него единственный доступный способ закрепить за собой политическое господство над обширной территорией, за невозможностью втянуть всю массу земель и населения в путное, дворцовое управление, которое было, по тогдашнему укладу жизни, единственной системой непосредственного управления княжеской власти и непосредственного извлечения повинностей и доходов из княжеских владений. И он передает полномочия власти для выполнения неизбежного минимума правительственной деятельности на местах наместникам ради обеспечения себе боярской службы, части областных доходов и господства над данной частью территории и населения.

В каждом политически организованном обществе, в любой стране, выработавшей хотя бы самую элемен-

тарную правительственную систему, имеются отношения, так сказать — нити властвования, которые надо держать в руке, чтобы подлинно господствовать над ее живой силой. Таким неизбежным органом власти было для средневековой Руси — боярство. Исторический облик этого класса — двуликий. Боярство — необходимый элемент княжого властвования, как руководящая и деятельная сила в организации войск и на ратном поле, в управлении и юрисдикции. Древняя Русь не знает иного боярства, кроме княжеского, служилого. Исторический преемник старшей дружины («бояр думающих», по выражению «Слова о полку Игореве»), боярский класс составляет высший слой княжеского двора, т. е. совокупности личных служилых сил, стянутых в распоряжение княжеской власти. Сосредоточение по мере возвышения Москвы все большей массы этих сил к великокняжескому двору вызвало усложнение их состава и определенную его расслойку. Подобно древней дружине, деятельный элемент великокняжеского двора — его вольные слуги. Они поступают в двор великого князя путем челобития в службу, а великий князь их принимает в службу с обещанием печаловаться об их интересах и кормить их по службе. Устанавливается вольная, личная связь. Ее естественно подводят под понятие договора, хотя нам неизвестны какие-либо формально-договорные ее определения. Вольная служба держалась на взаимной связи интересов, на моральном понятии «верности», на обязательстве «добра хотеть во всем», а «лиха не замышлять»: конкретно выражалась она в служении боевом, в походах и в городской осаде (защите укреплений), и политическом — в совете и делах управления. Вольная служба могла быть и прервана путем «отказа» от нее и «отъезда» от одного князя к другому.

С XIV в. можно проследить в документах зарождение все более определенной терминологии для обозначения разных разрядов вольных слуг. Слово «дворяне», означавшее слуг княжого двора, прикреплено к рядовой и низшей их массе; подведомственные боярину-дворецкому, они «слуги под дворским»; в их составе, чем дальше, тем больше лиц боярского происхождения, «детей боярских», и этот термин получает устойчивое значение второстепенного, среднего слоя вольных слуг не только в столичной великокняжеской дворовой службе, но и «по городам» — в уездах, где потомки прежнего удельного

боярства остались в положении мелких и средней руки местных служилых землевладельцев. Слово «бояре» приобрело более специальное отношение к высшему слою вольных слуг, в отличие от западной Руси, где за этим высшим слоем утвердился заимствованный с польского термин «паны», а «боярами» остались те, кто в Велико-россии именуется «детьми боярскими», т. е. «бояре меньшие», в отличие от «больших» или «нарочитых».

Верхи великорусского боярства получают, в ту же пору, наименование «бояр введенных». Попытку таких авторитетных историков, как С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, выяснить этот термин его определением по должностному положению этого боярства нельзя признать удачной. Конечно, мы встречаем введенных бояр на видных должностях центрального и областного управления — управителями дворцовых путей и наместниками-градодержцами, но не назначение на должность делало боярина «введенным». Вернее сказать, что великий князь, окружая себя боярами введенными, поручал («приказывал») им выполнение тех или иных правительственных функций — суд и управление, воеводство, наместничество и заведование своим дворцом, казной или «путями» своего хозяйства. Самое понятие «введенного» боярства, означенное столь искусственным термином, создано своеобразной эволюцией отношений, которая сдвоила смысл слова «боярин»: бытовой термин стал применяться к служилому положению высшей группы личного состава великокняжеского двора. Это положение выделяло боярина из боярских рядов, тем более из рядов вольных слуг вообще. В чем состоял «ввод» — наши источники не поясняют; они дают только прилагательное «введенный». Но едва ли будет натяжкой представить себе этот ввод или это введение тождественным, по существу, с позднейшим «сказыванием» боярства молodomу боярину, обрядом, который делал его «думным» боярином великого князя. Выделение из боярства группы введенных бояр надо представлять себе явлением, аналогичным позднейшему выделению из состава «думного» боярства более тесной группы бояр «ближних» и «комнатных», ближайших советников и сотрудников великокняжеской власти.

Введенные бояре составили круг советников князя; им он доверял в свое место существенные функции суда и управления. Термин оказался недолговечным; он усту-

пает понятию о «думных» боярах, в составе которых повторилась затем сходная эволюция выделения ближних к власти верхов. Остальное боярство занимает второстепенные должности — путные и иные, и, поскольку не достигает приобщения к «думной» среде, тонет в рядовой вольной службе, сходит на уровень детей боярских, дворян великого князя.

Но боярство не только служилый класс. Опорой его служилого положения был его собственный социальный вес, как, с другой стороны, влиятельное служилое положение питает, углубляет и развивает социальные преимущества и землевладельческую мощь боярства. Боярское землевладение, более или менее крупное, возникло в раннюю эпоху киевского периода; с XI в. имеем известия о боярских селах, где хозяйство ведется трудом невольной челяди либо полусвободных закупов. С ранних пор, по водворении на Руси монастырских учреждений и церковной иерархии, развивается и растет церковное землевладение, которое сложилось на Руси не по канонической форме владений всей церкви как цельного учреждения, а по вотчинному типу владений отдельных монастырей, митрополии, епископских кафедр, церквей соборных и приходских. Это придало церковным земельным имениям характер «боярщин» — земельных вотчин, тождественных по объему и составу прав владельца с боярскими. Рядом с ними наиболее крупными землевладельцами были сами князья, с древнейших времен развивавшие собственное земледельческое и промысловое хозяйство. Сила вотчинного землевладения была в обладании средствами производства — трудовой силой холопов, скотом, запасами зерна «на семена и смена», в возможности оборудовать новые хозяйства. Организующее руководство колонизацией порожних земель, подъем новин, постановка хозяйства на пустошах — область широкой деятельности для богатых владельцев. Первоначальный источник этого богатства — нехозяйственный: захват пленных на войне, дележ дани между князем и его дружиной, а затем — торговля так добытыми товарами, доставившая князьям и княжеским боярам руководящую роль в древнейшей киевской торговле. Княжому землевладению служило и властное положение князя. На его земли тянулись элементы населения, вышедшие, по тем или иным причинам, из привычной житейской колен: холопы, выкупившиеся из холопства, воль-

ноотпущенники, всякого рода «изгой» и свободные смерды-крестьяне, не выдержавшие трудных условий самостоятельного хозяйства в своей волостной среде. Весь этот люд шел на княжеские земли не только в поисках определенного хозяйственного положения, но и за покровительством, сильной защитой властного владельца. Те же мотивы вели этот люд и на земли церковных властей, и на монастырские, в состав которых переходили из княжеского владения населенные имения путем пожалования. К исходу киевского периода во всех областях Руси заметен сильный подъем боярских привилегий и боярского землевладения, которое слагается по тому же типу, как княжое и церковное. Землевладельческая вотчина, церковная или светская, становится замкнутым в себе мирком, экономическая характеристика которого — в соединении крупного владения с мелким хозяйством, а социально-политическая — в значительном развитии вотчинного управления, судебно-административной власти владельца над всем населением его земли.

Экономическое и административно-политическое значение вотчинного землевладения растет и крепнет в северной Руси в течение следующих столетий. Роль монастырского и боярского землевладения весьма значительна в нараставшем процессе внутренней колонизации Восточной Руси. Это землевладение врезывается клином в волостные территории, то подымая новину на земельной заимке в неразмежеванных пустошах, то захватывая земли и угодья, которые волость «извека» считала своими. На первых порах такие захваты часто и не вызывали возражений со стороны волостных общин. Но, разрастаясь и умножая свои починки и новые деревни, вотчинное землевладение постепенно все более утесняло развитие, всегда более медленное, волостного хозяйства, крестьянское пользование угодьями и новинами. И, кроме земельного захвата, наступление вотчины на волость принимало иные формы — скупки у отдельных членов волости разработанных («жилых») участков богатым соседом, перехода на его землю части волостного населения ради «помогги», «ссуды» и покровительственной защиты. Теряя и земли, и угодья, и живую силу, крестьянская волость, сторона более слабая как экономически, так и социально, пыталась найти защиту в обращении ко княжеской власти с жалобами на то, что «деревни и пустоши волостные разымают бояре, митрополиты и монастыри за

себя» и что расходятся за бояр и за монастыри и за иных владельцев волостные «жильцы», бросая свои участки «в пуге» и тем ослабляя трудовую, и стало быть, и платежную силу волости.

Но вотчинное землевладение имело слишком большое значение для самой княжеской власти, чтобы она могла стать на сторону волости в этом конфликте. Боярщина, по выражению Н. П. Павлова-Сильванского, действительно, была институтом не только землевладения, но и управления. Развитие вотчинного землевладения с присущей ему вотчинной властью стало существенным моментом в организации боевой силы и хозяйственных средств княжества рядом с путным-дворцовым и наместничьим управлением. Боярство и духовенство — две живых и влиятельных опоры великокняжеской власти — могли особенно рассчитывать на ее заботу о своих интересах, об укреплении их социальной силы. А в то же время — дать им опору в своей власти значило для великого князя усилить свои связи с руководящим общественным слоем и свое влияние на него. Обе эти задачи великокняжеской власти определяют существо политики жалованных грамот.

Духовные и светские вотчинники находят правовое основание для своих земельных захватов за счет волостных общин в великокняжеских пожалованиях. Великий князь (а по местным княжениям такова же практика других князей) выдает духовному учреждению или своему боярину жалованную грамоту с разрешением произвести заимку в той или иной волостной околице, пользоваться местными угодьями, занять под свое хозяйство запустелые волостные участки, приобрести покупкой волостную деревню или новину, разработанную поселенцем на волостной территории, и т. п., запрещая притом старосте и крестьянам чинить какое-либо препятствие. Нередко такие жалованные грамоты получались для утверждения осуществленных на деле заимок и приобретений. И в случае попытки спора народное обычное право неизменно отступает перед вотчинным правом жалованных грамот. Жалуя право на заимки, княжеские грамоты разрешают и колонизацию пустошей призывом поселенцев, преимущественно «из иных княжений», с оговоркой — не сминать местных волостных тяглых людей; но практика была шире этих стеснений, и «тутошние люди» продолжали притекать на вотчинные земли.

Тщетно пыталась княжеская власть бороться с расхищением тяглых земель и людей; в договорах XIV в. князья уговаривались не покупать земель, обложенных данью, и не отвлекать с них крестьян в свою службу, тем более ставили преграду таким действиям вотчинных владельцев. Но жизнь и эти попытки обессилила.

Как ни ревниво относились князья к своим правам и доходам, великокняжеская власть развивала свои пожалования, нуждаясь в боярской силе, и раздавала боярам дворцовые имения не только в кормление, но и в вотчину, а также населенные земли с тяглыми волостными крестьянами. Но эта последняя практика развернулась во всю ширь только позднее — в XVI и начале XVII в., с развитием поместной системы. Однако отдельные примеры пожалования населенной земли монастырям и служилым князьям встречаются в раннюю пору (первый пример относится к 1130 г. — жалованная грамота князем Мстислава Владимировича и сына его Всеволода новгородскому Юрьевскому монастырю на волость Буйцы) и имеют характер отчуждения не земельного владения, но княжеских прав и доходов в данной волости, поскольку, впрочем, такое различие возможно при данном укладе отношений.

Колонизуя занятые земли, крупные вотчинники заселяли их свободными поселенцами, кто им бил челом, во крестьянство. На вотчинной земле эти свободные элементы сходились с исконной несвободной и полусвободной рабочей силой вотчинного землевладения. Их объединяла не только общая хозяйственная организация, но и общее подчинение вотчинной власти. Великокняжеские жалованные грамоты утверждают право владельца на вотчинный суд и расправу, освобождают население вотчины от подчинения органам поместничьего суда и управления (так называемые невъезжие и несудимые грамоты). Вопреки довольно распространенному мнению, надо признать установленным, что эти грамоты не создавали новых прав и привилегий, а, согласно заключению, какое высказал еще К. А. Неволин, только подтверждали тот порядок, который существовал сам собой и по общему правилу с древнейших времен. Однако формулировка этих старых прав и их определение в жалованных грамотах ставила их на новое основание и в новые условия. Признание, что для прочной действительности прав нужно пожалование от княжеской власти, делало их произ-

подними от княжой воли, как источника всякого признанного права; средневековое понятие пожалования вело и с другой стороны к установлению зависимости этих прав от княжой воли: пожалование налагало обязанность верности и могло быть обусловлено определенными требованиями. Великокняжеская власть использовала практику выдачи жалованных грамот для проведения в жизнь воззрения, что права грамотчиков подчинены ее верховной воле, а обычный порядок возобновления грамот при каждой смене правителей, с одной стороны, и вотчинников — с другой, — для постепенного пересмотра грамот по их содержанию, с общей тенденцией к ограничению предоставленных грамотчикам льгот и привилегий. Так жалованные грамоты, давая крупным землевладельцам опору по отношению к другим группам населения, ставили в то же время вотчинную власть в подчиненную зависимость от власти великого князя, делали ее из самодовлеющей — делегированной путем милостивого пожалования.

Вся эта эволюция отношений направлена к разрешению коренного противоречия между вотчинной властью князя над всей территорией его княжения и вотчинными же правами крупных землевладельцев. Весь строй этих прав был настолько близок к княжескому властвованию над территорией и населением, что связь боярщины с княжеством, казалось, держится только на личной вольной службе ее владельца князю. Право отказа от этой службы и отъезда с нее грозило поэтому нарушением целостности самой территории княжества. В наших источниках мало свидетельств о том, что русское средневековье знало «отъезды с вотчинами» не только служилых князей, но и вольных слуг; это потому, что наши источники относятся преимущественно к Московскому княжеству и к эпохе быстрого усиления великокняжеской власти. Отъезд с вотчинами был рано подавлен, и великим князьям оставалось лишь устранить их запоздалые пережитки в великорусских политических захолустьях, постепенно входивших в его прямое управление, где дольше держалась изжитая старина. В тех документах, по которым мы изучаем эти отношения, органическая связь вольной службы с вольным вотчинным землевладением уже порвана: боярин-отъездчик может служить другому князю, сохраняя вотчинные владения по месту прежней службы, но его вотчины «тянут судом и данью по

земле и по воде», т. е. не выходят из политического состава территории покинутого князя, и сам боярин обязан в случае вражеского нападения лично и с людьми своими явиться на ее защиту. Боярская служба вырастает в землю, крепнут ее связи с территориальным господством княжеской власти.

В XIV и XV столетиях договоры между князьями озабочены закреплением боярской службы за княжествами. Великие князья проводят в них, по мере возможности, подчинение всей воинской силы мобилизации и военному командованию по месту землевладения, а не личной службы; подчиняют своему контролю боевую службу бояр младших княжений, входивших в состав территории великого княжества, добиваются права карать уклонявшихся от нее.

Связь службы с землевладением была основой всего строя средневекового военного дела. Служилые князья и бояре приводили в великокняжеское войско отряды вооруженных людей, набранных из населения их вотчин. Личный отъезд боярина с княжеской службы не мог и не должен был сопровождаться отливом вотчинной ратной силы. На почве связи службы с землей должно было разрастись постепенное подавление права свободного отъезда. Оно с необходимостью вытекало из отрицания отъезда с вотчинами. Правда, междукняжеские договоры долго продолжают гарантировать право личного отъезда вольных слуг; но эти формулы, несомненно, пережили, как и многое в договорных грамотах, живое значение соответственных явлений. Пережитки личного отъезда считались терпимыми между дружественными и родственными князьями, между великим князем и его младшей родней, но основная масса вольных слуг рано его утратила путем договорного отрицания отъезда «слуг под дворским», т. е. всего личного состава княжеского двора; проведено в договорах и отрицание отъезда с вотчинами крупнейших владельцев — служилых князей: для них отъезд вырождается в бегство за рубеж с утратой всех прав и связей. Скудость наших исторических источников не дает полной картины упадка права отъезда, этой гарантии вольной службы. Но упадок этот является законченным во времена Ивана III. Те «записи о неотъезде», которым историки обычно придают столь решительное значение в этом вопросе, — явление исключительное. При Иване III такая запись взята с князя

Данила Дмитриевича Холмского в 1474 г., когда его родной брат Михаил еще сидел на своем Тверском уделе; при Василии III записи взяты с пленника — литовского воеводы князя Константина Острожского, с князя Василия Шуйского, князей Бельских, Ивана Воротынского, Михаила Глинского, двух князей Шуйских, Ивана и Андрея, и с Федора Мстиславского — всё недавних слуг великокняжеской власти. Этими «записями» ликвидируются последние проблески идеи свободного отъезда; эти «укрепленные грамоты» обязывают служилых князей к безвыходной пожизненной верной службе в рядах московского боярства, в составе великокняжеского двора. И московское боярство — титулованное и нетитулованное — принимает их в свою среду групповой порукой за их будущую верность своему государю. Записи эти только и понятны на фоне представления об общем закреплении боярства на великокняжеской службе, с которым в противоречии стояли попытки новых пришлых магнатов считать себя, по старине, вольными слугами.

Во второй половине XV в. вотчинное землевладение и вольная служба склоняются перед вотчинным единодержавием государя великого князя. Бояре, дети боярские и дворяне великого князя одинаково «невольные» его слуги, и эта смена основных начал политического строя осмыслиется в общественном сознании эпохи не как смена вольной личной службы состоянием обязательного подданства государственной власти, а как переход ее в личную зависимость, полную и безусловную, которую и стали в XVI в. означать, называя всех служилых людей «государевыми холопами». Барон Сигизмунд Герберштейн, дважды — в 1517 и в 1526 гг. — приезжавший в Москву послом от императора Максимилиана, был поражен державным самовластием вел. кн. Василия III. «Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным — так записал Герберштейн свои впечатления в «Записках о Московитских делах» — он легко превосходит всех монархов всего мира; и докончил он также то, что начал его отец, а именно: отнял у всех князей и других владетельных лиц все их города и укрепления; всех одинаково гнетет он жестоким рабством; так что, если он прикажет кому-нибудь быть при его дворе, или идти на войну, или править какое-нибудь посольство, тот вынужден исполнять все это на свой счет; он применяет свою власть к духовным так же, как

и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех».

Вотчинное самодержавие выступило перед наблюдателем-иностранцем в первой четверти XVI в. вполне сложившимся явлением. Собрание княжеской власти, связанной обычно-правовыми отношениями, не только объединило ее в московском единомдержавии, но высвободило ее из пут «старины и пошлыны» на полный простор самодержавного властвования. Государь князь великий распоряжается «по своей воле» личными силами и материальными средствами всего населения, «жизнью и имуществом» всех. Эта полнота власти легла в основу большой организационной работы, какая выполнена правительством Московского государства в XVI столетии.

V

В эпоху господства вольной службы связь между князем и его боярами была столь же личной, основанной на челобитье в службу и прием в союз княжого покровительства, как в древнерусских дружинных отношениях. Княжие мужи древней Руси обособлены от массы населения в отдельную социальную группу под властью и опекой своего князя. Он их защитник, карает преступления против их жизни и личной неприкосновенности повышенной карой, ему они подсудны помимо судов обычного права, в нем источник их материального содержания и обеспечения. Эти стародавние отношения в дальнейшей эволюции определили особое положение боярства перед княжеской властью. Личная служба вела к личному подчинению. В пору процветания вольной службы это личное отношение к княжеской власти носило характер привилегии. Крупные землевладельцы, как служилые, так и духовные, изъяты из подчинения органам княжеской администрации; они со всем населением своих вотчин подвластны только самому князю и подсудны только центральному княжескому суду. Жалованные грамоты закрепляют за вотчинным землевладением характер княжого пожалования, определяют объем и состав прав и привилегий вотчинника. Это грамоты льготные. Они дают вотчине льготу в уплате дани и всяких пошлин, усиливая колониальную мощь крупного землевладения. Но среди

великокняжеских грамот редки тарханы, т.е. грамоты, дающие полную финансовую льготу; по-видимому, такие грамоты — явление сравнительно исключительное и давались только особо влиятельным и выдающимся духовным учреждениям. Обычный тип пожалования — срочная и неполная льгота. Неполной льгота бывала в двух отношениях: с одной стороны, она обнимала не все трудовое население вотчины, а только новоприходцев или давала им, по крайней мере, более обширную льготу, чем основному населению вотчины — ее старожильцам; с другой стороны, льгота не исключала обязанности вотчины нести «дань неминучую», свою долю сбора на ордынский «выход» и другие татарские «протори»; а давалась льгота на срок в 5—10 лет, с тем что по истечении этого срока льготные поселенцы потянут повинности вместе со старожильцами — «по силе», т.е. в меру платежной способности, определяемой при разверстке сбора «по животам и промыслам» между крестьянами данной вотчины общей наложенной на нее суммы. Так жалованные грамоты определяют не только права и льготы, но тем самым и повинности вотчины.

Постепенное объединение власти над Великороссией в руках московского великого князя стянуло к Московскому центру все великорусские боярские силы. Москва для всего боярства не только служилое и административное, но и бытовое средоточие. Личные слуги великого князя входят в состав его двора и, вне моментов служебной деятельности на воеводствах и наместничествах или в посольских посылках, живут в Москве, под рукою у великого князя. Это землевладельческая аристократия, насквозь служилая, связанная всеми основными своими житейскими интересами с деятельностью правительственной власти. Крушение боярской вольности было подготовлено таким правительственным назначением боярского класса и только укрепило его тесную связь с великокняжеским двором.

Великий князь, по-старому, держит землю с боярами своими и формально, как с личным составом верхов своей правительственной организации, и реально, опираясь на социальную силу крупного землевладения. Сохраняя в боярстве организующую силу своего властвования, великий князь проводит в жизнь полное подчинение всего боярского класса своей государственной воле настойчивыми и часто крутыми мерами. Отношения

складывались надвое, противоречиво и были чреваты рядом упорных и гневных конфликтов.

Объединение боярства всей Великороссии при дворе великого князя создало сильный количественный рост этого высшего слоя великокняжеских слуг, но в то же время глубоко повлияло и на изменение его социального состава. Его исконное ядро — старое боярство московского двора устояло в основном своем личном составе. К нему примкнули, прежде всего, служилые люди князя, сошедшие в боярское положение после утраты последних остатков прежней политической самостоятельности. Но из прежнего боярства местных политических единиц — великих и удельных княжений или новгородского народоправства — только удачливые верхи вошли в состав высшего столичного класса; остальные, большинство, — «захудали» в рядах провинциального служилого люда, у себя ли на родном корню или перекинутые суровой великокняжеской волей на новые места службы и землевладения. В. О. Ключевский дает приблизительный подсчет, по которому выходит, что в XVI в. на 200 боярских фамилий едва ли наберется 40, которые восходят к старому московскому боярству начала XV в., а если считать по лицам — на 200 бояр придется около 70-ти нетитулованных. Такому преобладанию титулованного боярства, так называемых княжат, В. О. Ключевский придал решительное значение в истории отношений между боярством и царской властью, поясняя боярские притязания на видное и влиятельное участие в правительственной деятельности традиционными навыками к власти потомков вотчинного княжья: «Предание власти не прервалось, а преобразилось: власть эта стала теперь собирательной, сословной и общественной, перестав быть одиночной, личной и местной». В основе правительственной роли боярства в Московском государстве лежит, стало быть, «непрерывность правительственного предания, шедшего из уделов». Эта эффектная формула, однако, не уяснила, а только прикрыла более глубокое существо изучаемых исторических отношений. Тот же образ «государя над всеми государями Русской земли» тешил в свое время воображение молодого царя Ивана Грозного, который писал шведскому королю: «Наши бояре и наместники, извечных прирожденных великих государей дети и внучата, а иные ордынских царей дети, а

иные польской короны и Великого княжества Литовского братья, а иные великих княжеств тверского, рязанского и суздальского и иных великих государств прирожденцы и внучата, а не простые люди». Не видно, чтобы при дворе московских самодержцев чуяли опасность в политической притязательности, порождаемой памятью о княжеском происхождении знатнейшего боярства. Корни тех боярских притязаний, с какими подлинно пришлось считаться власти московских государей, старше и глубже, что, кстати сказать, выяснил сам В. О. Ключевский в одной из глав своей «Боярской Думы».

Вся правительственная деятельность великого князя издавна протекала в определенных, привычных формах. Характернейшая среди этих обычных форм княжеской деятельности и решение вопросов уставных и административных: осуществление личного княжого суда в боярском совете. Владимир Мономах в своем «Поучении детям» внес в расписание обычного княжеского дня постоянный момент: «Седше думати с дружиною или люди оправливати» и уставы свои вырабатывал, созывая на совещание свою дружину. Практика эта держится устойчиво через ряд столетий, крепнет и развивается. Иван III законодательствует в той же обстановке, в какой Мономах создал свой «устав о резах»: Судебник 1497 г. «уложил князь великий Иван Васильевич всяя Руси с детьми своими и с бояры»; а в Судебнике Ивана Грозного читаем о новых узаконениях: «А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не писаны, и как те дела с государева доклада и со всех бояр приговору вершатся, и те дела в сем Судебнике приписывати». По образовании обширного Великорусского государства великие князья использовали стародавний обычный прием для организации своего центрального, высшего управления. Они вели его при постоянном участии «боярской думы», созывая в одну из палат своего дворца то «всех бояр», то отдельные их группы, когда обсуждению подлежали либо специальные вопросы, либо более интимные, «тайные» дела политики, когда требовалось отнестись с некоторою осторожностью к тому, кого призвать на такую «думу». Обычны были и совещания с митрополитом и окружавшим его «освященным собором» епископов и игуменов, расширенные по составу соединенные собрания князей, бояр

и духовенства, и, наконец, в случаях особой важности, созыв со всего княжения бояр-кормленщиков и даже второстепенных служилых людей, опытных в ратном деле. Так Иван III в 1471 г. выяснил план большого похода на Новгород в многолюдном собрании, куда призваны все епископы, князья, бояре, воеводы и «все вои», носители боевой силы великого княжения.

Весь этот служилый люд, к которому примыкали и «государевы богомольцы», мог и должен был чувствовать себя правящим классом. Тем более его боярские верхи, постоянные участники всех решений и действий великокняжеской власти. Была ли эта правительственная роль боярства его правом или обязанностью? Прежде всего, она была обычным, шедшим из давней старины, нормальным явлением жизни. Древнерусское общественное мнение, поскольку оно нашло выражение в памятниках письменности, видело в сотрудничестве с князьями-правителями старшего, опытного в ратных, судных и расправных делах боярства гарантию правильного хода управления. Зато оно возлагало на княжеских бояр большую ответственность. Письменность средневековой Руси богата обвинением бояр, княжих советников, за неудачи внешней политики, за уособицы между князьями, за притеснение народа, за все пороки правительственной работы. И сами князья завещали сыновьям слушать старых бояр, которые хотели им добра и верно служили, а в договорах уславливались не слушать «лихих» советов и строго карать боярские интриги, из-за которых возникали ссоры и междоусобия князей. Недаром летописец-москвич вложил в уста Дмитрию Донскому такие слова его предсмертной речи: «С вами, — говорит он тут боярам, — держал я Русскую землю, с вами мужествовал на брани, укрепил великое княжение, защитил свою вотчину, под вами держал города и великия области, с вами делил скорбь и радость и почитались вы у меня не боярами, но князьями земли моей».

Старинные традиции близкого сотрудничества бояр во всех делах и интересах великокняжеской власти получили особое значение в организации Московского государства. Его рост вызвал неизбежное усложнение всей правительственной работы, которая потребовала ряд организационных мероприятий. Время Ивана III — эпоха крупных административных преобразований и

зарождения нового законодательства. Судебник, составленный в 1497 г., имел основной задачей реформу центрального московского судоустройства. «Суд великого князя» стал обширным ведомством, к которому стянут суд по всем делам над привилегированными землевладельцами, духовными и светскими, а по важнейшим делам и над населением их вотчин; к нему же восходят в порядке доклада дела из наместничьих судов. «Суд великого князя» был лишь формально его самоличным судом, и формула «сужу аз, князь великий, или кому прикажем» приобрела значение централизации в Москве обширного круга судебных дел, в зарождавшихся учреждениях приказного типа. Эволюция от архаических приемов личного судоворения великого князя или его более или менее случайного заместителя к более упорядоченным формам судоустройства отложилась относительно завершённой в определении Судебника Ивана Грозного: «Суд царя и великаго князя судити боярам и окольных и дворецким и казначеям и дьякам»; но первоначальная ступень новой организации великокняжеского суда установлена уже в Судебнике Ивана III: «Суд судити боярам и окольным, а на суде быти у бояр и у окольных дьякам». Слагаются своего рода судебные присутствия определенного состава и с определенной компетенцией. В идее весь этот суд есть суд великого князя, как и все управление есть его «государство», которое осуществляется боярами, кому из них какое дело «приказано» ведать именем великого князя, отрасль ли его дворцового хозяйства, или область его владений, или определенный круг вопросов из всего его «государева дела».

Вся деятельность этого управления построена на предпосылке личной власти и личной деятельности государя; в нем источник всех полномочий, в нем центр руководства и наблюдения за ходом всей правительственной работы. Организуется он в порядке поручения отдельных ее моментов доверенным заместителям великокняжеской власти и исполнителям его воли — боярам. Это поручения-приказы, которыми создаются полномочия то отдельного лица, то боярской комиссии, то боярина с помощниками, дьяками и подьячими, временное или длительное, постепенно отвердевающее в присутственное место, в приказ-учреждение. Правление великого князя с боярами вступает на путь эволюции

от устарелых форм властвования к элементарному строю государственного управления, который постепенно отливается в новые формы бюрократического типа. Два столетия пошло на медленное постепенное развитие этой новой системы; но его начатки в эпохе Ивана III. Этой эпохе принадлежат первые опыты устройства центрального управления и перестройки на новом основании соотношений между центральной властью и органами областного управления. Важнейшее из условий, какими определился характер этих опытов государственного строительства и их общий, во многом неожиданный, результат в XVI в., составляло устойчивое правительственное значение боярства, «прирожденных» слуг государя великого князя.

Приспособление боярства к строю зарождавшейся новой системы управления и новых порядков государственной службы глубоко повлияло на его положение. Возникает, по необходимости, более точное, служебно-формальное, правительственное его определение; строже проводится его отграничение от других слоев служилого класса.

В Судебнике 1497 г. термин социального быта — «боярин» получает своеобразное, должностное и правительственное значение, в связи с понятием «боярского суда». В областном управлении различаются наместники, за которыми кормления с боярским судом и такие, которые держат кормления без боярского суда. Только первые определено названы боярами, словно «боярский суд» и составляет существенный признак боярства. Попытка В. О. Ключевского определить этот боярский суд как суд «по боярским делам» крайне искусственна по приему и только отклоняет от верного понимания постановлений Судебника. Ближе к нему комментарий Н. И. Ланге, который отождествил этот боярский суд с тем, какой производили в Москве введенные бояре по приказу великого князя. Тождества между ними, конечно, нет, но боярский суд Судебника — дальнейшее развитие суда введенных бояр. Его нельзя определить перечнем дел, ему подсудных. Ряд статей Судебника говорит о боярском суде как суде по всяким жалобам, о суде, где можно «досудиться» до судебного поединка и до смертной казни, суде в тяжких преступлениях и в заемных делах. Для ряда дел роль судящего боярина в рассмотрении и утверждении «докладного

списка»; это ясно указывает, что боярский суд — суд высшей инстанции, суд великокняжеский, центральный, которому надлежит решать важнейшие дела, подвергать ревизии и утверждению приговоры, восходящие в порядке доклада от судей, у которых кормления без боярского суда; красноречивую иллюстрацию такого значения боярского суда составляет равенство пошлин, какие в нем взимаются, с теми, что назначены для личного суда великого князя. Боярский суд только особая форма центрального, великокняжеского суда. Такое его определение кажется противоречащим существованию «боярского суда» наместников — областных правителей. Но Судебник недаром ставит «боярский доклад» (московский) наряду с «наместничьим докладом» (по городам) — докладом наместнику-боярину, за которым кормление с судом боярским. Перед нами особенность правительственного строя эпохи, когда компетенция связана не с учреждениями, безлично организованными, а с личными приказами-поручениями. Отпуская на наместничество своего введенного или думного боярина, великий князь давал ему полномочия боярского суда, те самые, в осуществлении которых состояла деятельность боярина в Москве, — явление, весьма обычное и в средневековых государствах Западной Европы. Пройдут годы, и Судебник Ивана Грозного ограничит полномочия боярского суда по наместничествам в пользу окрепших центральных учреждений и сильно затруднит понимание боярского суда исследователям, которые попытаются построить его определение на признаках, взятых из разных эволюционных моментов изучаемого явления. Но при Иване III широта полномочий кормленщиков вызывает только стремление сосредоточить высший суд в руках доверенных лиц, тесно связанных с дворцовым верхом, и поставить более определенно дело контроля: с одной стороны, в порядке доклада, с другой — в подтверждение обязательного присутствия на суде судных мужей — крестьянских выборных властей и лучших мирских людей, чем обеспечивалась и возможность проверки данных доклада. В то же время великокняжеская власть принимает меры к тому, чтобы саму наместничью должность поставить в более определенные правовые рамки. Широкое пожалование кормлением должно смениться большей регламентацией прав и порядка деятельности кормленщика. Таково

значение «уставных грамот» наместничьего управления, которые появляются в правление Ивана III. Их идея пришла из области новгородского владения. Когда вел. кн. Василий Дмитриевич на время овладел волостью Великого Новгорода — Двинской землей, он склонил двинян «задаться» за великокняжескую власть, обеспечив им элементарную законность в управлении своих наместников тем, что пожаловал населению Двинской земли особую грамоту, по которой наместники обязаны «ходить» в своей судебно-полицейской деятельности и сборе доходов; эта уставная грамота выдана населению Двинской земли как грамота, охраняющая его от наместничьего произвола. Когда Иван III принудил Новгород отказаться от договорных отношений к великокняжеской власти, он ответил отказом на челобитье новгородцев дать им подобную охранную («опасную») грамоту, определяющую основы той «пошлины», какую должны соблюдать наместники в деле управления, но позднее и сам он, и его преемники широко использовали практику выдачи областному населению уставных грамот, ставящих предел наместничьему произволу.

Совокупность всех этих новшеств в устройстве великокняжеского управления ставила деятельность исполнительных органов великокняжеской власти на новое основание. Их личному составу предстояло перевоспитание в духе ответственности правительственной деятельности агентов верховной державной власти, покорных орудий воли своего государя. С их полномочий снималась печать самостоятельного, хотя и пожалованного им, права; в этих полномочиях — только проявление единой верховной власти через деятельность подчиненных органов ее управления. Однако на создание бюрократического управления не было еще ни сил, ни средств, ни организационного умения. Возникает сложная система отношений, основанная на приспособлении к задачам и формам государственного строительства самодержавной власти той социальной силы, которая была искони опорой и сотрудницей великокняжеской деятельности — боярства. Основная черта этого приспособления в более определенной и отчетливой дифференциации всего личного состава великокняжеского двора, прежних его вольных слуг, на разряды — московские «чины». И в этом процессе подлинно велико значение притока в состав боярства значительного ко-

личества новой знати, владельцев вотчинных княжений и прочих «родословных» людей. Прежний, более тесный круг ближних слуг великого князя должен был сильно расшириться и получил иную общественную окраску. Нелегко было определить положение служилых князей в рядах московского боярства. Эта задача была разрешена во времена Ивана и Василия (третьих) постепенной выработкой системы местнических счетов. У Ключевского находим весьма ценное указание, что корни местничества надо искать не в боярских, а в княжеских традициях. Общие его основания вытекали из принципа княжого братского равенства и старейшинства; в договорах между князьями встречаем тщательные оговорки о том, что одни из них выступают в поход только под условием, что во главе рати сам князь великий, других он посылает со своими сыновьями, а заменит его боярин-воевода, то и удельные князья посылают полки со своими воеводами. Великие князья стремились поднять свою военную власть над этими счетами, и это им на деле часто удавалось; но такие воззрения и навыки пустили глубокие корни среди служилого князья; на службе великому князю эта традиция получила даже особо острое значение, как гарантия высокого служебного и общественного положения родословных лиц. В известной и немалой мере служилые князья остались и на этой службе — владельческими князьями. Их ратные силы, их вооруженные дворы составляют особые полки в великокняжеской войске, под их личным командованием, не входят в общий распорядок московской армии, а становятся в строй подле московских полков, «где похотят». Только к концу княжения Ивана III служилые князья появляются все чаще в роли воевод над московскими полками, все еще не смешиваясь с московским боярством. То же, что по этим наблюдениям Ключевского отмечено в ратном деле, происходит и в великокняжеском совете: великий князь совещается «с князьями и боярами», в его окружении сравнительно долго различны две группы, разного генеалогического состава. Это вступление князей в ряды слуг великого князя неизбежно повлияло на положение боярства. Его прежний состав переживает расслоение. Верхи старинного московского боярства успешно отстаивают свои позиции, находя поддержку в близости к великому князю и собственном значении крупных зем-

владельцев. Но ряд элементов в составе вольных слуг боярского происхождения сходит на вторую ступень в строе служилого люда. Официальная терминология эпохи сохранила любопытные черты этого переходного момента. Часть служилых людей великокняжеского двора, утратив звание боярина, сведенная к положению «детей боярских», сохраняет, однако, боярское положение в служебном отношении. Так, полагая, надо понимать «детей боярских, за которыми кормления с боярским судом» Судебника 1497 г. (в царском Судебнике это уже черта фактически устаревшая), и тех «детей боярских, которые у государя в думе живут». Нет основания видеть в них явление новое, плод антибоярской политики великокняжеской власти, как и в думных дьяках, этих потомках прежних дьяков введенных, великих и ближних.

Старинные элементы великокняжеского двора и совета отеснены на второй план наплывом родословных людей, но значения своего не теряют. Княжеские и боярские верхи стали в первых рядах московского дворового строя, а вернее сказать, во главе его, так как «дворянами» государя князя великого они не считались и не назывались. Этот термин лишь постепенно, после долгих колебаний терминологии, покрыл второстепенный слой прежних вольных слуг, т. е. детей боярских: долго еще держится различие «детей боярских двора велика князя» от рядовых великокняжеских дворян. Во всей этой перестройке великокняжеского двора идет борьба разнородных тенденций, вытекающих, с одной стороны, из организации службы и близости к центру великокняжеской власти, а с другой — из родословного начала, связанного с общественным положением служилого человека по его «отечеству». Для родословных верхов эта борьба закончилась установлением местничества с его двумя противоречивыми основаниями, родословным и разрядным. «Место» боярина в служебных и придворных выступлениях должно определяться по отношению к поставленным выше, рядом и ниже его — их относительной родовитостью; но то, что мы называли бы рангом должности, не имеет отношения к «месту»: должность может быть выше или ниже, лишь бы служебное соотношение сослуживцев не нарушало местнических счетов. В распорядках местничества особенно ярко сказался служилый характер боярского аристо-

кратизма; при всем сознании, что «породой» государь не жалуется, сама родовитость боярская, хотя бы и княжеская, определяется не только родословцем, но и разрядной книгой, закрепляющей успехи служебного возвышения или придворной карьеры в «родословном» значении местнических счетов, и может «захудать» вне такого служилого разрядного осуществления.

Местничество имело, несомненно, свой политический смысл. Оно связывало верховную волю самодержавного государя рядом неизбежных норм, которые ему приходилось соблюдать в распоряжении служилыми силами. Связывало оно государя и в делах совета. Представление о великокняжеском советнике тесно ассоциировано с боярским званием; введенные бояре сменились думными, и, по существу, это смена скорее терминов, чем явлений. Но местнические воззрения наложили на «сказывание» боярства (прежний «ввод») особое ограничение, вынуждая великого князя считаться с родословностью бояр при сообщении им думного чина. Расширение круга членов боярской думы достигалось «думным» характером чина окольничего как младшего боярского звания, через который проходило боярство, второстепенное по знатности, и дальше которого не шли местнические младшие боярские фамилии. Достигалось оно также сохранением в государевой думе детей боярских и видной ролью, какую играли в ходе думных дел дьяки великого князя. Но все это лишь смягчало аристократический характер боярской думы и не снимало основного противоречия в существе этого учреждения. Орган верховной власти, стремившейся к неограниченному самодержавию, определялся в своем личном составе не свободным выбором государя великого князя, а его волей, связанной обычно-правовыми воззрениями и притязаниями высшего слоя своих родословных слуг.

Правительственное значение боярской думы могло только сильно возрасти в пору коренного и крупного расширения задач и деятельности правительственной власти с образованием обширного Великорусского государства. Боярские приговоры — обычная форма ukazной и уставной деятельности великого князя; суд «с боярами своими» (судебное заседание боярской думы) — нормальная форма великокняжеского суда; по совету о князьями и боярами ведет великий князь внешнюю по-

литику, переговоры с иностранными державами, заключает и разрывает договоры. Имела ли боярская дума, во всей этой деятельности, самостоятельное политическое значение? Несомненно — имела в общественном сознании Московской Руси. Но для правильной характеристики и оценки этого значения не следует стоять на формальной, государственно-правовой («конституционной») точке зрения. С такой точки зрения боярская дума, конечно, не ограничивала власти государя. Но она была носителем традиционных форм деятельности его власти, традиционных обычно-правовых воззрений на весь уклад общественных отношений и на приемы суда или управления. Охрана «старины и пошлыны», сложившихся обычных порядков и признанных прав искони считалась идеальной задачей княжеских советников. И сама служба бояр не только мечом, но и советом входила существенным элементом в состав этой «старины и пошлыны». А стремление великокняжеской власти к неограниченному самодержавию ставило ее волю как по отдельным конкретным вопросам, так и принципиально в существенное противоречие с традиционным строем отношений и самым представлением о связности всякой власти той «пошлыной», что «исстари пошла».

Перед правительством Московского государства стояли организационные задачи огромной трудности. Только что собрав к одному центру все нити господства над Великороссией, оно стремилось создать большую и надежную воинскую силу, построить систему государственных финансов, наладить эксплуатацию всех сил и средств страны, недостаточность которых для все разрастающихся нужд «государева дела» ощущалась на каждом шагу. Это было по плечу только очень сильной и крепко централизованной власти. Борьба за осуществление такой власти, напряженная и порывистая, составляет основную и характерную черту внутренней политической истории Московского государства. В связи с «вотчинным» строем политических представлений той эпохи и общими условиями «собирания власти», рассеянной по вотчинным владельческим ячейкам, строилось в этом процессе московское самодержавие, разрушая все обычно-правовые традиции и обычно-правовые устои общественного быта. С первых же шагов оно встретило на своем историческом пути охран-

тельную инерцию боярства, и его тяга к самовластию пришла в столкновение с общественным воззрением на ценные правовые гарантии «старины и пошрины», соблюдаемых во всех областях суда и управления. На этой почве, на вопросе о связанности власти обычной правовой традицией или ее самодержавной неограниченной свободе, разыгрываются все наиболее яркие конфликты между московскими государями и боярством.

При Иване III знаем только один пример крутой расправы великого князя с «высокоумием» бояр — казнь Стародубского-Ряполовского и насильное пострижение в монахи князей Патрикеевых, отца и сына. С. М. Соловьев убедительно и метко связал эту расправу с придворной борьбой по вопросу о престолонаследии — быть ли преемником великого князя Ивана Васильевича его внуку — Дмитрию или сыну — Василию. О деле этом было уже упомянуто выше. Бояре-князья стояли за право на власть Дмитрия-внука как первенца великого князя Ивана Ивановича, сопровителя отцу великому князю Ивану III, против сына царевны Софьи, на стороне которого в придворной среде стоят угодники великокняжеской власти, «меньшие» люди, неродословные — дети боярские и ближние дьяки великого князя. По поводу этого конфликта великий князь Иван, как мы видели, особо резко и определенно выразил свое притязание на полную владельческую свободу распорядиться судьбой государства по своему самодержавному усмотрению. Устойчивая придворная традиция связала с именем и влиянием Софьи Палеолог начало «нестроенья» при дворе великого князя, ломки старых обычаев, разлада между государем и его советниками-боярами. Думные люди ропщут на «высокоумие» великого князя, который стал удаляться от боярской среды, возноситься над ней державным повелителем и решать дела помимо боярской думы с доверенными любимцами, «запершись сам-третей у постели». Такое «несоветие» государя вызывает их гневные укоры. Речи, за которые великий князь Василий III казнил сына боярского, из тех, «которые в думе живут», Берсенья Беклемишева, звучат и в писаниях князя Андрея Курбского, который осудил Грозного за «непослушание синклитского совета». Протест направлен на единоличные решения, на личное властвование с укором за «величество и высокоумие гордости», по выражению анонимно-

го автора «Иного сказания» при «Беседе Валаамских чудотворцев», и мотивированный, как у Курбского, тем, что царь, «аще и почтен царством, а дарований которых от Бога не получил, должен искать добраго и полезного совета». Мысль эта, в которой основной момент — отрицание самочинного личного властвования, выходит за пределы защиты значения боярской думы и, например, у двух последних авторов развернулась в указание на пользу совета не только «советников, но и всенародных человек», не только «мудрых и надежных приближенных воевод», но и «вселенского совета», созванного «от всех градов и от уездов градов тех». Особо острой стороной того же разногласия между царской властью и боярами, с взаимными попреками за «высокоумие», стал со времен Ивана III личный суд государя великого князя. Личное право карающей власти искони принадлежало князьям; епископы недаром внушали св. Владимиру, что он «поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милованье». Но те же епископы поясняли, что князю, конечно, подобает казнить людей преступных, «но со испытном». Осуществление этой власти сложилось в определенную практику великокняжеского суда «с боярами своими», в форму судебных заседаний царя с боярской думой. Это — организованный суд, протекавший в обычных процессуальных формах («со испытном»), суд, по отношению к которому Судебник 1497 г. устанавливает, как и для суда «детей великого князя» и для суда боярского, размер взимаемых судебных пошлин. Иван III решительно противопоставил этим формально связанным проявлениям своей высшей судебной власти — притязание на право постановлять решения, которыми налагаются кары и имущественные взыскания помимо правильного судебного разбирательства. «Праведному суду с боярами своими» царская власть противопоставила свою «опалу». Уже при нем слышим протесты бояр против «безсудных» приговоров, как в известном деле князя Оболенского Лыка, порешенном великим князем помимо обычного порядка «суда и исправы». А во времена царя Ивана Грозного поднялся с сугубой силой спор об «истинном суде царя и великого князя» в противоположность произвольным царским опалам. Этот спор привел к своеобразному уговору царя с московским народом в 1565 г., когда Грозный уехал из столицы в Александровскую слободу, грозил

вовсе покинуть государство, объявил свою огульную опалу на духовенство, бояр, приказных и служилых людей за то, что вся эта среда, через которую государь держит свою землю, «покрывала», по его выражению, от царского гнева тех, кого он захочет понаказывать «в их винах». Ответное челобитие правящих кругов и всей Москвы гласило, чтобы государь своего государства не оставлял, а в жизни и казни государевых лиходеев — его государская воля. И царь Иван согласился вернуться к власти на том, что ему на всех изменников и на всех, кто ему непослушен, класть опалу, подвергать их казни и конфискации имуществ. Отпадали два обычая, стеснявшие личный произвол носителя верховной власти в деле осуждения и кары, — печалование духовенства за опальных и соблюдение обычных форм верховного суда. Отпадали сильные моральные и формальные сдержки крайних проявлений самодержавного усмотрения над личностью и имуществом «государевых холопов».

По существу, царская власть не приобретала в 1565 г. никаких новых полномочий. Писал же барон Герберштейн про Василия III, что государь «применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех». Но Грозный, прямолинейный книжник по складу ума, а по натуре требовательный и крайне самолюбивый деспот, стремился не только вырваться из каких-либо формальных стеснений своей власти, а сломить общественное мнение окружавшей его среды, добиться безусловного повиновения не только за страх, но и за совесть, полного и покорного признания всех своих деяний, отказа от малейшего их осуждения, от всякой как формальной, так и моральной сдержки самых крайних проявлений своей самодержавной воли. Глубоко усвоил он те воззрения на царскую власть, которые так поражали барона Герберштейна в придворной среде времен вел. кн. Василия III. Иноземец-наблюдатель записывает с изумлением, что русские открыто считают волю государя — волей Божьей и верят, что все дела государя совершаются по Божьей воле, так как царь во всем совершитель Божественной воли; недаром, отмечает он, если спросить русского о чем-либо сомнительном и непонятном, то обычно получаешь ответ: «Про то ведает Бог да государь».

Личная власть царя, помазанника Божия, возносилась на недостижимую высоту над всяким жизненным правом, над всякой житейской правдой. Основная идея самодержавия в признании высшей власти и воли государя источником и верховным критерием всякого права и всякой правды. В этом воззрении сущность того, что поклонники русского абсолютизма признали особой «мистикой самодержавия». Яркое выражение найдет эта идея в XVII в. в воззрениях царя Алексея Михайловича, большого поклонника памяти Грозного. Царь Алексей верил в священный характер царского сана, в непосредственное руководство царской воли Божественным «извещением» и поэтому требовал от подвластных не только нелицемерной службы, но и «радостного послушания», осуждая тех, кто «не со всем сердцем» прилежит царю. Отсюда у него постановка милости царской выше всякого права и отрицание личных, частных прав перед верховным усмотрением государя. А в XIX в. та же идея воскресает с новой силой в официальной теории николаевского абсолютизма, согласно которой верховная власть как орудие Провидения имеет для общественной жизни то же значение, что личная совесть, просветленная религией, для частных, житейских отношений. Теория безусловной власти разрастается до учения о безусловном авторитете царской власти. В этой ее эволюции глубокие основы восточного цезаропапизма, метафизической надстройки над реальной действительностью самодержавия. Так и Грозный признавал ответственность царской власти перед Богом за чистоту веры в подвластном народе и призвание светской власти руководить религиозно-нравственной жизнью населения страны.

На деле над Московской Русью прошли разрушительные бури эпохи казней и дворцового разгула, разгрома бытовых традиций и устоев силой царской опричнины. Мертвой зыбью затихали они, отравляя подозрительностью, затаенной враждой, сыском и произволом опал «мудроправство» Бориса Годунова. Общественная совесть не формировалась проявлениями такой власти, а замирала в «безумном молчании всего мира», по меткому слову чуткого современника. А когда боярская среда получила вновь возможность поднять свой голос, она заговорила — о судебных гарантиях личной и имущественной неприкосновенности от произвола

царской карающей власти. Боярский царь Василий Шуйский обязался в особой «крестоцеловальной записи» — никого не казнить, ни у кого не отнимать имущества, «не осудя истинным судом с боярами своими».

В попытке отстоять перед крайностями царского самовластия правоохранительную функцию боярской думы — основной мотив боярской оппозиции XVI в. В этой функции состояло существенное значение думы, а она неотделима от боярской службы советом, от правообразующей деятельности боярских приговоров. Но в этом круге понятий и стремлений нет «правительственного предания, шедшего из уделов»; его основа старше, шире и глубже: искать ее надо в исконной традиции о связанности княжеской власти обычно-правовой «старинной и пошлиной». Во главе оппозиции царскому самодержавию видим преимущественно представителей титулованного боярства. Но защищают они не удельновотчинные княжеские притязания, а боярскую старину и — шире — земскую старину.

Однако рядом с этим земским моментом боярской оппозиции стоит другой — родословный. Царская власть, все более расходясь с боярством, находит себе новую социальную опору в организации более демократических слоев населения. Устройство на новых началах воинской службы и податного тягла разрушало в корень привилегированное служилое и землевладельческое положения прежде всего потомков владетельного княжья, а затем и всего знатного боярства. Защита земской обычно-правовой старины тесно переплеталась с защитой привилегий боярского класса. Оба создания изстаринной пошлыны гибли вместе под ударами самодержавной власти. И она нашла себе мощную поддержку во враждебных боярству интересах средних слоев русского общества, главным образом — носителей рядовой службы и мелкого служилого землевладения. Опираясь на них, боевая сила самодержавия смогла развернуться свободно против боярства и всей земской пошлыны.

VI

Рядом с князьями и боярами стоят в большой близости к великокняжеской власти — «государевы богомольцы». Церковь была в старой Руси крупной общественной

и политической силой. Русская митрополия — часть Константинопольской патриархии — имела вне Руси высший центр своего церковного управления во власти «вселенского» патриарха Византии. Патриарх поставлял на Русь главу местной церковной иерархии, по общему правилу, из клириков царствующего града. Образованный иерарх, облеченный обширными полномочиями, являлся в страну, которая представлялась просвещенной Византии варварским миром, как носитель высшей культуры и представитель высшей, не зависимой от местных сил, духовной власти. Такая организационная основа русской иерархии давала ей, в значительной мере, самостоятельное положение в русском политическом мире. И это самостоятельное значение русской митрополии в ряду местных политических сил увеличивалось раздельностью и дробностью политического господства русской княжеской власти. В XIV и XV столетиях разделение русских земель между двумя крупными политическими организациями — Литовско-русским государством и Великорусским великим княжением — чрезвычайно осложняло положение митрополии всея Руси. Переход митрополичьей резиденции из Киева на великорусский север, во Владимир, связал митрополию ближе и теснее с великорусскими отношениями и интересами. Владимирский двор митрополита всея Руси стал центром для тех общественных групп — великокняжеского боярства и духовенства, которые с особой остротой переживали тягостные последствия распада более широких политических связей в удельно-вотчинном дроблении территории и власти. Тут, в этой среде, возник в первые годы XIV в. при митрополите Максиме, первом из митрополитов, который утвердил свое пребывание во Владимире, замечательный памятник письменности — обширный летописный свод, общерусский по кругозору и основной тенденции, общерусский и по материалу, собранному из местных записей о событиях в северной, западной и южной Руси. Эта же среда, при личной поддержке митрополита Максима, вдохновила тверского князя Михаила Ярославича принять титул великого князя всея Руси и сделать неудавшуюся, но показательную попытку возродить подчинение всей Великороссии единой и более сильной великокняжеской власти. Ближайшие преемники митрополита Максима — южнорусс Петр и грек Феогност глубоко усвоили те же великорусские политические тенденции, но, вместе

с великокняжеским боярством, которое отхлынуло от Твери к Москве и здесь нашло искомый центр новой объединительной работы, направляют силу своего пастырского влияния на поддержку стремлений московских князей к усилению великокняжеской власти.

В таких условиях нарастает процесс национализации русской церкви. Преемником Феогноста на митрополичьей кафедре видим крупного политического деятеля, который вышел на митрополию из боярской среды великокняжеского двора и волею судеб стал не только правителем церкви, но и руководителем политической жизни Великороссии. Ярче и более последовательно, чем при его предшественниках, служит теперь высшая иерархическая власть целям мирской политики — в защите притязаний московского князя на Великорусское великое княжение, в усилении его власти над другими владетельными князьями северной Руси, в борьбе с Литвой за западнорусские области. Митрополит-правитель вдохнул в великокняжескую политику определенную идеологию — церковно-религиозную и тем самым национальную. В оживленной переписке с Константинополем и в пастырских наставлениях русским князьям митрополит Алексей развивает воззрение, что православная Русь — часть священной христианской политики, политического тела церкви, а власть великого князя всея Руси и [власть] русского митрополита — органы ее устройства и защиты. Отсюда, с одной стороны, вывод, что борьба Москвы с «языческой» Литвой «огнепоклонника» Ольгерда заслуживает сочувствия и поддержки всего христианского мира, а с другой — требование, чтобы русские князья блюли свое «одиначество» с великим князем, скрепленное крестным целованием, и служили его делу своей ратной силой под страхом отлучения не только митрополичьего, но и патриаршего.

Политика митрополита Алексея ставила ребром вопрос о великорусском характере митрополии, о превращении русской церкви в учреждение Великорусского государства. Но был он не московским митрополитом, а «киевским и всея Руси». Национально-великорусское направление его деятельности придавало односторонне-политическое значение его иерархической власти над русскими епархиями Литовско-русского государства. Митрополия оказалась на безвыходном распутье. Неизбежным становилось ее разделение между двумя поме-

стпыми церквами — великорусской и западнорусской. Вел. кн. Дмитрий Донской шел на это, по смерти митрополита Алексея, лишь бы сохранить в своих руках назначение кандидата на митрополичью кафедру и ее влияние в составе активных сил великокняжеской политики. Но значительная часть духовенства дорожила исконным единством митрополии; это единство имело и свой, притом не малый, политический вес, как условие влияния Москвы на православные области западной Руси, особенно же на русские земли, колебавшиеся между Москвой и Литвой, в которой они искали опоры против московского засилья. Затяжная церковная смута, суть которой в борьбе за и против притязания московского великого князя избирать кандидата в митрополиты, за и против единства митрополии, кончилась победой этого единства и независимости митрополии от великокняжеской власти. Митрополиты — болгарин Киприан и грек Фотий порвали с традициями митрополита Алексея, отделили свою политику от великокняжеской, поставили себя в положение митрополитов всей Руси, которые правят церковью, опираясь на высшую иерархическую власть константинопольского патриарха, а в делах мирских стремятся наладить приязненные отношения к светской власти обоих великих княжений — Велико-русского и Литовского. Москва потеряла на время одну из существенных опор своих властных притязаний. А митрополия, с другой стороны, выступает в эти годы весьма требовательной защитницей своих мирских интересов и своего пастырского авторитета, перед которым должен склониться великий князь, духовный сын отца своего, митрополита всея Руси.

Подчинение митрополии и всей церковной иерархии великокняжеской власти имело для этой последней огромное значение не только в сфере междукняжеских и международных отношений. Церковь была носительницей не только духовной, но и весьма значительной мирской общественной силы, благодаря крупным размерам землевладения церковных учреждений и их экономической роли как единственных обладателей сравнительно крупного денежного капитала. Размеры церковного землевладения не поддаются сколько-нибудь точному учету. От середины XVI в. — а за первую его половину едва ли можно предполагать особенно большой рост этого землевладения — имеем сообщение иноземца, будто

монастырское землевладение охватило до трети всех земель Московской Руси. Можно признать, что такое глазомерное определение было сильно преувеличено, вероятно даже намеренно и тенденциозно, теми собеседниками из московского боярства, от которых получил свои сведения капитан Чанслор, передавший их автору рассказа о далекой Московии Клементу Адаму. Но если мы вспомним ряд благоприятных условий развития этого землевладения — крупные земельные вклады князей и вотчинников-бояр, хозяйственную энергию монастырей, их значение как первой на Руси капиталистической силы, широкие размеры льгот и пожалований в их пользу, острую тревогу, какую вызывает рост именно монастырского землевладения в московском правительстве и светском служилом обществе во времена Ивана III, а с другой стороны, сравним сообщение Чанслора с обычным для позднего западноевропейского средневековья определением размеров церковного землевладения в $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$ и даже $\frac{1}{3}$ всех земель той или иной страны, — возможное преувеличение такой расценки не представится чрезмерным. Рядом с монастырским стоит землевладение епископских кафедр и, особенно, крупное землевладение самой митрополии.

Положение этих земель в составе Великорусского великого княжества было, по существу, тождественно с положением княжеского и боярского землевладения. Вотчины принадлежали отдельным церковным учреждениям, которые и были, в лице своих начальных властей, полноправными их владельцами. Среди них митрополичьи вотчины составляли особую крупную единицу, и только этих вотчин касались грамоты и порядки, какими были обеспечены права и имущества митрополии. У других духовных вотчинников — епископов, игуменов — были свои, помимо митрополии, права, гарантии и грамоты. Это ставило их в прямые, непосредственные отношения к княжеской власти наряду с светскими крупными землевладельцами.

Митрополит стоял особо. При Киприане положение митрополии определено совместно великим князем и митрополитом в уставной грамоте, которой придана форма протокола их соглашения. Она и по содержанию близка к договорам между великим князем и его «братьей младшей» — князьями удельными. Уставная грамота (1392) обеспечивает самостоятельность митрополичь-

его суда и управления и ограничение повинностей и платежей населения митрополичьих волостей обычной стариной и пошлиной с отменой всего, что вновь «учинилось»; сбор дани только на уплату татарского выхода в определенном размере оброка-урока по старым оброчным грамотам, с его отменой в те годы, когда не придется давать дань татарам; выступление митрополичьих бояр и слуг в поход под командой митрополичьего воеводы только в тех случаях, когда сам великий князь лично выступал во главе всей ратной силы великого княжения. Внесена в эту уставную грамоту и гарантия иммунитета монастырских вотчин: в села пошлые монастырские великому князю не всылать ни по каким делам агентов своей власти, не судить их населения — ведают и судят их игумены, а при смешном суде судебный доход делится пополам между великокняжеским и монастырским судьями. Но это не попытка общей гарантии вотчинных привилегий церкви, а касается она тут только тех монастырей, которые определены как «извечные митрополичьи». «Свои» монастыри были и у владык-епископов и у князей. Значительнейшие и много второстепенных тянуло к высшей светской власти, ко двору великого князя. При сохранении за митрополитом его юрисдикции и власти иерархической по церковным делам, эти монастыри, даже в период наибольшей самостоятельности русской митрополии, находились в непосредственной зависимости от великого князя по вотчинному землевладению и привилегированной подсудности игумена, всей братии и монастырских людей великокняжескому суду. Жалованные грамоты, укрепляя вотчинные льготы населения и вотчинную власть игумена, закрепляли связь монастырских владений с великокняжеским двором и устанавливали за ними характер великокняжеского пожалования. Политически власть великого князя над церковными учреждениями вне территории собственных владений митрополии была ближе к ним и сильнее, чем власть главы русской церкви; недаром видим великого князя в роли защитника церквей и монастырей в Москве и по городам от церковных налогов и поборов митрополита. Монастыри с их обширными вотчинами были предметом особого попечения великокняжеской власти, и управление их делами стягивалось все плотнее ко двору великого князя, пока в XVI в. не стало одной из важнейших функций приказа Большого Дворца.

При таких условиях понятно, что и назначение игуменов, особенно в более значительные монастыри, было делом весьма существенным для великого князя и перешло фактически в его руки. Само сооружение новых монастырей происходило обычно с прямым участием великокняжеской власти, по крайней мере в том смысле, что возникающие монастыри, как только обстроятся и поставят свое хозяйство, спешили заручиться жалованными грамотами на свои земли и угодья, на право заселять свои вотчины пришлыми людьми со льготой в государевых пошлинах, на освобождение от подчинения местным властям с прямой подсудностью центральному великокняжескому суду.

Значительна была, с другой стороны, зависимость от великого князя епархиальных архиереев. Средневековая русская епархия представляла собою не только духовно-церковное, но и административно-владельческое учреждение. Само церковное управление, т. е. отношения архиерея к подчиненному белому и черному духовенству, было пропитано началами светского властвования. В центре архиерейского управления стояла деятельность архиерейского дома по суду и расправе над белым духовенством, которое обложено данью и оброками с церковных земель и сборов, и по управлению владычными монастырями, обширными вотчинами и их населением. По делам всего этого управления орудовал целый штат светских архиерейских чиновников, служилых людей разного калибра, наместников и дворян, приказчиков, десятильников и тиунов. Элементы епархиального и вотчинного управления характерно переплетались и сливались в духе общего строя отношений исторической эпохи, когда всякое — а также церковное — властвование легко и неизбежно приобретало владельческий уклад. При подобном типе епархиального быта и строя архиереи сближались с боярами-кормленщиками и вотчинниками по своей социальной физиономии и по своей роли в общественном и политическом быту Великороссии. Епископы и игумены — «государевы богомольцы» — примыкают к княжескому двору, стоят в ряду — по сану в передних рядах — с боярами в княжеских советах и княжеской политической деятельности и вместе со всей высшей общественной силой сосредоточиваются по мере образования единого великорусского государства ко двору государя великого князя.

Глубоко были заложены во всем строе старорусской жизни основания подчинения церкви носителю светской власти. Интересы внешней и внутренней политики великокняжеской власти и общее направление ее эволюции к полному едино- и самодержавию настоятельно требовали всестороннего использования этих возможностей. Завершение национализации митрополии на великорусской почве как учреждения в строе Московского государства стало необходимым элементом строительной работы московских великих князей.

Княжение Василия Темного — время озлобленной и кровавой смуты, в которой рушились последние устои удельно-вотчинного строя, — принесло Московской Руси по ликвидации пережитого кризиса образование той сильной великокняжеской власти, какую унаследовал Иван III, а также упразднение прежнего самостоятельного и самовладеющего значения митрополии. По смерти митрополита Фотия (1431) на митрополию наречен свой, русский кандидат, епископ Иона. Но политические интересы Византийской империи, изнемогающей под турецким напором, привели к поставлению на Русь митрополита Исидора, грека, который примкнул на Флорентийском соборе к унии с Римом. Его поездка в Италию, возвращение, низложение и бегство затянули на ряд лет прочное решение судеб русской церкви. Только в конце 1448 г. в Москве решились на поставление Ионы собором великорусских епископов, хотя бы и ценой разрыва с Константинопольской патриархией. Иона явился завершителем деяний Петра и Алексея и стал, вслед за этими свидетелями, третьим святым московским митрополитом. Канонизацией их памяти Москва освящала национально-великорусские тенденции своей митрополии.

С этой поры преемство на митрополичьем престоле обходится, к немалому смущению местных строгих церковников, без обращения в Константинополь за патриаршим благословением; вскоре даже появится в «обещательных грамотах» новопоставляемых епископов обязательство отнюдь не принимать на митрополию ставленников византийской патриархии. Преемство на московской кафедре определяется впредь формально, либо благословением предшественником преемника, как Иона благословил Феодосия, Феодосий Филиппа, либо избранием кандидата на епископском соборе, а по существу выбором государя князя великого, который возводит

назначенного на митрополию по провозглашении и поставлении его собором епископов. Великоорусская митрополия стоит перед светской властью без всякой внешней опоры, сходит на положение учреждения в составе Московского государства, влиятельного, но зависимого фактора великокняжеской политики, и живет местной великокняжеской жизнью, местными московскими интересами, под властной рукой государя великого князя, опекуна русской церкви и вершителя ее судеб. Таким подчинением митрополии светской власти закончена была эволюция зависимости всего сложного строя и состава русской церкви от мирской правительственной силы. Верховная власть Великооруссии, приняв царский титул, стала в то положение относительно церкви, какое сложилось для всего православного Востока на византийской почве.

К этой роли руководителя судьбами церкви вел московского государя ряд весьма существенных интересов и отношений. Здание московского вотчинного государства заключало в себе церковные учреждения, общественное значение и социальная сила которых были слишком крупны, чтобы светская власть могла иначе разрешить вопрос о своем отношении к ним. Покровительство монастырскому и епископскому землевладению, усиление и регламентация его привилегий, развитие могущества митрополии долго играли роль одной из опор, одного из средств самого роста великокняжеской власти, подобно тому как такой же ее опорой было землевладельческое и правительствующее боярство. Но вторая половина XV в. принесла быструю и коренную перестановку всех этих отношений на иную почву. Московский великий князь вырос в вотчинные государи всей Великооруссии и стал забирать в свои руки самодержавное распоряжение ее силами и средствами, начал трудное и сложное дело их организации на нужды своего «государева дела». Встретив на этом пути привилегии и самостоятельную силу своих «вольных слуг», он закончил их превращение в «государевых хлопов» без сколько-нибудь крупных потрясений. Но та же, по существу, задача стала перед ним и по отношению к церковным магнатам. Тут камнем преткновения была не вольность сильного и влиятельного общественного слоя, а издавняя льготность владений «государевых богомольцев» и принципиальная независимость и неприкосновенность священного сана. Власть

московских государей входит в церковь в облачении царского сана. Расцвет идеологии, основы которой заложены на русской почве митрополитом Алексеем, освящается и уподобляет подчинение церкви светскому властителю. На Русь перенесена византийская идея о царе как главе «священной христианской политики», об органической необходимости царской власти для полноты церковного строя: «Невозможно, — внушали византийцы своим русским ученикам, — христианам иметь церковь, а царя не иметь, ибо царство и церковь находятся в тесном единстве и общности и невозможно отделять их одно от другой». Московское царство приняло наследие Византии, павшей под ударом турецкой силы, и стало «третьим Римом», православным царством, единственным во всей вселенной. Царь — верховный правитель и церкви, и государства. Притязания церковного авторитета не идут глубже и дальше идеала оцерковленного государства, т. е. такого, где царская власть, хранительница канонов и правоверия, руководится церковно-религиозными идеями в своей властной деятельности как по отношению к церкви, так и сфере светского правления. И это уже много, так как предполагает связанность державной власти морально-религиозными нормами и церковно-каноническими положениями, истолкователем которых является церковная иерархия. Пастырский долг духовенства — печаловаться царю о страждущих и обиженных, наставлять его в истинных понятиях о добре и правде, обличать его греховные и несправедливые деяния; долг царя как человека-христианина — вникать в эти наставления, принимать их безропотно. Но облеченный властью, которой вручены Богом милость и суд, все «церковное и монастырское» и всего христианства попечение, он решает и действует. Верховной волей государя определяется личный состав иерархии; его повелением собираются церковные соборы, он ставит им задания, властно входит в их делопроизводство, сообщает своим утверждением обязательную силу их постановлениям. Помимо его властной воли не могли быть решены никакие вопросы церковной дисциплины, богослужебного обряда, важное и мелкое, принципиальное и внешнее церковного обихода. При большом бытовом интересе церковного двора ко всему этому обиходу личная царская воля и личные воззрения государя получили для церкви крупное и постоянное значение.

А там, где перекрещивались между собой общественные и материальные интересы церковных учреждений с целями и стремлениями государственной власти, возникали трудноразрешимые коллизии. Существенные и житейски реальные, эти коллизии ставили с большой остротой основной вопрос о согласовании церковного авторитета с неограниченным никакими нормами вотчинным самодержавием. Внутренняя принципиальная неразрешимость подобной задачи наложила свою печать на судьбы церкви в Московском царстве.

VII

Овладев всеми нитями властвования, московский великий князь приступил с резкой решительностью к устройству такой ратной силы, которая была бы всецело в прямом и непосредственном его распоряжении. Упразднение самостоятельных местных политических властей приняло при Иване III характер завоевания. Даже в тех случаях, где не было при этом военных действий, новый властитель действует как в завоеванной стране. Права населения, их гарантии и удостоверение в актах и грамотах прежнего времени подвергаются ломке и пересмотру под предлогом, что это грамоты «не самих великих князей», а выданы только местной, второстепенной правительственной властью. В смутные годы Василия Темного князя, боровшиеся за вотчинные владения, выставляли требование, чтобы, при возвращении вотчины земель из чужого захвата, для него не были обязательны акты пожалования, отчуждения, даже купли, совершенные при прежней власти; такое требование было дальнейшим развитием принятого в строе удельно-вотчинного владения общего правила, которым отрицалось землевладение князей и бояр в пределах чужого княжества, по крайней мере без особого на каждый раз разрешения местной власти. Широко и последовательно проводили это требование новгородцы в своих договорах с великими князьями, настаивая на кассации сделок купли или иного приобретения, которые его нарушили; а в междукняжеских договорах оно лишь отчасти ограничивалось соглашениями союзных князей о сохранении вотчин за вольными слугами, которые отъедут от одного князя на службу к другому. Иван III обобщил эту традицию и придал ей новое значение, когда почувство-

вал себя вотчинным государем на всех великорусских княжениях. Местные права и отношения должны для сохранения законной силы получить утверждение и признание от его власти, единого источника всякого гарантированного права. Так, великокняжеская власть выдает после покорения Твери тверским боярам свои государские грамоты на их тверские вотчины и жалует их заново боярским званием, зачисляя их в состав великокняжеского боярства. Но далеко не всегда дело сводилось к такому только формальному действию, которое, впрочем, и само по себе имело большое принципиальное значение.

Великий князь — глава обширного государства — нуждался в большой армии и средствах ее содержания. В центре его воинской силы стоял его личный полк — «двор великого князя», преемник древней дружины. Организация нового войска получила в духе вотчинной власти характер расширения этого великокняжеского двора до размеров великорусской государственной армии, а первые шаги в этом деле, как момент собирания власти, приняли форму увеличения количества дворовых слуг великого князя за счет «дворов» младших князей и бояр. Исконная основа содержания ратной силы — землевладельческий доход — требовала соответственно расширения возможности распоряжаться достаточным земельным фондом. Великокняжеская власть устремляется в ряде крупных мероприятий к пересмотру и перестройке землевладельческих отношений, подчиняя всякое частное право своей державной вотчинной воле.

«Перебор» людей и земель, примененный в таких широких размерах Грозным в эпоху опричнины, стал очередным делом в политике Ивана III по отношению к некоторым из областей, вновь подчиненных его непосредственному властвованию. Особо грозный характер получил этот прием властного действия в сочетании со старинной мерой репрессии против непокорных областей — «выводом» из них целых групп населения, какой применен был, например, к Рязани еще Всеволодом III Большим Гнездом. Такой «вывод» был видом опалы и кары, но, по существу, под его грозной и гневной формой осуществлялись иные цели — организационные и военно-колониационные, как сосредоточение военно-служилых сил в определенных местностях или их стягивание к правительственному центру.

В конце 60-х гг. XV в. Иван III снял ярославских князей с их родовых насиженных гнезд; «простились они со всеми своими вотчинами навеки, подавали их великому князю Ивану Васильевичу», а он дал им взамен волости и села в иных своих владениях, чтобы вырвать с корнем их прежнее местное влияние. Княжеская власть над Ярославской землей перешла в руки московского боярина-наместника, который «отписывает на государя» села и деревни местных землевладельцев, записывает в великокняжескую дворовую боевую службу местных бояр и детей боярских. Такая запись местных служилых землевладельцев в государеву службу производилась, несомненно, и в других областях: так организованы кадры ратной силы — разных ярославцев, дмитровцев, кашинцев и т. п., которые «служат» великому князю. Это была служба личная; не все местное население, годное в службу по личным свойствам и земледельческому положению, втягивалось в нее, а с выбором и в порядке принудительного перечисления за великого князя местных бояр и дворян — в дети боярские его государева двора. При Василии III эта практика сложилась в нормальную систему: «Каждые два или три года — так сообщает барон Герберштейн — государь производит набор по областям и переписывает детей боярских с целью узнать их число и сколько у кого лошадей и служителей», а служат они «по достаткам своего имущества» ратную службу, от которой редко дается отдых, по местным уездным спискам. Но далеко не всех князей-вотчинников постигла судьба ярославских отчиков; большинство осталось «княжатами» на своих землях, крупными привилегированными вотчинниками. И в течение XVI в. не мало мелкого служилого люда по-старому служит не великому князю, а этим княжатам и близким к ним по положению боярам или церковным властям; только грозы опричнины и мероприятия последних десятилетий царствования Ивана Грозного завершили начатое его дедом.

Падение вольности Великого Новгорода сопровождалось «выводом» и «перебором» людей и земель в весьма широких размерах. Приняв Новгород под свою державу, Иван III велел распустить из княжеских и боярских дворов служилых людей и зачислить их на свою государеву службу. А новгородские бояре и дети боярские были челом и приказывались в службу великому князю.

Но дело на том не кончилось. Политическое брожение новгородского общества дало Ивану III повод вывести из Новгородской земли в несколько приемов все местное боярство и отписать за себя его вотчины. Эти бояре поселены были на землях, пожалованных им в Московской области, и вошли в состав московского служилого люда. По-видимому, значительная часть новгородского боярства удержалась притом в боярском звании; по крайней мере, среди бояр Московского государства встречаем затем ряд новгородских фамилий; другие вошли в разряд второстепенных государственных слуг — детей боярских и дворян. Но вывод новгородский не ограничен боярами; к концу 80-х гг. XV в. он захватил большое число житейх людей и купцов, а на их место переведены московские дети боярские и купцы, которых великий князь пожаловал дворами и землями высланных на «низ»; а те расселены по городам Московского государства. Самый размер этих перетасовок выходит за пределы простой репрессивной меры. В этих суровых и резких формах проходит перед нами, с одной стороны, организация на развалинах новгородского народоправства государевой ратной службы в новгородской окраине Московского государства: обширные конфискации владычных, монастырских и боярских земель, частью за действительную или мнимую «вину», частью под предлогом, что это старинные земли великих князей, освоенные новгородцами в период упадка княжеской власти в Новгороде, дали в руки великокняжескому правительству значительный земельный фонд, который пошел на содержание служилых людей, а частью на оброчные волости — доходные статьи княжеской казны. А с другой стороны, в этих мероприятиях видим первые революционные по приемам опыты той политики искусственного сосредоточения к Московскому центру руководящих общественных сил и средств торгово-промышленного капитала, которая так характерна для московского государственного строительства. При Василии III такому же выводу подверглись верхи псковского общества; великий князь «поимал их к себе». Поистине не было преувеличения в словах Герберштейна, что великокняжеская власть распоряжается по своей воле жизнью и имуществом всех.

В новом военном строе не могло быть места ни союзным, ни служебным князьям, которые выступают во

главе своих полков как особых тактических единиц и на ратном поле стоят рядом с великокняжеским войском, «где похотят». Единство организации и командования, плановость боевого действия требовали их превращения в государевых воевод. Устройство ратной силы, базированное на служилом землевладении, встречало противоречие в полноте вотчинных прав и должно было ее сломить ради перехода в руки государственной власти распоряжения личными, годными в службу, силами населения и земель как источником служилого обеспечения. «Старина и пошлина» частных прав отступает по всей линии под напором самодержавной власти и нужд «государева дела». Царская власть последовательно проводит во вторую половину XVI в. отрицание добровольной частной службы и зависимости свободных людей, которые вступлением в нее ускользали от требования государства. Частная служба такого рода трактуется законодательством как холопство. Только холопство еще признается видом зависимости от частновладельческой власти, которая выводит человека из прямого отношения к государственной власти. Перед свободным человеком ребром становится вопрос: стать холопом частного лица или признать себя слугою государя. Царский Судебник ограничивает и свободное разрешение этой дилеммы, запрещая служилым детям боярским и их детям, которые еще не несли службы, поступать к кому-либо в холопы, кроме тех, кто отставлен от службы. Указное законодательство требует уничтожения служилых кабал, выданных на себя детьми боярскими, преследует добровольную службу «без крепости», создает внутренне противоречивое представление о «добровольном холопстве», настаивая на определении и полной ясности положения путем закрепления в холопстве таких «добровольных» слуг, а в борьбе с фиктивными сделками, которые прикрывали частную зависимость должными обязательствами, начинает трактовать кабальных людей как «холопов», проводя решительную грань между граждански полноправным положением, которое обусловлено непосредственным подчинением лица государственной власти, и всякой частной зависимостью как холопством. Этот процесс все более глубокого проникновения государственного начала в сферу частных отношений разрушал «сеньорьяльные» отношения старого строя и неизбежно перешел затем в раз-

рушение самого института холопства созданием его «условных» и «срочных» форм, пока привлечение холопов к государственной повинности не прекратило самого существования этого учреждения. Упраздняя шаг за шагом средостение частновладельческой власти между собой и живыми силами населения, самодержавная власть развивает, с другой стороны, свой вотчинный, владельческий тип последовательной политики в области служилой организации землевладения.

Все люди, годные в службу «государеву делу», должны ее нести; все земельные имущества, организованные в более или менее значительные землевладельческие хозяйства, должны быть предназначены на обеспечение такой службы. Указом 1556 г. «о службе всем людям, как им вперед служить» царь Иван Грозный установил определенный размер ратной службы землевладельцев: «Со ста четвертей (около 50 десятин) доброй угодей земли человек на коне и в доспехе в полном, а в дальней поход о дву конь». Эта норма касалась всех владельцев земель, без различия их правового положения; все должны нести «уложеную службу». Но проведение в жизнь такого принципа требовало регламентации самого размера и распределения землевладения в зависимости от задач и условий организации ратной силы.

Крутые приемы, с какими приступил к этому делу великий князь Иван III, должны были глубоко встревожить мир крупных землевладельцев. Отдельные и массовые конфискации с «выводом» владельцев из насиженных гнезд для их «испомещения» в иных местностях грозили, казалось, полным разгромом вотчинного землевладения. Великий князь Иван III оставил за княжатами многие их вотчины в родовом владении, но сузил само вотчинное право запрещением их отчуждать по воле владельца; при Василии III эти ограничения сложились в целое «уложение» и распространены на второстепенных вотчинников — детей боярских. Эти постановления были подтверждены верховной властью в начале самостоятельного правления Ивана Грозного, но в эпоху деятельности «избранной рады» — интимного совета при молодом царе — утратили, в значительной мере, силу. Влиятельный кружок протопопа Сильвестра и А. О. Адашева стремился сгладить напряженные отношения между самодержавной властью и ее родословны-

ми слугами, провел возвращение многих вотчинных владений в княжеские и боярские руки, действовал в духе умиравшей «старины и пошрины», сдерживая царское самовластие. «Политическое противоречие» между строем государевой власти и социальным укладом правительствующей среды, так ярко охарактеризованное в трудах В. О. Ключевского, от этого только обострилось и нашло бурное разрешение в судорожном разгроме боярской среды кровавыми казнями, а боярского землевладения «перебором земель и людей» целыми уездами в эпоху опричнины. Законодательство 60-х и 70-х гг. XVI в. обрушилось преимущественно на старинные княжеские вотчины. С одной стороны, они представляли собой наиболее крупную социально-политическую силу, а с другой — были обломками прежней удельно-вотчинной княжеской самостоятельности, причем, однако, их превращение в обычные вотчины с широким правом отчуждения и распоряжения противоречило, по существу, идее сосредоточения всей княжеской власти на Руси в руках государя великого князя и старой традиции об их семейно-княжеском характере с правом перехода к прямым вотчичам, но с притязанием великого князя на все выморочные вотчинные княжества, которое Иваном III возведено в общую норму московского княжого права. Указное законодательство Ивана Грозного воспретило княжатам все виды отчуждения вотчин — продажу, отдачу в монастыри, мену, дарение; проводило тесное представление о вотчичах как родных только сыновьях; поставило переход вотчин в иные руки в зависимости от особого на каждый раз соизволения государя; ограничило долю вдов и дочерей в наследовании, сведя ее к временному пользованию «на прожиток». Вотчинное землевладение, подчиненное общей норме службы с земли, должно было принять характер части государственного земельного фонда, с определением объема прав владельцев в прямой зависимости от потребностей «государева дела» и общей земельной политики правительства. Сложнее было дело с церковным землевладением. Обязанность военной службы и на нем лежала: митрополичьи отряды шли в войско великого князя, подобно княжеским, под командой особых, митрополичьих воевод; в Новгороде владычный полк составлял особую боевую единицу, подвластную архиепископу; и все святительские и монас-

тырские вотчины давали воинскую силу, подобно боярским. Значение церковных земель как фонда, обеспечивавшего ратную силу, не могло не привести к постановке вопроса о дальнейшем использовании их на «государево дело», и вопрос этот стал крайне остро при Иване III. Не только общая презумпция верховного права великокняжеской власти на всю землю княжения, обусловленная вотчинным характером этой власти, но и особые отношения ее к церковным учреждениям, особенно к землевладельцам-монастырям, внушали великому князю притязание на прямое распоряжение церковными землями. Пересмотр владичного и монастырского землевладения в Новгородской области привел к отписке на государя значительной ее части, насколько знаем, без протеста со стороны русских церковников. Осуществляя эту меру, Иван III выдвинул утверждение, что, по существу, это земли государя великого князя, неправильно освоенные церковными учреждениями; потому неправильно, что по постановлениям новгородской вечевой власти, а не по единственному основанию признанного с московской точки зрения права — великокняжеским пожалованием. Дело не ограничилось пределами Новгородской области. Вел. кн. Иван III приступил к пересмотру владельческих прав монастырей-землевладельцев в более широких размерах; грамоты, удостоверяющие способ приобретения вотчин, — данные, купчие, меновые — взяты в казну великого князя, например, у Кирилло-Белозерского монастыря; в пригородных слободах великокняжеские писцы отбирали на государя монастырские дворы, оставляя за монастырями только некоторые, в указанном числе. В то же время вел. кн. Иван III устанавливает ряд ограничений для расширения церковного землевладения в будущем, запрещает — по крайней мере, в отдельных областях — церковным учреждениям приобретать вотчины, а князьям и боярам отдавать их в монастыри. Поход на церковное землевладение сопровождался расширением иного способа содержания церковных учреждений, так называемой «ругой», т. е. выдачей из государевой казны соответственных средств деньгами и натурой; так, закончив цикл новгородских конфискаций отпиской, с благословения митрополита Симона, земель и угодий для наделения служилых людей, Иван III дает, с другой стороны, грамоту на ругу со всех новгородских пятин Софийскому

собору. Исследователь «попыток обращения в государственную собственность поземельных владений русской церкви в XVI веке» А. П. Павлов склонялся к признанию, что в этих мероприятиях крылась цельная программа перестройки на новых основаниях всей системы содержания церковных учреждений. Принятые на государево иждивение, они вошли бы тесно и покорно в рамки его вотчинного властвования.

Но церковь встала решительно и гневно на защиту своего достоинства. В «чине Православия» — на первой неделе Великого поста — появился возглас: «Все начальствующие, обидящие святые Божия церкви и монастыри, отнимающе у них данныя тем села и винограды, аще не престанут от такового начинания, да будут прокляты», предостережение, к которому через триста лет прибег и ростовский архиепископ Арсений Мацеевич в попытке противодействовать секуляризации церковных имений императрицей Екатериной II. Выступили церковники и с более спокойными аргументами. Знаменитый Волоколамский игумен Иосиф поставил вопрос о церковном землевладении в своих посланиях на почву русской правовой традиции и житейской практики. Игумен-полемист как бы дает великому князю урок по истории русского права в опровержение его отрицаний законности этого владения; разъясняет, что монастырское и вообще церковное землевладение имеет два исторических и правовых основания в ктиторстве и в княжеских пожалованиях. Ктиторы, созидатели обителей, обеспечивали их имуществами, которые на веки вечные получали религиозное назначение как дар благочестивых людей Богу, ради вечного поминовения памяти жертвователей во спасение их душ; князья утверждали и охраняли эти владения закланием на нарушителей церковных прав с угрозой проклятия в сем веке и в будущем. В поддержку вывода неприкосновенности этих имуществ из раскрытия источников и святости прав на них церкви Иосиф выдвигает моральное оправдание материальных средств церкви — в обеспечении церковного благолепия и церковной благотворительности, в значении монастырей как культурных учреждений, как школы для будущих иерархов из «почетных и благородных» лиц, принявших постриг.

Однако на церковном соборе 1503 г. был поднят вопрос, чтобы, по крайней мере, у монастырей впредь не

было вотчин, а жили бы чернецы по пустыням и кормились своим трудом. Иосиф Волоколамский приписывает почин этой постановки вопроса великому князю Ивану III, который-де захотел отнимать села у церквей и монастырей. Но выступила с тем требованием группа церковных идеалистов-нестяжателей в лице своего учителя и руководителя Нила Сорского. Однако сама постановка вопроса на почву соборного рассмотрения как дела церковного только подчеркивала слабую сторону позиции, занятой великокняжеской властью, и не спасла ее от поражения. Вел. кн. Ивану III пришлось отступить от слишком смелых и прямолинейных планов секуляризации церковных имуществ. Впрочем, такое отступление не означало какой-либо победы церкви над ее окрепшей и глубоко укоренившейся зависимостью от государя. В частности, в руках светской власти осталось прямое средство привлекать монастырские и святительские вотчины к нуждам ратного дела: испомещение на их землях служилых людей. Иосиф Волоцкий строго осуждал митрополита Серапиона за раздачу церковных земель боярам и детям боярским. Конечно, тут речь идет о светских лицах митрополичьего двора, но такие церковные слуги не были освобождены от государевой воинской службы, а должны были выступать в поход с вотчинными вооруженными войсками и «даточными» людьми. Притом, с реорганизацией всего военного строя, исчезло самостоятельное значение особых митрополичьих воевод, и контингенты таких воинов входят в государевы полки наравне с другими. Получился известный компромисс между требованиями великокняжеской власти и привилегиями крупных духовных вотчинников, усиленный практикой назначения на церковные должности по воле великого князя, подчинением светской власти — ее выбору и контролю — назначения светских архиерейских чиновников, ее вмешательством во все хозяйственное управление и дисциплинарное заведование монастырями и епархиями через приказ Большого Дворца и непосредственными царскими распоряжениями. Особое средство самозащиты от крутых проявлений самодержавного властвования, вес церковного авторитета не устранил от духовных владельцев такого же подчинения их вотчин государевой власти, какое сложилось и для бояр-вотчинников.

Подчинившись требованиям светской власти, вотчин-

ное землевладение вошло в строй Московского государства как существенный его элемент, но не вполне согласованный с его принципиальной, самодержавно-вотчинной основой. Особенности княжеско-боярского землевладения не выдерживали этого противоречия и были разбиты в бурные времена опричнины. Церковные вотчины дольше сохраняли черты своей старины, медленно приспособляясь к окружающему укладу жизни, и только XVIII в. преодолел эти черты, и то после больших колебаний и моментов реакции к прежнему строю отношений.

VIII

Развитие вотчинного землевладения (светского) было с древнейших времен в тесной связи с переходом от первоначального строя дружины к организации территориальных (поместных — в основном значении этого слова) войск. Уже в конце Киевского периода все чаще встречаем определение дружин не по именам князей, а по городам (дружина владимирская, киевская и т. д.). Такие дружины-отряды местных землевладельцев были сгруппированы вокруг своего городского центра. Их прямое наследие — отряды уездных вотчинников, которые служат великому князю в XV в. Мероприятия Ивана III и его преемников расширили и упорядочили их организацию, но этим далеко не ограничились. Великокняжеская власть берет за энергичное творчество в развитии поместных войск и их земельного обеспечения и создает обширную систему поместного верстанья, все углубляя свою силу по распоряжению земельными фондами Великороссии. Пользование селами и деревнями из состава владельческой земли для содержания слуг, наделение их хозяйственными участками на началах условного владения было давним приемом в монастырских, владычных, митрополичьих, боярских и княжеских (дворцовых) имениях. Этой практикой создавался особый вид землевладения, которое и возникало и прекращалось вместе со службой, не сообщая служилому человеку права распоряжения имением, не отвергая до вотчинного права. Верстание в государеву службу многих людей при Иване III сопровождается их наделением такими поместьями, а с середины XVI в.

слагается в целую систему устройства служилого класса и управления им.

Царский указ 1556 г. имел в виду установить такое «строение воинству», чтобы царская служба была вправду, «без лжи». Государь находил, что многие овладели излишними землями, а службой оскудели, так что служба их не против государева пожалования и собственно-го их вотчинного владения; установил «уложенную службу» с земли в точно определенном размере и повелел для уравнивания ее, смотря по количеству земли, произвести землемерие в поместьях, отобрать «преизлишки» и разделить их между неимущими. Это был тот же, по существу, перебор людей и земель, какой производил в свое время Иван III; но, освобожденный от порывистого и революционного характера, он укладывается в деловые рамки постоянной правительственной работы.

Правительственная работа по устройению воинства началась раньше этого указа организацией знаменитой в истории служилого класса «московской тысячи». Царь Иван Васильевич повелел в 1550 г. сосредоточить в Москве тысячу «лучших слуг», детей боярских вместе с боярами и окольничими, которые должны быть всегда готовы «в посылки» по правительственным поручениям. Кто имел вотчины недалеко от Москвы — служит эту «московскую» службу с вотчины, а у кого в данной местности земли нет — получает поместье; поместья даются и в придачу к вотчинам, если они недостаточны для обеспечения служилого человека и его служебной годности. Эта тысяча должна была впредь пополняться преимущественно сыновьями тысячников, и только при их непригодности «прибором» со стороны. Служба «по московскому списку» стала мечтой и венцом карьеры провинциального служилого люда. Но проникали в него заслуженные люди изредка и с трудом, в порядке исключительной награды и милостивого пожалования; московский список был в значительной мере забронирован началом «отечества».

Одновременно с составлением первой «Тысячной книги» — списка первых тысячников — московские дьяки приступили к работе над «Государевым родословцем»; в него внесены фамилии знатнейших и ближайших к царскому престолу княжеских и боярских родов; очерчивался и определялся основной круг родословных лю-

дей — носителей местнических привилегий. К тому же общественному слою принадлежали и «тысячники» первой статьи — младшие члены боярских родов, которые и сами постепенно проходят в состав думного боярства. Родословна и вторая статья тысячников — и в ней есть лица первостепенного по местничеству боярства, а остальные — второстепенная знать, выходившая на пути придворного и должностного возвышения к чинам думного боярина или окольного. Пестрее по социальному составу третья статья «Тысячной книги» — наиболее людная по количеству: тут рядом с «молодыми службою» членами родословных фамилий видим немало выходцев из рядов уездного дворянства, даже бывших новгородских боярских послужильцев; сюда «прибирали» больше по служебной годности, чем по признаку «отечества», но сама запись в московский список выделяла служилую семью из рядовой массы и давала впредь ее членам преимущество к возвышению в службе и общественном положении.

И вся масса провинциального служилого люда тянулась к Московскому центру по служебным и землевладельческим интересам. Она поделена — в каждом уезде — на три статьи. Первую, высшую, составлял «из городов выбор» — отборные уездные служилые люди, которые периодически «годовали», обычно по 3 года, в Москве для несения московской службы в дополнение к тысячникам. Эта «московская служба» требовала все больше деятельных сил. Несших ее посылали во всякие «посылки», назначали на воеводства и осадными головами, ставили во главе отрядов ратной уездной силы, служилых инородцев, казаков или стрельцов и т. п. Служба в «выборе» открывала отдельным лицам путь к прямому переходу в состав «московского списка»; но главное ее общественное влияние — в выделении на местах руководящей группы «выборных» дворян каждого уезда. Вторую провинциальную статью составляли «дворовые» дети боярские — основная боевая сила, ходившая всем городом в ближние и дальние походы «конной, людной и оружейной»; третья статья — «городовых» служилых людей — несла преимущественно гарнизонную, осадную и милиционную службу на местах.

Так весь строй военно-служилого землевладельческого класса расположен в стройной иерархии, применительно к организации его государственной службы. Но распределе-

ние его личного состава по категориям не сводилось к одному признаку, не опиралось на единый критерий. Основные задачи всей организации выдвигали значение служебной годности по личным свойствам и исправности служилого человека, но по всей постановке дела она, с другой стороны, обусловлена имущественной обеспеченностью землевладельца, который должен выступать в поход «конен, люден и оружен», по норме — «человек на коне в доспехе полном, а в дальний поход о дву конь». Московская служба была еще расходнее: посылки и посольства приходилось выполнять, в значительной мере, на собственный счет. Государево денежное жалованье выдавалось изредка — через два года в третий или по особым распоряжениям в скудном размере и в виде пособия или награды за особо исправную и сверхурочную службу. Государево дело опиралось на эксплуатацию не только личных сил, но и материальных средств служилого люда. Зато правительственная власть сама и создавала эти средства, наделяя служилых людей поместьями в дополнение и взамен вотчин. Создавала она и самый служилый класс, развивая его количественный состав новыми и новыми «верстанями». Никакой, по существу, общественной самостоятельности за таким классом оставаться не могло. Весь он, во всем бытии своем, функция правительственного строя. Местные общественные связи — по уездам — созданы и обусловлены территориальным укладом мобилизационных группировок и порядками управления всем служилым делом. Периодические пересмотры уездного служилого люда присланными из Москвы «разборщиками», составление списков — уездных десятин — с распределением служилых людей по статьям происходили при ответственном участии окладчиков, выбранных уездным дворянством, которое являлось группой, ответственной за добросовестность «разбора». Эти операции имели значение не только для построения служилой иерархии «статей». Ими определялось и верстание поместными окладами, от которых зависели — почти никогда, впрочем, их не достигая — фактические земельные «дачи». Некоторое внутреннее противоречие вносило во всю эту правительственную работу над служилым классом то значение, какое при всем том имело начало «отечества», родового происхождения служилого человека. Разверстывали служилых людей на статьи не только «по службе и по прожиткам», но и по «оте-

честву». Лишь сочетание всех трех разнородных признаков определяло положение служилого человека. Поэтому и родословный человек мог «захудать» при лично-служебных и материальных неудачах, и неродословный мог пробиться вверх, до московского списка включительно, а при исключительно удачных условиях — и выше и тем создать новое, высшее «отечество» для своих потомков. «Породой государь не жалуется», но мимо государева пожалования «пород» грозит захудание, а сила его может создать и новую «породу». Во всю эту поместную систему втянуто своей служилой стороной и вотчинное землевладение, разлагается в ней, теряя постепенно свои специфические черты особого правового института, и сходит на уровень условного служилого землевладения.

Организация военно-служилой силы не могла ограничиться устройством службы дворян и детей боярства. Потребности постоянной обороны окраин создавали новые и новые трудности. Так, в упорном наступлении к югу московская власть выдвигает все дальше от центральных областей укрепленную границу, то обгоняемая в этом движении вольной народной колонизацией, то увлекая ее за собой. Закрепление и оборона границ и всей уkraine вызвала появление новых городов и городков. Для «государева дела» привлекают сюда местные боевые силы казаков с их атаманами; организуется ряд гарнизонных отрядов путем перевода и добровольного перехода ратных людей из других местностей и путем «прибора» на службу «вольных гулящих людей». Для содержания всего этого «новослужилого» люда создается мелкопоместное землевладение, часто путем наделения целой группы служилых людей в общей меже общей «дачей». В немалом числе эти мелкие ратные люди выходили из среды крестьян-переселенцев, которые садились тут на «приборную службу». Слагался особый, пестрый, изменчивый по личному составу, своеобразный низший слой военно-служилого люда, который жил крестьянским хозяйством и бытом, а занимал, по своему социально-экономическому типу, среднее положение между дворянами «меньших статей» и крестьянством. Эти предки будущих однодворцев стоят вне системы поместного войска, как служилые люди «по прибору» в отличие от тех, чье общественное положение и самосознание нарождающегося сословного типа выдвигают начало службы «по отчеству».

Вся эта организация военно-служилых общественных групп, непосредственно и крепко зависимых от центральной власти, ковала для царского престола новые нити властвования над страной, взамен прежних. Боярство теряет свое основное государственно-политическое значение. Крупное землевладение — средневекового феодального типа — отступает перед новой социальной силой среднего и мелкого служилого землевладения помещиков и вотчинников.

IX

Строй служилого класса и служилого землевладения сосредоточивал в распоряжении верховной власти не только личные силы Московской Руси, годные в боевую службу, но и ее землевладельческие средства. Организация торгово-промышленного класса проводила в жизнь те же тенденции по отношению к деятельным силам торгово-промышленной среды и торгово-промышленному капиталу.

По покорении Новгорода правительство Ивана III распространило на Новгородскую область свои порядки сбора торговых пошлин — тамги (с цены товара), мыта (с провоза), весчего, померного и т. п. — и обратило особое внимание на постановку областного провинциального торгова. Княжеская власть Великороссии боролась в своих фискальных целях с вольным волостным и сельским торгом — вразвоз и вразнос, который ускользал от наблюдения ее агентов и пошлинных платежей. Известны указы вел. кн. Ивана III о концентрации торговли приезжих купцов в городах и указных торговых пунктах с запретом торговать в разъезде по волостям и монастырям; такой мелкий торг разрешается только местным жителям, а мотив: торгуют беспошлинно. Правительственными указами устанавливаются пункты разрешенной ярмарочной торговли, под страхом конфискации всего товара за нарушение подобных предписаний. Новые торговые пункты возникают либо по правительственному почину, либо по ходатайству населения. Происходит иной раз перевод торгова из одного места в другое; разрешается открытие ярмарочной торговли в новом месте, но при условии, что оно отстоит достаточно далеко от соседнего старого торгова, чтобы не составлять ему серьезной конку-

ренции, которая вызвала бы недобор в обычных торговых пошлинах.

Эта регламентация внутренней торговли привела, в духе организационных приемов московской власти, и к принудительному переводу торгово-промышленных людей из одного города в другой. Сокрушая былую силу Новгорода, Иван III подверг выводу не только бояр, но и житейных людей и многих купцов новгородских. Трудно сомневаться, что у этой политической меры была и государственно-экономическая сторона. Торговая политика Ивана III по отношению к Новгороду имела в виду больше направление внешней торговли, чем воздействие на распорядки внутреннего торгового оборота. В союзе с Данией начал он вековую борьбу России за свободу Балтийского морского пути от шведского засилья и в то же время подавляет новгородскую ганзейскую торговлю, чтобы перетянуть западные торговые сношения к Москве. В постепенном росте централизации Великороссии видную роль играет с той поры последовательное сосредоточение в Москве решительными мерами правительства наиболее значительных и деятельных торгово-промышленных сил, товаров, иноземной торговли. В Москву переводятся по царским указам провинциальные торговые люди, которые выделялись «по городам» размерами торговых оборотов, промышленники разного промысла, ремесленники нужных государеву дворцу и столице ремесел, какие достигли особого развития в той или иной местности. Слагается, во второй половине XVI в., цельная система организации торгово-промышленного класса, аналогичная строю служилого люда. И этот класс должен всецело подчиниться требованиям «государева дела» во всей своей деятельности, во всем своем профессиональном быту. На верху этого класса стоит группа крупнейших торговцев-капиталистов, гости торговые, руководители оптовой торговли, внутренней, особенно иноземной. Это звание становится «чиновным», и государь жалует торгового человека «гостиным именем»; и такое пожалование вводило купца в ряды «гостей больших», которых честь охранялась, по царскому Судебнику, взысканием за бесчестье в десять раз большим, чем за оскорбление рядового посадского человека. Гости изъяты из связей круговой поруки по платежу черного посадского тягла, потому что они люди не тяглые, а именитые беломестцы. Наравне со служилыми людьми владеют они вотчинами,

а подсудны центральному великокняжескому суду, обычно — в лице боярина, ведающего государеву казну.

Эти гости торговые — главный финансовый штаб царя и великого князя. Они — ответственные руководители торговой финансовой службы по сбору торговых пошлин и продаже казенных товаров; им с целовальниками из второстепенного московского купечества и местных провинциальных купцов поручалось заведование таможенными и питейными-кружечными дворами «на вере», как и управление казенными соляными или рыбными и другими промыслами. «Верные» головы с целовальниками обязаны представить сумму годового дохода с вверенной им статьи, равную ожидаемой по примеру прошлых лет или вообще намеченной в приказе, а недобор пополнить из своих средств; при их несостоятельности — за них расплачивались избравшие их с актом «выбора за руками» торговые корпорации. Служба гостей, непосредственно известных московским властям, была более индивидуальной; другие группы торгово-промышленного класса отбывали ее по избранию или по очереди, за ответственностью всей коллегии. Наряду с заведением сборами разного рода и доходными статьями, на гостей и купцов возлагалась оценка казенных товаров, например соболиной казны и иного пушного товара, собранного в значительных количествах в виде ясака с инородческих племен русского северо-востока, а затем и Сибири, и возможно выгодная их распродажа. В товарищах и целовальниках по разным видам финансовой службы бывали торговые люди из гостиной и суконной сотен, сосредоточенных в Москве корпораций «лучших» торговых людей. Их состав пополнялся, по мере надобности, из состава зажиточных торговцев московских и провинциальных черных сотен, которые горько сетовали и жаловались, что правительство обессиливает их торговую и платежную силу систематическим изъятием наиболее экономически крепких и устойчивых элементов.

За вычетом этого, так сказать, гильдейского купечества, рядовая посадская масса организована в тяглые черные сотни; посадские общины тяглых людей также делились на статьи по «прожиткам», несли очередные посадские службы у себя на месте и на стороне, по посылкам в ближние города, тянули государево тягло по мирской раскладке и сближались по образу жизни и бытовому укладу с крестьянами черных государевых волостей,

особенно в мелких городских пунктах. На русском севере особенно крепка эта близость посада и волости; однороден по существу их экономический быт в занятиях земледелием и промыслами: «посадские люди и волостные добрые», а то и «все крестьяне, посадские люди» — одна общественная среда «уездных людей», которая и выступит цельным социальным элементом, когда тревожное время Смуты призовет ее к политическому действию.

Посадские люди вместе с крестьянами составили тяглое население Московского государства. Отделение тяглых платежей и повинностей от обязанности воинской службы определялось постепенно. Пережитки общей ратной повинности можно встретить еще в XVI и даже в начале XVII в., когда случалось по крайней нужде привлекать торговых людей к гарнизонной службе. С другой стороны, постепенно выработался переход от податных привилегий вотчинного землевладения к общему освобождению от тягла личного, дворового боярского хозяйства при сохранении тяглых обязанностей помещиковых и вотчинниковых крестьян. Служба и тягло стали государственным назначением двух основных разрядов населения — служилого и тяглового, государевых слуг и государевых сирот.

В старину, в XIV и начале XV в., сиротами назывались в грамотах той эпохи часть населения княжеских и монастырских вотчин, которые встречаются и в редких документах, касающихся светского частного землевладения, и отличается полусвободным состоянием от свободного крестьянства тех же вотчин. Исторические потомки древнерусских изгоев, которые жили под сильной вотчинной властью на княжеской и церковной земле, сироты эти не имеют права свободного перехода; они, а не так называемые старожилы, первые предки позднейшего крепостного крестьянства. В то время как грамоты, упоминая про переход крестьянина из одного владельческого имения в другое, употребляют выражения «вышел» и «приняли его», про сирот говорят: «выбежали» и «переимал» их новый владелец. В эпоху развития вотчинного государства термин «сироты» означает все тяглое население по отношению к великокняжеской власти — в соответствии с наименованием бывших вольных слуг государевыми холопами. Оба термина означали гражданскую неполноправность, послужили для осмысления нового

уклада зависимости населения от верховной власти государя царя и великого князя. Вотчинный характер государственного властвования нашел себе яркое выражение как в этой терминологии, так и в общем представлении, что вся земля в пределах великого княжения есть земля государя великого князя. Свободное отчуждение крестьянами их земельных участков касалось пашни, пожен, покосов, угодий на великокняжеской земле: «Продаю я, такой то, — писали в купчих, — тебе, такому то, землю государя князя великого, а покосы и пахоты наши». Это представление в связи с организацией государева тягла легло в основу положения крестьянского населения в Московском государстве.

Полная реализация вотчинной власти великого князя над крестьянскими волостными общинами предполагала бы организацию управления ими через агентов его власти, близких к населению, подобных «посельским» приказчикам дворцовых и вотчинниковых сел. Такой властью, по-видимому, предназначено было стать волостелям, которых великий князь назначает для заведования отдельными волостями, оставляя за наместником только высший уголовный суд — дела о душегубстве и междуволостные, «общие» дела. Великокняжеский волостель становится во главе волостного мира и властно вмешивается в его распоряжки. «Поговоря со старостой и со крестьяны», волостель распоряжается волостными угодьями, запустевшими участками и т. п., творит суд и расправу с участием крестьянского волостного мира и его выборных властей. Трудно, по недостатку данных, определить, насколько волостельское управление успело получить широкое применение во времена Ивана III; но несомненно, что оно не сыграло той роли, какая ему предназначалась, не стало исходным пунктом развития, так сказать, общегосударственного вотчинного управления. На это дело у московской власти не хватило организационных средств, да и личных сил, и середина XVI в. принесла крутой поворот в строе управления Московским государством: замену кормленщиков-наместников и волостей выборными земскими учреждениями.

Несравненно глубже, чем на порядках управления, отразился вотчинный характер государственного властвования на общем социально-правовом положении крестьянства. Отношение к нему правительственной власти всецело определяется интересами обеспечения служилого

землевладения и государева тягла. В этом отношении самодержавное вотчинное господство достаточно подготовлено политикой жалованных грамот, которая укоренила в сфере крестьянского волостного землевладения и землепользования преобладание властных великокняжеских распоряжений над силой народного обычного права. Раздача в вотчину крестьянских волостных пустошей, пожалование в вотчину целых волостей знатым пришельцам «за выезд» на службу к великому князю — обычные явления предыдущей эпохи — были лишь бледными предвестниками того разрушения волостного быта и волостного права, какое принесла с собой система поместных верстаний. При развитии служилого землевладения крестьянские волости шли в поместную раздачу по частям, гибли в поместном дроблении. Исчезала волостная организация, функции мира переходили к служилому землевладельцу, который получал право облагать крестьян сборами и повинностями в свою пользу, но обязан был собирать с них и государевы подати. Его власть становилась между крестьянами и государством, перед которым он отвечал за все правительственные интересы в сельском быту поместья. Про него официальные акты говорили, что он, а не помещицы и вотчинники крестьяне, «тянет во всякие государевы подати», ему же давались, по нужде, податные льготы. Владелец отвечал и за полицейский порядок в деревне, приобретая тем самым административно-судебную власть над ее населением; он же наследник волостного мира в хозяйственном управлении: его воля распределяет пустые участки, привлекает и сажает на землю новоприходцев, причем правительственная власть лишь запрещает ему «пустошить» поместье худым хозяйничаньем и разорением крестьян, под угрозой отписки поместной дачи на государя. В основном районе служилого землевладения — поместного и вотчинного — в южных и западных областях государства, где скоплялась боевая сила страны к боевым пограничным линиям, крестьянские волости вовсе вытеснены и разрушены служилым землевладением в течение XVI в. А после Смуты, когда потребность в восстановлении ратной силы стала крайне острой, а западная окраина была частью во вражеских руках, частью слишком разорена и под ударом новых опасностей, земельные раздачи охватили северо-восточные уезды Замосковского края; черные крестьянские волости почти вовсе исчезли из цент-

ральной части государства и сохранились только на Поморском севере.

Земельный фонд, предназначенный на испомещение служилого люда, далек был от обилия и избытка. Поместные «дачи» постоянно оказывались меньше «окладов», и сами помещики «приискивали», где взять то количество земли, которое «не дошло» в их оклад. В раздachu шли не только волостные земли и вотчинные, взятые на государя, но часто также дворцовые, которыми, однако, пользовались для этой цели с большей осторожностью и сдержкой. Земли было много, но «жилой», которая только и годилась в обеспечение служилого люда, оказывалось мало. На эксплуатации личной и земельной силы страны для «государева дела» глубоко отражалась слабая населенность Московской Руси.

Удержать при земле трудовую и платежную силу, иметь ее на крепком учете было постоянной заботой правительственной власти. Со времен «неминуей дани» татарскому хану князья принимали меры к охране основного источника платежной силы — тяглых людей и их земель — от расхищения княжеским дворцовым хозяйством, боярским и монастырским вотчинным землевладением. Навстречу этой тенденции шло стремление тяглых волостных общин сохранять полноту своего трудового и платежного состава, не отпускать на сторону своих сочленов, дворохозяев-старожильцев, кроме разве тех, кто ликвидирует свое хозяйство и свои отношения к волости путем передачи и того, и других новому «жильцу» в свое место. Только такой выход из общины признавался законным; тех, кто ушел, не поставив в свое место жильца и покинув участок «впусте», можно принудительно вернуть, как «выбежавшего» с нарушением общественной повинности. Это условное прикрепление лица к тяглу, а по тяглу к волости и к земельному хозяйству, естественно переходило, при острой недостаточности трудовой сельской силы, в безусловное закрепление за крестьянами (как и за посадскими людьми) их тяглового состояния, уже как сословного признака, что и завершилось в XVII столетии.

Систематическая организация государева тягла укрепила тяглые повинности и за населением частновладельческих вотчин и поместий. Но тут, в условиях землевладельческого хозяйства и управления, роль общинной власти переходила к владельцу, хотя бы он и сохранял

самодеятельность сельского общества по делам управления имением. К нему переходило, естественно, и приращение на сохранение старожильцев в состав своего поместья или вотчины, тем более что с этим были связаны как обеспечение его служебной годности, так и выполнение обязанности «не пустошить» поместья. Пополнение этого состава на место «выбылых» происходило, прежде всего, за счет вольного, неответственного по тяглу сельского населения — привлечением к поселению на свободных участках младших членов крестьянских семей и несамостоятельных по хозяйству сельских людей — «от отцов детей, от братьев братья, от дядь племянников, от соседей захребетников», но не старожильцев — «с тяглых черных мест крестьян». Эти последние могли перейти на новое жилье только без нарушения интересов волости и ее повинностей, высвободившись из круговой поруки путем замены себя другими лицами.

На владельческой земле положение тяглого населения осложнялось отношениями к владельцу. Такое поселение вводило новоприходца в сферу зависимости от вотчинной власти не только в хозяйственном, но, в большей или меньшей степени, и в судебно-административном отношении. Само хозяйственное положение владельческих крестьян неправильно освещается в нашей научной литературе, когда его пытаются подводить под понятие аренды. Жить у кого-либо в крестьянах не значит быть арендатором. Привлечение крестьян на владельческую землю было средством не простого извлечения дохода в виде арендной платы (деньгами или натурой — частью урожая, как при половничестве или так называемой пражге), а усиления рабочих сил имения или расширения его запашки; это прием деятельной организации владельцем его вотчинного или поместного хозяйства. Владелец наделяет крестьянина землей, дает ему избу и другие хозяйственные постройки, инвентарь, хлеб «на семена и емена» до первого урожая — словом, «помогу», которая окупается переходом участка из «пуста» в жилое, дает нередко и ссуду — в долг, который нарастает в свойственных старинному экономическому быту крупных процентах. Зато в его распоряжении рабочая сила, которая эксплуатируется и в форме уплаты оброка и разных мелких сборов, и в виде обязательных работ на господский двор и на хозяйской земле. Нет основания сводить эти отношения к арендным. Размер и состав повинностей оп-

ределялся местной обычной «старинной и пошлиной», которая в крупных благоустроенных монастырских вотчинах иногда формулировалась в целом владельческом «уложении» и во владельческих «уставных грамотах», а в рядовых вотчинах и поместьях держалась обычаем и реальными условиями экономического быта; лишенная иной санкции, кроме угрозы отпиской поместья на государя за «пустошение», она была, однако, явлением достаточно определенным и устойчивым, чтобы найти себе выражение в перечне писцовыми книгами обычных владельческих доходов и в упоминаниях грамотами на поместные дачи о сборе дохода «по старине». Новоприходцы сидели обычно ряд лет на льготе в государевых податях и владельческих сборах, а затем «тянули со старожильцами вместе», т. е. входили по «силе» в обычный строй отношений данного имения. Это окончательно вводило их в мирок владельческого имения как обособленной экономической и административной единицы. Постепенно нарастал ряд ограничительных условий для обратного выхода. Уклад сельскохозяйственных работ прикрепил бытовым обычаем отказ из крестьянства и отпуск крестьянина владельцем ко времени их закончания — к знаменитому Юрьеву дню осеннему, который в царском Судебнике 1550 г. узаконен и определен двумя неделями: до и после 26 ноября. Настойчиво добивались владельцы, чтобы законный выход был обусловлен не только сроком, но и полным расчетом. В расчет этот, по Судебнику, входило — пожилое — уплата по $\frac{1}{4}$ стоимости крестьянского двора за год житья и полной его стоимости за 4 года, затем повоз за извозную повинность, которая выполнялась по зимнему пути; иные «пошлины», которые, очевидно, вошли в жизнь на практике, Судебник отвергает. Сложнее был расчет при задолженности крестьянина из-за взятой «ссуды». Первоначально она не стояла в связи с крестьянством, как таковым, и уходящий мог ее «снести», оставаясь должником. Но недостаточная обеспеченность взыскания, особенно при обычном способе погашения ссуды работой, побудила владельцев добиваться такой расплаты до ухода; и притязания эти нашли признание власти. С конца XV в. утверждается общее правило, что, крестьянин-серебренник «коли серебро заплатит, тогда ему и отказ». Ушедшие не в срок и без отказа, соединенного с расчетом, рассматриваются как беглые и подлежат принудительному возвращению.

Все эти сложные условия и требования, какими оброс крестьянский переход, — черты умирания личной свободы крестьянина-тяглеца. Положение русского сельского хозяйства чрезвычайно обострено во второй половине XVI в., и переживаемый им кризис нарастает по мере развития колониационного движения на юг и восток. Обостряется до крайности борьба землевладельцев за рабочие руки. Крестьянский переход вырождается в «вывоз» крестьян одними владельцами» из-за других с уплатой этим последним всего, что причитается им по крестьянскому «отказу». Смена владельцев лишь усугубляет крестьянскую зависимость, и мировые сделки, какими иногда заканчивались столкновения владельцев из-за вывоза крестьян, становятся очень близкими к продаже людей без земли. Все громче раздаются жалобы на повальные побег, от которых грозит серьезное расстройство и государевой службе и государеву тяглу. Правительственная власть встревожена обилием тяжб о беглых, о насильственном вывозе «не в срок и без отказа» и т. п., пытается их ограничить установлением пятилетней давности для иска о возврате беглого, но эта мера, проведенная царско-боярским правительством, вызывает упорное недовольство служилой землевладельческой массы, которую она ослабляла в борьбе с крупными владельцами за рабочие руки. И дворянство будет упорно добиваться отмены этих «урочных лет», пока царская власть после уступок в виде продления срока давности не отменит ее вовсе в Уложении царя Алексея. В том же Уложении было выполнено и другое, еще более существенное, домогательство дворянства — установлено вечное закрепощение всего населения владельческого имения, а не одних тяглых дворохозяев, по переписным книгам, кто за кем в них записан. Эти уступки требованиям землевладельческого дворянства не только не противоречили интересам «государева дела», но вели к лучшему обеспечению ратной повинности; подлинный учет средств, наличных для ее несения, требовал, как не раз указывали челобитные служилых людей, сообразования ее размера с количеством не числа «четей» земли, а рабочих сил по числу крестьянских дворов в дворянском имении. Найдя в землевладельческом дворянстве свою главную опору после разгрома и упадка старого боярства, царская власть его интересам приносит в жертву интересы трудового сельского люда. С конца XVI в. ряд распоря-

жений верховной власти приостанавливает крестьянский переход и крестьянский «вывоз» в отдельных областях государства или по отношению к отдельным крупным единицам землевладения на «заповедные годы», то на указанный срок, то вообще впредь «до государева указа», который заменит «заповедные годы» — «выходными». Такое разрешение «выхода» было предоставлено Борисом Годуновым в виде «вывоза» определенным разрядам землевладельцев на два года, но после Смуты крестьянский выход во всех его формах исчез из русской жизни и живет только в крестьянских мечтах и толках о выходных годах, да в укоризнах царской власти, что «при прежних государях бывали выходы, а при нынешнем государе выходов нет».

Московское царство вполне подготовило то слияние крестьян с холопами, которое закончено в законодательстве Петра Великого в связи с его податной реформой. Крестьяне вотчин и поместий — «крепостные» люди, право на которых доказывается владельцами по «крепостным» документам разного рода — писцовым и переписным книгам, купчим и духовным грамотам. Не к земле прикреплен крестьянин, а к личности владельца, не земельная, а личная зависимость составляет существо его положения. Уложение царя Алексея рассматривает крепостных крестьян как живую собственность владельца, когда допускает их личную ответственность за него, подвергая их «правежу» по взысканиям с их господина, или выдачу одним владельцем другому взамен беглых крестьян иных «таких же» из населения его имения. И волостные крестьяне, государевы сироты, бесправные перед державной властью, будут по следам Московской Руси признаны в императорский период крепостными государства, с которых идет в казну сверх общего податного тягла особый оброк, подобный тому, что владельческие крестьяне платят своим господам, а в XIX в. попадут в заведование министерства «государственных имуществ». Московское самодержавие коренилось в глубоко закрепощении всех разрядов населения.

Х

Политическое здание Московского царства строилось на самодержавном властвовании над всеми силами

и средствами страны. Осуществление подобного властвования требовало постоянного и весьма интенсивного напряжения организующей и правящей деятельности центрального правительства.

Вотчинному самодержавию всего более подходило бы вотчинное управление. Но волостели Московской Руси не стали зерном развития бюрократии слуг московского государя. Размеры территории и разбросанность населения при слабо развитых внутренних связях и сношениях делали задачу создания прочной административной сети — прямых орудий центральной власти — непосильной для Московского царства. Волостели остались такими же кормленщиками, какими были наместники, элементом той же боярской системы управления, которая тяготила центральную власть своей дороговизной и притязательностью, тягостью для населения и слабой деятельностью, бесплодной для пользы «государева дела» и для элементарных нужд охраны порядка и безопасности в местной жизни. Преодолеть всю эту устарелую форму управления местными делами стало очередной задачей Московского государства, как только оно сложилось к началу XVI в. Во второй четверти этого столетия правительство вступает на путь реформы местного управления. Оно идет навстречу челобитьям местных уездных обществ, их жалобам на крайнее развитие грабежей и разбоев, на бездеятельность власти, на большие убытки и малую пользу от присылаемых из Москвы специальных сыщиков и обыщиков, и решается возложить местные задачи государственного управления на ответственную самодеятельность общественных организаций. В 30-х гг. XVI в. центральная власть, сохраняя за крестьянскими волостными мирами и городскими посадскими общинами их прежнее значение, передает уездным всеобщим обществам «губное» дело охраны общественной безопасности, полицейскую власть и уголовный суд. В 50-х гг. идет отмена кормлений с передачей всех функций наместничьего и волостельского управления выборным от местных тяглых общин. Так были использованы для зарождавшегося на новых основаниях государственного управления исконные навыки земской самодеятельности по сбору тягла, защите общественного порядка и безопасности и отправлению правосудия. На губных старост и целовальников возложена обязанность борьбы с «лихими людьми», их розыска, преследования, суда над ними

и расправы под строгой ответственностью и контролем московского Разбойного приказа. На земских старост, излюбленных голов и земских судеек — ответственное заведование тяглом и всеми повинностями населения и суд по гражданским делам среди местных людей. При том царская власть рассматривала эту земскую реформу как льготу для населения, избавляемого от кормленщиков, и возложило на него за такое пожалование особый «окуп» в виде уплаты «оброка за наместничь корм». Однако, по существу, подобная организация местного управления была более ответственной повинностью, чем льготой. В основе земских учреждений XVI в. лежал тот же принцип круговой поруки, принудительного «выбора за руками» для отбывания государственной повинности и даровой службы «государеву делу», на котором построена затем финансовая служба столичного купечества и провинциального торгового люда.

Широкая организация общественной службы во всех отраслях государственного управления давала возможность обходиться весьма упрощенной административной системой, приспособленной для эксплуатации на государственные нужды личных и экономических сил страны, хотя и непригодной для более сложных и творческих задач центральной власти. Эта власть могла, при таких условиях, держать постоянных агентов лишь в некоторых пунктах для специальных целей — воевод в пограничных городах, городовых приказчиков в крепостях и т. п., обходясь в остальном работой общественных групп и их выборных или временными посылками московских служилых людей для срочных поручений. Элементарный уклад народнохозяйственного быта и слабое развитие внутренних культурно-экономических связей между отдельными областями Великороссии суживали задачи и ослабляли интенсивность управления ее бытовой жизнью. Московский центр искал лишь таких форм этого управления, которое могли бы обеспечить, с наименьшей затратой его сил и его средств, исправное отбывание службы и тягла. Стягивая к себе все более значительные элементы землевладения и торгово-промышленного капитала, этот центр выработал из социальных групп, которые имели руководящее значение в сфере основных экономических сил страны, орудия своего властвования над ними и остальное «государево дело» (в более широком смысле слова) мог переложить на

ответственную самостоятельность местных общественных организаций.

Так получился весьма напряженный социально-политический строй Московского государства: весь строй земских сил определен задачами служения «государеву делу». А над ним выросла организующая, руководящая и контролирующая всю государственную работу система центральных учреждений — боярской думы и приказов.

Разногласие наших ученых (Сергеевич против Ключевского) по вопросу о том, была ли боярская дума «учреждением» в том строгом значении, какое это понятие получило в юридически оформленном бюрократическом строе управления, имеет свой глубокий смысл, как имело его и парадоксальное утверждение Сергеевича, будто указание в царском Судебнике нормального порядка издания новых узаконений по всех бояр приговору было попыткой законом ограничить царское самодержавие. Самодержавная власть стремилась превратить думу в высшее «приказное» учреждение, личный состав которого и вся деятельность целиком зависели бы от ее воли. При сохранении за боярской думой, в силу окрепших местнических традиций, аристократического характера, а за боярской средой самостоятельного общественно-политического влияния, это учреждение плохо укладывалось в рамки хоть и высшего, но исполнительного и совещательного органа приказного управления. Только разгром боярских традиций и боярской силы в суровые годы Грозного и в Смутное время осуществил перерождение старой боярской думы в учреждение, которое стало и политически и социально бесцветным орудием царской власти. Собрание «бояр всех» теряет в XVII в. реальное значение, вырождаясь в церемониальный момент торжественных выступлений царской власти; подлинная государственная работа сосредоточивается либо в заседаниях ближних, комнатных бояр государева «верха», либо в деятельности отдельных боярских комиссий и административных заседаний «Расправной палаты» как органов приказного дела. Такое перерождение боярской думы стало возможным и неизбежным при окончательном торжестве приказного бюрократического строя всего управления в Московском государстве.

Преобладание и быстрое развитие приказного начала в московской государственной жизни было главным

политическим результатом великого кризиса, пережитого в начале XVII в. Условия, которые привели к этому кризису, коренились глубоко в строе народной и государственной жизни Московской Руси. Замкнутая в себе внешними давлениями татарской и литовской силы, Великороссия внутренне окрепла и сплотилась под властью Москвы. Ее силы, подобранные и скованные в национальное государство под самодержавной властью в борьбе за существование, перешли с роковой неизбежностью, обусловленной общими политико-географическими отношениями, от организации самообороны в наступление и сломали преграды для нового подъема колониационного движения в южном и восточном направлениях. Борьба за торговые и колониационные пути выводит Великороссию в ряде быстрых успехов далеко за ее этнографические пределы. Завоевание Поволжья и движение в бассейн Дона, в бассейн Днепра через Северскую Украину, а через Новгородскую область к Балтийскому морю ставит исторически молодое Великорусское государство перед вековой исторической проблемой организации политической жизни в сложном и неустойчивом хаосе отношений великой Восточно-Европейской равнины. Великороссия вступает на пути созидания Великой России. Ее только что собранные и элементарно организованные силы раскидываются вширь ценой глубокого надрыва для экономического, социального и государственного равновесия центральных великорусских областей. Колонизация новых пространств, открывшихся для народнохозяйственной трудовой эксплуатации земледельческих и промысловых природных богатств, тяга по стародавним переселенческим и торговым путям всколыхнула население Великороссии и увлекла его на новое рассеяние. Вторая половина XVI в. — время внешней силы Московского государства и нарастающего кризиса его народнохозяйственной базы. В основе тех глубоких противоречий, какие раскрыты кризисом Смуты в социальном и политическом строе Московского государства, лежало одно, глубочайшее, экономическое противоречие — несоответствие наличных окрепших и организованных сил страны неустрашимым запросам ее исторических судеб. Тревожными, жуткими предчувствиями полна письменность Московской Руси времен Ивана Грозного. Чувствуется, что почва колеблется под зданием Великорусского государства, колеблется его сила и уходит, рас-

текаясь в открытых пространствах Восточно-Европейской равнины. Судорожные, грозные приемы властвования царя Ивана Васильевича, когда он «всю землю яко секирою на полы разсече» — на опричнину и земщину, созданы отражением в его взбудораженной натуре ощущения стихийного процесса, в котором нарастало противоречие внешней мощи самодержавного царства и коренного надрыва его внутренней организованной силы. Экономический кризис обострил до крайности противоречия социальных интересов, разразившиеся в Смуте годами напряженной борьбы между отдельными социальными группами. Назревший кризис развернулся в «великую разруху Московского государства», как только — с концом династии «прирожденных» государей — пошатнулась внешняя форма традиционного политического строя. Прекращение династии — грозная катастрофа для государства, построенного на началах вотчинной монархии. Оно подвергло тяжкому испытанию московское политическое здание в самых ее основах. Какие политические силы удержат единство государственной организации и поддержат ее внутренние связи без твердой опоры в том центре, который ее создал? Царская власть усилилась до полного самодержавия, уничтожая самостоятельное государственное значение и церкви и боярства. Она создала иные орудия своего правления в сильно централизованной организации служилого и тяглого классов. Носителями всей системы «государева дела» стали корпорации военно-служилого землевладельческого люда и торгово-промышленного класса. Роль высшей иерархии «государевых богомольцев» и бояр, царских советников, сузилась до значения «царского синклита», стянутого к государеву «верху». Это — советники царской власти, без самостоятельного земского политического значения. Не у них ищет царь Иван Грозный выяснения общего учета сил страны и опоры в трудном решении, вести ли дальше борьбу за свободный доступ к Балтийскому морю и за западнорусские земли при переходе Ливонской войны в более опасную войну с польско-литовской Речью Посполитой, а у «совета всех чинов Московского государства» — у земского собора.

Этот новый тип государственного совещания явился естественным результатом коренной перестройки организованных общественных сил Московского государства. Прежние собрания «всех бояр», деятелей боярской ду-

мы и областного управления, вместе с «освященным собором» духовенства, даже расширенные призывом более широкого круга государевых служилых людей, уже не обеспечивали, особенно после отмены кормлений, достаточной осведомленности в подлинном положении страны и не выражали мнения всей среды, на деятельность которой опиралось царское управление. Подобно тем собраниям, и земские соборы XVI в. были, по выражению В. О. Ключевского, совещаниями правительства с агентами его власти. Но строй органов этого властвования был иной, иным стал и состав совещания: призываются приказные люди, служилые люди разных разрядов, группы лиц из торгово-промышленных организаций. Созыв всех «чинов» Московского государства вместе с боярской думой и освященным собором и образует то, что мы называем земским собором. В самом исходе XVI в., когда прервалось существование старой династии московских государей, такому собору пришлось сыграть роль основной политической силы государства в избрании на осиротевший царский престол Бориса Годунова. В смутные годы «великой разрухи Московского государства» в напряженном искании пути к восстановлению законной государственной власти крепнет сознание, что только в «совете всей земли», в земском соборе, — источник силы, которая может разрешить такую задачу. Организованные общественные группы — боярство и духовенство, служилый и тяглый классы, объединенные в лице своих представителей на земском соборе, воплощают государственную власть в учредительном собрании, которое создало временное правительство «бояр, князя Дмитрия Пожарского с товарищами», а затем избрало на престол родоначальника новой царской династии — Михаила Романова. Но это был собор иного, по существу, состава, чем прежние соборы XVI в. Формальное различие было невелико с точки зрения людей той эпохи. Избрание так широко применялось при определении лиц на разные должности и службы, что применение выборного начала к лицам, предназначенным для участия в «совете всей земли», едва ли проводило скольконибудь резкую разницу между их значением и теми агентами правительственной власти, какие созывались на соборы XVI в. Избрание представителя на земский собор производилось в XVII в. так же, как «выборы за руками» на должности по губным и земским учреждениям, и та-

кие выборные становились рядом с призванными на собор московскими служилыми людьми, которые могли быть созваны для обсуждения спешного дела и без формальных выборов. Однако, по существу, эти представители, являясь на собор по поручению своих избирателей с челобитными, где излагались пожелания и требования данной общественной среды, и настойчивым стремлением провести их в жизнь, были новым и значительным явлением московской жизни — народными, вернее — сословными ее представителями. Земские соборы Московской Руси не раз сравнивали с западноевропейскими сословными представительными собраниями. В их общей структуре и в той роли, какую они призваны были сыграть при переломе хода политической жизни страны, действительно, много сходного. Это явления одного исторического типа. Но в степени развития, какого этот тип достиг в разных странах Западной Европы и у нас на Руси, — глубокие и значительные отличия. Московская Русь по-своему и в иных условиях пережила тот момент исторической жизни, который обычно характеризуется по отношению к Западной Европе термином «сословная монархия». Основное отличие может быть определено тем, что в странах Западной Европы возникновение сословных представительных собраний было необходимым и крупнейшим фактором самого собирания власти из ее феодального дробления и рассеяния; на Руси земские соборы явились фактором организации государственного дела в единодержавной и самодержавной монархии, закончившей собирание власти полной победой над удельно-вотчинным ее дроблением. Организованные общественные группы, призванные верховной властью к участию в обсуждении и решении государственных дел, не были, как на Западе, носителями элементов политической власти, а воплощали в своем строе начало ответственных служб и повинностей по «государеву делу». Однако самое обращение царской власти в трудный момент государственной жизни к совету всех чинов Московского государства было попыткой найти в общественных силах страны опору и поддержку, выходящие за пределы безусловного повиновения государевых холопов и сирот. На соборах XVI в. руководящие общественные группы призваны к сознательному гражданскому участию в государственной работе. Кризис правительственной власти — основной политический мотив Смуты — призвал

их к властным избирательным и учредительным действиям. «Всего мира безумное молчание» — тот морально-общественный грех, который, по мнению вдумчивого книжника-современника, навлек на Русскую землю Божию кару великой разрухи, должен был быть искуплен энергичным действием земского мира на спасение родины и разрушенного государственного порядка. В сложившийся уклад социально-политических отношений вливается новое содержание — общественное, гражданское и сословное. «Государево дело» приходится понять глубже и свободнее, как «дело земское», которое имеет свою высокую ценность, независимо от целей и интересов вотчинной державной власти. Общественные силы, которые доведены до этого сознания тяжкими испытаниями «великой московской трагедии», как прозвали Смуту поляки, пробуждены в самодеятельности и самосознанию. Это силы, сорганизованные старой властью и дисциплинированные в отбывании службы и тягла. Сплоченные в уездных и посадских ячейках, они выросли, благодаря централизованной системе организации и управления служилым землевладением и торгово-промышленным бытом, из тесных рамок местных областных интересов. «Великая разруха» заставила их остро пережить ценность государственного единства для землевладельческой и торгово-промышленной жизни. И они поднялись на восстановление государства из развалин Смуты.

Однако тяжело жилось служилым и тяглым людям под высокой рукой царя и великого князя в годы царя Ивана. Не одни бояре страдали от властного произвола. На них только резче и мучительнее отражались безудержные вспышки царского гнева, унижительные выверты царской подозрительности и жестокие судороги взбаламученного царского духа. Личному произволу царя они противопоставили требование гарантии личных и имущественных прав соблюдением правильных форм великокняжеского суда в судебных заседаниях боярской думы и протест против небрежения обычными порядками верховного управления выработки царских постановлений в «боярских приговорах». Эти основные начала традиционной законности шли, по существу, много дальше отрицания практики опал и случайностей вотчинного усмотрения. Принятые последовательно и до конца, они заключали в себе отрицание бесправного положения государевых холопов и государевых сирот перед вотчинной

самодержавной властью и ее полномочными органами. В крестоцеловальной записи, взятой с царя Василия Шуйского, бояре придали своему стремлению к гарантии от произвола царской карающей власти общий характер: царь Василий целует крест всем православным христианам, что будет судить их истинным, праведным судом, никаким недругам их не по правде не выдаст и будет их оберегать от всякого насилия. Брожение общественной мысли в бурные годы Смуты расширило и углубило этот протест против необеспеченности всех личных и имущественных прав при вотчинном строе власти и управления. Средние общественные слои — служилые и посадские люди — поднялись на защиту государственного порядка не только от разрухи его вражеской силой иноземцев и своих смутьянов; они ищут такого восстановления этого порядка, который обеспечил бы население от злоупотреблений властей и насилия «сильных людей», утвердил бы всемерно законность в деле суда и управления важнейшими государственными и общественными интересами. Восстановление правительственной работы тесно сплетается с потребностью ее упорядочения. Эти искания поднимаются, при благоприятных условиях, до прямой постановки основного политического вопроса — о безграничных, самодовлеющих полномочиях верховной власти. Договор об избрании на царство королевича Владислава устанавливает ограничение единоличной власти царя боярской думой, боярским судом и «советом всей земли»; организация временного правительства над «всей землей» в подмосковном ополчении 1611 г., как и во втором нижегородском ополчении, выдвигает значение «земских приговоров» как основного источника всяких полномочий и правотворческих действий. Но такая постановка политической проблемы обусловлена исключительными обстоятельствами «безгосударного» времени, решением призвать на престол иноземного и иноверного кандидата, необходимостью вручить ополченским вождям высшие полномочия правления земским государственным делом. Она не окрепла в новую политическую доктрину, построенную на идее народовластия, а создана тревогой за судьбу насущных интересов при данных чрезвычайных обстоятельствах. Основные тенденции общественной массы, глубоко консервативной по всему укладу своих воззрений, шли по инному руслу — к восстановлению традиционного полн-

тического строя, к воссозданию династии «прирожденных государей» как привычной центральной силы государственного порядка. Много было затрачено историками усилий на разрешение в положительном смысле пресловутого вопроса о попытке формально ограничить власть новоизбранного царя Михаила, и вопрос этот до сих пор считается спорным. И это понятно, хотя бесплодны такие усилия. Понятно потому, что рядом с вопросом о мнимом ограничении царской власти в начале XVII в. стоят более содержательные и исторически значительные наблюдения над общественными настроениями эпохи, измученной потрясением всех основ гражданского быта. Жажда прочного успокоения страны и устроения ее быта, который был бы, наконец, поставлен «на мере, навеки непорушимо», создавала новые, более сознательные представления о государственном управлении, которое уже не только «государево дело», а «дело земское и Божие». Все настойчивее выдвигается самою жизнью задача устроения страны, а не только эксплуатация ее сил и средств на нужды «государева дела». Эволюция самого понимания задач государственной власти, характерная для XVII в., та эволюция, которая привела в конечном итоге к смене вотчинной монархии полицейским государством с его системой «просвещенной» опеки над всеми сторонами народной жизни во имя «общего блага», вырастала постепенно из крайне тяжелых условий московской государственной и общественной жизни. Служилые землевладельцы и тяглые посадские торговцы добиваются закрепления за собой добытых устоев своего социального положения, обеспечения своих классовых интересов как приобретенных прав. Не участие в верховной власти их манит, а утверждение сложившегося социального строя как правового, сословного. Их стремления направлены, прежде всего, на то, чтобы отстоять свои интересы от конкурирующих интересов общественных верхов — посителей крупного землевладения — и низов — крестьянской массы, закрепляя за собой перевес социальной силы, но также от произвола правящей власти. Они требуют определения своей сословности, ее признания и обеспечения. А в дальнейшем они не проявят большой политической настойчивости. Испытанная опора московского самодержавия, с ним выросшая, им и организованная, средние классы держат в руках основной народнохозяйственный капитал, и их

интересы совпадают, по существу, с интересами государственной власти, которая расширяет в течение XVII в. свои заботы о дворянском землевладении и развитии торгово-промышленной жизни, а «общее благо» рассматривает под углом зрения их процветания. Политическая слабость сословного движения зависит, кроме того, от общего уклада тогдашней русской социально-экономической жизни. Незначительное развитие городской жизни и торгово-промышленного оборота не давало опоры росту требовательности торгово-промышленного класса, который на Руси не дорос до экономической и культурной силы «третьего сословия»; на первом месте в русском сословном движении — землевладельческое дворянство, которое сохранило все социальные и психические черты «служилого» класса. Сословные требования дворянства направлены на требование полного закрепощения крестьян с отменой «урочных лет» для сыска беглых и устранением свободы «выхода» для всего населения владельческой деревни, не одних только старожильцев-дворохозяев, более равномерного распределения служебной тяготы, соответственно количеству рабочей силы каждого имения, и служебного возвышения по заслугам вне зависимости от местнических привилегий боярства. Торгово-промышленный класс добивается устранения конкуренции других разрядов населения в торговом деле, реформы обложения, покровительственной политики против привилегий иностранного купечества. И оба сословия сходятся в настояниях на упорядочении судебного дела, чтобы суд стал ближе к населению и давал лучшие гарантии, особенно в делах против «сильных людей», быют челом о возврате к тем временам, когда в суде участвовали представители местного земского населения. Сходились они и в протестах против привилегированного положения — особенно в государственных повинностях и подсудности — духовной и светской аристократии. И шаг за шагом они добиваются осуществления своих основных пожеланий. Только общественно-политический элемент этих пожеланий встретил решительный отпор. «Холопы государевы и сироты великим государям никогда не указывали», — отвечает царская власть на челобитья, которые, в ее представлении, выходят за пределы материальных сословных нужд; отвергает она мысль о восстановлении значения земского элемента в провинциальном суде и управлении, утверждая, будто

«того никогда не бывало, чтобы мужики с боярами, окольничими и воеводами у расправных дел были, и впредь того не будет»; сурово отвергает царская власть тягу сословных представителей к законодательной инициативе на земском соборе, отзываясь с крайним пренебрежением о «шуме», какой поднимают избиратели из-за того, что их делегаты не добились выполнения «разных их прихотей в Уложении».

Сословные пожелания доходили до правительства в изобилии путем челобитных от разных сословных групп на земских соборах и помимо них. Правительство само их вызывало, призывая на земские соборы выборных, «которые умели бы рассказать обиды и насильства и разорения», и обещая, что обсудит с ними «всякие нужды и тесноты» населения и будет «о Московском государстве промыслять, чтобы во всем поправить, как лучше». Но выполняло оно из этих пожеланий лишь то, что было полезно и нужно для интересов «государева и земского дела», а выборных людей держало в положении полезных сведущих людей да покорных челобитчиков. Земские соборы так и не вошли органическим элементом в политический строй Московского государства. Лишь в первые годы царя Михаила они — существенная опора еще неокрепшего правительственного авторитета, а затем сходят на роль голоса «всей земли», сословных ее элементов, к которому правительственная власть прислушивается деловито, но с возрастающим недовольством. Слишком громко звучит для ее слуха критика приказного управления и деятельности правящих верхов на соборах 40-х гг. XVII в. Эта критика вызывает острую тревогу в связи с народными волнениями, которых основной мотив — недовольство засильем приказной бюрократии и тяжким закрепощением всех общественных интересов государственной силой. Попытка отдать дело о псковском бунте в 1650 г. на суждение земского собора дала настолько неудовлетворительные результаты, что власти приняли меры для усиленного наблюдения за «воровскими» речами, какие раздались в самой столице. Правительство спешит свести на нет практику совещаний со «всей землей». Земские соборы 50-х гг. — по вопросу о борьбе за Малороссию — только внешняя форма, без подлинного живого содержания: опрошенные «починам — порознь» члены собора только повторяют готовое решение царя и его боярской думы. И когда мос-

ковские торговые люди разных статей выступили в 60-х гг. с заявлением — по поводу запроса о средствах выйти из тяжелого финансового кризиса, созданного неудачной денежной политикой правительства, — что они не могут высказываться по столь важному вопросу, потому что это дело «всего государства, всех городов и всех чинов», правительство предпочло идти на решительное признание государственного банкротства, но не созывать земского собора.

Весь этот недолгий период деятельности земских соборов был временем усиленного строения приказной бюрократической системы управления. Земские соборы остались лишь чрезвычайным приемом управления при разрешении особо трудных и тревожных задач. Общие условия государственной жизни не были благоприятны какой-либо перестройке внутренних политических отношений. После Смуты Московское государство затрачивает огромные усилия на восстановление разбитой в разрухе организации своего социально-политического строя. А внешние его судьбы лишь обострили напряженность этого строя и острую потребность усиленного подчинения всех сил и средств страны все разрастающимся потребностям государства. В первые десятилетия новой династии Московскому государству удалось — и то ценой больших усилий — укрепиться на тех территориальных пределах, какие определились после потерь Смутного времени. Это время восстановления и сосредоточения национальной силы накануне нового периода ее наступательных движений. Постепенно возрождаются старые тенденции этих движений — в тяге к Балтийскому морю, в Днепровский бассейн, на юг — к Черному морю, разрастается колонизационное движение в Поволжье и на восток — в Приуралье, в глубь Сибири. Нарастает и развивается в течение XVII в. глубокий переворот международного положения Московского государства, который изменил в корень и внутренний смысл его политической работы. В борьбе за Малороссию Великоорусское государство вышло на тот путь, который привел его к перерождению в государство Всероссийское, к смене Московского царства — Российской империей. Непомерное расширение территориальной базы, на которой строилась московская государственность, получило особый культурно-исторический смысл по связи с чрезвычайным осложнением этнографического состава населения госу-

дарственной территории. Московское царство, выросшее на великорусской основе, теряет этот свой исконный областной национальный характер. До крайней степени увеличены всем этим историческим процессом организационные задачи правительственной власти и потребность в огромной затрате средств на удовлетворение текущих военных и мирных нужд государства. Закрепощение всех разрядов населения по службе и тяглу достигает в XVII в. лишь большей определенности и законченности, сопровождаясь более строгом разграничением между отдельными сословными группами. Общественный строй Московской Руси представлялся людям XVII в. в виде стройной системы «неподвижного вовеки крепостного устава», которым все государевы люди распределены на четыре «великих чина»: духовный, служилый, торговый и земледельческий, строго разграниченные в государственных повинностях, с одной стороны, в специальных сословных правах и формах деятельности — с другой. Правда, что такая идеальная схема плохо соответствовала действительности. Населению Московского государства мудро было дойти до строгой кристаллизации в замкнутых сословных формах. Колонизационное движение и рост государственной территории, элементарность экономического быта и условия торгово-промышленной жизни задерживали и нарушали отчетливую дифференциацию общественных классов, поддержать и закрепить которую стремилась правительственная власть.

Усилия этой власти «поставить на мере» службу и тягло, подчинив их распорядку всю социальную структуру страны, вели развитие государственного управления к усилению бюрократической централизации и приказной власти в местном управлении. XVII в. — время полного расцвета самодержавной власти и приказной организации ее правительственных органов. Расстройство сил и средств страны после Смуты, их крайняя недостаточность, при крупном и быстром росте требований государства, ставили еще напряженнее, чем в XVI в., задачу создания такого управления, которое сосредоточило бы в руках центральной власти полный их учет и полную возможность управления ими. Тенденция к усилению административной власти и ее большей централизации воплотилась в росте центральных приказных учреждений. Усиленная работа по восстановлению служилого и землевладельческого строя, государственного

и народного хозяйства переходит постепенно в ряд попыток разрешить более сложные задачи по развитию новых форм военного дела, торговли и промышленности, по усвоению западноевропейской техники этих отраслей народно-государственной жизни, по более творческому руководству экономическим и культурным бытом страны. Расширяя размеры своего правительственного почина, царская власть создает новые и новые приказные учреждения; растет их количество, растет и их сила в ходе государственной и общественной жизни. Верховная власть времен патриарха Филарета и царя Алексея испытывает даже тревогу перед этой самостоятельной правительственной силой приказных учреждений, деятельность которых вызывает недовольство населения и поддается лишь весьма относительному руководству и контролю державного «верха». Роль личной царской власти в делах правления отступает на второй план, и эта власть характерно противопоставлена в сознании ее носителей и народной массы самодовлеющему строю приказной бюрократии. Она пытается бороться с таким явлением, организуя особополномочные учреждения из доверенных лиц для борьбы с злоупотреблениями и вообще с теми приказными навыками, о которых царь Алексей отзывался с большим раздражением, как о «злостных московских обычаях» и «московской волоките». Эти органы верховного контроля — приказы, «что на сильных людей бьют челом», принимали характер чрезвычайных ревизионных и следственных учреждений — еудных приказов, но мало давали прочных результатов. Царь Алексей Михайлович, отстаивая свое возможно деятельное личное участие в делах управления, создал себе особый ближний орган царской деятельности, вне и поверх обычной системы приказных учреждений — в виде Приказа великого государя тайных дел, куда переходили на рассмотрение и вершение, наблюдение и постановку по-новому разнообразные дела, особенно близко интересовавшие царя по тем или иным личным или принципиальным соображениям.

Московское царство принимало строй бюрократически организованной монархии. И та же бюрократизация управления охватывает и местные органы правительственной власти. С первых лет после Смуты центральная власть стремится поставить свои местные органы ближе к заведованию делом государственного управления в об-

лостях, и, несмотря на то значение, какое приобрели местные самоуправляющиеся миры в эпоху восстановления государственного порядка из пережитой разрухи, ищет опоры не в них, а в усилении приказного областного управления. Готовая форма для этого была создана в боевых и тревожных обстоятельствах Смутного времени. Ею оказалась должность воеводы, которая в прежнее время существовала лишь на окраинах, где постоянная опасность пограничных отношений и скопление беспокойного населения—выходцев и беглых из центральных областей—требовали особой бдительности. Воеводы соединяли в своих руках военную власть, финансовое и полицейское управление с судом и расправой по отношению ко всему населению уезда. Условия Смутного времени вызвали назначение воевод со столь же широкими полномочиями в города и уезды Московского центра; во время земского движения они нередко являлись для него готовыми руководителями. Правительство новой династии сохранило это значение воеводской должности и сделало ее повсеместным учреждением; этим удовлетворялась потребность усилить правительственное воздействие на ход местной жизни.

Воевода — не самостоятельный наместник, а орган приказного управления, исполнитель подробных наказов и многочисленных отдельных предписаний, присылаемых ему из Москвы. Он и не кормленщик, казенные доходы ведает не на себя, а целиком на государя, не получает и кормов от населения. На деле эта весьма рудиментарно построенная местная власть стала почти бесконтрольной распорядительницей судеб местного населения. Неосведомленность центральной власти, общее расстройство порядка, усложнение задач управления по мере роста государственной территории — заставляли предоставлять воеводам, при всем желании всячески регламентировать их деятельность, весьма широкие и мало определенные полномочия, предписывая им принимать нужные меры, без сношения с правительственным центром, «смотря по тамошнему делу», как окажется «пригоже». А скудость правительственных средств и организационных навыков оставляла воевод на иждивении местного населения: они и весь их штат кормились «от дел», получая «добровольные» приношения, что не встречало осуждения ни в правительстве, ни в общественных нравах. «Злохитренные обычаи» приказного строя одинаково отравляли и цент-

ральное и областное управление, как черта культурной и материальной бедности Московской Руси.

С такими элементарными формами государственного устройства стояло Московское царство перед задачами огромной сложности, какие созданы общими условиями его внешней, международной и внутренней, национальной жизни в XVII в.

XI

В 60-х гг. XVII в. Московское царство подверглось тщательному изучению приезжего человека — хорвата, католического патера Юрия Крижанича. Первый панславист, Крижанич мечтал о могущественной Московии как будущей освободительнице славян от иноземного ига; мечтал об объединении славян на почве их национально-политических интересов и единой культурной жизни, славянской и католической. Необходимой предпосылкой для осуществления этих мечтаний было государственное, экономическое и культурное процветание Московского государства. Московская действительность жестоко разочаровала Крижанича. Всматриваясь в нее, Крижанич убедился, что самодержавная власть — единственная на Руси активная и творческая сила. Свободная от раздела верховной власти «на многия части», она может рационально руководить народной жизнью, стать выше розни сословных интересов, разумно регулировать социальные отношения, установить полезные и справедливые законы, правильный суд и закономерное управление, развить торговлю и промышленность, насадить жизненно полезное просвещение. Все это, однако, задачи будущего. Перед нами в лице Крижанича проповедник просвещенного абсолютизма, который полон веры в творческие силы и способности державной власти и человеческого разума и глядит с бодрой надеждой на грядущее, вопреки тягостным впечатлениям окружающей его действительности. А действительность эта нашла в Крижаниче строгого и наблюдательного судью. Самодержавная власть, которую он высоко ценит, является ему на Руси в искаженном, извращенном состоянии. Она выродилась в «крутое владение» и «тиранское царство», которое управляет по худым законам, жестоко и в то же время слабосильно, разоряет страну ошибочной финансовой системой, развращает народ винной монополией, принижает его произволом.

Московская администрация развращена, с одной стороны, попустительством власти, слишком снисходительной к приказным злоупотреблениям, а с другой—нищенским содержанием, которое заставляет кормиться от дел, и еще более самой постановкой задач управления, в котором на первом месте казенный интерес, извлечение из народа лишнего «прибытка», а не забота о благосостоянии страны. Развращен и народ всем этим укладом государственной жизни, живет в бедности и невежестве, ничего не делает по совести, а лишь ради «страха казни», приучен к обману и лени. Все эти грехи и беды русской жизни Крижанич объясняет исторически тем, что начало «крутому владению» и «людодерству» положил Иван Грозный, не только в силу личного своего нрава, но и потому, что занят был войнами и внешней борьбой, а затем налетели смуты междоусобицы, которые вконец разорили государство, так что и новой династии пришлось, прежде всего, восстанавливать и укреплять его внешним образом; и только по выполнении этого дела стала на очередь реформа всего государственного быта путем новой законодательной работы. Типичный рационалист, Крижанич, с другой стороны, объясняет те же особенности русской жизни «злыми законами» и от разумного законодательства ожидает исправления всех недостатков государственного быта и пороков народной жизни. От «крутого владения» происходит, по его суждению, и малая населенность Руси, и слабое развитие ее производительных сил, и низкий уровень ее культуры. Причину Крижанич берет за следствие и хочет, в духе мирозерцания своего времени, мести лестницу снизу, а строить ее сверху. Но в то же время он был прав в понимании очередных задач правительственной власти, и его проекты всесторонней реформы шли навстречу основным тенденциям московской государственной жизни.

Московское царство выросло на великорусской почве, но с середины XVI в. вышло за ее пределы на широкие пространства великой Восточно-Европейской равнины. Великорусская народность в упорном колонизационном движении и Московское государство в неустанном боевом расширении стремятся к господству над этой равниной, расширяя свое движение к западу, и к югу, и к востоку. Без доступа к западному морю неразрешимой была задача подъема народного хозяйства и национальной культуры. Народная земледельческая тяга увлекала на-

селение к югу на черноземные и степные пространства лежавшего втуне земельного богатства. И это стихийное движение вслед за боевой и промысловой колонизацией Дона вольным великорусским казачеством вело за собой государственную московскую власть, которая от обороны южной границы неизбежно переходила в последовательное наступление, все более углублявшееся к югу. Южная граница со степным татарским миром была издавна изнурительным кошмаром Великороссии. Открытая для вражеских набегов, вечно тревожная, она требовала непрерывного наблюдения и охраны. Против неожиданных набегов крымской орды приходилось ежегодно с весны выдвигать на юг наблюдательный корпус ратной силы, организовывать постоянную станичную и сторожевую службу, сооружать укрепленные пограничные линии крепостей, валов и засек. Оборонительная работа эта поглощала много сил и средств, не меньше любой прямой войны. В середине XVII в. ряд обширных фортификационных работ на юге и юго-востоке создал непрерывную линию укреплений от Ахтырки на реке Ворскле до Уфы, чем значительно облегчена оборона этой беспокойной границы. Но южная борьба не была этим закончена. Она указывала на необходимость, ради обеспечения жизни южных окраин, пробиться к Черному морю как естественной границе Восточно-Европейской равнины. К тому же исходу вели и другие политико-географические отношения Великороссии. Вековая борьба за Смоленск с соседней литовской силой и постепенное наступление в Северщину были проявлениями столь же стихийной тяги северо-востока к Днепровскому бассейну, которая была обусловлена стародавними колонизационными и народнохозяйственными интересами. Во время Смуты эти области были потеряны Московским государством. Стремление вернуть их в состав московских владений, как и раньше — борьба за обладание ими, не было, однако, самодовлеющей, законченной в себе политической задачей. За ней подымалась иная проблема — о Днепровском бассейне, о южных путях, помимо которых неразрешим был и весь южный, черноморский международный вопрос. Внутренний кризис Речи Посполитой, разразившийся восстанием Богдана Хмельницкого, развернул этот вопрос во всем объеме. Московское государство втянуто в продолжительную борьбу за Малороссию и довело ее до половинчатого решения на условиях Андрусовского

перемирия и «Вечного мира» с Польшей 1686 г. Все это движение к югу выводило Московское государство на новую и широкую арену международных отношений Ближнего Востока. В конце XVII в. Россия вступает в первые русско-турецкие войны, открывая тем новую эру своей позднейшей вековой международной деятельности.

И в тот же период развивается великорусская колонизация восточных окраин. В первую четверть XVII в. русское население проникает в многоземельные места за Каму и движется вниз по Волге. Утверждение тут мирных отношений ради охраны колонизации и торговых путей к азиатскому Востоку ведет Московское государство к долгой и упорной борьбе с анархией инородческого быта, увлекая его все глубже в прикаспийские области по путям к позднейшей имперской среднеазиатской политике. Народное движение ради промысловых и торговых целей заносит пионеров русской колонизации в Сибирь и к Дальнему Востоку. При царе Михаиле их группы достигли берегов Охотского моря и начали заселение берегов Енисея и Лены; в 1640-х гг. русские поселенцы утвердились в Анадырском краю, в Забайкалье, проникли на Амур; в 1689 г. договор с Китаем дает первое определенное разграничение дальневосточных владений.

Огромное расширение политического кругозора питало поиски новых источников народного обогащения и национальной культуры. Московское государство втягивается все более в международную торговую жизнь, привлекая иноземцев транзитным торгом с азиатским Востоком, и в европейские международные отношения. А. Л. Ордин-Нащокин полагал даже, что важнейшая задача московской политики — приобретение Ливонии и морского побережья на западе. Ради свободного морского пути через Балтийское море он советовал царю Алексею сосредоточить все силы на Балтийском вопросе, отказавшись от Малороссии и от западнорусских завоеваний. Московия, выступившая в конце XV в. на европейском горизонте, в XVII в. входит в ряд европейских держав.

Но это уже не то великорусское Московское государство. Великорусский центр — только опорный пункт для перестройки Московского царства в обширную империю. И все устои старой великорусской жизни переживают в XVII в. глубокий и сложный кризис. В нелегких муках

исторического делания рождает Московия новую Россию. Государство могло выдержать этот кризис и преодолеть его только ценой чрезвычайных организационных усилий. Напряженный и скованный всеобщим закрепощением социально-политический строй, усиление централизации управления, бюрократизация его органов вырастали с роковой неизбежностью на почве данных условий государственной жизни. Государственная власть работала—чем дальше, тем больше—над вопросами, которые не были непосредственно связаны с великорусским народным бытом. Все нараставшее расширение территории и усложнение этнографического состава ее населения создавало огромный сдвиг национальных основ этой государственной жизни. Великорусское государство перерождается во Всероссийскую империю, господствующую над многоплеменной страной, где русский элемент только основа и спайка, организующая и ассимилирующая сила. XVII в. — типичная «переходная эпоха», которая закончится формальным разрывом русской государственности с великорусским центром в Петербургской, Всероссийской империи.

Сложный кризис, пережитый Московским государством в XVII в., сопровождался значительным усилением государственного начала, углублением его господства над всеми сторонами народной жизни. Разрастается активная опека государственной власти над этой жизнью. Наладив в новых, более суровых формах эксплуатацию народных сил и средств для государственных потребностей, правительственная власть оказалась перед ясным итогом — их крайней недостаточности, насущной необходимости их усиленного питания и развития. Идеи Крижанича отражали не только его теоретические воззрения, воспитанные на политической литературе католического Запада, они давали чуткий отклик и находили наглядное подтверждение в русской действительности.

Самодержавная власть достигла полного расцвета в условиях острого кризиса всей государственной и общественной жизни страны. Быстро разлагались и приходили в упадок бытовые и духовные культурные традиции, расшатан и выродился старый уклад социальных отношений, и властная деятельность правительства не встречает отпора в сколько-нибудь крепко организованных общественных группах, в сколько-нибудь определенном и устойчивом общественном мнении. Она чувствует себя

властительницей судеб страны и всех разрядов населения, ответственной лишь перед Богом руководительницей материальной и духовной жизни народа.

Высоко стоит царь — помазанник Божий — над страной в сознании царя Алексея. Его властными действиями руководит Божественное Провидение: «Сердце царево в руке Божьей», и, когда нужно принять важное решение, — «Бог царя известит». Царь Алексей твердо верит в богоустановленность и даже боговдохновенность своей власти, хотя готов признать, в христианском смирении, что сам он лично по своей человеческой ограниченности не достоин быть для земной жизни «людей Божьих» — «солнцем великим или хотя малым светилом». Зато он требует от царских слуг полной, благоговейной покорности — «в страхе Божиим и Государевом», и выговор боярину заслушание царского указа звучит укором за грех религиозный: «Кого не слушаешь? Самого Христа!» Лично отзывчивый и внимательный к чужим нуждам царь Алексей резко отрицает всякую требовательность подвластных по отношению к царю как в общественном движении протеста против приказного засилья, так и в частных просьбах о выдаче, например, заслуженного вознаграждения: «Хоть и довелось дать жалование, — звучала в таких случаях царская резолюция, — а за то, что бил челом с укором, отказать во всем». У людей государевых нет прав перед верховной властью; то, что они считают своими правами, имеет источником лишь царскую милость.

Навстречу идеальным представлениям царя Алексея о царской власти шли народные воззрения на нее как на источник высшей справедливости, не формальной, а жизненной и житейской. К царю тянулись с челобитьями по личным делам в поисках выхода из приказной волокиты и противоречий между действующим правом и обыквательской правдой; к царю взывали «изветами» на злоупотребления и насилия подчиненных властей, заявляли за собой страшное «слово и дело государево», чтобы привлечь к себе внимание верховной власти. У царя искали защиты от бесправного положения, обвиняя за это приказное «средостение» между верховной властью и народом. И царская власть XVII в. разделяла эти народные воззрения, негодуя на «злехитренные» приказные нравы, порываясь к организации строгого надзора за администрацией и, особенно, суровых кар за ее тяжкие преступ-

ления. То, что вытекало из существа приказного строя и условий его функционирования, казалось чертой нравов, пороком моральной дисциплины. И мечта о правде общественной воплощалась в религиозно-моральной идеализации царского сана. Нарастала «царская легенда», так характерно выразившаяся в той черте народных бунтов, что они направлены против бояр и приказных людей, а про царя то говорили, во время народных волнений: «Нынеча государь милостив, сильных из царства выводит, побиваем сильных людей дубьем да ослопьем», то осуждали, что он «глядит все изо рта» своих бояр, а «не умеет в царстве никакой расправы сам собою чинить, люди им владеют».

Характерная для всей истории монархического абсолютизма борьба между личной властью самодержавного государя и ее поглощением бюрократическими органами управления окрашена в старой монархии мыслью, что зло правительственного строя в бюрократическом засильи, а спасение от него в сверхзаконной, чуждой мертвящего формализма деятельности носителя верховной власти. Лишь постепенно стремление подчинить работу правительственных учреждений началу законности в «регулярном» государстве приведет к сознанию, что основная опасность для этого начала кроется в личной самодержавной власти, по существу своему с ним непримиримой. XVII в. еще далек от таких мыслей. Царская власть переживает период расцвета своего самодержавия, расширения своих задач, углубления своего властвования над народной жизнью, преодолевая суровой силой и приказной организацией глухие раскаты и бурные взрывы стихийного протеста народной массы против тягости закрепощения и великой тяготы «государева и земского дела».

Идеология Московского царства в эпоху царя Алексея еще окрашивает понимание державной власти и ее задач религиозно-нравственными началами. Это время последнего, предсмертного расцвета традиционного средневекового мировоззрения. Вступление Московского государства в круг широких международных связей и отношений связано в сознании царя Алексея со старинной идеей о значении Москвы в истории христианского мира. Москва — третий Рим, последняя столица христианского всемирного — в идеале — царства, последняя опора истинной вселенской веры. Церковно-религиозные мотивы вносит он в осмысление вопросов и внешней

и внутренней политики. Политическим соображениям А. Л. Ордина-Нащокина против борьбы за Малороссию и в пользу сосредоточения всех усилий на Балтийском фронте царь противопоставляет мысль, что непристойно, даже греховно покинуть «черкасское дело» высвобождения православной страны из иноверного владычества. А общее призвание Москвы в международных делах представляется ему высокой ролью главы православного Востока, противостоящего иноверному Западу и мусульманскому миру. И власть правления Божественное Провидение вручило ему на то, чтобы вести людей Божиих по путям религиозно-нравственной правды и праведной веры. Теократические задачи царской власти нашли выражение в ряде писем и указов царя Алексея, которые так богаты религиозными наставлениями и морализирующими сентенциями. Ярko окрашены таким пониманием царской власти ее отношения к русской церкви. Попытка патриарха Никона поставить духовную власть независимо и выше светской и провести в русской жизни признание патриарха носителем «образа Христова», верховным пастырем и «отцом крайнейшим», авторитет которого имеет безусловное, непререкаемое значение, когда он по сану своему «возвещать будет о догматах Божиих и о правилах церковных», привела к конфликту между обеими властями. Церковный собор 1667 г. осудил Никона, но основной вопрос разрешил в духе самостоятельности церкви постановлением, что «царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх в церковных». Но царь не признал этого постановления, изъяв его из официальных соборных деяний, и конечный исход конфликта высоких властей выразился в победе государства над церковью, законченной через полстолетия отменой патриаршества и учреждением «Правительствующего Синода», органа светской власти по управлению церковными делами. Эта трагедия русской церкви получила особо глубокое значение в связи с пережитым Московской Русью культурным кризисом. Скрещение при новых условиях в исторической жизни разнородных культурных влияний — малороссийских и польских, западноевропейских, шедших из протестантского, немецкого мира, и католических, более близких официальной русской церковности, чрезвычайно усложнило брожение традиционного быта и привычных воззрений. Вызванное по существу общим кризисом народно-государственной жизни, это

брожение основной чертой и основным результатом имело отделение церковно-религиозных понятий и интересов от сферы мирской, светской жизни. Бурно и тягостно протекал на Руси процесс разложения старого мировоззрения. Осложненный сильными католическими влияниями в области церковно-иерархических стремлений и богословского мышления, он привел к расколу русской церкви на официальную церковь «никониянства» и ряд народно-церковных общин «старообрядчества». А в связи с новыми условиями государственной и общественной жизни — к иному расколу — между церковью и государством, старой церковностью и общественным бытом. В недрах Московского царства, средневекового по всему стилю своего царского «верха», неудержимо нарастает секуляризация государственной жизни и политических воззрений. Государственная работа стала слишком сложной и напряженной, чтобы удержаться в устарелых формах и устоять на старых основах. Усвоение иноземной военной и торгово-промышленной техники, ряд «новшеств», как первые попытки кораблестроения, организации врачебного дела, устройства почтовых сообщений и т. п., новые приемы воздействия на народнохозяйственную жизнь с организацией кредита и покровительственных приемов в строении торгового дела, наконец, опыты удовлетворения острой потребности в людях, подготовленных к деятельности на разных поприщах административной и экономической жизни, — все эти новые тенденции государственного управления преобразовывали правительственную власть в новый политический тип светской полицейской государственности. Коренной перелом в направлении и в общем укладе государственной жизни развивался параллельно и в тесном взаимодействии с проникновением ряда новшеств в общественный быт и в духовный кругозор русских людей. Наплыв новых и непривычных впечатлений манил интересными новыми сведениями, вводил в сознание ряд новых понятий, приучал к иным приемам мысли, создавал потребность в обновлении средств и способов ее выражения. В общественных кругах, охваченных волной новых культурных веяний, шел острый процесс ломки старых традиций, их вырождения и упадка. И развивался он под тем же знаком секуляризации целых крупных областей и быта и духа.

Разгадка смерти императора

Внезапная кончина 18 февраля 1855 г. Николая I породила легенды: одна гласила, что Николай не мог пережить неудачи Крымской кампании и покончил с собой, другая обвиняла лейб-медика Мандта, иностранца, в том, что он «уморил царя». При всей кажущейся их несовместимости слухи совпадают в главном — ведь сущность легенд в убеждении о неестественности смерти государя. Легенды эти, распространившиеся с молниеносной быстротой, были настолько тревожны и держались настолько упорно, что уже в первые же дни после кончины Николая потребовалось правительственное оповещение о событии 18 февраля с целью их пресечения.

24 марта 1855 г. «с Высочайшего соизволения» вышла книга на русском, польском, английском и французском языках — «Последние часы жизни Императора Николая Первого» (без указания автора и издателя, с пометой типографии II Отделения Собственной Его Имп. Вел. Канцелярии), как выясняется, принадлежавшая перу главноуправляющего II Отделением графа Д. Н. Блудова. Характерен эпиграф: «Блаженни мертвии, умирающи о Господе». Книга сия была направлена к тому, чтобы, кратко изложив ход болезни императора, его просветленную кончину, рассеять сомнения в неестественности его смерти: «Умирал Император России, Тот, Коего Имя наполняло вселенную, к Коему стремились почти непрестанно взоры не только 60 миллионов подданных, но и всех чуждых народов и правительств. И в сем поражающем умы и сердца событии было нечто еще больше разительное: состояние души Государя. Он умирал как достойный Правнук Петра Великого и с тем вместе как достойный Сын, достойный член Церкви Христовой. Непокколебимая, смеем сказать, хладнокровная твердость Царя и Воина, мысль о важных, иногда столь тягостных обязанностях Монарха, которые он свято исполнял в продолжение 30-летнего почти управления государством, наконец, и нежная любовь к ближайшему и великому Его Семейству — России сливались в сии торжественные минуты в одно, все превосходящее, все объемлющее и освящающее, чувство Веры». Заключительная часть книги посвя-

щения разбору завещания Николая I — «Тайной беседы Его с Собою, излияния Его мыслей и чувствований как человека и христианина», написанного им еще 4 мая 1844 г., во время холерной эпидемии.

Была еще одна причина, побудившая графа Блудова взяться за перо и опубликовать текст завещания Николая I: помимо желания убедить читателя в постоянном христианском настроении государя, исключая возможность лишения себя жизни, автор желал «предупредить, буде сие возможно, нелепые слухи, подобные тем, которые распространялись иными журналами о мнимом, никогда не существовавшем политическом Завещании Петра Великого». Напомним читателям, что «Завещание Петра Великого» — это фальшивка, запущенная еще Наполеоном I перед его нападением на Россию, приписывающая последней стремление к мировому господству. Фальшивка эта затем неоднократно переиздавалась, и всякий раз это совпадало с обострением положения в Европе. Переиздана она была и накануне Крымской войны (а позже и накануне событий 1914 г.). Брошюра Блудова имела, таким образом, определенное назначение. Ее значение выходит за рамки проблемы о причинах смерти Николая I. Но нас в данном случае интересует только этот последний аспект события.

Почти одновременно с книгой Блудова вышло за границу в Брюсселе официальное, инспирированное из России, скромное произведение по размеру (19 с. небольшого формата), но дающее богатую возможность чтения между строк. Это — попытка психологического анализа внутреннего состояния Николая I во время Крымской войны, попутно с сообщением фактических сведений о последних часах его жизни. Император рассматривается автором как оскорбленная и непонятая Европой гордая личность. Брошюра написана специально для Европы, для людей «политических». Вскоре все эти наблюдения были повторены в книге Маркова «Европа и Россия в предсмертные минуты жизни Императора Николая I» (М., 1856).

Отличительная черта указанных книг — официальная тенденциозность; они являются ответом на общественное мнение, неблагоприятное для Николая, каковое чувствуется даже и по этим «трудам», на тревожное настроение, вызванное толками и слухами в связи с внезапной его кончиной.

В эти же годы (1855—1857) вышли также за границу (что показательно!) несколько обзоров царствования Николая, затрагивавших вопрос о его смерти. Их авторы, как правило, заимствуя фактические сведения из официальных источников, новых данных к вопросу о смерти Николая, кроме рассказов о дурных предзнаменованиях, предшествовавших его смерти, и дворцовых анекдотов,

по сути, не дают. Более того, авторы этих «обзоров» и «мемуаров», связанные с придворной камарильей, договариваются в своем поддобострастном лицемерии до предложения переименовать в честь усопшего императора всю Россию в некую «Николавию». Для той же цели — успокоения умов — была напечатана записка доктора Мандта «Ночь с 17-го на 18-е февраля 1855 года», первоначальная редакция которой была, однако, исправлена и дополнена в духе политической необходимости момента. Позже Мандт издал весьма ценную с точки зрения сообщаемых сведений статью «О последних неделях Имп. Николая I» (об этих документах ниже).

Дополняют официальные сообщения о событии 18 февраля мемуары, авторы которых хотя и не подвергают сомнению факт естественной смерти Николая I, но приводят факты, позволяющие критически оценить официальную версию о гриппе, унесшем в могилу «незабвенного». Эти мемуары (В. Панаева, Н. Устрялова и др.) печатались в свое время на рубеже веков в нашей исторической периодике («Русский архив», «Русская старина» и др.). Уже после революции эти источники пополнились новыми, найденными в архивах; так, в 1918 г. найдена в архиве графа П. Д. Киселева рукопись, принадлежащая его перу, освещающая последние часы Николая I. Вот эти записи умного и наблюдательного современника в его орфографии:

«18 февраля 1855 года. Судьба совершилась. — Я поцеловал теплою еще руку покойного, ныне усопшаго Императора-Милостивца и благодетеля моего. — Слеза горькая выпала из глаз и окропила эту руку, которая 29 лет с постоянною твердостью и любовью управляла народом русским. — История воздаст Ему должное; — я скажу только в первом порыве душевного огорчения, что в доблестном его сердце отразились все благородныя чувства, которыми Всевышний в благодати своей украшает человека и за веру к нему вознаграждает народы, даруя их венценосцу. Император Николай Павлович скончался 18 февраля в 12¼ ч. пополудни. 31 Генваря, при моем Докладе, Государь изволил мне сказать с обыкновенною Его приветливостию: — ты ведь не забудишь, что нынче понедельник и что мы обедаем вместе. — Я отвечал, что простудился и опасаясь быть неприятным гостем для Императрицы, — на что Государь возразил — «я тоже кашлею — жена с нами обедать не будет и мы вдвоем будем кашлять и сморкаться». Так и последовало, стол был накрыт в комнате Ее Величества, которую застал я на канаве и которая в сей день оставалась на диете, т. е. без обеда. Государь кашлял изредко и жаловался на спинную боль, но был покоен и даже весел, что в последние месяцы в Гатчино и Петербурге я не всегда имел утешение видеть — напротив, он утомлялся и сколько не желал преодолевать душевное безпо-

койство — оно выражалось на лице его более, чем в речах, которые при разсказе о самых горестных событиях заключались одним обычным возгласом: — Твори Бог волю Свою.

<...> Я, возвратясь домой, почувствовал лихорадочный припадок — остался у себя и по совету доктора Мыновского не выходил 15 дней из дома. — Государь на другой день, т.е. во вторник 1-го февраля почувствовал усиление гриппа, не выходил из своего кабинета и спал в течении дня. В среду пошел к Императрице и выехал в санях к Великим Княгиням и к больному Военному министру. В четверг наперекор докторов своих Манда и Карелля¹ поехал в Михайловский Манеж — дабы, как отзывался, проститься с маршевым гвардейским батальоном — при сем случае, когда медики упрашивали Государя не выезжать и посвятить этот день на окуратное лечение — он (как утверждают) отвечал им — советуя мне не выезжать, вы исполняете свою обязанность — позвольте же и мне исполнить ту, которая лежит на мне — это был обычный Его ответ на подобныя приглашения, — покуда на ногах каждой должен выполнять свою обязанность — а я более других. По возвращении, Государь почувствовал лихорадочной припадок — в ночь или на другой день, т.е. в пятницу он жаловался на тупую боль в боку. Доктора должны обратить внимание на печень, говорил Государь — тут мой недуг — и затем кашлял и с трудом освобождался от мокрот. — Орлов (Алексей Федорович, начальник главной императорской квартиры. — *Ред.*), к которому Карелль приезжал ежедневно — говорил мне 10-го числа, что у Государя Грипп очень сильной, — но что опасности нет.

15, при моем выезде я желал видеть Кн. Долгорукова (Василий Андреевич — военный министр. — *А. С.*) и Орлова, дабы узнать о состоянии здоровья Его Величества, ибо с воскресенья Государь докладов уже не принимал и лежал в постеле. — Оба мне сказали, что болезнь сериозная, но что прямой или положительной опасности нет. — В четверг 17 февраля я поехал во Дворец, дабы от камердинера узнать о состоянии Его Величества — ответ был довольно темной — Государь очень жалуется на боль в боку, худо почивал — много кашлял, а теперь успокоился. На другой день, т.е. в пятницу, я послал во Дворец за Бюллетенем — мне привезли копию под № 3-м, который изумил меня и разтревожил — я немедленно отправился во Дворец, где в нижнем корридоре и впереди — камердицерской нашел многих генералов и флигель-адъютантов, а также несколько военных и гражданских сановни-

¹ Карелль, Филипп Яков умер в 1886 г. По отзывам современников, «Мандт был вывезен в Россию из Германии императрицей Александрой Федоровной... В Германии он никаким авторитетом не пользовался и к таковым ученым силам не принадлежал. Его карьера была исключительно придворная, а не ученая» (Голос минувшего. 1914. Янв. С. 119).

ков. Здесь мне объявлено, что Государь находится в безнадежном состоянии, что он исповедовался и приобщился. — Призывал всех детей и внуков, прощался с Императрицею, выговорил Ей и прочим членам своего Семейства утешительные слова, простился с прислугою своею и некоторыми лицами, которые тут находились и наконец, последний и тихий вздох отделил душу от тленного тела.

— Государь 65 миллионов людей скончался смиренно, без страдания, сохранив в последние минуты все силы душевные и все упования христианина.

Будут порицатели — это удел всех, а паче тех, которые принадлежат Потомству, но будут и более, которые постигнув Императора Николая воздадут Его должное.

По выходе из кабинета, в котором столько лет имел счастье подносить Его Величеству мои доклады — и наслаждаться всегда милостивою и приветливою Его беседою, в которой отражался высокий ум, проищательность, постоянное добродушие и неоцененная простота в обхождении всем приближенным столь известная. Первая мысль посвящена была к потери, которая отразится на России, вторая мелькнула как гроза о собственной ко мне лично относящейся. В эту минуту голос военного Министра прекратил размышления, приглашением по принятому обычаю идти в придворную церковь для исполнения присяги Императору Александру 2-му.

Все пошли и исполнили обряд — я со слезами в глазах — и с горем в душе — пожелал сыну наследуя могущество Отца — наследовать и добродетелям Его, в чем Бог да поможет Ему».

Рукопись эта, по сути дела, содержит мало новых фактических сведений, но в ней сильно выражено то непосредственное чувство полной неожиданности внезапной кончины Николая, что обычно скрывалось в воспоминаниях современников. Эта неожиданность тем более знаменательна, что автором рукописи является граф П. Д. Киселев, генерал-адъютант, министр, чрезвычайный посол и прочее, лицо близкое ко двору. Ценно то, что это — документ, написанный современником, очевидцем, крупным сановником, ждущим смены царствования с чувством деятеля внезапно оборвавшейся эпохи: «Первая мысль посвящена была к потери, которая отразится на России, вторая мелькнула как гроза о собственной ко мне лично относящейся».

Но прежде и упорнее всего внимание фиксируется на фразе, являющейся лейтмотивом всех официозных сочинений о последних днях жизни Николая: «Государь 65 миллионов людей скончался смиренно, без страдания, сохранив в последние минуты все силы душевные и, конечно, все упования христианина».

Какую цель преследовал Киселев, когда писал приведенные выше строки? Хотел ли он ответить на широко распространившие-

он служил о неестественности смерти государя и что-либо помешало ему опубликовать записку? Или, быть может, было желание современника крупного события сохранить его для потомства? Конечно, Киселев писал не для себя лично — слишком много в ней торжественных фраз, трафаретных определений, вроде «Императора Милостивца», слишком много пафоса, пышных стандартных фраз. Приведенная выше фраза о силах душевных и христианских упованиях Николая опять и опять заставляет задумываться над тем, не имела ли основания народная молва? Была ли смерть следствием осложнившегося гриппа, или Николай не сохранил сил душевных и оборвал сам нить своей жизни?

Литература, как официальная, так и мемуарная, представляет кончину Николая следующим образом: «Сей драгоценной жизни положила конец простудная болезнь, вначале казавшаяся ничтожною, но, к несчастью, соединившаяся с другими причинами расстройства, давно уже таившимися в сложении лишь по-видимому крепком, а в самом деле потрясенном, даже изнуренном трудами необыкновенной деятельности, заботами и печальми, сим общим уделом человечества и, может быть, еще более Трона». Это граф Блудов; а вот что пишет доктор Мандт: «В Гатчине Государь стал неузнаваем: душевное страдание сломило его прежде, чем физическое. Если бы Вы его видели при получении каждой плохой вести! Он был совершенно подавлен, из глаз его катились слезы, и часто он слишком обнаруживал Мюнстеру овладевавшее им отчаяние. Но эти минуты бывали для государя нечеловеческим мучением...» Заметим, что у Мандта есть все же какие-то общие упоминания о плохих вестях, вызвавших слезы и отчаяние Николая I. Запомним это. Об этом угнетенном состоянии его упоминает и Киселев: «...он (государь) утомлялся и сколько ни желал преодолеть душевное беспокойство — оно выражалось на лице его более, чем в речах, которые при рассказе о самых горестных событиях заключались одним обычным возгласом: „Твори Бог волю Свою“». — В более поздних заметках о Николае мы находим указание на то, что в Гатчине, где он тогда жил, «помнят про его бессонные ночи, как он хаживал и клал земные поклоны перед церковью». Что же так угнетало Властелина?

Нет надобности входить в рассмотрение всей политической обстановки и причин этого морального угнетения и беспокойства, которые переживал Николай; достаточно отметить это состояние его, дающее впечатление нарастающей трагедии.

«Поставленный в такое тяжкое положение, как ни старался Его Величество превозмочь себя, скрывать внутреннее свое терзание, — пишет В. Панаев (директор канцелярии императора), — оно стало обнаруживаться мрачностью зора, бледностью, даже каким-

то потемнением прекрасного лица его и худобою всего тела. При таком состоянии его здоровья малейшая простуда могла развернуть в нем болезнь опасную. Так и случилось. Не желая отказать гр. Клейнмихелю в просьбе быть посаженным отцом у дочери его, государь поехал на свадьбу, несмотря на сильный мороз, надев красный конногвардейский мундир с лосиными панталонами и шелковые чулки... Этот вечер был началом его болезни: он простудился. Возвратясь, ни на что не жаловался, но ночь провел без сна, стараясь объяснить это Гримму (камердинеру) не болезнью, а неловким положением в постели и простынею, которая под ним часто скидывалась и не давала спать; другую и третью ночь провел тоже беспокойно, но продолжал выезжать. Ни в городе, ни даже при дворе не обращали внимания на болезнь государя; говорили, что он простудился, нездоров, но не лежит. <...> Государь не изъявлял опасения насчет своего здоровья, потому ли только, что в самом деле не подозревал никакой опасности, или же, вероятнее, и для того, чтобы не тревожить любезных своих подданных. По сей последней причине он запретил печатать бюллетени о болезни его. Сия болезнь продолжалась с разными изменениями от последних чисел Генваря до 9-го Февраля».

Наиболее точную датировку развития болезни мы находим в камер-фурьерском журнале — начиная с 5 февраля.

Суббота, 5 февраля: «Сего числа Его Величество почувствовал себя несовершенно здоровым. Прогуливаться не выходил».

Воскресенье, 6 февраля: «Поутру Е. В. по несовершенному здоровью прогуливаться и принимать с докладами никого не изволил».

Понедельник, 7 февраля: «Первая неделя Великого поста. Во всю неделю кушанье для Е. В. приготовлялось постное. Поутру Е. В. прогуливаться не выходил и принимать никого не изволил. В 12 часов Е. В. в Нижнем своем Кабинете изволил смотреть ратников вновь формируемого Государственного ополчения, а после принимал с докладом...»

Вторник, 8 февраля: «Поутру Е. В. прогуливаться не выходил... От 45 минут 12-го часа Е. В. принимал с докладом... Е. В. в большем аванзале изволил смотреть и назначать в полки рекрут».

Среда, 9 февраля: «Поутру Е. В. прогуливаться не выходил... 30 минут 10-го часа был у Е. В. с докладом Вел. Князь Константин Николаевич. Половина 11-го часа Е. В., Гос.-Цесаревич с Гос.-Цесаревною и Вел. Князьями... в Золотой Гостинной комнате изволили слушать утреню и часы, совершаемые Духовником Божановым; служба окончилась 20 минут 12-го часа. 5 минут 1-го часа их Величества, Гос.-Цесаревич, Гос.-Цесаревна с Вел. Князьями... выход имели в малую церковь и слушали Божественную

Преждеосвященную Литургию, совершаемую Духовником Божановым... Служба кончилась 5 минут 2-го часа. По окончании Литургии Е. В. принимал... и после с Гос.-Цесаревичем изволил иметь выезд в Михайловскую Манеж осматривать войско и возвратился в 2 часа. В 4 часа Е. В. принимал... За обеденным столом их Величества кушали внизу в Почивальне Вел. Княгини Ольги Николаевны».

Четверг, 10 февраля: «Поутру Е. В. прогуливаться выходить не изволил. 20-ть минут 11-го часа имел приезд к их Велиествам Вел. Князь Константин Николаевич с Вел. Княгиней Александрой Иосифовною и был у Е. В. с докладом. 45 минут 11-го часа Е. В., Гос.-Цесаревич с Гос.-Цесаревною и Вел. Князьями... в Золотой Гостинной комнате изволили слушать Утреню и часы, совершаемые Духовником Божановым; служба кончилась 35 минут 12-го часа. От 40 минут 12-го часа Е. В. принимал с докладом... Половина 2-го часа Е. В. с Гос.-Цесаревичем изволил иметь выезд в Михайловскую Манеж осматривать войска и возвратился 35 минут 3-го часа. За обеденным столом Их Величества кушали в Малиновой Комнате Ее Величества».

Как видно из этих записей, император изменил обычный распорядок дня и, проболев около 5 дней (обычное для гриппа время), к концу недели явно окреп и даже выехал в Манеж на осмотр войск. Давайте же в свете этих бесспорных фактов еще раз взглянем на «свидетельства» очевидцев последних дней жизни Николая. В передаче фактов они как будто не расходятся с показаниями камер-фурьерского журнала, но явная закругленность их изложения, связь, в которую они ставят факты, приводят к заключению — о кончине Николая от осложнившейся простуды. Но при чтении сырого материала — записей камер-фурьера — такого впечатления явно не выносишь. И мемуары, и правительственные брошюры также останавливаются на смотре маршевого батальона лейб-гвардии Измайловского и Егерского полков, воздержаться от которого по нездоровью уговаривали Николая врачи, — об этом факте упоминает и Киселев. Наиболее обстоятельный из мемуаристов, В. И. Панаев, пишет, что «после смотра Государь заехал к великой княгине Елене Павловне, а от нее к бывшему тогда большим военному министру; возвратясь же, почувствовал себя хуже, чем накануне. Кашель и одышка, уже и в предшествовавшие дни иногда проявлявшиеся, увеличились. Ночь Его Величество провел без сна; однако на другой день, 10-го числа, изволил опять выехать в тот же эскерцир-гауз для осмотра маршевых батальонов лейб-гвардии Преображенского и Семеновского резервных полков и людей лейб-гвардии Саперного резервного полубатальона. 11-го числа хотя намеревался еще быть у преждеосвященной обедни, но

не смог и слег в постель». В камер-фурьерском журнале в записи за 11 февраля мы находим некоторый намек на то, что в этот день Николай чувствовал недомогание: «Его В-ство по пробуждении чувствовал себя слабым и потому изволил приказать послать к Отцу Духовнику и сказать, что он по несовершенному здоровью слушать утреню и часы не может, но постарается быть к Преждеосвященной Литургии». Вечерняя запись говорит, что «по причине лихорадки Его В-ство в церкви быть не мог и вечером».

С 12 февраля Николай «с докладами г.г. Министров принимать не изволил, но отсылал дела к Его Высочеству Государю-Цесаревичу»; однако из записи за тот же день явствует, что от 11 часов «были у него на посещении» граф Орлов и министр двора граф Адлерберг. В табели за воскресенье 13 февраля на полях помечено: «Его В-ство заболел 10 февраля лихорадкой, которая 11-го числа повторилась. Ночью на 13-ое число было мало сна. Лихорадка менее. Голова свободнее. Его Величество выхода к Литургии иметь не изволил». В записях за последующие дни читаем: 14 февраля, понедельник: «Его В-ство ночью на 14-ое число февраля мало спал, лихорадка почти перестала. Голова свободна». 15 февраля, вторник: «Его Величество провел ночь на 15-ое февраля немного лучше, хотя вчера волнение было. Пульс сегодня удовлетворителен. Кашель, извержение мокроты не сильное». 16 февраля, среда: «Вчера после лихорадочного движения, сопровождаемого с ревматической болью под правым плечом, Его В-ство в эту ночь спал, но не так спокойно. Голова не болит, извержение мокроты свободно, лихорадки нет». Как видим, с 10 по 15 февраля недомогание, временами усиливаясь, все же шло на убыль: «Голова свободна!», «лихорадки нет». Но именно эти-то факты и обходят преднамеренно царедворцы-мемуаристы.

И Блудов, и Панаев, и Мандт, давшие наиболее полное описание последних дней Николая, не останавливаются на этом улучшении состояния здоровья его с 12-го по 17-е число и берут все развитие болезни за одни скобки, с 9 по 17 февраля. Но и они не могут отрицать один важный факт, а именно: гнетущее впечатление, которое произвела на Николая телеграмма о поражении русских войск под Евпаторией, полученная им 12 февраля. Вот эти дни с 12 по 17 февраля вносят новый элемент, а именно: почти оправившийся от гриппа Николай, физически здоровый, переживает духовный нравственный кризис, физическое недомогание сменяется душевными терзаниями (слезы отчаяния и т. д.) — признаться, это для Николая, гордившегося своей невозмутимостью, состояние необычное.

В 10—11 часов ночи с 17 на 18 февраля Мандт, как он пишет, не терял надежды на выздоровление государя и, сделав все нуж-

ные медицинские предписания, не раздеваясь, прилег отдохнуть до 3 часов в одной из комнат дворца, оставив у постели больного д-ра Карелля. В половине третьего ночи, когда он встал, чтобы идти на смену Кареллю, ему подали записку от фрейлины Блудовой (Антонины Дмитриевны) следующего содержания: «Умоляю Вас, не теряйте времени ввиду усиливающейся опасности. Настаивайте непременно на приобщении св. Тайн. Вы не знаете, какую придадут у нас этому важность и какое ужасное впечатление произвело бы на всех неисполнение этого долга. Вы — иностранец, и вся ответственность падет на Вас. Вот доказательство моей признательности за Ваши прошлогодние заботы. Вам говорит это дружески преданная Вам А. Б.» Вот в этом пункте (описание ночи с 17 на 18 февраля) официальные источники и доктор Мандт начинают что-то сбиваться.

Мандт пишет, что он поспешил к Николаю и после осмотра его, убедившись в том, что его положение крайне опасно, что у него начало паралича, приступил к возложенной на него миссии. Николай I мужественно выслушал диагноз Мандта и попросил позвать наследника. Но почему вдруг паралич при гриппе, почти залеченном?

Современники самым подробным образом описывают последние минуты Николая, мольбы императрицы о принятии св. Тайн, прощание с семьей, находившимися во дворце сановниками и слугами, обряд исповеди и затем кончину его в 12 ч 20 мин пополудни 18 февраля.

Но причины этого внезапного «паралича» от этих описаний не становятся понятными, скорее наоборот. Более того, действия властей показывают, что они явно скрывали (пытались скрыть) подлинную причину «паралича» и скоропостижной кончины царя.

Первый бюллетень о его болезни от 13 февраля (запись в камер-фурьерском журнале 13 февраля) появился в газетах только 18 февраля, когда Николай уже умирал. В прибавлениях к тому же номеру газеты был приложен бюллетень № 2 о состоянии здоровья 17 февраля в одиннадцать часов вечера, подписанный М. Мандтом, лейб-медиком Иваном Епохиным и Филиппом Кареллем: «Лихорадка Его Величества к вечеру усилилась. Отделение мокроты от нижней доли правого легкого сделалось труднее». В субботу, 19 февраля, в отделе внутренних известий газеты повторили бюллетень № 2 и вновь напечатали нижеследующий бюллетень за теми же подписями. Бюллетень № 3 от 18 февраля, четыре часа пополудни: «Затруднительное отделение мокроты, коим страдал вчера Государь Император, усилилось, что доказывает ослабевающую деятельность легких и делает состояние Его Величества весьма опасным». И № 4 от того же числа, девять часов

пополуночи; «Угрожающее Его Величеству параличное состояние легких продолжается и вместе с тем происходящая от того опасность», с припискою после подписей врачей: «Государь Император сего числа, в 3½ часа пополуночи, изволил исповедаться и причаститься св. Тайн в полном присутствии духа». И только 21 февраля, на четвертый день после смерти Николая, был опубликован манифест об его кончине. В памяти невольно встают события марта 1953 г., когда все мы читали сообщения о болезни другого Властелина, уже, как говорится, усопшего.

Естествен и логичен ход болезни императора только до двенадцатого февраля: так говорят факты. А 12 февраля Николай получает известие из-под Евпатории, которое, по свидетельству Мандта, «положительно убило его... тут ему был нанесен последний удар». — «Сколько жизней пожертвовано даром» — эти слова и эта мысль постоянно возвращались к нему — «бедные мои солдаты». Мандт рассматривает факт получения дурных известий с театра военных действий только с медицинской точки зрения. Медицинскими же предостережениями объясняет В. Панаев прекращение с этого злополучного 12 февраля приема министров с докладами. Однако, как мы заметили уже выше, у всех авторов воспоминаний и записок, не исключая и Киселева, остается пробел с 12-го по 17-е число. Это явное, преднамеренное умолчание многозначительно. Камер-фурьерский журнал свидетельствует об улучшении самочувствия Николая с 13 по 16 февраля: лихорадка прошла, голова перестала болеть, ночами он не спал, но бессонница была следствием уже морального беспокойства, но никак не физического недуга.

До вечера 17 февраля, с которого Мандт начинает описание знаменательной ночи, во дворце все спокойно, спокойно именно потому, что до самой этой ночи и сам Мандт продолжал всех уверять, что опасности нет. Наследник, императрица, не говоря уже о дворе и широкой публике, и не подозревают о возможности скорого смертельного исхода. Но дальше начинается преднамеренный туман, какой-то пробел в изложении лейб-медика.

Когда Мандт встал, чтобы идти сменить Карелля, он получил записку Блудовой с просьбой «не терять времени ввиду усиливающейся опасности». Каким же образом Блудова могла знать о тяжелом положении больного и сообщить об этом пользовавшему его врачу до того, как этот врач осмотрел его и убедился, что кризис наступил? Здесь кроется какая-то неточность. Точнее, умолчание. В «Воспоминаниях» Панаева мы находим следующее интересное сообщение о генезисе оставленного Мандтом документа о последней ночи Николая. Когда Панаев наскоро набросал свое описание последних дней Николая, Александр II дополнил его некоторыми

деталями. Запомним, сын лично просматривает и рецензирует информацию о смерти отца. Затем Панаев снова редактировал эту «удачную в литературном и политическом отношении», по выражению правительственных кругов, статью и в 2 часа ночи по высочайшему повелению лично распорядился в редакции четырех газет, чтобы вынули часть набранного на завтра материала и заменили им привезенным. «Потребовано было, — пишет Панаев, — от д-ра Мандта подробное описание хода самой болезни государя; он составил его (разумеется, на немецком языке). Надобно было, для соблюдения верности, перевести его буквально, что поручил я одному из чиновников канцелярии, хорошо знавшему по-немецки, а потом исправил или, лучше сказать, *вовсе переделал в слог*, что уже я должен был взять на себя при помощи д-ра Енохина, так как многие медицинские термины были мне неизвестны. Мы проработали с ним часа три, не вставая с места, и успели в том, что статья Мандта появилась вслед за моею статьею».

Прочтя это сообщение, мы уже совсем иначе, с другой степенью доверия (а точнее, недоверия), подходим к оставленному Мандтом документу, зная, что редакция Панаева могла и записку Мандта (можно думать, достаточно тенденциозную) еще более изменить в надлежащем политическом направлении.

Взяв под сомнение записку Мандта, можно позволить себе привести свидетельство некоего «неизвестного лица», сообщенное со слов д-ра Карелля — коллеги лейб-медика Мандта. Это лицо рассказывает, что «17-го февраля он (Карелль) был потребован к Императору Николаю ночью и нашел его в безнадежном состоянии и одного — Мандта при нем не было. Император желал уменьшить свои сильные страдания и просил Карелля облегчить их, но было уже поздно, и никакое средство не могло спасти его. В таком положении Карелль, зная, что не только в городе, но даже во дворце никому не известно об опасности, отправился на половину Наследника-Цесаревича и потребовал, чтобы его разбудили. Пошли разбудить и Государыню и немедленно отправили напечатать два бюллетеня за два предшествующие дня». Очень интересный факт. Запомним, что будят Карелля вне очереди и зовут к умирающему, где должен был быть (но не был) — дежурный врач — Мандт.

Если допустить, что приведенная здесь ссылка на свидетельство Карелля является достоверной, тогда так называемая записка Мандта теряет все свое значение и дело в связи с данными камерфурьерского журнала принимает совсем иное освещение

События могут представляться следующим образом. В начале февраля Николай заболевает простудой, настолько, однако, незначительно, что почти не нарушается обычный ход его жизни: с 7-го по 10-е никаких указаний на развитие болезни не встречается в ка-

мер-фурьерских журналах. А 10—11 февраля простуда обнаруживается легкой лихорадкой и проходит. Далее, 12-го числа Николай получает известие из Евпатории. Императору ясно, что после неудачи неприятель прочно закрепился в Крыму, война, по существу, проиграна, а вместе с ней рушилась вся внешняя и внутренняя политика, основы его миропонимания. Было от чего впасть в тяжелые раздумья, оказаться во власти ночных кошмаров. Современники рисуют мрачную картину отчаяния, которое овладевало Николаем в связи с печальным ходом войны. Он отсылает дела к наследнику, отказывается от пищи, страдает бессонницей, но физически-то он здоров или чувствует лишь недомогание (судя по камер-фурьерским журналам). Чтобы скрыть это тяжелое настроение, овладевшее Николаем, во дворце поддерживают разговоры о лихорадке, о его нездоровье. Двор обеспокоен затворничеством царя, ежедневно съезжаются во дворец лица, близкие царской фамилии; в ночь с 17-го на 18-е во дворце остается на ночь великий князь Константин Николаевич и министр двора граф Адлерберг. Предположим, что Николай, действительно, принял в эту ночь яд. Этим мы как будто противоречим главному нашему источнику — камер-фурьерскому журналу, который начинает бить тревогу еще 17 февраля днем. Но помимо того, что на страницах журнала за 17 февраля имеется сообщение о молебне во дворце «о здравии Его Величества Государь-Цесаревич и Великий Князь Константин Николаевич и Министр Имп. Двора граф Адлерберг оставались на ночь поблизости Его Величества», на полях того же журнала встречаются три бюллетеня, содержание которых указывает на то, что во дворце ночной кризис не был неожиданностью:

«Вчера была сильная лихорадка с страданием правого легкого. Всю ночь лихорадка продолжалась и мешала спать Его Величеству; извержение мокроты свободное, заметно, что и подагра участвует в болезни». — «Болезнь Его Имп. Величества началась легким гриппом, а 10-го же февраля при слабых подагрических припадках обнаружилась лихорадка». — «С появлением вчера страдания в правом легком лихорадка была довольно сильна. Ночь Его Величество провел без сна. Сегодня лихорадка несколько слабее и извержение легочной мокроты свободно» (на подлинном подписали: Мандт, Енохин, Карель).

Самым важным вопросом при определении создавшегося в действительности положения является вопрос о том, когда камер-фурьер заносил записи в журнал? Ровность почерка, выдержанность стиля каждой ежедневной записи говорит за то, что они делались им поздно вечером, когда жизнь во дворце замирала и можно было подвести итоги дня, или на другой день поутру. При внимательном рассмотрении страниц журнала за 17 и 18 фев-

раля можно легко заметить, что запись касательно молебна о здравии больного сделана свежими черными чернилами до слов «читана была молитва об исцелении от тяжкой болезни Государя Императора»; эта же фраза и последующие (о дежурстве во дворце наследника, вел. князя и Адлерберга и о событии 18 февраля) написаны явно в другой прием, везде иными, бледными, разбавленными водою, чернилами. Далее, все сообщения и бюллетени о болезни Николая за эти дни вписаны на полях журнала, тогда как вообще поля оставались чистыми и в продолжение нескольких недель на них делались записи только о событиях, пропущенных камер-фурьером.

Возникает соблазнительное, но гипотетическое предположение, а не были ли вписаны бюллетени за 17 февраля и часть событий за этот день задним числом 18 февраля? До 18 февраля бюллетени имеют с текстом мало связи. Мы видим только, что двор усиленно посещается великими князьями и княгинями, что затворничество Николая беспокоит близких ему лиц; но ни на какие консультации врачей в журнале нет и намека — он не упоминает даже имени Мандта, не говоря уже о докторе Енохине и Карелле. Впечатление явно вписанного позже текста производит только бюллетень от 18 февраля (напечатанный в газетах под № 3), именно его содержание, как мы помним, «изумило и растревожило» Киселева, и который был написан после ночного кризиса: «Затруднительное отделение мокроты, коим страдал вчера Государь Император, усилилось, что доказывает ослабевающую деятельность легких и делает состояние Его Величества весьма опасным».

Когда мы рассматриваем далее страницы этого журнала, то видим, что три предыдущих вышеприведенных бюллетеня написаны тем же почерком и чернилами, что и явно вписанный бюллетень за 18 февраля. Можно предположить с достаточным основанием, что после того, как 18 февраля камер-фурьер закончил свои записи, ему велели вписать на полях таблицы за 17-е число три бюллетеня и за 18-е — один. Убедившись при записи событий за 18 февраля в неудобстве писать разбавленными водой чернилами, он берет свежие чернила, отчего разницы между текстом, написанным тоже свежими чернилами (текст за 17-е), и бюллетенями как будто нет, но она сразу бросается в глаза при взгляде на запись за 18 февраля и вписанный на ее полях бюллетень.

Это предположение можно, конечно, оспорить (мотивы), ведь вписанный бюллетень объясняется, быть может, каким-нибудь случайным фактом, однако, вчитываясь в этот документ: бюллетень № 3 от 4-го часа пополудни 18 февраля, нельзя не удивляться его содержанию: он написан после того, как Мандт убедился в том, что у Николая начало паралича (3 часа ночи), после приобщения

умирающего, написан тогда, когда он находился уже в агонии; между тем содержание бюллетеня весьма осторожно, что опять наводит на мысль о том, что все четыре бюллетеня были написаны сразу с целью создать иллюзию постепенности хода болезни и преемственности ее от той лихорадки, которой страдал Николай в начале февраля. Вероятно, эта фальсификация, т.е. вписывание бюллетеней, объясняет существование двух экземпляров камер-фурьерских журналов за один и тот же 1855 г., где копия покрывает все погрешности оригинала?

Для утверждения предположения о несвоевременно вписанных бюллетенях понадобился бы, быть может, более подробный анализ записей камер-фурьера. Однако данные об улучшении состояния здоровья Николая, извлеченные из записей камер-фурьера; сообщение Панаева о происхождении записки Мандта; показание Мандта о долгой беседе его с царем ночью с 17-го на 18-е; записка Блудовой; указание современников на мольбы императрицы о принятии св. Таин умирающим, человеком действительно религиозным и, во всяком случае, всегда точным в исполнении обряда, и, наконец, вышеприведенная ссылка на свидетельство Карелля (хотя оно и относится к категории «рассказов очевидцев») — могут навести на некоторые размышления и посеять сомнения в достоверности официальных сообщений о кончине Николая, навести на мысль о достоверности предания о самоубийстве его и прямом участии Мандта в этом.

Некоторое подтверждение сказанному может дать указанная выше заграничная брошюра, это — в высшей степени тонкий и искусно составленный документ. Разъяснив Европе в напыщенных фразах нецененного и непонятого ею покойного русского императора, автор подходит к изложению обстоятельств, подготовивших кончину его. Практический вывод у автора вполне определенный: Николай умер вследствие развившейся простуды. Теоретические же его рассуждения приводят к обратному заключению: огорченная душа Николая не вынесла испытаний, и «он за лучшее почел удалиться». Предоставим этому документу говорить самому за себя: «...в непрерывное течение тридцати лет (царствования) неутомимо сея добро, на остаток дней своих и в последний час свой познать зло, проведя всю жизнь свою в том, чтобы силою труда и долготерпения воздвигнуть на зыблущейся почве Европы здание чести, справедливости и мира; видеть, что здание это разрушается в своих основаниях и, разрушаясь, оскорбляет седины его злословием, подозрением и неблагодарностью, — вот что уязвляет кровавыми ранами благородное и чувствительное сердце, вот что разбивает, как стекло, натуру твердую, как гранит. Честь, которая столь долгое время поддерживала этого монарха в битвах, где сражался он

равным оружием, эта самая честь должна была сделаться причиною смерти его в тот самый день, когда он увидел, что против него направлены оружия, несвойственные ему. Он, которого поприще было непрерывным рядом успехов, мог ли он, для заключения честного мира, покориться безуспешности своих усилий? Он, который во все течение своей жизни не отступал ни разу от своих правил, которого слово было столько же твердо и прямо, как был прям его стан, — мог ли он уничтожить, так сказать, все свое блистательное прошедшее и примириться с дурным настоящим? Нет, он не мог, он не должен был это сделать! При жизни он был бы мертв, по кончине он пережил себя...

Правда, это многозначительное и торжественное многоточие пока ни к чему не обязывает автора: на следующей странице он заявляет, что Николай умер от воспаления в легких. Далее, указав на высокое призвание русского императора быть спасителем монархического начала от падения, «которым угрожала с часу на час ему новейшая демократия», и воздав всяческие хвалы Николаю, автор взывает: «Отложите ваш приговор, люди, всегда готовые изрекать суждения дерзкие и пристрастные! Теперь не та минута, чтобы произносить суд, теперь настала минута молитвы. Вашему честолюбию, вашей ненависти нужна была жертва? Вот она, эта жертва. Довольны ли вы? Нет, потому что вы желали победить этого великого человека, а он победил вас своею смертью. Вы хотели унижить его, а Бог возвысил Его до Себя!» Ссылки на волю всевышнего здесь явно прикрывают признание автора, что смерть Николая — акт его собственной воли («он победил вас»).

Более или менее определенные намеки об отравлении Николая вообще-то нередки в мемуарной и исторической литературе и, особенно, в устном предании, но наиболее авторитетными из них, наводящими на определенные пути «искания истины» представляются нам записки А. Пеликана (старого петербуржца, дипломата, позже цензора). Сообщив некоторые данные, касающиеся биографии Мандта и обстановки кончины Николая, Пеликан пишет: «Вскоре после смерти Николая Павловича Мандт исчез с петербургского горизонта. Впоследствии я не раз слышал его историю. По словам (моего) деда (имеется в виду Пеликан, Венцеслав Венцеславович (1790—1873) — председатель медицинского совета, директор медицинского департамента военного министерства, президент Медико-хирургической академии), Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собою Николаю яду. Обстоятельства эти хорошо были известны деду, благодаря близости к Мандту, а также и благодаря тому, что деду из-за этого пришлось перенести кой-какие служебные неприятности. Незадолго до кончины Николая I профессором анатомии в академию был приглашен из Вены прозектор зна-

менитого там профессора Гиртля, тоже знаменитый уже анатом Венцель Грубер. По указанию деда, который в момент смерти Николая Павловича соединял в своем лице должность директора военно-медицинского департамента и президента Медико-хирургической академии, Груберу поручено было бальзамировать тело усопшего императора. Несмотря на свою большую ученость, Грубер в житейском отношении был человек весьма недалекий, наивный, не от мира сего. О вскрытии тела покойного императора он не преминул составить протокол и, найдя протокол этот интересным в судебно-медицинском отношении, отпечатал его в Германии. За это он посажен был в Петропавловскую крепость, где и содержался некоторое время, пока заступникам его не удалось установить в данном случае простоту сердечную и отсутствие всякой задней мысли. Деду, как бывшему тогда начальником злополучного анатома, пришлось оправдываться в неосмотрительной рекомендации. К Мандту дед до конца своей жизни относился доброжелательно и всегда ставил себе в добродетель, что оставался верен ему в дружбе даже тогда, когда петербургское общество, следуя примеру двора, закрыло перед Мандтом двери, дед один продолжал посещать и принимать Мандта. Вопрос этический, выступавший с такой рельефностью в данном случае, не раз во времена студенчества затрагивался нами в присутствии деда. Многие из нас порицали Мандта за уступку требованиям императора. Находили, что Мандт как врач обязан был скорее пожертвовать своим положением, даже своей жизнью, чем исполнить волю монарха и пригнати ему яду. Дед находил такие суждения слишком прямолинейными. По его словам, отказать Николаю в его требовании никто бы не осмелился. Да такой отказ привел бы еще к большему скандалу. Самовластный император достиг бы своей цели и без помощи Мандта: он нашел бы иной способ покончить с собой, и, возможно, более заметный».

И это сообщение Пеликана, и приведенные выше данные могут склонить суждение о смерти Николая в сторону, противоположную официальным утверждениям, или поколебать противное мнение, но вопрос о смерти Николая не может почитаться окончательно разрешенным.

Записки Пеликана наводят на след Грубера. В литературе есть также указание, что бальзамирование тела императора производилось два раза: первый раз Грубером, а второй раз бальзамировали Енохин и Наранович.

Оставив в стороне фактические и гипотетические данные, поставим вопрос: а допустимо ли психологически самоубийство Николая?

И когда мы задумаемся над биографией и всей историей цар-

ствования этого глубоко самолюбивого человека — и ярого самодержца с присущей ему своеобразной идеологией, сначала полного самоуверенности: «Берегитесь, народы, и трепещите», а затем униженного, сознающего, что «все царствование его было ошибкой», сломленного, опечаленного и действительно переживающего трагедию, то надобно сказать — да, допустимо.

Просматривая еще раз всю мемуарную литературу, пройдя путем наших предшественников, автору этих строк удалось найти некоторые данные, подтверждающие версию о самоубийстве Николая I.

Прежде всего, подтверждается версия об участии проф. Грубера в бальзамировании трупа и о прямом давлении на профессора со стороны властей с целью сокрытия следов отравления. Известный народник И. С. Русанов, обучавшийся в Медико-хирургической академии в конце 70-х гг., рассказывает в своих воспоминаниях, что знаменитый проф. Грубер был в свое время вызван в Зимний дворец для вскрытия и бальзамирования отравившего себя Николая I, что он привел в ужас придворных своим поведением, настаивая, чтобы публично заявить о присутствии в теле найденного им яда. По-видимому, с этим упрямством Грубера и связано вторичное бальзамирование: заупрямившийся профессор не захотел скрывать следы отравления.

Просматривая вновь и вновь документы и материалы тех лет, находишь в письмах, дневниках, воспоминаниях данные, подтверждающие утверждения о самоубийстве императора (или факты, косвенно это подтверждающие). Так, хорошо известная А. О. Смирнова-Россет, фрейлина А. Тютчева (Аксакова в замужестве), князь В. А. Черкасский и другие свидетельствуют: «Болезнь царя была так мало всем известна», что известие (бюллетени) о внезапном кризисе («все идет хуже и хуже») вызвало «большое волнение везде и никто не верит своим ушам и глазам», члены императорской семьи «все в самом жалком состоянии», «наследник ревет как дитя, царица сохраняет присутствие духа и говорит (детям): господь взял его, чтобы избавить от ужасных вещей», «народ толпится около дворца и не верит, что царя уже нет». Смирнова сообщила и некоторые подробности (со слов камердинера Гримма, лейб-медика Мандта и др.), что император покинул свои прекрасные апартаменты и нашел смерть на узкой походной кровати, что несколько ночей перед этим не спал, ходил, вздыхал, молился, ибо «известие 13-го об Евпатории его расстроило», «а потом смерть нашла причину», «что делается во дворце, у дворца и подъездов, на улицах, описать нельзя». Князь В. А. Черкасский в те дни писал М. Г. Погодину: «Бальзамирование тела, к несчастью, вовсе не

удалось, и гроб закрыт. Народ пускают к закрытому гробу. Это достойно всякого сожаления».

Как видим, для современников многое оставалось загадочным и непонятным. Не было недостатка и в прямых заявлениях о самоубийстве императора. Так, герценовский «Колокол» в 1859 г. («Письма русского человека») сообщал, что Николай I отправился с помощью Мандта.

Погружаясь в события той далекой уже эпохи, внезапного окончания тридцатилетнего мороза, сковывавшего все живое в стране, убеждаешься, что самоубийство императора вполне было возможно и для Николая I являлось наиболее подходящим способом разрешения всех противоречий, личных и государственных. Если и оставались какие-то сомнения, они отпали при знакомстве с воспоминаниями одного лица, весьма близкого в те дни к наследнику-цесаревичу Александру. Свидетельство принадлежит полковнику Генерального штаба, адъютанту цесаревича Александра по части Генерального штаба (наследник был главнокомандующим Гвардейским корпусом) Ивану Федоровичу Савицкому. Он родился в 1831 г. в Литве в старинной дворянской семье, окончил пажеский корпус, позже Академию Генерального штаба. Еще будучи пажом, был приближен ко двору, стал участником детских забав, отроческих игр наследника и его брата, окончил с отличием Академию и оказался на правах друга детства в свите цесаревича.

Его прямые обязанности как одного из старших адъютантов штаба гвардии требовали обязательного присутствия всюду, где бывал командующий гвардией — наследник: на всех приемах, парадах, маневрах и церемониях; принимать участие в составлении программ многих придворных празднеств, составлять отчеты об их проведении. Ему многое пришлось увидеть и пережить. Он видел жизнь и за дворцовыми кулисами, столь для всех недоступную.

Позже Савицкий вышел в отставку, принял активное участие в восстании 1863 г., остался в эмиграции и писал воспоминания вдали от голубых мундиров, совершенно свободный от внутренней цензуры. Все это придает его воспоминаниям особый колорит, раскованность мысли. Послушаем же осведомленного участника событий:

«Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах, с оловянными пулями вместо глаз безумствовало на троне, сдерживая рвущуюся из-под кандалов жизнь, тормозя всякое движение, безжалостно расправляясь с любым проблеском свободной мысли, подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмеливающуюся подняться выше уровня, начертанного рукой венценосного деспота. Окруженный лжецами, льстецами, не слыша правдивого слова, он очнулся только под гром орудий Севастополя и Евпатории. Гибель

его армии — опоры трона — раскрыла царю глаза, обнаружив всю глупость, ошибочность его политики.

Но для одержимого непомерным тщеславием, самомнением деспота легче оказалось умереть, наложить на себя руки, чем признать свою вину. [Трудно не согласиться с этим выводом полковника Генерального штаба, старшего адъютанта наследника престола]. Военные демонстрации союзнического флота на Балтике, в Черном море, у дальневосточных берегов ясно показали уже к весне 1855 г. полное преобладание союзников на море, а их десант в Крыму и неудачная попытка сбросить его в море показали, что и на суше союзники также имеют решающее превосходство. И хотя война еще длилась, более того, борьба шла по нарастающей, ее исход был ясен даже и для Николая I.

Савицкий далее пишет: «Немец Мандт — гомеопат, любимый царем лейб-медик, которого народная молва обвинила в гибели (отравлении) императора, вынужденный спасаться бегством за границу, так мне поведал о последних минутах великого повелителя:

„После получения депеши о поражении под Евпаторией (Крымская война, — поясняет специально Савицкий, — была борьбой за гегемонию в Европе. И Николай I воспринял неудачу ген. Хрулева под Евпаторией как предвестницу полного краха своего величия) вызвал меня к себе Николай I и заявил:

— Был ты мне всегда преданным, и потому хочу с тобою говорить доверительно — ход войны раскрыл ошибочность всей моей внешней политики, но я не имею ни сил ни желания измениться и пойти иной дорогой, это противоречило бы моим убеждениям. Пусть мой сын после моей смерти совершит этот поворот. Ему это сделать будет легче, столкнувшись с неприятелем.

— Ваше Величество, — отвечал я ему. — Всевышний дал Вам крепкое здоровье, и у Вас есть и силы и время, чтобы поправить дела.

— Нет, исправить дела к лучшему я не в состоянии и должен сойти со сцены, с тем и вызвал тебя, чтоб попросить помочь мне. Дай мне яд, который бы позволил расстаться с жизнью без лишних страданий, достаточно быстро, но не внезапно (чтобы не вызвать кривотолков).

— Ваше Величество, выполнить Ваше повеление мне запрещают и профессия и совесть.

— Если не исполнишь этого, я найду возможным исполнить намеченное, ты знаешь меня, вопреки всему, любой ценой, но в твоих силах избавить меня от излишних мук. Поэтому повелеваю и прошу тебя во имя твоей преданности выполнить мою последнюю волю.

— Если воля Вашего Величества неизменна, я исполню ее, но позвольте все же поставить в известность о том Государя-Наслед-

лика, ибо меня как Вашего личного врача неминуемо обвинят в отравлении.

— Быть по сему, но вначале дай мне яд"».

Свидетельство Савицкого уникально. Во всем важном оно совпадает с вышеприведенными косвенными данными, новым светом освещает их и существенно дополняет.

«Было это 3 марта 1855 г. (по н. ст.), — продолжает Савицкий, опираясь уже не только на слышанное от Мандта, но и виденное собственными глазами, ведь как старший адъютант Наследника он неотступно при нем находился. Александр, узнав о случившемся, поспешил к отцу, рухнул к нему в ноги, обливался слезами. Врач оставил сына наедине с отцом. О чем они говорили, что порешили, осталось между ними. Вскоре Александр в слезах, опечаленный вышел из кабинета отца.

А Николай I слег и уже не встал более.

В ту же ночь во дворце узнали, что царь тяжело занемог. Вызвали придворных лекарей Карелля, Рауха и Маркуса на консультацию, признаки отравления были так явны, что врачи отказались подписать заготовленный заранее бюллетень о болезни. Тогда обратились к Наследнику и по его повелению придворные врачи скрепили своими подписями бюллетень, отослали его Военному министру. Так в полночь высшие сановники империи были осведомлены, что всемогущий, едва ли не бессмертный повелитель уже одной ногою в гробу».

Дальнейшее нам уже известно из ранее опубликованных материалов. Императора срочно соборовали, внесли соответствующие записи в камер-фурьерский журнал задним числом, придав невинной простуде видимость неизлечимого недуга и прочее.

Но и в эту тревожную ночь, уже уходя из жизни, Николай оставался верен себе, так привык он к своей роли, что лицедейство стало его натурой, въелось в его плоть, в его душу. Император умирал на простом солдатском тюфяке, брошенном на железную кровать, под старым военным плащом, который заменял ему халат.

Прощаясь с императрицей перед причастием, он попросил одеть его в мундир — желая и перед Всевышним предстать по всей форме; затем попросил привести старшего внука-наследника, будущего государя, и, прощаясь с ним, промолвил — учись умирать.

Не ведомо, знал ли об этом всем разыгрывавшемся в Зимнем ночью 18 февраля великий Тютчев, но он был прав, откликаясь на смерть Николая:

Ты был не царь, а лицедей,
Не Богу ты служил и не России,
Служил ты суете своей.

() всем случившемся, а главное о беседе и приказе императора, лейб-медик Мандт написал позже брошюру и намеревался издать ее в Дрездене, но московское правительство, указывает Савицкий, узнав об этом, пригрозило ему лишением весьма солидной пенсии, если он немедленно не уничтожит написанное. Мандт выполнил это требование, но все же, опасаясь быть обвиненным в отравлении венценосного пациента, рассказал во всех подробностях о случившемся избранному кругу заинтересованных лиц. Савицкий был одним из этих избранных лейб-медиком доверенных лиц.

Но вернемся в Зимний дворец.

Рано поутру 9 марта Савицкий был уже на службе, спеша, как он пишет, завершить и отделать вчерашние бумаги, связанные со смертью императора. Обычно столь рано в штабе никого, даже писарей, не было. «Но каково же было мое удивление, когда в приоткрытую слегка дверь я увидел генерал-квартирмейстера штаба гвардии, который крупными шагами расхаживал по своему кабинету, вытирая слезы платком, и буквально рвал на себе волосы.

Я вошел в кабинет, генерал, как бы не видя меня, впал в еще большую кручину, закрыл лицо руками и запричитал навзрыд.

— Бедная Россия, что с тобою будет!

— Что произошло? — спросил я с удивлением.

— Разве Вы не знаете, что император умирает и нет уже никаких надежд на его спасение. Бедная Россия, что с тобою будет. Как страшно твое грядущее!

Потом, взяв меня за руку, генерал добавил:

— Видите мои слезы, отчаянье, боль, которые я не могу сдерживать, не говорите, умоляю Вас, о том никому.

И я пснял, чего желал, для чего поутру прибежал в штаб генерал-квартирмейстер, зачем он, приоткрыв дверь кабинета, обливался слезами, зачем все это говорил мне (адъютанту наследника!), понял и никому, исполняя просьбу генерала, не поведал о его слезах-кручине.

Безмерно обрадованный услышанной новостью, поспешил я к своему коллеге капитану Обручеву (позже начальнику Генерального штаба, помечает мемуарист).

Обручев жил, как и я, в штабе (Гвардейского корпуса). Нашел его еще спящим. — Николай Николаевич! — начал будить его. — Царь умер! — Обручев открыл глаза и удивленно уставился на меня, думая, по-видимому, что шучу, потом сел, что-то зажмурившись промывал и наконец, протерев глаза, спросил: — Не приснилось ли ему, в самом ли деле услышал он весть о смерти императора?

— Правда, — отвечаю я, — тело его бездыханное уже во вла-

сти тления. — Ух! Какая же гора с плеч свалилась, какой камень с души спал. Первый раз так легко дышится. Позволь тебя поцеловать за такую приятную весть! — Эй, Василий Васильевич, — кликнул он вестовому. — Бутылку шампанского, надобно выпить во здравие смерти! — И через несколько минут хлопнула в потолок пробка, возвестив великую скорбь верноподданного.

Столь неожиданная весть подобно молнии облетела город».

Савицкий, вернувшись домой, послал вестового купить в ближайшей лавке траурную ленту. Но лавочники, уже о всем доведавшись, заломили баснословную цену, а огорошенным покупателям заявляли: «Что поделаешь, батюшка! Тридцать лет ждали мы такую оказию».

В мемуарах Савицкого приводятся подробности приведения присяги новому императору, встреча последнего с царедворцами и офицерами гвардии во дворце. Адъютант заметил выражение какого-то невольного страха и неуверенности на лице молодого царя, а с другой стороны, на многих лицах дам, штатских и военных даже и во дворце видел какую-то невысказанную радость, как бы ожидание лучших времен.

Среди сгрудившейся в дворцовых покоях публики выделялся один полковник гвардии, позже прославившийся особой жестокостью по отношению к «врагам трона»; этот немец усердно потчевал всех табачком, пришепывая, что, мол, вышибает слезу его добрый табачок, а это так способствовало моменту. И невольно при виде этого курляндчика вспоминались слова, некогда сказанные отошедшим в мир иной повелителем, — русские служат Отечеству, России, а немцы нам, Романовым, почитая не без основания династию своею немецкою, гольштин-готторпской.

Раздумия и разговоры собравшихся прервал выход молодого царя. Голоса вдруг смолкли, когда под сводами раздался молодой, хорошо поставленный привычкой командовать голос: «Пребываем в глубоком убеждении, что разделяете полностью мою скорбь по усопшему родителю нашему, и надеемся, что будете служить мне так же хорошо, как служили отцу, помогая одолеть неприятеля, который грозит Отечеству нашему в границах его собственных». Колыхнулся зал киверами, перьями, и раздалось мощное «ура» и еще что-то наподобие — «Император умер, да здравствует император!!!» Молодой монарх, растроганный этой первой в его честь манифестацией чувств, не сдержал слез и поспешил удалиться в покои императрицы-матери.

А в это время в другом зале, где собрались офицеры лейб-гвардии казачьего полка, появился новый наследник — внук усопшего — свидетель последних минут Николая, именно ему адресовалось необычное пожелание усопшего: учись умирать! Но пока

Николю малому надобно было учиться царствовать. Правда, судьба ему не улыбнулась, он не дождался очереди своей и умер юношей от скоротечного туберкулеза в далекой Ницце.

«Десятилетний мальчик в сопровождении брата предстал перед офицерами полка в гетманском мундире, ибо носил звание гетмана — атамана казачьего войска, чтобы произнести заранее выученную по шпаргалке речь; и он тоже высказал надежду, что ему будут как гетману-атаману служить, как служили деду и отцу, но на фразе «Я молод, но...» вдруг запнулся, растерялся, и тогда стоявший рядом брат подбросил: «Но глуп», услышав сие, молодой гетман повернулся и дал братику звонкую пощечину, тем и закончился первый выход наследника-атамана. А братик-то — тоже хорош. Молодой, да ранний!»

Для руководства всей церемонией прощания и погребения императора при дворе была создана специальная комиссия ген. Гурьева, получившая в свете наименование погребальной. О настроениях, царивших среди придворных, включая и членов этого похоронного учреждения, лучше всего свидетельствует приводимый Савицким следующий факт. Адъютанту наследника по поручению шефа потребовалось побывать в комиссии; подойдя к дверям комнаты, где располагались сиятельные могильщики, адъютант приостановился, чтоб придать лицу соответствующее выражение, этикетом требуемое, прежде чем войти к «опечаленным», взявшись за ручку двери, адъютант не успел, однако, открыть ее, вдруг дверь приоткрылась, высунулась рука с бутылкой, и чей-то пропитый голос воскликнул: «эй, еще бутылку шампанского!» Что более всего удивило в поведении этих подвыпивших «опечаленных», так это преобладание среди них любимцев Николая, обязанных чинами и званиями исключительно покойному и уж никак не способностям и собственному уму. Все придворные лакействуют, при каком бы дворе они ни состояли, меняются владыки, имена, названия, подбострастье подлых лакеев неизменно. Но может быть, «похоронная команда» за шампанским и нашла наилучший способ сокрытия следов самоустранения Незабвенного! А их было предостаточно.

Историю болезни надлежащим образом поправить было трудно, но нельзя ведь изъять из тела самоубийцы проглоченный им яд, устранить следы отравления, они уже проступали на сведенном судорогой, обезображенном лице покойного.

«Утром, когда Николай еще лежал в своем кабинете, — свидетельствует Савицкий, — я пошел взглянуть на него. Страшилище всех европейских народов покоилось на ложе своем, прикрытое одеялом и старым военным плащом, вместо халата долго служившим хозяину. Над кроватью висел портрет рано умершей дочери Александры Николаевны, которую усопший очень любил, облачен-

ной в гусарский мундир. Николай даже женскую прелесть без мундира не воспринимал.

В глубине кабинета стоял стол, заваленный бумагами, рапортами, схемами. В углу стояло несколько карабинов, которыми в свободное время тешился император. На столах, этажерках, консолях стояли статуэтки из папье-маше, изображающие солдат разных полков, на стенах висели рисунки мундиров, введенных царем в армию. У кровати сидел ген. Сухозанет и вытирая платком свои сухие глаза. Заявил мне, что дни и часы неотступно находится у тела императора без еды и воды, хотя при жизни и не любил покойного. На суровом лице усопшего выступили желтые, синие, фиолетовые пятна. Уста были приоткрыты, видны были редкие зубы. Черты лица, сведенного судорогой, свидетельствовали, что император умирал в сильных мучениях.

Александр ужаснулся, увидя отца таким обезображенным, и вызвал двух медиков — Здеканера и Мяновского — профессоров Медико-хирургической академии, повелел им любым путем убрать все признаки отравления, чтобы в надлежащем виде выставить через четыре дня тело для всеобщего прощания согласно традиции и протоколу. Ведь все эти фатальные признаки неопровержимо подтвердили бы молву, уже гулявшую по столице, об отравлении императора.

Последней волей Николая I был запрет на вскрытие и бальзамирование его тела, он опасался, что вскрытие откроет тайну его смерти, которую хотел унести с собой в могилу.

Два вызванных ученых, чтобы скрыть подлинную причину смерти, буквально перекрасили, подретушировали лицо и его надлежащим образом обработали и уложили в гроб. Исследованный ими новый способ бальзамирования тела не был еще отработан должным образом и не предотвратил быстрое разложение тела; тогда обложили последнее ароматическими травами, чтобы заглушить зловонье».

Это пояснение осведомленного лица проливает свет и на мнимое противоречие в воспоминаниях разных лиц, где упоминаются фамилии нескольких медиков, в разное время привлекавшихся для сокрытия следов и консервации останков.

Из Зимнего дворца после двухдневного обозрения тело покойного надлежало перевезти в Петропавловскую крепость в царскую усыпальницу. Войска шпалерами встали от Зимнего до Петропавловки, и между стройными рядами застывших гвардейских полков двинулась в путь траурная процессия.

Во главе процессии шел царский двор, за ним старший генералитет с ассистентами, неся на подушках короны и ордена, полученные едва ли не от всех европейских монархов, затем целая ар-

нии священников и катафалк, за которым сзади шествовал молодой император с братьями своими, герольды, солдаты, одетые в древние мундиры, и т. д.

Идущая во главе процессии раззолоченная толпа держалась в высшей степени неприлично, мало того что всю дорогу в ней не прекращался говор и смешки, но многие не могли даже и двух часов обойтись без вина и закуски, доставали припасенные заранее бутылки и яства, ели, пили, курили сигары и папироски, вызывая тем возмущение у сгрудившихся по обочинам улиц простолюдинов.

Процессия была столь же длинна, сколь и титул усопшего и еще здравствующего Властелина:

— Мы, самодержец и император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, Великия малая и белая Руси и прочая и прочая, а в этом «прочая» содержался перечень всех земель, рублем, мечом, сговором иль «волеизъявлением мужей знатных» присоединенных к империи, коих и числились повелителем и обладателем все Романовы (а точнее сказать, Гольштин-Готторпы), с Петра III поочередно занимавшие трон, обогранный кровью пращуров. И каждому титулу: великий князь Киевский, Владимирский, Новгородский, Рязанский, Тверской, Смоленский, Ярославский и т. д., ханств: Казанского, Астраханского, Ногайского, Крымского, Сибирского, всех Кавказских, Закавказских и Закаспийских земель — соответствовала в процессии и корона иль иные символы как вещественное олицетворение царств, ханств, земель. Эта символика в золоте, алмазах, бриллиантах возлежала на атласных пурпурных подушечках, покоилась в немощных старческих руках, окольцованных золотом, усыпанным алмазом и прочей мишурой, а руки несущие соединялись с мундиром, золотом вытканым, осыпанным алмазами, бриллиантами и прочая и прочая бижутерия. Медленно ползла, извиваясь змеею и вновь вытягиваясь, золотосверкающая, алмазоносная процессия от дворца к крепости, от последнего жилища царя до его вечной обители.

Но вот среди золототканых мундиров возникло какое-то движение, как от камня, брошенного в затянутую ряской воду, раздался всплеск, пошли и замерли круги; то старый генерал князь Шаховской, шествовавший в центре с короною Казанской в руках, задремав, начал поклевывать носом, сбиваясь с мерного шага; видя это, ассистент подвинулся ближе и протянул руку, чтоб предотвратить падение сокровища со старцем, но тут из среды гвардейцев, обрамлявших процессию, бросился бравый молодец, схватил ассистента за руку с громким криком «давно я за тобою, шельмец ты эдакий, слежу, ты не уйдешь, вор, от меня». К счастью, очнувшись Шаховской, поспешил на выручку ошеломленному от опасности внезапного нападения своему ассистенту.

Процессия меж тем двигалась к цели, в ее рядах всякий занимался своим делом: кто ушел в размышления о пережитом, утраченном, кто строил грандиозные планы, обдумывая, как попасть на глаза, проникнуть в душу к новому монарху, а кто убивал время в беседе.

В крепости, в соборе Павла и Петра, тело покойного водрузили на высокий помост, короны, скипетр, державу сложили у его подножья, и началось отпевание. Молодой император стоял у гроба и не сдерживал слез своих. По примеру царя и те, кто недавно еще посмеивался в процессии: придворные, вельможи, их жены и дочери, фрейлины и кавалеры — тоже начали громко сморкаться и вытирать сухие глаза. В финале отпевания дьякон загредел «Со святыми упокой», так что казалось — затряслись стены собора. Император наклонился над телом отца и долго смотрел на лицо усопшего, в его черты, так сильно, ужасно изменившиеся, потом поцеловал в лоб и отошел в сторону. Вдовствующая императрица, страдавшая падучей со дня восстания 14 декабря 1825 г., поддерживаемая младшими сыновьями, медленно и печально, едва переставляя ноги (как и положено вдове), приблизилась к гробу и также поцеловала мужа и вдруг, забывшись, подобно восемнадцатилетней девушке, резво, не чуя ног, сбегала с подмосток, явно не выдержав смердящего трупного запаха.

Затем пришла очередь вел. кн. Константина. Он нагнулся к лицу усопшего, поцеловал, а затем, отступив, вложил моноколь в один глаз и, прищутив другой, стал пристально рассматривать очаровательных фрейлин, одна за другой подходивших к гробу прощаться с покойным и кланяться новому Властелину.

По окончании этой церемонии Александр пошел к выходу, не обращая ни к кому, включая самых известных в стране сановников, обойдя вниманием даже знаменитого ген. Ермолова, который, несмотря на преклонные лета, приехал из Москвы на похороны его отца.

Известна застарелая ненависть Николая к герою Бородина, проконсулу Кавказскому. Сын пошел дорогою отца, но обойти Ермолова значило пренебречь историей. А во имя чего? Но послушаем адъютанта, он проясняет суть царского маневра. «Обойдя Ермолова, император внезапно остановился около входа в храм и тепло пожал руку господину в черном фраке, по лицу которого легко можно было судить о его происхождении.

— Кто это такой? — зашептались вокруг. — Кому это Император подал руку?

— Это банкир Штиглиц, ведь царю нужны миллионы, военные расходы, — отвечал какой-то генерал.

Так в Храме у гроба отца царь разменивал русскую славу на червонцы.

После выхода императора из Храма, поведение оставшихся враз переменялось. Придворные дамы и господа, окруженные офицерами гвардии, начали громко разговаривать, шутить и смеяться, высказывая жалобы по поводу всяких стеснительных для них ограничений в связи с трауром императорской семьи. Доносились обрывки французской речи вперемишку с приглушенным смехом.

Вот какой-то молодцеватый гвардеец, наклонившись, что-то шепчет в ушко очаровательной фрейлине, а она отвечает, грозя розовым пальчиком:

— Вы сегодня чернее тучи, милый полковник, что с вами? Когда мы будем иметь счастье видеть вас в нашем доме?

— Завтра, завтра, не далее как завтра я буду у ваших ног. — Представьте, никто даже не знал о смертельном недуге императора! Это как удар грома среди ясного неба.

— Маман приснилась огромная птица с распростертыми черными крыльями, и что поразительно — из глаз этого двуглавого орла катились слезы!! Маман догадалась, что это не к добру. Это явный знак несчастья, грозящего России! Наутро она вызвала ювелира, заказала ему кольцо с орлом, украшенным бриллиантами, они, как слезы, выкатываются из орлиных глаз, ну, словом, все как в вещем сновидении маман.

— О, как это очаровательно, как интересно! Это великолепная память о нашем великом Императоре!!

— Слышали ли вы, — обращался какой-то гвардеец к ген. Гурьеву, лейб-гробовщику, — что Его Величество, узнав о глубокой скорби Ваньки Сухозанета, произвел его в генерал-адъютанты, а его брата сделал военным министром?

— Хитрый пес — знал, как потрафить Императору, а ведь он так ненавидел покойного, что буквально закипал от ярости при одном имени его...»

Адъютант нового царя, чтобы взглянуть, что же осталось от повелителя великой державы, приводившего в трепет Европу, и, как он сам вспоминает, решился взглянуть еще раз на лицо самоубийцы. «От быстрого разложения под действием ядов, лицо его так сильно изменилось, что странно было смотреть на этот ужасный лик. Желтые и фиолетовые пятна, которые я видел на второй день после смерти, превратились теперь в бронзовые и черные».

Октябрь 1989 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Смирнов А. Ф. <i>Слово о державе и самодержцах Российских</i> | 3 |
| Царь Михаил Феодорович | 17 |
| Царь Алексей Михайлович | 59 |
| Александр I | 145 |
| Николай I | 261 |
| Московское царство | 323 |
| Смирнов А. Ф. Разгадка смерти императора | 435 |

Александр Евгеньевич Пресняков

РОССИЙСКИЕ САМОДЕРЖЦЫ

Художественный редактор Н. Д. Карандашов

Технический редактор В. Л. Юняев

Корректор В. А. Коротаева

ИБ № 2093

Сдано в набор 15.01.90. Подписано в печать 9.03.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура Литературная. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,57. Уч.-изд. л. 25,79. Тираж 200 000 экз. доп. Изд. № 4994. Зак. № 482. Цена з р. 70 к.

Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50

Владимирская типография Госкомитета СССР по печати.
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

Пресняков А. Е.

П 73

Российские самодержцы/Сост., автор предисловия и приложения доктор исторических наук А. Ф. Смирнов. М.: Книга, 1990. 464 с.

ISBN 5-212-00489-6.

В исторических очерках выдающегося русского ученого А. Е. Преснякова (1870—1929) рассказывается о самодержавных правителях Русской земли — царях Михаиле Феодоровиче, Алексее Михайловиче, Александре I, Николае I, а также об истории становления Московского государства в XV — XVII вв.

Для широкого круга читателей.

П 0503020200—066
002(01)-90

Без объявл.

ББК 63.3(2)4